

Русская литература

№ 1

И С Т О Р И К О - Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Й Ж У Р Н А Л

1964

Год издания седьмой

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Александр Прокофьев. Поэт большого сердца и могучего таланта	3
Ф. Прийма. Поэт совершенно народный	7
В. Кирпотин. «Записки из подполья» Ф. М. Достоевского	27
Б. Бухштаб. Об источниках «Левши» Н. С. Лескова	49
В. Хализев. Драма А. П. Чехова «Иванов»	65

П У Б Л И К А Ц И И И С О О Б Щ Е Н И Я

А. Болдур (Румыния). Ярославна и русское двоеверие в «Слове о полку Игореве»	84
В. Адрианова-Перетц. Об эпитете «тресветлый» в «Слове о полку Игореве»	86
Г. Моисеева. Новый список повести об Александре Невском	87
Неизвестная повесть XVIII века о хвастливом книжнике (публикация В. Малышева)	97
И. Серман. Из литературной полемики 1753 года	99
В. Смолицкий. Песни о разбойнике Григории Репке	104
В. Базанов. Федор Герман и муравьевский вариант «Рассуждения» Д. И. Фонвизина	109
А. Белоусов. К вопросу о публикации двух стихотворений Пушкина в журнале «Современник»	124
М. Гиллельсон. Пушкин в дневниках А. И. Тургенева 1831—1834 годов	125
Е. Рыский. Пушкин или Гоголь? (О заключительной заметке к отделу «Новые книги» в пушкинском «Современнике»)	134
М. Альтман. Заметки о Пушкине	138
В. Мещеряков. «Школа гостеприимства» Д. В. Григоровича как эпизод из литературных отношений 50-х годов	142
Н. Павлюк. Стихотворение Шевченко в переводе шлиссельбургского узника	145
А. Батюто. Тургенев и Паскаль	153

(См. на обороте)

Ф. Кутищев. Некоторые комментарии к роману И. С. Тургенева «Новь»	162
Неизданное письмо Н. Г. Помяловского (публикация Н. Бельчикова)	163
Ф. Кузнецов. Г. Е. Благосветлов и «охранители»	165
В. Вильчинский. Из истории журнала «Дело» (неизвестные письма Н. В. Шелгунова)	178
А. Нинов. Бунин в «Знании»	184

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

Пятый Международный съезд славистов (сообщения участников съезда А. С. Бушмина, Г. М. Фридлендера, П. Н. Беркова, Д. С. Лихачева, Я. С. Лурье, В. Е. Гусева)	202
В. Бочкарев. Герцен и Чернышевский	214
А. Жовтис. Ритм и смысл	216
К. Давлетов. Новая книга томского фольклориста	220
А. Панченко. Некоторые проблемы изучения древнеславянских литератур	223
В. Ковалев. Книга о стиле Федина	226
ХРОНИКА	229
В. Адрианова-Перетц. Памяти Игоря Петровича Еремина	239

Редакционная коллегия:

В. Г. БАЗАНОВ (главный редактор), А. С. БУШМИН,
Б. П. ГОРОДЕЦКИЙ, В. А. КОВАЛЕВ, К. Д. МУРАТОВА, Ф. Я. ПРИЙМА,
В. В. ТИМОФЕЕВА

Отв. секретарь редакции М. Д. Кондратьев

Адрес редакции: Ленинград, В-164, наб. Макарова, д. 4. Тел. А 2-42-24

Журнал выходит 4 раза в год

ПОЭТ БОЛЬШОГО СЕРДЦА И МОГУЧЕГО ТАЛАНТА

Творчество великого Кобзаря давно стало национальной гордостью и русского народа. Наш народ принял его песни, его поэтические раздумья как свои и пронес их через целое столетие. В свою очередь, жизнь Т. Г. Шевченко, отмеченная дружбой с замечательными деятелями русской культуры, все его творчество слились с жизнью России.

Особенно тесно был связан поэт с нашим городом. Так называемый петербургский период занимает в его биографии важное место. В это время сформировался его талант художника и поэта, укрепились и углубились его революционно-демократические взгляды. В Петербурге создал Шевченко свои первые картины, написал первые стихи. Здесь увидел свет его первая книжка — бессмертный «Кобзарь». Мы гордимся, что именно здесь родились такие изумительные произведения, как «Причинна», «Катерина», «Гайдамаки», «Сон», «Вишневый садик возле хаты», «Думы мои, думы мои» и множество знаменитых лирических миниатюр. Петербург же (не казенный, разумеется, не царский) гостеприимно принял Кобзаря и в конце его жизни.

Но где бы ни находился поэт — в Петербурге ли, в далекой оренбургской степи, или на родной украинской земле, он всегда оставался вместе с подневольным, страдающим от угнетения народом.

Какой человечности, какой боли за обездоленного труженика исполнены строки великого Кобзаря:

Когда б вы знали, барчуки,
Где люди плачут от тоски,
То вы б элегий не писали
И бога зря не восхваляли,
К слезам бездушно-жестоки.
За что, не знаю, называют
Там в роще хату тихим раем:
Я в хате мучился и рос. . .

С любовью говоря о простых людях, о народе, Шевченко с чувством гнева бичевал панов, господ, богатеев. Царская Россия была для него страшным местом, где «от молдаванина до финна на всех языках все молчат».

Безмерно дорог для Шевченко был край, где он родился и вырос. Украина навсегда осталась для поэта матерью-родиной. «Я не могу назвать, не знаю на свете лучшего, чем Днепр и чем родная Украина», — говорил Шевченко. В стихотворении, созданном в каземате, с огромной силою звучит голос пламенного и самоотверженного патриота. «Мне, право, все равно, — писал он, — я буду на Украине жить иль нет. Забудут или не забудут меня в далекой стороне. . .»

Одно лишь — мне не все равно:
 Что Украину злые люди,
 Лукавым убаюкав сном,
 Ограбят и в огне разбудят.
 Ох, это мне не все равно!

Вышей страсти, высшего накала эта любовь к родной земле достигает в потрясающем «Заповите».

Как умру, похороните
 На Украине милой,
 Посреди широкой степи
 Выройте могилу,
 Чтоб лежать мне на кургане,
 Над рекой могучей,
 Чтобы слышать, как бушует
 Старый Днепр под кручей.

И когда с полем Украины
 Кровь врагов постылых
 Понесет он. . . вот тогда я
 Встану из могилы —
 Подымусь я и достигну
 Божьего порога,
 Помолжусь. . . А покуда
 Я не знаю бога.

Набатным колоколом, зовущим к расправе над мучителями народа, звучит это произведение, которое и по революционной силе и по выдающимся художественным достоинствам можно поставить рядом с «Марсельезой»:

Схороните и вставайте,
 Цепи разорвите,
 Злою вражескою кровью
 Волю окропите.

«Последние песни» Некрасова и шевченковское стихотворение — произведения разного плана, разного содержания, разного настроения, но сила у них одна.

Эти стихи потрясают мою душу.

Слова «Заповита» — слова такой мощи и гнева, на которые способен только человек большого сердца и могучего таланта. Так мог сказать только гениальный человек.

«Заповит» переведен более чем на сорок языков мира. Но нет еще перевода, передавшего бы всю силу и выразительность оригинала. И он всегда будет привлекать поэтов, которые будут пробовать свои силы на переводе этого наполненного грозой стихотворения.

«. . . А до того — я не знаю бога. . .» Надо помнить, в какое время было это сказано, чтобы понять всю смелость шевченковского протеста. Бог, каким его изображает поэт, — пособник царя, источник зла и несправедливости:

Ты, может, сам на небеси
 Смеешься, господи, над нами
 Да совещаешься с панами,
 Как править миром?

Поэзия Тараса Шевченко — воистину голос народа. Хорошо сказал об этом Н. А. Добролюбов: «Весь круг его дум и сочувствий находится в совершенном соответствии со смыслом и строем народной жизни. Он вышел из народа, жил с народом и не только мыслью, но обстоятельствами жизни был с ним крепко и кровно связан».

Да ведь и сам Тарас Григорьевич заметил однажды, что история его жизни составляет часть истории его родины.

Сам крепостной, получивший волю только благодаря случаю, человек, чьи родные и близкие до самой его смерти так и остались крепостными, Шевченко видел в искусстве народа выражение его мыслей, его чувств — всю его душу. Он сознательно искал сближения с фольклором, так что порой и не угадаешь, что поэт взял у народа и что дал он народу.

Величие Шевченко проявляется не только в его больших эпических произведениях типа «Катерины» и «Гайдамаков». Он и изумительный мастер лирической миниатюры.

Вишневый садик возле хаты,
Хрущи над вишнями спуют,
С плугами пахари идут,
Идут домой, поют дивчата,
А матери их дома ждут.

Все ужинают возле хаты,
Звезда вечерняя встает,
И дочка ужин подает.
Ворчала б мать, да вот беда-то
Ей соловейко не дает.

Мать уложила возле хаты
Ребятку маленьких своих,
Сама заснула возле них.
Затихло все. . . Одни дивчата
Да соловейко не затих.

Это стихотворение — настоящий поэтический шедевр, оно остается в памяти как музыка, как аккорд глубоко потрясающей лирической силы.

Шевченко, подобно всем великим художникам, умел находить поэзию в самой гуще народной жизни. Искусство — свет, и поэт — сам источник света. Луч может скользнуть на что угодно: он может осветить мрачную аральскую пустыню, упасть на пышную зелень украинского сада; вон он выхватил из мрака небольшое и небогатое украинское село. . . вечер. . . пахари, возвращающиеся после работы. . . приветливые огоньки в домах, где ждут своих кормильцев. . . ужин. Обо всем этом рассказал поэт в каких-то пятнадцати строчках! Мы видим и девушек, которые, возвращаясь с поля, поют песни, слышим соловья.

Тут же — дети, уснувшие возле хаты, и мать, задремавшая вместе с ними. . . Все затихло, все спит.

Такое познание жизни народа — радость для художника и для читателя, а такое произведение не может не тронуть душу человека любого поколения.

Даже если бы Шевченко за всю свою жизнь написал бы только два эти стихотворения — «Заповит» и «Вишневый садик возле хаты», — он и тогда был бы гениальным писателем. А ведь он автор и «Гайдамаков» — этой эпопеи жестокой, кровавой борьбы украинского народа со своими врагами, и «Катерины» — потрясающего рассказа о трагической судьбе девушки из народа, и многих других больших эпических полотен.

Ряд строк Шевченко написаны рукой провидца, они просто пророческие:

Опомнитесь! Будьте люди,
Иль горе вам будет:
Скоро разорвут оковы
Скованные люди.
Суд настанет, грозной речью
Грянут Днепр и горы. . .

Или:

Оживет иная слава,
Слава Украины,
И свет ясный, невечерний
Тихо засияет. . .

В наши дни поэзия Шевченко живет полной жизнью. Глубина поэтической мысли, искренность, лиризм, задушевность, подлинный гуманизм — все это очень дорого нам. Мы ценим художественное новаторство поэта, смело порвавшего с обветшалыми литературными канонами и обратившегося к великому сокровищу — фольклору.

Совсем не обязательно подражать Шевченко, использовать найденные им художественные формы и образы. Но невозможно пройти мимо тех замечательных традиций патриотизма и народности, которые связаны с его именем.

Еще до революции слово великого Кобзаря слышали многие поэты. Его ценили Некрасов, Чернышевский, Добролюбов, Герцен, с восторгом говорил о нем классик грузинской литературы Акакий Церетели.

Нет, кажется, в наших советских республиках поэзии, где бы не было стихов, посвященных Шевченко. О нем с любовью и уважением писали народные поэты Белоруссии — Янка Купала и Якуб Колас, связывая судьбу великого сына украинского народа с нынешней свободной долей Украинской Советской республики.

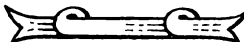
Все, сделанное Тарасом Шевченко, — бессмертно. И сегодня, в день стапятидесятилетия со дня его рождения, словами другого бессмертного поэта — Некрасова выражаем мы свою любовь, свое преклонение перед мученической, героической и славной жизнью украинского поэта-революционера:

Все он изведal: тюрьму петербургскую,
Справки, доносы, жандармов любезности,
Все — и раздольную степь Оренбургскую
И ее крепость. . . В нужде, в неизвестности,
Там, оскорбляемый каждым невеждою,
Жил он солдатом — с солдатами жалкими,
Мог умереть он, конечно, под палками,
Может, и жил-то он этой надеждою.

Слава Шевченко вышла далеко за пределы любимой им Украины. Он поэт мирового звучания. Но он не только поэт-художник, он и глашатай революции. Искры, вылетевшие из-под его пера, это искры бури. Они превратились в молнии и ярко осветили свинцовое небо тогдашней России.

В славные дни шевченковских торжеств я хочу закончить свои заметки о гениальном сыне украинского народа своим стихотворением, обращенным к нему:

Мы идем предгорьями, загорьями,
Мы идем долинами к нему,
Земно кланяюсь,
Тарас Григорьевич,
Имени и слову твоему.
Мы идем звенящей Украиною
В соловьем залюбленных местах,
Мы идем,
как с песней соловьиною,
С вещими стихами на устах!
Все равно — великою громадою
Или, взявшись за руки, вдвоем,
Светом день наполнив,
сердце радуя,
Век «Реве та стогне» мы поем.
«Катерину» также мы запомнили,
В Чигирине гайдамацкий гром,
«Гамалию»!
«Заповіта» молнии
Где-то блещут в небе грозовом.
За морями или за приморьями,
Где земля в пороховом дыму. . .
. . . . Земно кланяюсь,
Тарас Григорьевич,
Имени и слову твоему!



ПОЭТ СОВЕРШЕННО НАРОДНЫЙ...

9 марта 1964 года Советская Украина вместе с трудящимися всей нашей страны и прогрессивной общественностью мира отмечают 150-летие со дня рождения Тараса Григорьевича Шевченко.

Поэт, художник, мыслитель и революционер, Шевченко с исключительной правдивостью и художественной силой запечатлел в своем творчестве настроения и чаяния миллионных масс закрепощенного крестьянства, выступил певцом борьбы украинского народа с царизмом и крепостничеством во имя национального и социального освобождения. Вместе с тем он раскрыл силу и красоту родного языка, вывел украинскую литературу на широкий путь развития и стал писателем мирового значения.

История человечества знает немало примеров, когда из самых глубин народных выходили выдающиеся деятели науки и литературы и замечательные творцы искусства. Одним из наиболее выдающихся «полномочных представителей» народных масс в области литературы, искусства и общественной мысли был и гениальный поэт Украины Тарас Шевченко. «Мы глубоко убеждены, — писал один из современников поэта, — что в народе таятся громадные умственные и нравственные силы, о которых свидетельствуют университетский ум Ломоносова, нежный талант Кольцова, поэтический гений Шевченко».¹ В этих словах превосходно выражена мысль об общественной значимости и исторической правомочности появления великого Кобзаря. Но, подобно Ломоносову и Кольцову, Шевченко — явление феноменальное, как в силу необыкновенной своей одаренности, так и вследствие исключительности своей биографии и самых путей утверждения своего в литературе и искусстве. Печатью самобытности было отмечено не только творчество, но и весь гражданский и нравственный облик поэта-художника.

Плоть от плоти своего народа, сын крепостного и сам до 24-летнего возраста остававшийся крепостным, Тарас Шевченко с детских лет был потрясен зрелищем бескрайнего моря народных страданий и на собственном опыте испытал все унижения и невзгоды подневольной жизни.

В начале 1831 года в качестве комнатного козачка помещика П. В. Энгельгардта Шевченко попадает в Петербург. Вскоре он был отдан в обучение владельцу мастерской «по живописной части» В. Г. Ширяеву. В автобиографии поэта сказано, что помещик-хозяин пошел на это только «вняв неотступной моей просьбе».² Таким образом, уже здесь мы встречаемся не с безропотным «крепаком», а с юношей, осознавшим свое человеческое достоинство и полным непреклонного желанием сражаться с судьбой.

Определенной программы обучения в мастерской не было. Как правило, оно подменялось тяжелым и напряженным трудом по росписи го-

¹ С. С. Шапко в. Спасители отечества из Казани. «Дело», 1876, № 4, стр. 91.

² Тарас Шевченко, Повне зібрання творів в десяти томах, т. V, Видавництво АН УРСР, Київ, 1939—1957, стр. 227. Ссылки на это издание приводятся в тексте.

родских зданий. Лелеявший мечту стать настоящим живописцем, Шевченко благодаря своим способностям и настойчивости сумел обратить на себя внимание, сперва — руководителей Общества поощрения художников, а затем художника-земляка И. М. Сошенко, писателей Е. П. Гребенки и В. А. Жуковского, знаменитого художника К. П. Брюллова и других влиятельных лиц. При их содействии и помощи в апреле 1838 года Шевченко получил освобождение от крепостной зависимости и стал учеником Академии художеств, вырвавшись тем самым из ужасных тисков полного бесправия и крайней нужды, которые были уделом подавляющего большинства народных талантов в ту эпоху. Но чем более возвышался Шевченко по своему положению в обществе и умственному развитию над породившей его социальной средой, тем все более проникался он стремлением отдать все свое могучее дарование угнетенным. «Возвеличу», — заявлял поэт, —

Малих отих рабів німих,
Я на сторожі коло їх
Поставлю слово.

(II, 274)

Поэтическая деятельность Шевченко началась в Петербурге во второй половине 30-х годов, а в марте 1840 года, всего лишь через два года после получения свободы, молодой поэт выпускает первый сборник своих стихотворений под названием «Кобзарь». Стихотворением «Думи мої, думи мої», которым открывался сборник, начинающий автор повелительно вводил читателя в мир своих выстрадавших поэтических образов и раздумий.

Думи мої, думи мої,
Лихо мені з вами!
Нащо стали на папері
Сумними рядами? .

Чом вас вітер не розвіяв
В степу як пилину?
Чом вас лихо не приспало,
Як свою дитину? .

(I, 21)

В «Кобзаре» 1840 года издания было напечатано всего лишь восемь произведений, но по своему значению он решительно превосходил все то, что существовало до него в украинской литературе. Уже здесь Шевченко показал себя полновластным хозяином поэтической формы и той тайны творчества, которая называется народностью искусства. Неповторимо глубокое постижение духа и строя украинской народной песни автором «Кобзаря» не вызывало сомнений даже у злейших его врагов; при этом оно сочеталось у него с безупречным художественным чутьем, подкупающей искренностью и ясностью его поэтического слова. Тем не менее определение «народный поэт» применительно к Шевченко наполнялось в разное время далеко не одним и тем же содержанием. Созданная украинским буржуазно-националистическим шевченковедением (П. А. Кулиш, А. Я. Конисский и др.) «концепция» народности поэта исключала какое бы то ни было положительное воздействие на него современных ему прогрессивных идей и литературных традиций. Странники этой «концепции» в революционности Шевченко видели привнесенное извне и чуждое украинскому национальному психическому складу начало. Буржуазное литературоведение в целом игнорировало то важное обстоятельство, что автор «Кобзаря» был народным поэтом в самом высоком значении этого слова. Вобрав в себя все богатства украинского народно-поэтического творчества, поэзия Шевченко возвысилась до выражения наиболее передовых философских, политических и эстетических идей эпохи.

Тенденция к слиянию народности с передовой идейностью в творчестве Шевченко обнаружилась очень рано. Правда, в первой книжке стихотворений украинского поэта еще не было осознанных призывов к революционному действию, тем не менее она была глубоко проникнута чув-

ством стихийного протеста против общественной несправедливости, порывами к лучшим формам социального устройства.

В свое время украинский помещик П. И. Мартос, на средства которого был издан в 1840 году «Кобзарь», изображал дело так, будто молодой автор не придавал никакого значения своим стихам и писал их для собственного развлечения, а не с целью популяризации, и поэтому они валялись у него и на полу, и под кроватью, покрытые пылью, и если бы не он, Мартос, пришедший в начале 1840 года к Шевченко заказать ему свой портрет и вскоре сблизившийся с молодым поэтом-художником, то «Кобзарь» никогда не увидел бы света.³

Точка зрения Мартоса решительным образом отвергнута советским шевченковедением. У нас нет теперь никаких сомнений в том, что задолго до своей встречи с Мартосом Шевченко был охвачен страстным стремлением овладеть поэтическим искусством и приобщиться к литературному движению. Относительно недавно стал известен и такой поразительный факт: издание «Кобзаря» 1840 года существует, как оказалось, не только в широко известной редакции, где наличествует ряд цензурных купюр, но и в другой редакции, где цензурные пропуски восстановлены.⁴ В этом эпизоде перед нами предстает не просящий милости у судьбы поэт-самоучка, а писатель-гражданин, не отступающий перед трудностями и вступивший в борьбу с царской цензурой.

Отдавая, однако, должное умственному и нравственному развитию молодого украинского поэта-художника, мы должны, разумеется, признать, что в решении многих вопросов ему приходилось опираться не только на собственные познания, но и на интуицию, на социальный инстинкт.

Классовый инстинкт выводил молодого автора на путь прославления простого человека, его богатого внутреннего мира, его духовной красоты. Герои ранних произведений Шевченко — это наиболее обездоленные существа — сирота-батрак, крепостные девушки и женщины, страдающие от притеснений и прихотей сильных. Чрезвычайно показательна в этом отношении поэма «Катерина».

Сюжет поэмы был не нов. Судьба обольщенной девушки, начиная с «Бедной Лизы» Карамзина, привлекала внимание многих авторов как в русской, так и в украинской литературе. Взяв этот сюжет, Шевченко наполнил его новым содержанием. У его предшественников драматическая ситуация возникала как результат извечных законов человеческой природы, как результат пагубного воздействия страстей. У Шевченко плачевная судьба героини — порождение общественной несправедливости. Катерина и ее сын — жертвы социального бесправия.

Никто из писавших на аналогичную тему не мог сблизиться с судьбой своей героини в такой степени, как Шевченко. Поэт не освобождает человека от нравственных норм, но он полностью амнистирует Катерину и возводит ее на пьедестал, ибо простая крестьянская девушка в данном случае только жертва обмана. Определяя ценность личности мерою наличия в ней «человеческих» качеств, Шевченко отбрасывает как ненужный хлам все прочие критерии, независимо от того, кем они навязаны или выработаны, — государством, церковью или даже простой, но забитой, невежественной и суеверной массой. В мировой литературе того времени трудно найти произведение, в котором образ обманутой и поруганной девушки был бы освещен с позиций именно *такого* демократизма и *такого* гуманизма.

³ См.: П. Мартос. Эпизоды из жизни Шевченко. «Вестник Юго-Западной России», 1863, т. IV, отд. 4, стр. 32—42.

⁴ Ю. Меженко. Невідоме видання «Кобзаря» 1840 року. «Літературна газета» (Київ), 1961, 3 березня.

В произведениях на историческую тему («Иван Подкова», «Тарасова ночь», «К Основьяненко»), насыщенных глубинным романтическим пафосом, украинский поэт стремился пробудить национальное самосознание своего народа. В разработке исторической темы молодой автор не избежал некоторой идеализации украинского прошлого. В его ранних стихах классовая сущность так называемой «гетманщины» еще не была должным образом раскрыта. Примечательно все же, что уже в ранний период своего творчества Шевченко сумел обнаружить социальную борьбу в прошлом своего народа и, таким образом, собственными усилиями нашел правильный путь в разработке исторической темы. В поэме «Тарасова ночь» устремления простой казацкой массы находятся в непримиримом противоречии с интересами «ляшків-панків» (I, 66). Позднее в послании «И мертвым, и живым» (1845), а затем и в других своих произведениях поэт безжалостно сорвал ореол величия с казацкой старшиной и мнимых вождей украинского народа. Пригвоздив их к позорному столбу, он с таким же пафосом и гневом развенчивал и их потомков, современное ему украинское дворянство.

Общественное сознание Шевченко уже в момент первого выхода в свет «Кобзаря» утверждалось на пути к революционному мировоззрению. Знаменательным в этом отношении было появление шевченковской поэмы «Гайдамаки» (1841), изображающей восстание украинского крестьянства против польской шляхты в 1768 году.

В своем новом произведении молодой поэт опирался на традицию эпических жанров как в украинской, так и в русской поэзии, и тем не менее его замысел отличался необыкновенной смелостью. Ни украинская, ни русская литература не имели в то время опыта создания поэмы, написанной о народе и народной как по своему содержанию, выражающему коренные интересы масс, так и по форме, опирающейся на народно-поэтическое творчество. Шевченко в «Гайдамаках» дал, по существу, первый образец такой поэмы. В них нет героев в традиционном смысле этого слова. Подлинный герой произведения — народ, стихия крестьянского движения.

Объективно поэма «Гайдамаки», главным действующим лицом которой выступал батрак Ярема, участник крестьянского восстания и народный мститель, являлась произведением глубоко антикрепостническим и революционным. Но революционность автора была еще в значительной мере стихийной, а его положительный идеал недостаточно ясным и осознанным. Социальный элемент в поэме как бы заслонялся национальным, вследствие чего ее подлинный антикрепостнический смысл был далеко не сразу оценен прогрессивной критикой.

Поэзия Шевченко возникла на основе национально-освободительной борьбы украинского народа и лучших традиций его культуры и народной песни, но она вобрала в себя также богатейший опыт русской культуры и русского литературного движения и прежде всего творческие достижения Пушкина и Рылеева, Крылова и Грибоедова, Гоголя и Лермонтова. Ранние поэтические замыслы украинского поэта возникали в атмосфере оживленных литературных споров о классицизме и романтизме, о народности, о роли фольклора и простонародного языка в развитии литературы.

Благотворное воздействие на формирование общественных взглядов народного поэта Украины оказало русское освободительное движение. Шевченко никогда не переставал преклоняться перед подвигом «первых русских благовестителей свободы» (V, 119), как называл он декабристов. Литературный кружок писателя Е. П. Гребенки открывал перед автором «Кобзаря» широкие возможности для общения с той частью петербургской молодежи, которая с увлечением читала статьи Белинского и в учении западноевропейских социалистов-утопистов искала ответа на вопросы российской действительности. Мог ли избежать воздействия идей

великого русского критика автор «Кобзаря»? Вопрос этот, поставленный еще в 80-е годы Иваном Франко, продолжает до сих пор волновать умы историков литературы.

Белинский был первым представителем революционно-демократической мысли в России. Даже своими подцензурными статьями начиная с 1840 года критик умел воспитывать в читателях ненависть к мерзостям крепостнического строя и пропагандировать идею о новом обществе. Несколько позднее, приблизительно с середины 40-х годов, к мысли о новом общественном устройстве приходит и великий украинский поэт. Шевченко чутко прислушивался к могучей проповеди великого русского критика. В современном советском шевченковедении считается общепризнанным, что целый ряд эстетических суждений и оценок украинского поэта выходит к идеям Белинского. Отзвуки их мы находим и во враждебных отзывах Шевченко об охранительной печати, в частности о «Библиотеке для чтения» и «Северной пчеле», и в последовательной и страстной защите им «гоголевского направления», и в суждениях о творчестве А. А. Бестужева-Марлинского, Эжена Сю и других писателей. Вместе с тем в изучении темы «Белинский и Шевченко» нашей литературной наукой существует до сих пор ряд досадных пробелов, что может быть проиллюстрировано хотя бы на следующих примерах.

Прошло ровно четверть века с тех пор, как профессором В. С. Спиридоновым была весьма обстоятельно аргументирована мысль о принадлежности Белинскому анонимной рецензии на «Кобзаря», напечатанной в пятой книжке «Отечественных записок» за 1840 год. За истекшие 25 лет аргументация В. С. Спиридонова, неоднократно поддержанная и дополненная другими литературоведами, не встретила ни одного опровержения. И поэтому вызывают законное недоумение то и дело появляющиеся в последнее время в наших научных изданиях попытки не *опровергнуть*, а просто *отвергнуть* эту аргументацию без всяких усилий и оснований при помощи магических слов вроде: «В. С. Спиридонову и его сторонникам не удалось доказать. . .»⁵ Суммируя эти попытки, можно в свою очередь заявить, что их авторам пока что также не удалось опровергнуть ни одного из существующих доводов в пользу принадлежности упомянутой рецензии перу Белинского.

В крайне неразработанном состоянии находится также в советском литературоведении вопрос об интерпретации письма Белинского к П. В. Анненкову от 1—10 декабря 1847 года. Как известно, в этом письме, комментируя арест и ссылку украинского поэта-революционера, критик писал: «Шевченку послали на Кавказ солдатом. Мне не жаль его, будь я его судьей, я сделал бы не меньше».⁶ Большинство исследователей до сих пор традиционно полагает, что в цитируемом письме Белинский излагал свои истинные взгляды, хотя существует и другое мнение, согласно которому в этом письме критик не мог быть откровенным и ставил перед собой задачу не только информации, но и дезинформации своего адресата. Можно сказать наперед, что споры в нашей науке о письме Белинского к Анненкову от 1—10 декабря 1847 года будут продолжаться еще долго, но тем не менее бесспорно и то, что традиционная точка зрения на это письмо (по крайней мере, в своем чистом виде) в свете новых данных настоятельно требует пересмотра. Дело в том, что об этом письме сам Анненков впоследствии заявил, что на нем лежит печать «величайшей

⁵ См. например: А. Лаврецкий, В. Потявин. Труды и дни Белинского. «Вопросы литературы», 1960, № 1, стр. 225; С. М а ш и н с к и й. Заметки о журнале «Русская литература» (1958—1960). «Вопросы литературы», 1961, № 5, стр. 208—209; М. П а р х о м е н к о. Шевченковедение на новом этапе. «Вопросы литературы», 1963, № 8, стр. 195—196.

⁶ В. Г. Б е л и н с к и й, Полное собрание сочинений, т. XII, Изд. АН СССР, М., 1956, стр. 440.

сдержанности».⁷ Исследователи обязаны объяснить теперь, почему же Белинский, так откровенно беседовавший с Анненковым в Париже в августе 1847 года, в декабре этого же года в письме, poslanном с «верной оказией», вынужден был соблюдать «величайшую сдержанность». Упорно уклоняясь от такого рода объяснения, большинство авторов, писавших об этом письме в последние годы, рассуждает примерно так: в июле 1847 года Белинский мужественно и откровенно изложил свое политическое кредо Гоголю, с такой же откровенностью высказал он в декабре этого же года свои настроения и мысли и П. В. Анненкову.⁸ Названные исследователи игнорируют при этом опирающееся на свидетельство одного из близких к Белинскому лиц важное указание А. Н. Пыпина о том, что уже в сентябре 1847 года, на обратном пути в Россию, критик обратил внимание на проявляемый к нему интерес агентов III отделения и что, вернувшись в Петербург, он опасался, как бы до сведения властей не дошло его зальцбруннское письмо к Гоголю и т. д.⁹ Естественно, что в изменившихся условиях должна была резко измениться как тактика Белинского-журналиста, так и отношение его ко многим из окружавших его «друзей».

Даже на основании только двух приведенных примеров можно уже судить о той большой и ответственной работе, которую предстоит выполнить исследователям темы «Белинский и Шевченко».

Годы 1844—1845 были периодом утверждения Шевченко на позициях революционного демократизма и реализма, периодом его не только поэтической, но и политической зрелости. В поисках общественного идеала поэт обращает свои взоры к будущему, к идеям утопического социализма, сочетая их с проповедью непримиримой борьбы против помещичьего землевладения и всей системы экономических и правовых отношений, охраняемых монархическим государством. Большинство стихотворений этого времени было создано под непосредственным впечатлением той действительности, которую поэт наблюдал во время своих поездок по Украине.

В знаменитой поэме «Сон» (1844) Шевченко дал непревзойденную сатирическую картину самодержавно-крепостнического государства, построенного на безжалостном угнетении и эксплуатации народных масс. Изображая устрашающую силу этого механизма, автор вскрыл также и его слабые стороны, показав, что самодержавие носит антинародный характер и тем самым оно лишено внутренних жизнеспособных сил и держится только на системе казарменного автоматизма и субординации. Поставив в этой поэме вопрос:

Чи довго ще на сім світі
Катам панувати? —

(I, 243)

и отвечая на него решительным отрицанием, поэт выражал твердую убежденность в неотвратимой гибели самодержавия. Антинародный государственный строй может существовать лишь до тех пор, пока забиты и неподвижны «малі діти» — народные массы. Но он погибнет вместе с восходом солнца, как только «малі діти на ворога стануть» (I, 241). В послании «И мертвым, и живым» (1845) Шевченко обращался к отдельным представителям господствующих классов не только со словами осуждения, но и убеждения:

⁷ Письмо Анненкова к А. Н. Пыпину от 2 февраля 1874 года, в котором содержится это заявление, опубликовано относительно недавно К. П. Богаевской («Литературное наследство», т. 67, 1959, стр. 540).

⁸ Эту наивную точку зрения разделяет, к сожалению, и И. И. Басс, автор содержательной и ценной в целом работы «В. Г. Белинський і українська література 30—40-х років XIX ст.» (Київ, 1963).

⁹ А. Н. Пыпин. Белинский, его жизнь и переписка, т. II, СПб., 1876, стр. 329—330.

Схаменіться, недолюди,
 Діти юродиві!

 Схаменіться! Будьте люди,
 Бо лихо вам буде.
 Розкуються незабаром
 Заковані люди.

(I, 330—331) .

Было бы ошибкой видеть в этих словах мечту о классовой гармонии, надежду на разрешение социальных противоречий мирными путями. В этих призывах, обращенных прежде всего к образованному меньшинству, отразилось стремление поэта — просветителя и гуманиста прийти к торжеству своего идеала ценою наименьших жертв, а отнюдь не отрицание методов насильственного свержения существующего строя. Известно, что большие надежды на преобразующую общественную роль «„особенного класса“, состоящего из людей всех сословий, сблизившихся между собою через образование», возлагал в 1846 году и Белинский.¹⁰

Мысль о возможности установления справедливых социальных отношений путем правительственных реформ была чужда великому украинскому поэту. От таких его произведений, как «Холодный Яр», «Завещание» (1845) и другие, веяло духом классовой борьбы. Они были проникнуты мыслью, что разорвать цепи рабства народ сможет только собственными усилиями. Прямым призывом к крестьянскому восстанию и верою в святость революционной борьбы с царизмом и крепостничеством звучали бессмертные строки шевченковского «Заповіта»:

. . . вставайте,
 Кайдани порвіте
 І вражою, злою кров'ю
 Волю окропіте.

(I, 354)

Автор «Кобзаря» непоколебимо верил в наступление того дня, когда «повіе огонь новий з Холодного Яру» (I, 339) и когда простые люди «окують царей неситих в залізніі пута» и «осудять губителей судом своїм правим» (I, 347).

Пафосом непримиримого отрицания окружающей действительности насыщена поэма Шевченко «Кавказ» (1845). В ней впервые не только в украинской, но и в русской литературе было дано сатирическое изображение Российской империи как огромной «тюрьмы народов».

С огромной силой убеждения и художественной выразительности поэт показал, что проводимая царизмом политика национального угнетения является вместе с тем и политической угнетения социального. Призывая народы России к единению и совместной борьбе с общим врагом, Шевченко был твердо убежден, что тираноборческий дух легендарного Прометея овладеет народными массами и на обломках царизма «встанет правда, встанет воля» (I, 326).

Политическая лирика Шевченко была воодушевлена революционной страстностью, она в полном смысле этого слова была поэзией глубоко прочувствованной и выстраданной, и это необыкновенно поднимало ее пропагандистское значение. Гениальный поэт Украины с презрением смотрел на писателей, которые, «заплющивши письменні очі» (II, 53), уходили от противоречий социальной действительности или же убаюкивали читателя безделками «чистого искусства». Когда в 1855 году вырвав-

¹⁰ В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. IX, стр. 432.

шийся на свободу Бр. Залеский, желая доставить что-либо приятное ссыльному поэту, прислал ему книжку «Киевские ландыши», изданную на украинском языке братьями-графоманами Гр. и Ст. Карпенко, Шевченко отвечал адресату: «Бедные земляки мои думают, что на своем народном наречии они имеют полное право не только что писать всякую чепуху, но даже и печатать! Бедные! и больше ничего. Мне даже совестно и благодарить тебя за эту, во всех отношениях тощую, книжонку» (VI, 103). Автор «Кобзаря» мечтал о действенном слове, которое бы «пламенем взялось» и «людям сердце розтопило» (II, 251), и его собственная поэзия как нельзя лучше отвечала этому идеалу.

В истории мировой революционной поэзии не так уж много найдется явлений, которые можно поставить рядом с политической лирикой Шевченко, и совсем нет явлений, которые бы ее превзошли по силе, глубине и искренности чувства, по гармоническому единству революционной мысли с подлинно поэтическим ее выражением.

Стихи поэта-революционера, разоблачавшие злодеяния царизма, не могли, разумеется, появляться в то время в легальной печати, а распространялись тайно. Функцию своеобразного печатного станка взяли на себя в 40-е годы некоторые студенческие кружки и в особенности Кирилло-Мефодиевское общество, участники которого деятельно распространяли запретные стихи Шевченко в списках.

Учрежденное в конце 1845 — начале 1846 года, при ближайшем участии Н. И. Костомарова и Н. И. Гулака, тайное Кирилло-Мефодиевское общество, или братство, ставило перед собой широкие цели. В его программных документах отстаивалась необходимость отмены крепостного права, объединение всех славянских государств в единую федерацию и распространение просвещения в народе.

Кирилло-Мефодиевское общество вбирало в себя преимущественно передовую часть студенческой молодежи Киевского университета. Однако в условиях 40-х годов с их слабой дифференциацией общественных сил, настроенных оппозиционно к самодержавию, в общество вошли весьма разнородные в идейном отношении элементы: наряду с радикально мыслящей молодежью здесь были и либерально (Н. И. Костомаров) и националистически (П. А. Кулиш) настроенные «братчики». Часть общества находилась под заметным воздействием московских славянофилов. Не состоя членом тайного общества формально, Шевченко с 1846 года принимал активное участие в его деятельности.

Еще в недавнее время в советском шевченковедении усиленно проявлялась тенденция отрицать положительную историческую роль Кирилло-Мефодиевского общества. Причастность к нему великого поэта некоторые исследователи склонны были рассматривать как его политическую ошибку. Среди участников названного общества, если не считать автора «Кобзаря», действительно трудно найти такого, идеологию которого можно было бы назвать подлинно революционно-демократической. Но можно ли на этом основании зачеркнуть прогрессивную общественную роль Кирилло-Мефодиевского общества? В 40-е годы прошлого века, когда процесс отделения демократических тенденций от либеральных только еще начинался, пережитки дворянского и буржуазного либерализма были свойственны многим прогрессивно мыслящим людям. Известно, что в это время либерализмом сильно «грешили» как друзья Белинского и Герцена, так и участники кружков М. В. Буташевича-Петрашевского и многие другие передовые деятели эпохи.

Если мы сопоставим общественно-политические взгляды таких двух участников Кирилло-Мефодиевского общества, как Шевченко и Кулиш, то мы обнаружим в них очень мало общего. На исходе своей жизни, цитируя шевченковский «Заповіт» (слова о «вражеской крови»), Кулиш писал: «Чью вражескую кровь, какого врага кровь должен был Днепр-Славутич

нести в Черное море, и за что — про это мы спросим у рассудительных людей, а не у такого безумца («божевільного»), каким был Шевченко при всем своем гениальном даре слова». ¹¹

Мы, конечно, учитываем, что политическое мировоззрение раннего Кулиша было более либеральным, чем в 90-е годы, но и в 40-е годы политическая программа Шевченко никаких симпатий у него не вызывала. Однако физиономия Кулиша отнюдь не определяла политического лица тайного общества в целом. В него входили такие прогрессивно настроенные лица, как Н. И. Гулак, Н. И. Савич, Ю. Л. Андрузский и другие, составлявшие его радикальное крыло, возглавленное Шевченко. Деятельность поэта-революционера в этом обществе была своеобразным видом *тактического* сотрудничества с либералами, а не *идейного* компромисса с ними. По свидетельству Н. И. Костомарова, поэт пришел в общество вполне сформировавшимся в идейном отношении. Влияние его на «братчиков» было огромным. С другой стороны, общество заметно расширяло перед поэтом его возможности для пропаганды революционных идей и обогащало его опытом конспиративной деятельности.

В марте 1847 года Кирилло-Мефодиевское общество было раскрыто правительством и все его участники заключены в казематы. Арестованного 5 апреля 1847 года при въезде в Киев Шевченко доставили в Петербург. Доказать формальную принадлежность поэта к тайному обществу следствию не удалось. Но в бумагах Шевченко была обнаружена рукопись его антикрепостнической и антиправительственной поэмы «Сон», и это определило исход дела: из всех «братчиков» Шевченко получил самую тяжелую кару. Он был сослан на неопределенный срок солдатом в Оренбургские степи «за сочинение, — как гласил приговор, — возмутительных и в высшей степени дерзких стихотворений». Тяжесть этой кары усугублялась дополнительной резолюцией самого царя, подвергавшей поэта-художника строжайшему надзору «с запрещением писать и рисовать». «Трибунал под председательством самого сатаны не мог бы произнести такого холодного, нечеловеческого приговора», — писал об этом впоследствии Шевченко в своем «Дневнике» (V, 12).

Десятилетняя ссылка пагубно отразилась на здоровье поэта и явилась причиной его глубоких нравственных страданий, нашедших отражение в его потрясающей силы исповедях-стихах. Но она не сломила душевных сил и не изменила убеждений поэта-революционера.

Всего только через несколько дней после того, как фельдъегерская тройка доставила Шевченко на место первоначальной ссылки, в Оренбург, поэт, встретившись со своими земляками, Ф. М. Лазаревским и С. П. Левицким, продекламировал им свои поэмы «Сон» и «Кавказ», т. е. как раз те произведения, которые главным образом и навлекли на него столь тяжелую кару. ¹²

Поэму «Сон» Шевченко читал своим товарищам по изгнанию и в период наиболее строгой своей изоляции, в 50-е годы, документальным подтверждением чего является обнаруженный недавно список названной поэмы, изготовленный в Новопетровском укреплении и датированный 1852 годом. ¹³

В ссылке Шевченко систематически нарушал тяготевшее над ним запрещение писать и рисовать, несмотря на то, что это нарушение могло

¹¹ П. А. Кулиш, Сочинения и письма, т. III, Киев, 1909, примечания, стр. 29.

¹² Ф. М. Лазаревский. Из воспоминаний о Шевченко. «Киевская старина», 1899, № 2, стр. 153—154.

¹³ См.: Л. Ф. Хинкулов. Невідомі рукописи й документи з архівів Новопетровського укріплення. «Збірник праць ювілейної десятої наукової, шевченківської конференції». Київ, 1962, стр. 263—274.

повлечь за собою усиление кары. Отдавая себе отчет в возможных нежелательных последствиях творчества, поэт писал:

Розважаю
Дурную голову свою,
Та кайдани собі кую
(Як ці добродії дознають).
Та вже ж нехай хоч розіпнуть,
А я без вірші не улежу.

(II, 161)

Стихи, созданные в ссылке, Шевченко вписывал в специально изготовленные маленького размера тетрадки, которые тщательно прятал от глаз начальства. Напомним, что поэт шел при этом на двойной риск: ведь это были не сочинения «чистого искусства», а революционные стихи-прокламации, которые сами по себе могли стать поводом для нового ареста.

В 1848 году поэтом был создан цикл стихотворений «Цари», основная идея которого состояла в дискредитации самого принципа самодержавной власти. Во вступлении к этому циклу, обращаясь к музе, автор заявлял:

Бо як по правді вам сказати,
То дуже вже й мені самому
Обридли тії мужики,
Та паничі, та покритки.
Хотілося б зогнати оскому
На коронованих главах,

На тих помазаниках божих. . .
Так що ж, не втну, а як поможеш
Та як покажеш, як тих птах
Скубуть і патрають, то може
І ми б подержали в руках
Святопомазану чуприну.

(II, 67)

Воистину колоссальным запасом исторического оптимизма и веры в светлое будущее надо было обладать, чтобы отстаивать свои убеждения с такой непреклонностью, как это делал томившийся в ссылке украинский поэт-революционер.

Менее одиозным, с точки зрения начальства, было творчество Шевченко-живописца, но и оно внушало зрителю явно оппозиционные настроения. Вот как, например, выглядела, по воспоминаниям очевидца, одна из не дошедших до нас картин, которую нарисовал Шевченко в 1847 году в городе Орске. «Она представляла из себя малороссийскую деревушку со всеми аксессуарами южной природы. На первом плане картины выделяется ветхая хатка, обнесенная высоким частоколом. Синеватое небо местами затянуто тучками, из-за которых по временам вырываются солнечные лучи и, проникая через отверстие из частокола, живописными узорами золотят хатку. Лицом к ограде и затылком к избушке стоит тогдашний министр народного просвещения; в распростертых руках он держит развернутую солдатскую шинель и пытается загородить ею проникающие чрез ограду солнечные лучи и таким образом оставить в тени убогую хатку».¹⁴

Многие шевченковские картины и наброски, написанные в Новопетровске и посвященные местной теме («Байгуши под окном» и др.), пробуждали сочувственное отношение к казахскому народу и возмущение колонизаторской политикой царизма.

В стихотворении «О думи мої, о славо злая!», написанном в 1847 году в Орской крепости, в стихе «Караюсь, мучусь. . . але не каюсь!» Шевченко ярко выразил свою доходящую до самозабвения верность революционным убеждениям, которую он непоколебимо пронес через десятилетний период изгнания. Встречавшийся с украинским поэтом в 1850 году польский политический ссыльный Я. Гордон писал о нем: «Независимая

¹⁴ А. М а т о в. Воспоминания о Т. Г. Шевченко. «Русские ведомости», 1895, № 242, 2 сентября, стр. 3.

Украина была целью его мечтаний, революция была его стремлением. Можно сказать, что он глядел на мир сквозь красные очки». ¹⁵ Накануне своего отъезда из Новопетровска поэт с полным правом заявлял о себе: «Мне кажется, что я точно тот же, что и был десять лет тому назад. Ни одна черта в моем внутреннем образе не изменилась» (V, 14).

Лишенный элементарных гражданских прав, подвергаемый непрекращающимся издевательствам и оскорблениям со стороны ревностных слуг венценосного тирана, Шевченко не смирился и не покорился, так как его великое сердце пылало огнем неугасимой любви к людям. Любовь к миллионам крепостных рабов и ощущение своей нерасторжимой связи с ними постоянно наполняли неиссякаемой нравственной силой поэта-революционера и воодушевляли его на неравную борьбу с самодержавием.

Условия ссылки, особенно в период 1850—1857 годов, крайне ограничили общение Шевченко с внешним миром. Однако и на мрачном фоне новопетровской жизни у поэта были отдельные отрадные впечатления, интересные знакомства и встречи. К периоду ссылки относится знакомство Шевченко с осужденными по делу петрашевцев А. В. Ханьковым, А. Н. Плещевым и А. И. Макшеевым. У ссылного Шевченко постоянно существовали добрые взаимоотношения с солдатами, однообразную жизнь которых с ее трудностями и тревогами поэту приходилось разделять. Но хотя солдатская масса и служила для Шевченко предметом его вдумчивых наблюдений, общение с ней не могло, разумеется, удовлетворить культурных и умственных запросов поэта. Еще в меньшей мере могло отвечать этим запросам общение с офицерами Новопетровского гарнизона, умственные интересы которых, за редчайшими исключениями, были чрезвычайно ограниченными. Но даже и в этой офицерской среде Шевченко нашел лиц, питавших к нему глубокое сочувствие. И если в первое время пребывания в Новопетровске над поэтом издевался ротный командир штабс-капитан Потапов, то в то же время с большим расположением к нему относился комендант крепости Маевский. Благодаря вмешательству последнего летом 1851 года Шевченко принял участие в экспедиции в горы Каратау, где встретился со своими старыми друзьями, Бр. Залеским и Л. Турно. Добрые отношения установились у поэта и с новым комендантом Новопетровского укрепления И. П. Усковым, назначенным весной 1853 года. Усков всячески способствовал смягчению тяжелых условий ссылки украинского поэта, что в значительной мере помогло ему возобновить свою литературную деятельность, прерванную в 1850 году.

Скудость и однообразие культурной жизни Новопетровска изредка нарушались приездами видных деятелей русской науки и литературы. Шевченко встречался там с К.-Э. Бэрром, А. Ф. Головачевым, Н. Я. Данилевским, А. Ф. Писемским, П. П. Семеновым-Тянь-Шанским.

Огромная роль в духовной жизни Шевченко в 1850—1857 годы принадлежала книгам. Доступ к ним был для него крайне ограничен. Было бы неверно, однако, полагать, как это делали ранее многие исследователи, что в ссылке поэт, кроме библии и официальной газеты «Русский инвалид», почти ничего не читал. Из газет, кроме «Русского инвалида», в руки Шевченко систематически попадали «Северная пчела» и «Оренбургские губернские ведомости»; из журналов поэт имел доступ к «Библиотеке для чтения» почти за все годы ее существования; попадали в его руки, хотя и не регулярно, также журналы «Москвитянин», «Отечественные записки» и «Современник». Последним двум журналам Шевченко отдавал предпочтение перед другими периодическими изданиями, и это

¹⁵ J. Gordon. *Soldat czyli sześć lat w Orenburgu i Uralsku*. Lipsk, 1865, стр. 104.

лишний раз свидетельствует о том, что общественно-литературные позиции не только газеты Булгарина и журнала Сенковского, но и славянофильского «Москвитянина» сочувствия у него не вызывали. Следует отметить, что уже в годы ссылки, читая «Современник», Шевченко смог познакомиться с рядом важнейших критико-публицистических статей Н. Г. Чернышевского.

В своих написанных на русском языке повестях, «Дневнике» и переписке периода ссылки поэт высказывается по самым разнообразным философским, историческим, социально-экономическим и литературным вопросам. В круг размышлений автора «Кобзаря» входили внутренняя и внешняя политика русского самодержавия, идеи французских энциклопедистов, «Эстетика» Либельта, «Замогильные записки» Шатобриана, романы Дюма-отца и десятки других явлений общественной и литературной жизни.

Основным же вопросом, над которым напряженно работала в эти годы мысль Шевченко, был вопрос о том, каким образом и когда может и должен произойти революционный переворот в России.

Вопрос этот с неизбежностью возникал в сознании поэта-мыслителя и тогда, когда он в своем «Дневнике» пророчески писал о значении великого детища Фүльтона и Уатта (т. е., по нашей терминологии, о революционизирующей роли производительных сил), и когда он восхищался крестьянской войной в Китае, и когда определял значение французской буржуазной революции 1789 года или пылливо расспрашивал поляков-ссылных о подробностях польского восстания 1830 года. Беспоконная мысль поэта-изгнанника пробивалась вперед почти теми же путями, по которым в эти же годы развивались взгляды и русских революционных демократов.

«В течение около полувека, — писал В. И. Ленин, — примерно с 40-х и до 90-х годов прошлого века, передовая мысль в России, под гнетом невиданно дикого и реакционного царизма, жадно искала правильной революционной теории, следя с удивительным усердием и тщательностью за всяким и каждым „последним словом“ Европы и Америки в этой области».¹⁶

Приведенную ленинскую характеристику с полным правом можно отнести к идейным исканиям Шевченко вообще и к его общественно-политической мысли периода ссылки в особенности.

Шевченко покинул место своей ссылки в начале августа 1857 года, но только по истечении шести месяцев, в начале февраля 1858 года, после настойчивых ходатайств друзей, ему было разрешено вернуться в Петербург. Царские жандармы пристально следили за каждым шагом опального поэта, и тем не менее он устанавливает связи и знакомства с наиболее радикальными демократическими кругами и возобновляет свою революционную деятельность. Здесь, в Петербурге, окончательно оформляются его политические и философские (в частности, атеистические) взгляды.

В своих произведениях этого времени поэт-революционер разоблачал антинародную сущность царизма и проводимых им реформ, бичевал предательскую тактику либералов, нападал на церковь, охранявшую самодержавие авторитетом религии, будил народные массы от векового сна. Он выступал глашатаем крестьянской революции, сторонником разрешения крестьянского вопроса при помощи «топора». В то время, когда либеральная, а отчасти и демократическая общественность еще возлагала надежду на реформы сверху, Шевченко провозглашал:

¹⁶ В. И. Ленин, Сочинения, т. 31, стр. 9.

Добра не жди,
Не жди сподіваної волі, —
Вона заснула: царь Микола
її приспав. А щоб збудить

Хиренну волю, треба мпром,
Громадою обух сталить,
Та добре вигострить сокиру —
Та й заходиться вже будить.

(II, 273)

В годы революционной ситуации Шевченко продолжал оставаться не только поэтом-трибуном, но также глубоким и тонким лириком. Наряду с стихотворениями, исполненными высочайшего политического пафоса («Юродивый», «Подражание Иезекиилю, глава 19», «Царям все-светным, шинкарям» и многие другие), поэтом были написаны в последние годы жизни и такие, например, стихи, как «Над Дніпровую сагою» или «Ой маю, маю я оченята», в которых воссоздавались картины природы Украины и традиционные мотивы украинских народных песен. Эта струя шевченковского творчества, как и прежде, отражала положительный идеал мужицкого демократа, вековую мечту крепостного крестьянства о привольной жизни и счастье.

Революционная проповедь Шевченко не ограничивалась поэтическим творчеством. Когда летом 1859 года поэт отправился на Украину, он выступал там среди украинских крестьян как пропагандист и агитатор, вследствие чего подвергся новому аресту. По свидетельству современника, это кратковременное пребывание поэта на родине сделало его имя среди крестьян «мифическим».

Поэт-революционер сознавал, что царизм можно низвергнуть лишь объединенными усилиями народов, населяющих Россию, и что ведущая роль в борьбе с отживающим строем принадлежит русскому народу и его освободительному движению, и поэтому самых близких себе друзей и соратников он нашел в лагере русской революционной демократии. Сознанием неразрывного единства с русской передовой литературой проникнуты слова поэта, занесенные им 5 сентября 1857 года в «Дневник» после прочтения «Губернских очерков» М. Е. Салтыкова-Щедрина: «О Гоголь, наш бессмертный Гоголь! Какую радостию возрадовалася бы благородная душа твоя, увидя вокруг себя таких гениальных учеников своих» (V, 86). Зачитываясь «Полярной звездой» и «Колоколом», Шевченко выражал чувства своего восхищения А. И. Герценом, организовавшим вольную русскую печать, продемонстрировавшую перед общественностью всего мира силу свободного русского слова.

Сознанию Шевченко было чуждо чувство национальной ограниченности и предвзятости. Среди приятелей поэта были представители самых различных национальностей — украинцы, русские, поляки, белорусы, грузины и т. д. Дружба Шевченко с негритянским актером-трагиком Айрой Олдриджем, гастролировавшим в Петербурге в конце 1858 года, символизировала собой принципиальный характер шевченковского интернационализма. Интернационализм поэта вызывал чувство ненависти к нему среди националистически настроенной украинской буржуазной интеллигенции. «Братаньем с чужими» называл дружбу Шевченко с русскими и поляками украинский националист П. А. Кулиш.

Единение с «партией» Чернышевского составляло одну из важнейших сторон в деятельности Шевченко в годы первой революционной ситуации в России. Вопрос о связях украинского поэта-революционера с журналом «Современник» и его руководителями не привлекал внимания дореволюционных историков литературы. Благодаря усилиям советских шевченковедов (Н. Ф. Бельчиков, Е. П. Кирилук, А. В. Недзведский, Л. Ф. Хинкулов, Е. С. Шаблюковский, М. С. Шагинян и другие) мы обладаем теперь твердо установленными данными о том, что, помимо идейных контактов, у Шевченко были личные дружеские связи с Чернышевским и его соратниками. В декабре 1860 года с трибуны «Современника» вождь русской революционной демократии провозгласил: «Имея теперь такого»

поэта, как Шевченко, малорусская литература также не нуждается ни в чьей благосклонности».¹⁷ А в статье «Национальная бестактность», написанной летом 1861 года, свои рассуждения по сложнейшим вопросам классовой борьбы в Польше и на Украине Чернышевский подкреплял ссылками на авторитет великого украинского поэта.¹⁸ Воспоминания Е. Я. Колбасина о Н. И. Костомарове, из которых мы узнаем, что в числе посетителей в Балабинских номерах «иногда появлялись старые его знакомые, Н. Г. Чернышевский и Добролюбов»,¹⁹ дают основание считать, что в установлении личных контактов с Шевченко не менее Чернышевского был заинтересован также и Добролюбов. В своей рецензии 1860 года на «Кобзарь» критик писал: «Он поэт совершенно народный, такой, какого мы не можем указать у себя. Даже Кольцов нейдет с ним в сравнение, потому что складом своих мыслей и даже своими стремлениями иногда удаляется от народа. У Шевченко, напротив, весь круг его дум и сочувствий находится в совершенном соответствии со смыслом и строем народной жизни».²⁰ Цитируемая рецензия возникла, как следует полагать, в результате глубокого и всестороннего ознакомления критика не только с творчеством, но и с личностью украинского автора.

В начале 50-х годов М. В. Нечкиной, а вслед за нею и другими историками и литературоведами был выдвинут тезис о том, что наряду с Чернышевским, Добролюбовым, Герценом, Огаревым и другими видными русскими революционными демократами Шевченко принимал активное участие в деятельности революционного подполья конца 50-х—начала 60-х годов, того подполья, из которого во второй половине 1861 года, уже после смерти украинского поэта, возникло тайное общество «Земля и воля».²¹ Правомерность названного тезиса можно подкрепить рядом соображений и фактов. Страстные призывы великого украинского поэта-революционера приступить к пробуждению «хиренной воли» при помощи «секиры» были не только поэтическими образами и не гласом вопиющего в пустыне — они отражали заветное стремление поэта отдать все силы делу революционного переворота в России, осуществление которого без революционной «партии» было нереальным и более того — бессмысленным. С другой стороны, дошедшие до нас высказывания Чернышевского о Шевченко свидетельствуют о том, что русская революционная демократия возлагала на него большие надежды и как на поэта, и как на революционера, главу всего украинского национально-освободительного движения, сторонника и певца крестьянского восстания.

Известно, что в годы первой революционной ситуации возникло целое движение, направленное на организацию народных воскресных школ. Революционная демократия видела в этих школах не только могучий рычаг для повышения культурного уровня народных масс, но и действенное средство пропаганды в народе революционных идей.²² Примечательно, что в этот же период Шевченко выпустил свой «Букварь южно-русский», весь доход от которого был предназначен автором в фонд «наших убогих воскресных школ» (VI, 226). Есть веские основания считать,

¹⁷ Н. Г. Чернышевский, Полное собрание сочинений, т. VII, Гослитиздат, М., 1950, стр. 936.

¹⁸ Там же, стр. 775—794.

¹⁹ Е. Колбасин. Из воспоминаний о Н. И. Костомарове. «Одесский вестник», 1885, № 87, 19 октября, стр. 1.

²⁰ Н. А. Добролюбов, Полное собрание сочинений в шести томах, т. II, ГИХЛ, М., 1935, стр. 562—563.

²¹ М. В. Нечкина. Вопрос о русской революционной организации и планах открытого выступления в конце пятидесятых — начале шестидесятых годов. «Литературное наследство», т. 61, 1953, стр. 489.

²² См.: Я. Д. Пичуренко. К вопросу о роли воскресных школ в революционно-демократическом освободительном движении России в конце 50-х—начале 60-х годов. «Советская педагогика», 1954, № 5; Р. А. Таубин. Революционная пропаганда в воскресных школах. «Вопросы истории», 1956, № 8.

что в увлечении воскресными школами отразилась отнюдь не частная инициатива украинского поэта, что оно было своеобразной формой единения с русской революционной демократией. В одном из агентурных донесений, датированных 4 января 1861 года, имя Шевченко упоминается среди лиц, посещавших дом некоего Ососова, где обсуждался, в частности, вопрос о целесообразности издания за границей сочинений, запрещенных царской цензурой. Организатором названных собраний, по словам агента, был литератор Каблуков, «известный по делу о воскресных школах».²³ В ноябре 1860 года Шевченко участвовал в литературном чтении, устроенном петербургской общественностью в пользу воскресных школ. В литературе о поэте не отмечен, однако, следующий не менее важный факт. В марте 1861 года (вскоре после смерти Шевченко) в книжном магазине В. П. Печаткина продавался в пользу воскресных школ портрет украинского поэта.²⁴ Книжный магазин Печаткина был на подозрении у царской администрации, и вряд ли могут возникнуть сомнения в том, что названный портрет был издан по инициативе Петербургского совета воскресных школ, главную роль в котором в это время играли такие видные деятели революционного подполья, как С. С. Рымаренко и И. И. Аверкиев.²⁵

В годы своего сотрудничества в «Современнике» Чернышевскому удалось установить связи со многими участниками студенческого движения в стране и прежде всего — со студентами Петербургского университета. По свидетельству Г. З. Елисева, вождь русской революционной демократии «стоял к ним очень близко, лично и непосредственно руководил ими и, когда было нужно, горячо защищал их».²⁶ Это дает нам известное основание считать, что широкие связи Шевченко с прогрессивной молодежью в период революционной ситуации 1859—1861 годов являлись частью той программы руководства студенческим движением, которая была разработана Петербургским революционным центром во главе с Чернышевским.

В 1858—1861 годы личные контакты с украинским поэтом поддерживали студенты Е. Д. Южаков, А. А. Котляревский, М. Я. Свириденко, К. А. Ген, Н. М. Ядринцев, К. И. Белозерский, П. А. Гайдебуров, В. Хорошевский, А. Церетели и др.²⁷ Мы называем в этом перечне имена только тех учащихя, которые находились под наблюдением политической полиции или же подвергались репрессиям со стороны царского правительства. В действительности связи поэта с революционной молодежью были значительно шире. Названные выше Южаков, Котляревский, Ген, Свириденко, Хорошевский — это лица, с которыми поддерживал близкие отношения также Чернышевский. К числу лиц, являвшихся своеобразными посредниками между Шевченко и «партией» Чернышевского, принадлежал, по-видимому, и ученик Чернышевского по Саратовской гимназии, а с 1862 года — один из руководителей московского филиала «Земли и воли» Н. М. Шатилов. Основанием для такого вывода может служить список запретной шевченковской поэмы «Кавказ», обнаруженный полицией у Шатилова при его аресте в 1863 году. Ряд поправок в этом списке, по нашему убеждению, сделан рукою самого Шевченко.²⁸

²³ ЦГАОР, ф. 109, оп. 1, д. 1971.

²⁴ См.: «Русский мир», 1861, № 18, стр. 344.

²⁵ Примечателен в этой связи также следующий факт: когда в 1862 году был арестован студент Московского университета и организатор воскресных школ в Москве Аполлинарий Покровский, полиция обратила внимание на хранившийся у него портрет Шевченко (ЦГАОР, ф. 109, оп. 5, д. 230, 1862, ч. 4, литера А, лл. 137 и 176 об.).

²⁶ Шестидесятые годы. Воспоминания М. А. Антоновича и Г. З. Елисева. «Академия», 1933, стр. 297—298.

²⁷ Подробнее об этом см.: Ф. Я. П р и й м а. Шевченко і студентський рух періоду революційної ситуації в Росії 1859—1861 років. «Збірник праць дев'ятої наукової шевченківської конференції», Київ, 1961, стр. 127—160.

²⁸ См.: ЦГАОР, ф. 112, оп. 2, д. 62. Вопрос о вероятных личных связях Шевченко с Н. М. Шатиловым заслуживает специального исследования.

Симптоматично, что когда в 1859 году царское правительство предприняло строгие репрессивные меры по отношению к оппозиционно настроенному студенчеству Москвы и Казани, великий украинский поэт откликнулся на это событие стихотворением «Во Іудеї во дні оны», где в образе Ирода-царя изобразил Александра II, а в образе избиваемых «малых детей» — студентов.

Тоскуя из-за отсутствия необходимой организованности и революционности в народных массах, поэт-революционер возлагал большие надежды на молодое поколение «новых людей», изъявлявшее готовность пробуждать революционные инстинкты мужика.

С деятельностью передовой молодежи связывал Шевченко в это время также осуществление своих просветительских идеалов и планов.

І день іде, і ніч іде,
І голову схопивши в руки,
Дивуешся, чому не йде
Апостол правди і пауки? —

(II, 341)

писал поэт в конце 1860 года. Некоторые исследователи полагают, что Шевченко проявлял в данном случае повышенную заинтересованность в успехах различных отраслей научных знаний, что в развитии науки как таковой видел он свой социальный идеал.²⁹ Однако перед революционными демократами задача особого поощрения академической науки в то время не возникала, поскольку она была заслонена другой, более важной задачей: пробуждением народного самосознания. Полагаем, что главным образом в этом смысле, в значении «просвещение», «обучение», «пробуждение общественного сознания народа» и употреблял в цитированном стихотворении слово «наука» Шевченко. Ни семантика украинского языка, ни лексика самого поэта не противоречат именно такому истолкованию названного понятия.

Смерть великого украинского поэта, последовавшая 26 февраля (10 марта) 1861 года, явилась тяжелой потерей не только для Украины. Похороны Шевченко превратились в небывало мощную политическую демонстрацию, руководящая роль в которой принадлежала прогрессивной молодежи. Речи на похоронах произносились на трех языках — украинском, русском и польском. Весной 1861 года прах поэта, согласно его воле, был перевезен из Петербурга на Украину и похоронен на берегу Днепра на Чернечей горе близ Канева.

Надломленный ссылкой, поэт умер в возрасте 47 лет, не успев завершить многих своих творческих замыслов и планов. Но, несмотря на это, разнообразно и неисчерпаемо наследие Шевченко-поэта, художника и писателя-мыслителя.

Поэтическое наследие Шевченко всегда противостояло системе общественной несправедливости и лжи, угнетения и эксплуатации. Вместе с тем звание народного певца настолько прочно закрепилось за автором «Кобзаря», что выступать против него открыто даже стязавленные реакционеры не всегда отваживались. В силу названной причины противникам Шевченко приходилось нередко выступать под флагом его защитников. «Особенно нестерпимо бывает видеть, — писал В. И. Ленин, — когда субъекты, вроде Шепетева, Струве, Гредескула, Изгоева и прочей кадетской братии, хватаются за фалды Некрасова, Щедрина и т. п.»³⁰ За истекшее столетие охотников «хвататься за фалды» Шевченко было также немало. Представители эксплуататорских классов не жалели усилий для того, чтобы интерпретировать творчество великого народного поэта в духе

²⁹ См.: П. М. Попов. Шевченко і наука його часу. «Збірник праць ювілейної десятої наукової шевченківської конференції», Київ, 1962, стр. 155.

³⁰ В. И. Ленин, Сочинения, т. 18, стр. 287.

собственных идей. Украинская националистическая буржуазия предпринимала неоднократные попытки воспользоваться светлым именем Шевченко в самых корыстных и низменных целях. В лагере реакции один за другим появлялись критики, которые стремились объяснить революционное творчество Шевченко случайностями — пагубным воздействием на него среды, тяжелыми обстоятельствами жизни, отсутствием душевного равновесия и т. д. Наиболее ревностные защитники националистически-клерикальной реакции не останавливались и перед прямой фальсификацией творчества поэта. Поучительным образцом прямой подмены шевченковских текстов является изданная в 1910 году М. Ф. Лободовским поэма «Марія».

И украинская, и русская последовательно демократическая общественность на протяжении десятилетий отстаивала духовное наследие Шевченко как от нападок откровенных реакционеров, так и от всевозможных посягательств тенденциозных его интерпретаторов.

На Украине еще при жизни Шевченко его песни начали проникать в народную среду, впоследствии они получили самое широкое распространение, став неотъемлемой частью украинского народно-поэтического творчества. Явившись основоположником новой украинской литературы и литературного языка, автор «Кобзаря» оказал исключительное воздействие на все области духовной жизни украинского народа. Шевченковский гений всегда был животворным источником для всех классиков украинского художественного слова, ныне им вдохновляются писатели советской Украины. Шевченковские традиции нетрудно обнаружить в стихах П. Тычины и М. Рыльского, В. Сосюры и М. Бажана, А. Малышко и Д. Павлычко, равно как и в творчестве многих других советских украинских поэтов и прозаиков.

Огромным было воздействие Шевченко и на русскую литературу. В своем предисловии к сборнику «Русская потаенная литература XIX столетия» (1861) Н. П. Огарев заявлял: «Украина проснулась в Шевченке, и — лучшее доказательство, как сила обстоятельств влечет к самобытности областей и нераздельности союза, — Шевченко, народный в Малороссии, с восторгом принят, как свой, в русской литературе и стал для нас родной: так много было общего в наших страданиях и так самобытность каждого становится необходимым условием общей свободы».³¹ «С самого начала поэт маленького кружка людей, близких к нему, потом поэт Украины, он уже при жизни, как это оказалось на его похоронах, стал поэтом всего русского народа», — писал о Шевченко в 1867 году известный русский этнограф и революционер И. Г. Прижов.³² Н. А. Некрасов и А. Н. Плещеев, М. Л. Михайлов и братья Курочкины, В. Г. Короленко и П. Ф. Якубович, Г. А. Мачтет и Н. Н. Златовратский, Д. Бедный и А. С. Серафимович и многие, многие другие русские писатели обогащались опытом поэзии великого Кобзаря.

Белинский считал, что «влияние великого поэта заметно на других поэтов не в том, что его поэзия отражается в них, а в том, что она возбуждает в них собственные их силы».³³ Эти слова как нельзя более применимы к поэзии Шевченко. Она воздействовала на литературу не только и, может быть, не столько своей тематикой и сюжетами, сколько свойственным ей пафосом изображения народной жизни, сущностью выраженных ею народных идеалов.

Революционно-демократическая идеология помогла украинскому поэту осветить действительность с таких сторон, с каких ее не принято было

³¹ Русская потаенная литература XIX столетия, ч. I. Предисловие Н. Огарева. Лондон, 1861, стр. 95.

³² «Голос», 1867, № 207, 29 июля (10 августа).

³³ В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. V, стр. 562.

показывать, заглянуть в такие уголки жизни, которые в литературе не были представлены (красота внутреннего мира простого человека, сочувственное изображение борьбы против социального и национального угнетения и т. д.). Народную жизнь Шевченко живописал с исключительной глубиной и чистотой нравственного чувства.

Народность Шевченко состояла также в совершенном постижении им народной эстетики, облегчавшем для поэта решение такой важной задачи, как создание национальной формы поэтического искусства. Своим творческим примером автор «Кобзаря» поднял на огромную высоту значение фольклора, народной песни и дал непревзойденные образцы такой органической близости к ней, которая не имеет ничего общего с подражанием, перепевом и стилизацией.

Способы решения вопросов народности и национальной специфики искусства в произведениях Т. Г. Шевченко всегда являлись предметом повышенного внимания и творческого усвоения не только в украинской, но и в русской литературе. Более того, начиная с 60-х годов поэзия Шевченко именно этой своей стороной оказывала заметное воздействие и на другие области русского искусства, прежде всего на живопись и музыку. «Вышел из простого народа, — писал об украинском поэте художник Л. М. Жемчужников, — он и нас обернул лицом к народу и заставил полюбить его и сочувствовать его скорби».³⁴

Поэзия великого Кобзаря вошла также движущим началом в историю белорусской, грузинской, армянской, казахской и других литератур братских народов нашей страны.

Еще при жизни поэта слава о нем перешагнула границы России. С течением времени творчество его приобрело международную известность. Вместе с Пушкиным и Мицкевичем украинский поэт занял место в ряду самых великих поэтов славянского мира.

В царской России автор «Кобзаря» был поэтом «запретным». При жизни ему удалось опубликовать всего около сорока, т. е. приблизительно лишь пятую часть своих произведений. Как украинская, так и русская прогрессивная общественность начиная с 40-х годов вела борьбу за распространение революционных стихотворений поэта. В 60-е годы с большим упорством продолжала вести эту борьбу революционная демократия. В период первой революционной ситуации в России и на всем протяжении 60-х годов шевченковская поэзия наряду с литературным наследием Чернышевского, Добролюбова, Герцена, Огарева и Некрасова играла первостепенную роль в формировании революционно-демократических идей.

Нам известны многочисленные случаи, частично зафиксированные в делопроизводстве III отделения, когда деятели общероссийского освободительного движения уходили на каторгу и ссылку воодушевляемые революционными произведениями Шевченко.³⁵ На потаенной поэзии великого Кобзаря в начале 80-х годов воспитывали свое общественное и художественное сознание революционные народники. Как средством революционной пропаганды запретными стихотворениями Шевченко пользовались П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев, С. М. Степняк-Кравчинский, М. Ф. Фроленко, М. Ю. Ашенбреннер, Н. К. Судзильевский и многие другие выдающиеся революционеры той эпохи. Потаенные стихотворения украинского поэта в большой степени способствовали формированию традиций русской революционной поэзии второй половины XIX века, ока-

³⁴ Л. М. Жемчужников. Воспоминания о Шевченко; его смерть и погребение. «Основа», 1861, № 3, стр. 19.

³⁵ См.: ЦГАОР, ф. 112, оп. 2, дд. 324, 342, 348, 471, 605, 636, 709, 1018, 1367, 1817, 2325, 2415, 2453, 2612, 2670 (А. А. Быдарина, А. Е. Алеева, В. М. Бондарчука, А. Г. Войны, П. Н. Волгина, И. Д. Гнипова, Е. Квасницкого, Н. А. Литовченко, М. В. Охрименко, И. Д. Трезвинского, А. А. Франжоли, Ф. Н. Цебенко, В. М. Якушева, Д. Г. Любовцева).

зав благотворное влияние на творчество А. А. Ольхина, Г. А. Мачтета, Ф. В. Волховского, С. С. Синегуба и др. На третьем этапе освободительной борьбы не снижается, а наоборот, необыкновенно возрастает круг пропагандистов и читателей шевченковской революционной поэзии. Творчество великого украинского поэта было не только явлением литературы, но и могучим оружием в борьбе с самодержавием.

Виднейшим пропагандистом поэтического творчества Шевченко начиная с 90-х годов был А. М. Горький. В 1904 году по его инициативе было задумано издание «Кобзаря» в русских переводах. Несмотря на цензурные стеснения, через два года это издание увидело свет. В лекциях, читанных в 1909 году в Каприйской школе, Горький назвал Шевченко «первым истинно демократическим, т. е. народным поэтом России»³⁶ и призывал учиться у него изображению народной жизни. В период, когда эстетствующая критика толкала искусство на путь индивидуалистического «самовыражения» и декадентского паясничанья и псевдоноваторства, Горький неустанно пропагандировал поэзию великого Кобзаря, и эта пропаганда имела глубокий, в том числе и полемический смысл, ибо она наносила удар по вольным и невольным радетелям обескровленного, антинародного искусства.

Царская цензура изо всех сил стремилась воспрепятствовать распространению запретных произведений Шевченко и ей, особенно в первый период, удалось добиться в этом несомненных успехов. Однако по мере развития освободительного движения в стране бороться с запретным «Кобзарем» цензуре становилось все труднее. В 1876 году в Праге был издан почти полный двухтомный «Кобзарь», значительная часть тиража которого нелегально проникла в Россию. Условия для первого издания полного «Кобзаря» в самой России были созданы только революцией 1905 года: оно увидело свет в Петербурге в 1907 году. Тем не менее и это издание специальным решением Сената от 18 декабря 1912 года было арестовано и изъято из продажи. В конечном счете защитники самодержавия были все же бессильны приостановить рост популярности поэта и проникновение его запретных произведений в народную массу. В 1914 году, когда исполнялось столетие со дня рождения Шевченко и царское правительство запретило празднование его юбилея, В. И. Ленин писал: «Запрещение чествования Шевченко было такой превосходной, великолепной, на редкость счастливой и удачной мерой с точки зрения агитации против правительства, что лучшей агитации и представить себе нельзя».³⁷

Великая Октябрьская социалистическая революция освободила поэтическое наследие Шевченко от оков, наложенных на него царизмом. Произведения украинского поэта-революционера переведены ныне почти на все языки народов Советского Союза и нашли дорогу к миллионам новых читателей. В литературах народов нашей страны Шевченко, как это подтверждают признания и высказывания Якуба Коласа, Мухтара Ауэзова, Мирзо Турсун-Заде, Берды Кербобаева и других писателей, — один из авторитетнейших классиков поэтического слова. «Для нас, советских литераторов, Шевченко всегда будет живым и высоким примером беззаветного служения родине, народу», — заявляет М. Исаковский.³⁸ О плодотворности и непрерывности традиций Шевченко в истории русской советской поэзии пишет Н. Рыленков: «И у нас рядом с пушкинской и некрасовской традициями можно обнаружить шевченковскую струю у самых, казалось бы, непохожих друг на друга поэтов, таких, например,

³⁶ М. Горький. История русской литературы. М., 1939, стр. 188.

³⁷ В. И. Ленин, Сочинения, т. 20, стр. 199.

³⁸ М. Исаковский. Высокий пример. «Правда», 1961, № 69, 10 марта, стр. 4.

как Николай Асеев и Демьян Бедный, Александр Твардовский и Эдуард Багрицкий, Борис Корнилов и Павел Васильев». ³⁹

Имя и творчество великого поэта Украины снискало в наши дни самую широкую известность в странах народной демократии. «Его жизнь, — пишет румынский литератор Эусебиу Камилар, — является моральной школой для всех и главным образом для молодого поколения. Вот почему Тараса Шевченко должны глубоко изучать широчайшие массы всех народов». ⁴⁰ «Голос Тараса Шевченко — голос борца. Он слышен каждому», — заявляет чехословацкий писатель Иосиф Секера. ⁴¹

Живое и страстное слово бессмертного Кобзаря проникает все более и более также и в страны, освобождающиеся от гнета империализма и колониализма. «У меня есть один друг, алжирец, — писал три года тому назад Назым Хикмет. — Я могу назвать десятки патриотов, моих знакомых из Азии, Латинской Америки, Африки, которые любят Шевченко. Шевченко — одна из прекрасных песен борьбы, которую поют в колониях и полуколониях и в отсталых странах, ее поют народы, проливающие кровь за свою независимость, за землю и демократические права». ⁴²

Великий украинский поэт близок и дорог всему прогрессивному человечеству как провозвестник и глашатай дружбы и братства народов, как неустрашимый борец за раскрепощение трудовых масс от гнета и эксплуатации, как выразитель дум и чаяний народных масс.

Высокие идеалы, за осуществление которых боролся и отдал жизнь Шевченко, нашли воплощение в нашей действительности. Великая семья социалистических государств — это и есть та «семья вольная, новая», о которой мечтал поэт. И в нашем дальнейшем движении вперед по-прежнему вместе с нами его светлый образ и его то задуховно-мягкое, то вдохновенно страстное, пылающее неугасимым пламенем любви и ненависти слово.



³⁹ Н. Рыленков. Наследники Тараса. «Литературная газета», 1961, № 31, 11 марта, стр. 3.

⁴⁰ Эусебиу Камилар. Неугасимый огонь. «Известия», 1961, № 59, 9 марта (моск. веч. выпуск), стр. 4.

⁴¹ Иосиф Секера. Встреча на всю жизнь. «Литературная газета», 1961, № 30, 9 марта, стр. 4.

⁴² Назым Хикмет. Наш Шевченко. «Литературная газета», 1961, № 30, 9 марта, стр. 4.

«ЗАПИСКИ ИЗ ПОДПОЛЬЯ» Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО

«Записки из подполья» впервые напечатаны в журнале «Эпоха» за 1864 год, в номерах январско-февральском (ч. I — «Подполье») и апрельском (ч. II — «По поводу мокрого снега»). В журнале подзаголовок «повесть» был отнесен только ко второй части. Часть первая представляла собою нечто вроде философского рассуждения, ведшегося, однако, не от лица автора, а от лица персонажа. В отдельном издании Достоевский поставил обозначение «повесть» ко всему произведению.

Может быть, вследствие своеобразия членения на «Записки из подполья» стали смотреть (в особенности декаденты) как на философско-идеологический документ, а не как на художественное произведение.

Достоевский в самом деле вложил в уста выведенному им персонажу и свои мысли и свои чувства, но все-таки это не Достоевский, а имеющий самостоятельное эстетическое значение художественный образ. «Записки из подполья» не метафизический трактат, а произведение искусства, сколь бы субъективно оно ни было.

Философия подпольного человека не может быть понята вне самого персонажа, вне его биографии, условий формирования и социальной судьбы.

Подпольный человек исповедуется перед читателем в 1864 году, когда ему сорок лет. Он в отставке, но прежде, лет двадцать тому назад, служил. Все события, образующие сюжет повести, происходят в Петербурге в начале и середине 40-х годов, когда герою было «всего двадцать четыре года». Он был «бедный чиновник» — определение для русской литературы первой половины XIX века социальное и точное, имел чин коллежского асессора и служил, «чтобы было что-нибудь есть», единственно для этого.

Подпольный человек, в отличие от Башмачкина, Девушкина, Голядкина, — *образованный* бедный чиновник. Он аналитик не просто по природным своим способностям, не рефлектор-самородок. Рефлексия подпольного человека черпает свою силу из философских конструкций века. Достоевский выбрал своего героя из начитанного и мыслящего меньшинства поколения 40-х годов — и многократно подчеркивает это.

Болезнь подпольного человека заключалась в противоречии между словом и делом, между убеждениями и поведением, в угрызениях совести, вызванных неспособностью подтвердить слово делом. «Чем больше я сознавал о добре и о всем этом „прекрасном и высоком“, — печалился «подпольный», — тем глубже я и опускался в мою тьму и тем способнее был совершенно завязнуть в ней».¹

Разлад между словом и делом, между убеждениями и образом жизни, между идеалом и действительностью не был исключительной принадлежностью подпольного человека, как и сама тема не была исключительной для «Записок из подполья». Это была кражевая тема предшествующей русской

¹ Ф. М. Достоевский, Полное собрание художественных произведений, т. IV, ГИЗ, М.—Л., 1926, стр. 112. В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте.

общественной мысли и русской классики, начиная с Пушкина. Она приобрела особое значение в произведениях Тургенева. Достоевский подхватил ее — но решал по-своему.

На некоторое время может показаться, что Достоевский возвращается к тургеневскому типу лишнего человека и тургеневской трактовке разлада между словом и делом. Однако, по сравнению с Тургеневым, Достоевский больше подчеркивает разночинное происхождение своего мечтателя-неудачника, а главное — видоизменяет и в величайшей степени обостряет его внутренний распад.

Лишний человек в изображении Пушкина, Лермонтова, Герцена, Тургенева сохранял отблеск духовной красоты, оттенок благородства или хотя старался сохранить видимость благородства. Подпольный человек Достоевского весь вымазан в нравственной и физической грязи.

Постыдные противоречия подпольного человека достигали неслыханной обнаженности и напряженности и, несмотря на это, никак не могли разрешиться.

Подпольный человек — модификация идеалиста 40-х годов, и в основании его идеализма лежит хорошо ли, худо ли переваренное гегельянство. Основные законы «усиленного сознания» совпадают для него с основными законами бытия, имеющими объективное, сверхличное значение — непреодолимыми, как «стена», ни для мыслящего, ни для непосредственного сознания. «Стена» — это детерминированный мир, царство обязательной для всего сущего причинности. Мысль о «стене», безгласной и неумолимой, обезволивает подпольного человека.

Усиленно сознающий подпольный человек завидует непосредственному человеку. «Он глуп», этот непосредственный человек, но, утверждает «подпольный», «может быть, нормальный человек и должен быть глуп, почему вы знаете? Может быть, это даже очень красиво» (VI, 114).

«Глупость» — здесь только синоним отсутствия рефлексии, признак непосредственности. «Глуп» и пошлый и подлый практик, но «глуп» и герой (подпольный человек еще назовет себя «антигероем» — IV, 194), который, не рассуждая и не оглядываясь, вступает в бой за справедливость, за идеал. В этом смысле «глуп» и Дон-Кихот, и Пиквик, и Христос, и будущий князь Мышкин — Идиот. «Подпольный» считает «глупого» человека красивым, потому что «глупый» никогда не откажется от действия, от боя за то, что является для него нужным и справедливым. А рефлектирующий, безвольный и бездеятельный человек безобразен и подобен мышши. «Пусть это и усиленно сознающая мышшь, но все-таки мышшь, а тут человек. . .» (IV, 114).

Потребность и даже необходимость действия встает и перед человеком, понимающим философскую природу «стены», как бы ее ни назвать — абсолютом, законами природы, фатумом, роком. Но «сознающий» «ретортный» человек с самого начала своих усилий будет — по Достоевскому — чувствовать себя парализованным. Он заранее уверен, что проложить свою линию в действительности не сможет: произойдет то, что должно произойти, независимо от того, вмешается он в ход событий или нет.

Если в мире все предопределено, все — фаталистическое следствие неодолимых причин, тогда и самый разлад между словом и делом в душе подпольного человека независим от его мировоззрения и его воли. Пытаясь осуществить идеал и терпя каждый раз очередное крушение, подпольный человек возлагает ответственность на «последнюю стену», освобождая тем самым от какой бы то ни было ответственности самого себя.

Заядлый и не критический идеалист-гегельянец, подпольный человек отождествляет необходимость с основными законами сознания. Однако он пишет записки не в 40-х годах, а в 60-х, в эпоху, когда преклонение перед гегелевским абсолютом сменилось увлечением естественными науками. Подпольный человек — живой образ, а не гелертер, он не обязан все

аргументировать, он просто без всяких объяснений в полемическом азарте подставляет на место абсолютных законов сознания абсолютные законы природы. Для него это понятия, психологически взаимозаменяемые. «Каменная стена» — это и идеалистический абсолют, «каменная стена» — это и «выводы естественных наук, математика». «Природа вас не спрашивается; ей дела нет до ваших желаний и до того, нравятся ль вам ее законы или не нравятся. Вы обязаны принимать ее так, как она есть, а следственно и все ее результаты. Стена, значит, и есть стена. . .» (IV, 116).

Законы сознания и сливающиеся с ними законы природы, по представлению «подпольного», стоят над человеком, за его спиной и управляют им, диктуют ему, но тут он делает весьма заметный философский промах, не учитывая самого человека, не включая его в причинный ряд.

«. . . Идея исторической необходимости ничуть не подрывает роли личности в истории: история вся слагается именно из действий личностей, представляющих из себя несомненно деятелей».²

У «подпольного» же человек — только следствие, одно только следствие. Естественно, что при таком мировоззрении подпольный человек не верит ни в одно предпринятое им дело, сразу опускает руки и приходит всегда к нулевому результату.

«Усиленное» сознание по всякому поводу рождает в подпольной психологии в равной степени убедительные про и contra. «Подпольный» неспособен принять решение. Уверенность в фатальной предопределенности всего, что должно случиться, парализует его действия. Заранее побежденный и раздавленный, подпольный мечтатель бессильно злится.

Духовное подполье нашего героя, хотя и длится «сорок лет», не может остановиться на одной точке. Оно безнадежно — и в нем брезжит надежда; оно безысходно — и в нем мнится выход; оно связано с отказом от всяких желаний — и в то же время неудовлетворенные желания продолжают грызть сердце подпольного человека; оно требует воздержания от самостоятельных решений — и тем не менее подпольный человек живет в постоянной лихорадке принимаемых и отменяемых решений. Эти вечные сумерки, вечные самоугрызения, полувера, полуютчаяние не дают успокоения, создают какой-то суррогат жизни и суррогат наслаждения жизнью, непонятные непосредственному, «глупому» сознанию.

Подчинение абсолютной необходимости и абсолютной закономерности должно включать в себя смиренное принятие любого унижения, любого поношения личности, даже пощечины. Сохранившееся смутное, дряблкое, неопределенное чувство личного достоинства рождает сомнительную потребность самому раздавать «пощечины», тем более острую, что она не может реализоваться.

Тема пощечины введена в сюжет «Записок из подполья» неспроста. Она наглядно изъясняет философский смысл нервической рефлексии подпольного человека. О пощечине с философским значением подпольный человек заговорил не первый. Он повторил Нагибина из повести «Противоречия» Салтыкова-Щедрина, написанной в 1847 году.

Философско-литературное использование темы пощечины Достоевским вслед за Салтыковым-Щедриным не могло быть случайным. Здесь мы слышим отзвук одних и тех же обсуждений. Работая над «Записками из подполья», Достоевский через семнадцать лет вспомнил, в своих целях, давнюю повесть Салтыкова, как он это постоянно и делал с читанными им произведениями.

Нагибин считал, что знаменитая формула Гегеля «все действительное разумно» равнозначна формуле «все существующее разумно» и в сочетании с законом причинности исключает случайность — и выбор, поскольку речь идет о действующем человеке. Загипнотизированный гегелевской

² В. И. Ленин. Сочинения, т. 1, стр. 142.

формулой, Нагибин перестал действовать, перестал жить, т. е., по терминологии Достоевского, заперся в подполье. Таня, стремясь вывести Нагибина из состояния духовного паралича, задает ему вопрос: «... ну, а если б вас... кто-нибудь ударил... ведь это было бы необходимо... по крайней мере, исторически?..» Но если б даже Нагибин ответил на пощечину пощечиной, это все равно не сдвинуло бы его с мертвой точки. Нагибин рассуждает: «... если б я хладнокровно разобрал дело, то увидел бы, что обида нанесена мне не намеренно, а или вследствие недостатка умственного в обидчике, или вследствие заблуждения, или, наконец, вследствие каких-нибудь действий с моей стороны, противных его интересам...»³ Ударил бы Нагибин обидчика в ответ на удар или не ударил, все равно оказалось бы, по его мнению, что оба правы, что нет обидчика, нет обиженного, что все фаталистически предопределено и действовать смысла не имеет: нужно подчиниться фатуму.

Щедрин знал, где кроется ошибка Нагибина. Нагибин не увидел в диалектике Гегеля необходимой для нее стороны — отрицания, создающего движение, развитие и возможность на основе познанной необходимости свободного действия. Достоевскому же кажется, что логика подпольного человека, откуда она возвращается в сфере философии и науки, непреодолима. Отсюда и возникает очень важная в повести глава о зубной боли. Зубная боль оказывается, так же как и пощечина, очень хорошим «окном» в метафизическую природу проблемы необходимости и свободы, законов естества и индивидуальной воли как их трактует подпольный человек. В стогах человека, страдающего зубной болью, «выражается, во-первых, вся для вашего сознания унизительная беспечность вашей боли; вся законность природы, на которую вам, разумеется, наплевать, но от которой вы все-таки страдаете, а она-то нет. Выражается сознание, что врага у вас не находится, а что боль есть; сознание, что вы, со всевозможными Вагенгеймами,⁴ вполне в рабстве у ваших зубов; что захочет кто-то, и перестанут болеть ваши зубы, а не захочет, так еще и три месяца проболят; и что наконец, если вы все еще несогласны и все-таки протестуете, то вам остается для собственного утешения только самого себя высечь, или прибить побольнее кулаком вашу стену, а более решительно ничего» (IV, 117).

Уровень зубного врачевания был, по-видимому, не очень высок в середине XIX столетия. Теперь известно, как утихомирить зубную боль, и поскольку зубная боль приобрела метафизическое значение, то и излечение ее по законам и правилам науки приходится рассматривать как факт философский. Если же к зубной боли отнестись как к «стене», как к закономерно-фаталистической неизбежности, то не остается ничего другого, как «замереть в инерции» и перед зубной болью.

Зубная боль не хуже всякого другого факта действительности; если «впрямь» ее в фатальную каузальную цепь, полагает Достоевский, она не хуже Эдиповой биографии докажет непреоборимость рока и бесполезность борьбы с роком, понимаемым и в Гегелевом («усиленное сознание») и в механико-материалистическом («законы природы») смысле слова.

Подпольный человек, умственно возвращенный на фаталистически истолкованном гегельянстве, сталкивается с материалистической идеологией 60-х годов. Чернышевский в статье «Антропологический принцип в философии» доказывал, что общественные явления подчиняются той же всеобщей необходимости, что и явления естественные, что принцип закономерности должен быть распространен и на социологические науки. Идеалистический принцип закономерности и необходимости Чернышевский трансформировал в материалистический, а рычагом закономерности в общественной жизни он стал считать *интерес*.

³ Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), Полное собрание сочинений, т. I. Гослитиздат, М., 1941, стр. 109—110.

⁴ Известные петербургские зубные врачи, современники Достоевского.

Согласно пониманию Достоевского, гегелевская необходимость превратилась у Чернышевского в политико-экономическую статистическую и математическую необходимость. «Ведь вы, господа, — обращается подпольный человек к сторонникам Чернышевского, — сколько мне известно, весь ваш реестр человеческих выгод взяли средним числом из статистических цифр и из научно-экономических формул» (IV, 121).

Достоевский не все упрощает, он не забывает, что просветители призывали к перевоспитанию в соответствии с осознанными интересами, что люди, по их взглядам, должны были еще привыкнуть жить по новой морали. Но тем не менее Достоевский убежден, что и политико-экономический детерминизм в сочетании с общефилософским материалистическим детерминизмом ведет к фатализму так же, как детерминизм идеалистический, гегелианский.

«Вы уверены», обращается подпольный человек к своим противникам, что образованный и перевоспитанный человек «и сам перестанет *добровольно* ошибаться и, так сказать, поневоле не захочет рознить свою волю с нормальными своими интересами. Мало того: тогда, говорите вы, сама наука научит человека. . . , что ни воли, ни каприза на самом-то деле у него и нет, да и никогда не бывало, а что он сам не более, как нечто вроде фортепьянной клавиши или органного штифтика; и что сверх того — на свете есть еще законы природы; так что все, что он ни делает, делается вовсе не по его хотенью, а само собою, по законам природы» (IV, 123).

Подпольный человек перенес на антропологический материализм клеймо формулы «все действительное разумно», понимаемой как «все существующее разумно».

Чернышевский и вся его «партия» были устремлены к будущему; они призывали ускорить наступление желаемого будущего. Достоевский счел, что, по их мнению, и будущее должно наступить фатально и только в таком виде, как это предопределено той грандиозной «вычислительной машиной», которой является вся предшествующая историческая и даже космическая действительность. Раз мир — машина, то и новое должно родиться по единственно будто бы возможной, механическим разумом рассчитанной формуле.

Создав собственное представление о характере современной ему материалистической философии, Достоевский в «Записках из подполья» начинает бороться уже не с реальным противником, а с им самим созданным представлением.

Однако, что весьма примечательно, Достоевский принимает при этом исходную предпосылку своих противников. Он идет от *натуры человека*, он только иначе ее определяет. По мысли подпольного человека, Чернышевский и его сторонники неправильно исчисляли реестр выгод, к которым стремится человеческая натура. «Благоденствие, богатство, свобода, покой» и т. д. и т. д. (IV, 121) — это лишь частные и необязательные «выгоды», которые можно действительно вычислить «математически» и тем самым предопределить поведение, необходимое для их достижения; но в натуре человека, вносит свое Достоевский, заложено стремление к одной, самой главной, исходной и единственной выгоде, которая и определяет природу человека не по частям, а потому неполно и ошибочно, а всецело и уже совершенно адекватно. «. . . Не существует ли и в самом деле нечто такое, — полемически вопрошает «подпольный», — что почти всякому человеку дороже самых лучших его выгод или (чтоб уж логики не нарушать) — есть одна такая самая выгодная выгода. . . , которая главнее и выгоднее всех других выгод и для которой человек, если понадобится, готов против всех законов пойти, т. е. против рассудка, чести, покоя, благоденствия — одним словом, против всех этих прекрасных и полезных вещей, лишь бы достигнуть этой первоначальной, самой выгодной выгоды, которая ему дороже всего» (IV, 122).

Вот эту-то «главную выгоду», кажется подпольному человеку, Чернышевский, все философы и социологи, признающие объективную закономерность сущего, независимо от того, являются ли они идеалистами или материалистами, — пропускают. Эта главная «выгода» состоит, по мысли «подпольного», в стремлении человека к метафизической, ни от чего не зависящей, субъективистской, произвольной свободе.

Достоевский понимал, что, приняв в качестве исходной предпосылки материалистическое по своей тенденции понятие природы человека, он создает очень большие трудности для метафизической философии волюнтаризма. Ведь объективная, в трактовке подпольного человека — фаталистическая, закономерность не знает исключений, ведь и в хотении проявляется тот же принудительный, за спиной человека таящийся закон, действующий по своей собственной неумолимой логике. Достоевский устами подпольного человека сам объявляет, что фаталистический закон и все предвидящая, все предопределяющая наука лишают человека даже хотения и тем самым полностью парализуют его. «Ведь если мне, например, когда-нибудь расчислят и докажут, — изливается «подпольный», — что если я показал такому-то кукиш, так именно потому, что не мог не показать и что непременно таким-то пальцем должен был его показать, так что же тогда во мне *свободного-то* остается, особенно если я ученый и где-нибудь курс наук кончил? Ведь я тогда вперед всю мою жизнь на тридцать лет рассчитать могу; одним словом, если и устроится это, так ведь нам уж нечего будет делать; все равно надо будет принять» (IV, 125—126). Все надо будет принять — и жизнь по табличке, по календарю, и даже возникновение новых поколений не по избирательному закону любви, а в «реторте»: «. . . надо принять и реторту! не то она сама, без вас примется. . .» (IV, 126).

Как же бороться с этим всеобъемлющим законом будто бы фаталистического предопределения и неизбежной будто бы механизации жизни?

Достоевский пробует вышибить клин клином, «антропологический» фатализм «антропологической» свободой. Подпольный человек вдруг забывает, что закон и наука, которые его пугают и против которых он воюет, зиждутся у материалистов-шестидесятников на антропологическом основании, и поэтому не замечает, что впадает в порочный круг, противопологая «натуре» другое истолкование той же «натуры».

Понятие «природы человека» — несовершенное орудие для познания общественного человека и его исторической жизни. Взявшись за этот рычаг, Достоевский ко всем своим собственным противоречиям и слабостям присоединил противоречия и слабости, свойственные всякой «антропологической», домарксистской социологии. Чем можно доказать теоретически, что хотение больше характеризует человеческую «натуру», чем интерес? Ничем. Расчет, рассудок есть только часть человеческой природы, пытается уверить подпольный человек; «всецелость» ее проявляется в хотении. Но есть множество философов, с той же уверенностью утверждающих, что «всецелость» человеческой природы проявляется в другом — в мышлении, в страсти, в физиологии наконец. Логически рассуждая, «интерес» шире хотения, потому что включает в себя и разум и хотение.⁵

Подпольный человек уже согласился, что при господстве закономерности (трактуемой как фаталистическая закономерность) любой поступок, и не руководимый «рассудком», расчетом выгоды, предопределен даже если человек в нем «врет», если это пощечина, если это кукиш. Философски выйти из круга подпольный человек не может. Но Достоевский пишет не философский трактат, а художественное произведение. Если разум, если рассудок торжествует всюду, тогда, заявляет «подпольный», «человек на-

⁵ Вероятно, Достоевский в толковании хотения, или воли, как сущности природы человека опирался и на Шопенгауера.

рочно сумасшедшим на этот случай делается, чтоб не иметь рассудка и настоять на своем» (IV, 128). Достоевский *психологически* мотивирует попытку подпольного человека выскочить из-под всеобщего господства закономерности при помощи алогического прыжка, но этим самым признает свое философское фиаско. В сумасшедшем состоянии поступок по расчету признается проявлением части натуры, поступок нерассчитанный объявляется адекватным всей натуре. Прокламируется, что в поступке, совершенном без смысла и без расчета, проявляется свобода. Математическая цепь разрывается капризом, не просто хотением, а противоестественным хотением (что и оно обусловлено, уже забыто), и, мнится подпольному человеку, на этом зыбком пути личность высвобождается от всеобщей власти фатальной закономерности.

Социально и психологически затертый человек, неудачник, «слабое сердце», хочет отстоять свою индивидуальность. Подпольный человек в противоречии с «Зимними заметками о летних впечатлениях», в которых принцип своевольной личности признавался злом, вдруг объявляет изолированную, уединенную, асоциальную личность величайшей ценностью и во имя ее восстает против метафизической и естественной закономерности, против абсолюта Гегеля, против законов природы в трактовке Чернышевского. Одиноким и затравленным, он находит один пункт спасения — бессмысленное и бесцельное хотение, анархическое, «неблагодарное», хотя отлично сознает, что оно приведет не к победе, а к полной гибели.

Обоснованное хотение, обоснованный выбор по законам подпольной философии — признак несвободы, рабства; каприз, неблагодарность, неблагоразумие, анархическая вспышка, бессмысленный разгул, истерика, все что угодно, но только не сообразование с объективной действительностью — это «свобода», «свободное» проявление и «свободное» утверждение личности, хотя в глубине души подпольный философ помнит, что и каприз имеет свои причины и что за неблагоразумием следует неизбежное возмездие.

Достоевский мыслил метафизически и антиномически — или закон или свобода, и если уж свобода, то она должна быть равнозначна своеволию, разыгрывающемуся как бы в пустом мире.

Артиллерия подпольного человека поражала механистический, фаталистический материализм, но она была мимо цели, когда залпы ее направлялись в адрес Гегеля, Фейербаха и Чернышевского (не говоря уже о диалектическом материализме, которого Достоевский не знал). Ни для «антропологического» материализма, ни для науки того времени, давшей уже дарвинизм, классическую политическую экономию, закономерность и причинность не обозначали фатальности. XIX век и в лице Гегеля, и в лице великих материалистов учитывал значение возможности, вероятности и случайности. Диалектика необходимости и возможности, закономерности и случайности оставляет место для выбора и для управления событиями, т. е. для обусловленной свободы.

Достоевскому казалось, что детерминисты ищут «математическую формулу» хотений и капризов, которая уже просто отменит волю, превратив человека в органичный штифтик или вроде того. Ни Достоевский, ни его подпольный герой не могли понять, что детерминизм и фатализм — разные вещи, что, наоборот, детерминизм и является единственной возможной основой свободы как познанной и управляемой необходимости, что «идея детерминизма, — как писал Ленин, — устанавливая необходимость человеческих поступков, отвергая вздорную побасенку о свободе воли, нимало не уничтожает ни разума, ни совести человека, ни оценки его действий».⁶

⁶ В. И. Ленин, Сочинения, т. 1, стр. 142.

Достоевский необыкновенно сильно ощущал человеческую, психологическую природу самых отвлеченных, самых утонченных философских доктрин. Кант, разбирая антиномию свободы и причинности, устанавливал, и справедливо, что при предпосылке «свободной причинности» «в значительной мере исчезла бы связь между необходимо определяющими друг друга по общим законам явлениями, называемая природою, и вместе с нею исчез бы критерий эмпирической истины, отличающий опыт от сновидения. В самом деле, наряду с такою беззаконною способностью свободы едва ли можно мыслить более природу, так как законы ее беспрестанно отменялись бы влияниями свободы, и вследствие этого игра явлений, правильная и однообразная при действии одной только природы, спуталась бы и сделалась бы бессвязною».⁷ Конечно, Достоевский ничего не иллюстрировал и, вероятно, подробностей Кантовой системы не знал. Но он художнически постигал последствия, вытекавшие из противопоставления ничем не обусловленной свободы объективной закономерности и причинности. Он знал, что ничем не обусловленная свобода (или иначе — произвол) обязательно приведет к разрушению, к хаосу, к полнейшей анархии. Выдвинув свободу как произвол в качестве тарана для разрушения концепции своих материалистических и социалистических противников, Достоевский не мог, однако, закрыть глаза на катастрофические результаты использованного им философского «средства».

Инерция, подполье — только мнимое успокоение и мнимый исход. Подпольный человек не ограничится мнимым ничегонеделанием. Для него нет ничего священного. Чтобы доказать, что он не штифтик, не клавиша, по которой ударяет неизвестный и безликий «пианист», «подпольный» при любой закономерно установившейся общественной формации будет действовать *наперекор*. «Да осыпьте его всеми земными благами, — говорит о себе подобный подпольный человек, — утопите в счастье совсем с головой, так, чтобы только пузырьки вскакивали на поверхности счастья, как на воде; дайте ему такое экономическое довольство, чтоб ему совсем уж ничего больше не оставалось делать, кроме как спать, кушать пряники и хлопотать о прекращении всемирной истории, — так он вам и тут, человек-то, и тут, из одной неблагодарности, из одного пашквиля мерзость сделает» (IV, 127—128).

«Слабое сердце», всегда терпящее поражение, и в личной жизни и в процессе общественного бытия, не верит, не понимает, что закономерностью можно управлять, что знание закономерности и поведение на основе познанной закономерности ведет к истинной, т. е. к детерминированной, свободе.

«Неблагодарный» и дезориентированный, подпольный человек думает только о том, чтобы все разрушить — сделать пашквиль, мерзость; рискнет на фантастический вздор, на бессмысленную пагубу, думая, что этим он поставит на своем, утвердит свою личность. На деле же он прежде всего разрушает себя.

Подпольный человек начинает с разрушения собственной личности, во имя которой восстал против существующего миропорядка и против программы коренного улучшения социальной жизни. Однако он опасен и для других. Иван Карамазов не примет возможного «хрустального дворца» из-за дорогой цены, которой он должен быть оплачен, из-за страданий, из-за крови, из-за слез детей, которые должны послужить ему основанием. Человек из подполья отказывается принять «хрустальный дворец» из каприза, из-за того, что он воздвигается не по его индивидуальному хотению, а по объективной необходимости.

⁷ Кант. Критика чистого разума. Второе издание перевода Н. Лосского. Пгр., 1915, стр. 279, 281.

Человек из подполья противопоставляет необходимости разрушительный анархизм, который все изгадит, все испортит, все сломает.

Достоевский знает: не надо доверять слабости и мнительности подпольного человека. «Подпольный» раскаивается, обещает исправиться и вновь делает гадости. Он так распалает себя, что становится по-настоящему опасным. Недаром жалкий подпольный человек сравнивается в повести с царицей Клеопатрой, любившей втыкать булавки в груди своих невольниц.

Мировая необходимость зиждется на развитии, она противостоит хаосу как закономерность и порядок, она побеждает смерть вечно возобновляющейся жизнью. Подпольный человек хочет сорвать «скуку» закономерности разрушением. Чтобы показать себя, он «выдумает разрушение и хаос, выдумает разные страдания и настоит-таки на своем! Проклятие пусть по свету, а так как проклинать может только один человек (это уж его привилегия, главнейшим образом отличающая его от других животных), так ведь он, пожалуй, одним проклятием достигнет своего, т. е. действительно убедится, что он человек, а не фортепьянная клавиша! Если вы скажете, что и это все можно рассчитать по табличке, и хаос, и мрак, и проклятие, так что уж одна возможность предварительного расчета все остановит, и рассудок возьмет свое, — так человек нарочно сумасшедшим на этот случай сделается, чтоб не иметь рассудка и настоять на своем!» (IV, 128).

Достоевский идею превращает в формообразующее начало характера. Ему не нужна строгая последовательность теоретического мышления, ему важна психология персонажа. Подпольный человек стремится разрушением и хаосом утвердить себя против мира, и если логика не приходит ему на помощь, он упирается в свое алогичностью, сумасшествием. Его убеждения не выдерживают философской критики, но характер его не перестает быть от этого правдивым.

Всеми возможными способами восстает подпольный человек против «разума», соглашаясь даже на страдания, выбирая страдание взамен благоденствия как самую «выгодную выгоду». Однако «страдание» в устах подпольного человека имеет особый привкус, не совпадающий с христианским смыслом слова, — это не мучения, причиняемые другими и вознаграждаемые за гробом. Это и не страдание, которое учитывал, скажем, и Герцен в своей философии истории. «Страдание, боль, — писал Герцен, — это вызов на борьбу, это сторожевой крик жизни, обращающий внимание на опасность».⁸ У подпольного человека страдание — не предупреждение об опасности, чтобы ее преодолеть, не вызов на борьбу во имя победы. Это сладострастно-субъективное переживание, наслаждение разрушением, хаосом. «А человек иногда ужасно любит страдание, — изъясняется он, — до страсти, и это факт. . . любить только одно благоденствие даже как-то и неприлично. Хорошо ли, дурно ли, — но разломать иногда что-нибудь тоже очень приятно. Я ведь тут собственно не за страдание стою, — уточняет «подпольный», — да и не за благоденствие. Стою я. . . за свой каприз и за то, чтоб он был мне гарантирован, когда понадобится. Страдание, например, в водевилях не допускается, я это знаю. В хрустальном дворце оно и немисливо: страдание есть сомнение, есть отрицание, а что за хрустальный дворец, в котором можно усумниться? А между тем, я уверен, что человек от настоящего страдания, т. е. от разрушения и хаоса, никогда не откажется» (IV, 130—131).

Достоевский знал, что делал; он был неизмеримо выше и мудрее своих многочисленных декадентских истолкователей и декадентских эпигонов. Его подпольный человек прямым образом ставит знак равенства между про-

⁸ А. И. Герцен, Собрание сочинений в тридцати томах, т. VI, Изд. АН АН СССР, М., 1955, стр. 22.

поведуемым им страданием и разрушением, хаосом. Ничего умиротворяющего, спасительного в страдании он не находит.

Достоевский был достаточно объективным художником, чтобы не вмешиваться в рассуждения и эмоции своего персонажа. Подпольный человек развивает свои мысли от себя, как субъективное исповедание собственной веры. Естественно, что он оправдывает свои убеждения. Но сам Достоевский в страхе и в ужасе от разрушительных выводов подпольного человека. Он понимает, что если не найти узды, подпольный человек действительно низвергнет мир в хаос, в варварство. Достоевский становится вполне открытым, когда заставляет своего героя действовать.

Достоевский как художник должен был не только воспроизвести теорию, которая его мучила, волновала, притягивала и отталкивала, он обязан был, как сказал в одном месте, «поставить лицо», т. е. создать образ, вывести носителя теории, органически слитого с нею, а лицо можно выразить только в действии. Сознание этой художественной обязанности не покидало Достоевского все время, пока он писал свою повесть.

Отсюда и возникла вторая часть «Записок из подполья» — «По поводу мокрого снега», также полемически заостренная, также направленная прежде всего против Чернышевского.

Чернышевский преимущественно теоретически, но и как автор «Что делать?», объяснил, каков тот человек, с которым он связывает осуществление своих идеалов. На одной из страниц романа Чернышевский рассказывает, как Лопухов, «новый человек», бедно одетый, но уверенный в себе разночинец, обошелся с праздным прохожим, не уступившим ему дороги. «Идет ему навстречу некто осанистый, — повествует Чернышевский, — моцион делает, да как осанистый, прямо на него, не сторонится; а у Лопухова было в то время правило: кроме женщин, ни перед кем первый не сторонюсь; задела друг друга плечами; некто, сделав полуоборот, сказал: „что ты за свинья, скотина“, готовясь продолжать назидание, а Лопухов сделал полный оборот к некоему, взял некоего в охапку и положил в канаву, очень осторожно, и стоит над ним, и говорит: ты не шевелись, а то дальше протащу, где грязь глубже».⁹

Эпизод из «Что делать?» не был вполне новым. Он повторял в известной мере эпизод из «Накануне» Тургенева (1859), в котором Инсаров бросает в воду пьяного немца-офицера, преградившего дорогу Елене и ее спутникам. Очевидно, это было в духе десятилетия и понятно читателям: в иерархическом обществе низший должен был уступить дорогу высшему, хотя оба только прогуливались, и на равных правах, а осознавший свое достоинство, защищающий свою личность разночинец не подчинялся вековому правилу.

Достоевский не соглашался с Чернышевским не только в его идеях, он оспаривал его трактовку разночинца, плебей и в психологическом отношении. Достоевский взял у Чернышевского эпизод с «осанистым» офицером и полемически переписал его на свой лад. Герой Чернышевского — человек цельный, кровно убежденный в своей правоте. А Достоевский считал, что цельность и уверенность героя выдуманы, что в жизни человек в «оборванном мундире» только вариация хорошо знакомого ему бедного чиновника со «слабым сердцем». Если в «слабом сердце» и проснется амбиция, то она выразится самым жалким образом. Достоевский полемически приписывает герою иную психологию.

Подпольный человек, как это было принято в Петербурге, ходил гулять на Невский проспект. Гулял так, как Макар Девушкин пил чай, — не для себя, а «для людей», чтобы восполнить свою неполноценность, чтобы утвердить свое «социальное положение».

⁹ Н. Г. Чернышевский, Полное собрание сочинений в пятнадцати томах, т. XI, Гослитиздат, М., 1939, стр. 143.

Во время своих мученических прогулок человек из подполья встречался постоянно с офицером, который уже раз пренебрежительно с ним обошелся, даже не заметив, кто он. Офицер неколебимо двигался навстречу «подпольному». Подпольный человек пылал злобой, мщением и . . . каждый раз уступал дорогу. Его терзало, что даже на улице он не мог быть с офицером на равной ноге. И человека из подполья осенила «дерзкая», «удивительнейшая мысль»: «А что . . . если встретиться с ним, и . . . не посторониться?» (IV, 143). «Дерзкий» поступок Лопухова явился непосредственной реакцией на неуважительное отношение к нему, к его костюму. Плебейская гордость Лопухова восторжествовала просто и непосредственно. Подпольный человек *вынашивал* свое намерение, готовился к нему, несколько раз пробовал не уступать дороги, но так и не «состукивался» со своим «противником». Подпольный человек даже молитвы читал, чтобы бог прибавил ему решимости, но и бог не помогал. Подпольный человек уже было решил бросить свою затею, и «вдруг» все решилось как нельзя лучше! «Вдруг, — рассказывает он, — в трех шагах от врага моего, я неожиданно решился, зажмурил глаза и, — мы плотно стукнулись плечо о плечо! Я не уступил ни вершка, и прошел мимо совершенно на равной ноге! . . . Разумеется, мне досталось больше; он был сильнее, но не в том было дело. Дело было в том, что я достиг цели, поддержал достоинство, не уступил ни на шаг и публично поставил себя с ним на равной социальной ноге» (IV, 145).

Н. Г. Чернышевский назвал «Что делать?» романом о новых людях, о недавно зародившихся в России новых типах. Н. Н. Страхов, в статье о «Что делать?» выписал эпизод о том, кто кому должен уступить дорогу, как один из самых характерных для типа, выведенного Чернышевским.¹⁰ Достоевский взял и тип и ситуацию у Чернышевского и переписал их заново, чтобы доказать, что и тип не таков и ведет он себя не так. На самом деле он заменил один тип другим. Самоутверждение героя Чернышевского усиливает социальные связи и ведет к осуществлению положительного идеала. Самоутверждение подпольного человека носит мнимый, иллюзорный характер и не может ослабить его деструктивного воздействия ни на себя, ни на других. Подпольный человек разрушает самые элементарные связи, без которых не держится никакое общество. Он стремится утвердить свое значение за счет других. Эта мысль жаждет «деспотировать», а деспотизм не связывает, а разрывает органические отношения между людьми; эта муха — тиран в душе и поэтому не понимает равенства, не умеет дружить. «Был у меня раз как-то и друг, — вспоминает он. — Но я уже был деспот в душе; я хотел неограниченно властвовать над его душой. . . когда он отдался мне весь, я тотчас же возненавидел его и оттолкнул от себя, — точно он и нужен был мне только для одержания над ним победы, для одного его подчинения» (IV, 153).

Подпольного человека полюбила несчастная женщина, Лиза, полюбила трогательно, преданно, беззаветно — он растоптал ее душу, добил ее, чтоб она уже не могла выбраться из омута, да еще цинически объяснил: «. . . надо же было обиду на ком-нибудь выместить. . . Меня унизили, так и я хотел унижить; меня в тряпку растерли, так и я власти захотел показать. . .» (IV, 189).

Поруганный, раздавленный подпольный человек искал власти, а властью он не умел пользоваться иначе, как для издевательства, для подлости, для тиранства. «Власти, власти мне надо было тогда, — объясняется «подпольный» с Лизой, — игры было надо, слез твоих надо было добиться, унижения, истерики твоей — вот чего надо мне было тогда!» (IV, 189).

¹⁰ Счастливые люди. Один из наших типов. Статья первая. П. Косицы. «Библиотека для чтения», 1865, т. 2, кн. 7 и 8, стр. 150.

Сознание своего лицемерия, своей лжи не исправляет подпольного человека, а доводит до высшего накала его разрушительные инстинкты. «Я уж ненавижу тебя, — продолжает он, — потому что я тебе тогда лгал. Потому что я только на словах поиграть, в голове помечтать, а на деле мне надо, знаешь чего: чтоб вы провалились, вот чего! Мне надо спокойствия. Да я за то, чтоб меня не беспокоили, весь свет сейчас же за копейку продам. Свету ли провалиться, или вот мне чаю не пить? Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить» (IV, 189).

Противоречивые мысли, чувства и инстинкты подпольного человека сводятся к страсти разрушения как к общему своему знаменателю. Уж ему надо не утвердить себя среди других людей, в мире, а разрушить мир, ибо в уничтоженном, пустом мире, мнитса ему, он спасется от обид, обретет свободу и покой. Ничем не ограниченный индивидуализм, которым Достоевский думал опровергнуть оптимистическую, социальную и социалистическую концепцию «Что делать?», оборачивается против самого себя и пожирает сам себя.

Линия подпольного человека и Лизы в сюжетном отношении является главной в «Записках», и в ней — в этой линии — полемика против Чернышевского переходит в полемику против Некрасова.

Некрасов едва ли не первый, еще в 1845 году, ввел в литературу образ человека с новыми убеждениями, восстанавливающего душу падшей женщины и в благородном порыве предлагающего ей руку и сердце:

И в дом мой смело и свободно
Хозяйкой полною войди!

Стихотворение Некрасова («Когда из мрака заблужденья. . .») чрезвычайно трогало и волновало современников, подготовленных к его восприятию чтением Жорж Санд и идеями утопических социалистов. Ситуация некрасовского стихотворения предваряет соответствующие мотивы в лирике Добролюбова, в «Что делать?» Чернышевского и в некоторых статьях по женскому вопросу 60-х годов.

Достоевский демонстративно взял большой отрывок из стихотворения Некрасова эпиграфом ко второй части «Записок из подполья» и еще дважды обращается к нему в тексте повести. Достоевский использовал сюжет стихотворения Некрасова полемически. Он свел подпольного человека с падшей женщиной и привел его к результатам, совершенно противоположным по сравнению с теми, которые с таким упоением воспел поэт «Современника». Сюжетное видоизменение ситуации стихотворения Некрасова снова должно было доказать, что «герой» «сбрендит», что он не выдержит благородной позы, подсказанной ему прочитанными книгами и слышанными речами.

Много жестоких и гадких движений подсмотрел Достоевский в думах нецельных, отъединенных от мира эгоистов, мстящих за свое ничтожество и за свои неудачи. Но то, как подпольный человек обошелся с Лизой, отнесится, вероятно, к самым гадким и подлым поступкам, когда-либо воссозданным в мировой литературе.

Идеалы, не поддержанные окружающими, породили в подпольном герое скептицизм — философский, социальный, этический. «. . . Не было ничего, что бы мог я тогда уважать в моем окружающем и к чему бы потянуло меня», — говорит он (IV, 140). Ему недоступна была диалектика идеала и действительности, которую при всей своей скорби понимали Белинский и Герцен. Подпольный человек пришел к выводу, что идеал внеположен движению, и абсолютная раздельность идеала и движения обесмыслили для него и то и другое. Он кинулся за спасением к непосредственности «живой жизни», которая, по его представлению, исключала идеал как всемертвующую книжную догму.

Отказ от идеалов заставил подпольного человека искать «живую жизнь» там, где ее и в помине не было, в обществе своего начальника Се-точкина, где толковали про акциз, о жалованье, о производстве, о его прес-восходительстве и т. д. и т. д., в среде своих школьных товарищей, в шест-надцать лет уже предвкушавших получение теплых местечек.

Подпольный человек в поисках «живой жизни» потянулся не туда, где свет добра и правды, а к этим презираемым им Симоновым и Зверковым. Здесь, думал он, непосредственность и полнота бытия, здесь свобода. К Си-моновым и Зверковым насильно напросился он на званый ужин, претерпев все муки унижения и презрения, какие только может претерпеть непрощен-ный и сомнительный приятель; за ними же, оставленный, брошенный, пом-чался он вдогонку в публичный дом, не за греховными наслаждениями, а чтобы соединиться, наконец, с этими людьми, которые *жили*, которые знали, как надо обходить «стену».

«Подпольный» опоздал, но если б он и застал в злачном месте всю ком-панию, все равно ничего бы не произошло — он не слился бы с нею, не включился бы в ее «простую и непосредственную» действительность. Мало того — здесь-то «подпольный» столкнулся с настоящей живой душой, с Ли-зой, нашел любовь, которая могла бы дать ему желанное счастье, которая могла бы перевести его из книжно-доктринерского мира в мир настоящий. Но для этого «подпольный» должен был поступить как некрасовский герой, а он, вопреки всем уверениям Достоевского, принадлежал к совершенно иной категории разночинной интеллигенции.

Подпольный человек был загнипнотизирован Симоновым и Зверко-вым: «. . . надо было спешить, и во что бы то ни стало скорее спасти мою репутацию в глазах Зверкова и Симонова. Вот в чем было главное дело. А про Лизу я даже совсем и забыл. . .» — признается он (IV, 179). В итоге подпольный человек, искавший независимость, свободу, личность, «живую жизнь», растратил все свое «я». Он стал более жалок, чем проститутка, он оказался ниже ее на лестнице человеческого достоинства, он поступил с нею как совершенный подлец. Он потерял и Лизу, единственно возможный для него якорь спасения.

Тоска, беспокойство, неудовлетворенность человека из подполья не могли найти правильного адреса для своего исхода, потому что они были порождены эгоизмом.

Поскольку «Записки из подполья» пронизаны полемикой с Чернышев-ским и, в частности, с «Что делать?», необходимо уточнить природу эго-изма подпольного героя. Несмотря на полемические задания Достоевского, приходится признать, что эгоизм подпольного человека не имеет ничего об-щего с «разумным эгоизмом». Его эгоизм — обычный мещанский эгоизм, считающийся только со своею собственной выгодой и не принимающий в расчет выгоды ближнего. Это эгоизм не Лопухова и Кирсанова, а эгоизм Марьи Алексеевны, пошлой матери Веры Павловны. Индивидуалистиче-ский эгоизм, как и всякое другое чувство или даже страсть, проявляется по-разному. Эгоизм — обычно чувство самоуверенное, самодовольное, хищное, но бывает и эгоизм неумелый, судорожный, нецельный и потому не достигающий нужных ему результатов. Подпольный человек одержим эгоизмом второго рода, подосновой которого является социальная распыленность его среды, социальная изолированность. Подпольный че-ловек стремился осуществить свое право не вместе с другими людьми, а в одиночку.

Психика его была антиномична, он постоянно кидался из одной край-ности в другую. Гуманизму материалистов и утопистов «подпольный» противопоставил абсолютную свободу одинокой личности, но он психоло-гически не мог выдержать одиночества. Подпольный человек снова обра-щался к людям, чтобы общением с окружающими преодолеть свою нес-частную рефлексю.

Уроки 40-х годов, уроки утопического социализма и гуманизма не прошли для него бесследно, он не мог начисто выкорчевать их из своей души. Ему нужна была не компания «на равной ноге» с самодовольными развлекающимися скотами, ему нужно было братство, ему необходима была братская любовь, — на меньшем он успокоиться не мог. Общество богатых и бедных, благополучных и неблагополучных, устроенных и неустроенных, злых и добрых не могло утолить его душевного голода. К тому же в этих антитезах он сам играл весьма двусмысленную роль. По отношению к Симоновым и Зверковым «подпольный» являлся страдательной стороной, но по отношению к Лизе он вдруг оказывался на другом полюсе, сам выступая в роли молота, а не наковальни, палача, а не жертвы. Подпольный человек не мог перенести двусмысленности своей роли. Он жаждал решения, ему нужна была однозначность.

Пока подпольный человек вращался в онтологической плоскости, пока он бунтовал против «стены» как абсолютной причинности, ему угрожало гносеологическое одиночество, субъективный идеализм, даже солипсизм. Как известно из истории философии, субъективные идеалисты находили спасение от гносеологического одиночества в религиозном *transcensus'e*, в метафизическом прыжке, в иллюзорном понятии бога. Бог субъективных идеалистов оставлял в сей земной юдоли все как есть, в том числе он не посягал и на закон социальной антропофагии. Но подпольный человек не был удовлетворен ходом дел мира сего: его больше волновали не онтологические и гносеологические, а этические проблемы. Как же можно было перейти от «стены», от мысли о фаталистической обусловленности всего сущего, каждого волоска и каждого мановения руки к новому порядку, к братству? *Фатально* такой переход был невозможен. «Логистика», «математика», как выражался «подпольный», несли с собой неодолимую инерцию.

Мы уже не раз говорили, что Достоевский был не философом, а художником, претворившим философские проблемы в материал искусства. Логические противоречия и несообразности не мешали художественной истинности типа подпольного человека. Наоборот — даже увеличивали его верность, потому что «подпольный» был человеком с раздвоенным, с раздробленным сознанием. Несмотря на полученное образование, подпольный человек не считался с логикой, нарочно делался «сумасшедшим», «чтоб не иметь рассудка и настоять на своем» (IV, 128). Подпольный герой Достоевского просто отмахнулся от онтологии. Вместе с онтологией он тем же произвольным путем устраняет и гносеологию, превратив ее в болезнь: «сознавать — это болезнь, настоящая, полная болезнь» (IV, 111).

Подпольный человек поставил на место онтологии и гносеологии *этику*, на место разума — *хотение*, т. е. волю. Сущность человека, декларирует «подпольный», — это «свое собственное, вольное и свободное хотенье, свой собственный, хотя бы самый дикий каприз». Но хотение может освободиться от «стены» только субъективно и иллюзорно, вместо объективной свободы оно несет мнимую «внутреннюю свободу», вместо реформы или революции общественной — «реформу» или «революцию» во внутренней самости, совершенно не затрагивающей антитетического, злого, безнравственного устройства общества. При таком понимании свободы она может реализоваться только в смерти. Но Достоевский хотел не смерти, а живой жизни, не свободы уединенной самости, а свободы в братстве. Однако при подпольном способе трактовки этических проблем от самости, от эгоизма также не было перехода к братству, как не было перехода от сознания «я» к включенности «я» в мир объективной закономерности. Для перехода от самости эгоизма к братству «подпольному» снова нужен был *transcensus*, произвольный прыжок, потому что какой же может быть естественный переход от фантастического хотения, раздраженного иногда до сумасшествия, к братству. Таким прыжком и здесь оказывался бог, религия.

«Записки из подполья» заканчивались прыжком в религию, *transcensus*’ом от хотения к богу. Мы это знаем из письма Достоевского к брату Михаилу от 26 марта 1864 года. «... Уж лучше было, — жаловался Федор Михайлович, — совсем не печатать предпоследней главы (самой главной, где самая-то мысль и высказывается), чем печатать так, как оно есть, т. е. с надерганными фразами и противоречия самой себе. Но что ж делать! Свины цензора, там, где я глумился над всем и иногда богохульствовал *для виду*, — то пропущено, а где из всего этого я вывел потребность веры и Христа, — то запрещено. Да что они, цензора-то, в заговоре против правительства, что ли?».¹¹

Достоевский растерялся в злом мире, среди неразрешимых для него противоречий, и он не знал, как без веры в бога воскресить своего гадкого и несчастного героя. Однако искусственность и ненадежность религиозной развязки «Записок из подполья» видны из того, что Достоевский никогда не предпринимал попыток восстановить ее. Отсутствие решения лучше гармонировало со всем ходом «Записок», чем пристегнутая к ним дидактическая проповедь.

Возникает, однако, естественное недоумение: почему цензура не пропустила возвращения к религии, обращения к богу и Христу как финала и поучения повести? Ведь Достоевский, как ему казалось, серьезно повернул «Записки из подполья» к религии, считая, что бог, как *deus ex machina*, разрешит все неразрешенные и неразрешимые их противоречия. Но дело в том, что Достоевский в своей интерпретации религии нет-нет да и давал такие ответы, которые не устраивали церковь. Хорошо сказал о нем Н. Лесков: «Это с ним хроническое: всякий раз, когда он заговорит о чем-нибудь касающемся религии, он непременно всегда выскажется так, что за него только остается молиться: „Отче, отпусти ему!“».¹²

При помощи религии Достоевский надеялся достигнуть «формулы» любви и братства, но в отличие от религии предполагал ее осуществление на земле. Не смерть должна явиться торжеством человеческой свободы, а «рестаурация» человеческого образа, очищение от эгоизма, растворение в братской общине, ответно гарантирующей личности довольство и свободу. Ни христианство во всех его разветвлениях, ни магометанство, ни иудейство не обещают счастья на земле. Религия обещает рай только на том свете, религия не верит в полную исправимость ни лица, ни общества, она не верит в прогресс, в гармонию, *в рай на земле*. Достоевский же проповедовал именно рай на земле, соединение рая религии с братством утопистов. «Почвенничество» оборачивалось модификацией христианского социализма, что было неприемлемо ни для православной церкви, ни для царистского государства.

Христианский социализм был достаточно безобидной концепцией, но напоминание о социализме в тревожной обстановке 60-х годов все же пугало. Хотя проповедь покорности божьей воле включала в себя призыв к послушанию существующим, богом поставленным властям, цензура не ошиблась в своих опасениях. Позиция Достоевского была двойственна. Подпольный человек не принимал, выражаясь языком «Братьев Карамазовых», «эвклидовой дичи». Но «фатальная», естественная закономерность не приметно переплеталась у Достоевского через гегелевский абсолют с божьим предопределением и неприятие фатального мира оборачивалось неприятием божьего мира, «богохульство» превращалось в богоборчество, не в атеизм, но в бунт против бога, что церковь могла простить не больше, чем атеизм.

«Записки из подполья» родились из хаоса противоборствующих идей, из которого Достоевский не мог выбраться. Выдвинуть против материа-

¹¹ Ф. М. Достоевский. Письма, т. I. ГИЗ, М.—Л., 1928, стр. 353.

¹² Андрей Лесков. Жизнь Николая Лескова. Гослитиздат, М., 1954, стр. 292.

листов, демократов, в их опровержение, принцип личности — уже в одном этом содержалась путаница. Материалисты, атеисты, демократы, социалисты, «западники», по неясной терминологии времени, ведь и были защитниками прав, достоинства, свободы личности. Отвергали личное начало как грех перед богом и мистической «хоровой», националистической сущностью славянофилов. Следовательно, где-то в глубине бунт «почвенника»-полуславянофила Достоевского против революционного «западничества» был на деле бунтом против близкого ему славянофильства. Феодално-общинная патриархальность не знала личности, не признавала за ней никаких прав, она растворяла личность в безличном, мнимо недифференцированном целом. Буржуазия разрушила «предустановленную» свыше феодалную иерархию с ее отрицающей личность патриархальной «гармонией». Буржуазия подняла знамя личности, но что из этого получилось реально, показала восторжествовавшая античеловеческая буржуазная практика.

Антигуманистическую суть буржуазного порядка, затушеванную лицемерной фразеологией, разоблачили социалисты-утописты, разоблачил Герцен — и вслед за ними показал во всей наготе Достоевский в «Зимних заметках о летних впечатлениях». В «Записках из подполья», дополняющих «Зимние заметки», Достоевский доказал, что буржуазный порядок и не может быть иным ни на Западе, ни в России; что при капиталистическом строе личность может быть либо деспотом, тираном, либо мышью, мухой, нулем. Оттого-то Достоевский с таким сарказмом, с такой ненавистью отвергал «формулу» буржуазного единения. Буржуазная «формула» была тем мучительнее, что доведенная до нуля личность не хотела признавать себя нулем, в то время как в феодално-крепостнической общинности личность не понимала, что она нуль. Социализм дал «формулу» свободного единения личности и общества, которую надо было, однако, завоевать в борьбе и претворить в действительность в последующем развитии. «Понять всю ширину и действительность, понять всю святость прав личности и не разрушить, не раздробить на атомы общество, — писал Герцен в 1847 году, — самая трудная социальная задача. Ее разрешит, вероятно, сама история для будущего, в прошедшем она никогда не была разрешена».¹³

Достоевский знал только утопические формы социализма. Но Достоевскому мешали признать социалистическое решение проблемы личности и общества не только утопические рецепты, он превратно понимал самый принцип социализма. Размышляя об идеале утопических социалистов, Достоевский коснулся чрезвычайно важного пункта: для социалистов человек — существо трудящееся, созидающее, творческое; вне труда нельзя и представить себе социалистического порядка. Однако Достоевский сразу же отнесся к этому пункту иронически. Остановиться на теме труда и сделать из нее все необходимые выводы помешало ему потребительское представление о природе человека, вынесенное им в значительной степени (хотя, быть может, и подсознательно) из религии. Религия считает труд проклятием, наказанием за первородный грех. Первые христианские общины носили потребительский характер, и представления о «чистом» христианстве всегда окрашивались в той или иной мере в потребительские оттенки.

Христианское учение о рае (как и учение всех других религий о загробном вознаграждении) обещает праведникам вечное блаженство нетрудового существования. Люди, сочетавшие социализм с христианством, золотой век с раем, погружались в утопические мечтания о будущем как о царстве вечного, нерушимого праздника, как о пире, прерываемом лишь для радостной игры.

¹³ А. И. Герцен, Собрание сочинений в тридцати томах, т. V, стр. 62.

Социалисты, даже утописты, базировали свое учение на труде и понимали социализм как освобождение труда от эксплуатации и как организацию труда. До Достоевского это, однако, «не доходило». Трудовой основой социалистических учений он не замечал или не придавал ей никакого значения — социализм ему казался ожившей картиной Клода Лоррена «Асис и Галатей», мифом о пиршестве и любви на фоне прекрасной природы. И ничто уже не могло переубедить Достоевского. Лионские ткачи шли на восстание под лозунгом: «Жить работая или умереть сражаясь». Утопический роман Чернышевского «Что делать?» рисовал будущую жизнь как трудовую, но труд в ней сопровождался музыкой, пением, перемежался танцами, и Достоевский обратил внимание только на последнее.

Лев Толстой звал праздного барина к труду. Достоевский рассматривал стремление мещанина освободиться от труда как свойство человеческой природы. Человек любит рай, полагал Достоевский, но созидать рай не любит, потому что труд для него — проклятие, наказание за грех; истинное блаженство человек ищет в праздности. Поэтому-то Достоевский заставляет подпольного человека смеяться над трудом как идеалом. «Я согласен, — иронизирует «подпольный», — человек есть животное, по преимуществу созидающее, присужденное. . . заниматься инженерным искусством, т. е. вечно и непрерывно дорогу себе прокладывать, хотя *куда бы то ни было*. . . как ни глуп непосредственный деятель вообще, но все-таки ему иногда приходит на мысль. . . что главное дело не в том, куда она идет, а в том, чтоб она только шла, и чтоб благонравное дитя, пренебрегая инженерным искусством, не предавалось губительной праздности, которая, как известно, есть мать всех пороков» (IV, 129).

Человек в праздности предается греховным мыслям и своеволию, вот поэтому его и заняли трудом, обрекли на труд, наказали трудом — и религиозный этот приговор, кажется Достоевскому, социалисты подтверждают. Естественно, что программа своевольного хотения начинается с отказа от труда. (Она и возникла в уме подпольного человека, когда он, получив наследство, стал крошечным рантье). Однако раздвоенный герой Достоевского, утвердив какой-либо тезис, неожиданно для себя вдруг выдвигает антитезис. Своевольный индивидуалист не может примириться и с потребительским раем, с золотым веком, с хрустальным дворцом не только потому, что они обязательны, но и потому, что в них будет *скучно*, как становится скучно всякому незанятому и пресыщенному человеку.

Как представляет себе подпольный человек «социализм», жизнь в хрустальном дворце? Его осыплют там, в осуществленном рае, всеми земными благами, утопят в счастье совсем, с головой, ему дадут такое экономическое довольство, что совсем уж ничего больше не останется делать, «кроме как спать, кушать пряники и хлопотать о прекращении всемирной истории» (IV, 128).

Употребляя слова Ленина, приведенные в воспоминаниях В. Анучина, Достоевский думал, что при достигнутом социализме люди «будут чмокать у корыта и радостно хрюкать от изобилия». «Потребителям» Ленин отвечал, что «осуществленная мечта — социализм — откроет новые грандиозные перспективы для самых смелых мечтаний»¹⁴ — и для дерзновенного, воодушевленного труда во имя их осуществления. Достоевскому же казалось, что утопии пророчествуют о «чмокании у корыта», что «бедные», и рабочие в том числе, стремятся избежать труда. «Почвенничество» было уверено, что рабочие и бедные любят праздность и к одной только праздности и стремятся.

¹⁴ В. А н у ч и н. Встреча. «Литературный современник», 1940, № 1, стр. 7. См. также: «Сибирские огни», 1947, № 2, стр. 103.

Осуществится благая весть, человек наденет белые одежды, возьмет в руки пальмовые ветки — и будет радоваться, будет пировать, любить, потреблять, но не будет работать. Так всегда представлял себе «программу социализма» Достоевский — и в «Записках из подполья», и в «Подрутке», и в «Братьях Карамазовых», и в «Дневнике писателя». Однако Достоевский не мог не понимать, что в праздности жизнь «как бы замедляется», и человеком, достигшим всего, овладевает тоска, следствие пресыщения. Человек не может выдержать фатальной причинности и будет искать выхода из нее не в познании и в свободе как познанной и управляемой необходимостью, а в анархическом бунте, человек не может выдержать всеобщего ничегонеделания, ему станет скучно, и от скуки он снова выдумает хаос и разрушение — таков тревожный вывод, к которому пришел Достоевский.

Гениальный художник, оригинальный публицист и мыслитель, Достоевский — как это ни парадоксально — не мог выйти за пределы потребительского представления о человеке. Валковский, сильный человек, хищник, стремившийся к нравственной, экономической и политической власти над людьми, превращал власть в орудие ничем не стесненного потребления, наслаждения и, пресыщенный, распадался до «грязнотцы», до «заголенья». Утверждение эгоистической личности, сводящееся к «грязнотце», к «моральному заголению», к разрушению социальной гармонии, буде она осуществится, — ведь это уже и есть тема «Записок из подполья». Таким образом, Достоевский объективно показывал крах потребительского человека и тогда, когда он претендовал на роль властелина, и тогда, когда он являлся страдательной стороной. Достоевский, понявший ограниченность потребителя и испугавшийся разрушительной стихии, тающей в гипостазированном потреблении, страстно, но напрасно стремившийся к идеалу, не мог ничего противопоставить потребительскому отношению к миру. Не находя диалектического выхода из неразрешимых для него противоречий в новом синтезе, Достоевский обращался к богу, но цензура вычеркнула бога из финала «Записок». Повесть обрывалась на аккорде дисгармонии и хаоса, — и это было лучше, чем мнимое «замирение», чем иллюзия веры. «Впрочем, — завершает Достоевский свою повесть, — здесь еще не кончаются «записки» этого парадоксалиста. Он. . . продолжал далее. Но нам. . . кажется, что здесь можно и остановиться» (IV, 195).

Как уже несколько раз подчеркивалось, Достоевский писал «Записки из подполья» не как философский трактат, а как художественное произведение. Гениальность Достоевского-художника в «Записках из подполья» выразилась в том, что он почувствовал и необычайно убедительно выразил психологию философского переживания. Он сумел показать, как формируется или деформируется характер под влиянием убеждений, как убеждения рождают поступок и цепь поступков, слагающихся в привычку и определяющих дальнейшее поведение, причем само собою понятно, извращенные, анархические идеи порождают извращенное, анархическое поведение. Это может показаться парадоксальным в свете огромной литературы о Достоевском, но знаменитый писатель никогда не сводил характер человека к одному только бессознательному или подсознательному, — он на свой лад придавал громадное значение мировоззрению в образовании человеческих типов. Это позволило ему дать свою модификацию типа «лишнего человека», уже не из дворян, а из разночинцев, из мещан, художественное исследование которого приобретало всемирное значение, более важное, чем художественное исследование «лишнего человека» — дворянина. Мещанская личность, ищущая в одиночку своей свободы, всегда и всюду сталкивается с антиномией необходимости (фаталистической) и свободы (абсолютной). «Противоречие между необходимостью и свободой по существу неразрешимо, — писал лидер народ-

ничества Михайловский совершенно в духе подпольного человека, — и мы должны попеременно опираться то на ту, то на другую». ¹⁵ Критикуя Михайловского, Ленин доказал, что на самом деле никакого конфликта между необходимостью и свободой нет: «...он выдуман г. Михайловским, опасавшимся (и не без основания), что детерминизм отнимет почву у столь любимой им мещанской морали». ¹⁶ Критика Ленина была направлена не только против Михайловского, но и против Прудона с его «Экономическими противоречиями», и против Канта, когда он находил выход из антиномий чистого разума в религии.

Гениальность Достоевского позволила ему уловить тип, в котором все эти противоречия производили целую душевную бурю и которого они заводили в тупик. Достоевский не идею исследовал саму по себе, а вывел лицо, характер, тип представителя поколения 40-х годов, дживавшего свой век в обстановке 60-х. Подпольный человек — не дедукция идеи, не порождение «реторты», а именно тип, но тип особый, у которого идеи доходят до степени чувства, до накала всепожирающей страсти. Подпольный герой переживает идеи и целые философские системы и о своих убеждениях, сомнениях, теоретических исканиях рассказывает как о страстных переживаниях, окрашенных, естественно, *отношением*: согласием, несогласием, раздражением, спором, ненавистью, метаниями, желанием остановиться на определенном выводе и неспособностью найти решение. У подпольного человека свое индивидуально-пристрастное отношение к философским категориям и философским антиномиям. Он воюет с причинностью, с закономерностью, с детерминизмом, с мировой необходимостью как с личными врагами. Он не смущается алогизмом своих решений и своих переходов, потому что представляет на суд публики не логическое построение, а переживания. Подпольный человек психологизирует и гегелевский абсолюте, и антропологический принцип Чернышевского. Достоевский с изумительным мастерством и удивительной верностью показывает, как психологически окрашенные философские категории приобретают у «подпольного» вид эмоциональных символических образов: хрустального дворца, стены, муравейника, курятника, зубной боли, зубного врача, пощечины, кукиша и т. д., самого «подполья» наконец. Желание гармонически слиться с наличным бытием выливается в стремление втереться в компанию Симоновых и Зверковых, осуждение дисгармонического мира приобретает форму личной мести слабейшему существу, жалкой и позорной пятерки, которую «подпольный» попытался было всунуть Лизе.

Подпольный человек задыхается в беспредметных абстракциях, его философские симпатии и антипатии должны непременно трансформироваться *в предмет, в эпизод, в ненависть к лицу* (любить подпольный человек не способен). В таком изображении идео-психологического мира подпольного человека нет ничего противоречащего психологии художественного мышления и законам художественного творчества, нет никаких упрощений.

Б. Г. Кузнецов в книге «Эйнштейн» приводит свидетельство великого физика о том, что первоначально его размышления выступали в виде «более или менее ясных образов и знаков физических реальностей» «зрительного и некоторого мышечного типа». «Речь идет, — поясняет биограф Эйнштейна, — о физической интуиции, предваряющей логические и математические конструкции». «Логические конструкции, которые можно выразить словами и математическими символами, — это вторая ступень. Первоначально в сознании нет ничего, кроме возникающих и ассоциирую-

¹⁵ Н. К. Михайловский, Полное собрание сочинений, т. III, СПб., 1909, стлб. 440.

¹⁶ В. И. Ленин, Сочинения, т. 1, стр. 142.

щихся образов физических реальностей. Эти образы приближаются к зрительным и моторным представлениям». ¹⁷ В творчестве Достоевского мы имеем дело с обратным процессом. Отвлеченные логические, философские построения, чтобы ассимилироваться с его художественным мышлением, должны были выразиться в образе, содержание которого, однако, превышает его эмпирическую ограниченность, или в ощущении (зубная боль), дающем ему возможность сомкнуть физический ряд с «метафизическим».

Бывает и так, что иные явления внешнего, объективного мира вызывают у Достоевского, по законам ассоциации, целую гамму определенным образом окрашенных воспоминаний, настроений, переживаний и философских размышлений. Таков мокрый снег, например, желтый, мутный. «Мне кажется, — вкладывает Достоевский в уста «подпольного», — я по поводу мокрого снега и припомнил тот анекдот, который не хочет теперь от меня отвязаться. Итак, пусть это будет повесть по поводу мокрого снега» (IV, 135). Вторая часть «Записок» так и называется «По поводу мокрого снега». Анекдот — здесь происшествие, событие, приобретающее этическое и философское содержание. «Записки» нигде не переходят в публицистику; у Достоевского на всем протяжении повести видение мира сохраняет свою эстетическую природу, но сквозь эстетику он всматривается в онтологию и этику, в философию мира, космоса и общества, как он их понимает, конечно.

Слияние философствования с повествованием, растворение философствования в повествовании и в то же время сохранение его в «снятом» виде вскоре после «Записок из подполья» привело к созданию первого великого романа Достоевского «Преступление и наказание», романа нового, специфичного для Достоевского, типа. Однако слияние повествования с философствованием, превращение рассказа в повесть философскую еще трудно давалось Достоевскому. «Гораздо трудней ее писать, чем я думал. . . — сообщает он брату Михаилу 20 марта 1864 года. — По тону своему она слишком странная и тон резок и дик; может не понравиться; след. надобно, чтоб поэзия все смягчила и вынесла. Но я надеюсь, что все уладится». ¹⁸

Однако не все «улаживалось». Достоевскому так и не удалось достигнуть желанной ему степени совершенства. В другом письме тому же Михаилу Михайловичу он пишет: «. . . повесть разрастается. . . я не знаю, что будет, — может быть дрянь, но я-то, лично, сильно на нее надеюсь. Будет вещь сильная и откровенная; будет правда. Хоть и дурно будет пожалуй, но эффект произведет». ¹⁹

Достоевский видел, что форма повести складывается «дурно», он рассчитывает уже больше на ее содержание, на ее идеи. Однако первым условием художественности Достоевский считал равновесие между содержанием и формой, соответствие идеи и формы; он многократно доказывал, что недостаток формы вредит ясности и действительности идеи: хромой солдат плохо сражается. Художественные недостатки «Записок из подполья» в самом деле весьма заметны, тон ее в самом деле дисгармоничен, «резок и дик», а отсутствие настоящей развязки лишает ее катарсиса, которого мы ждем не только от трагического представления, но и от трагического повествования.

«Записки из подполья» и структурно распадаются на две не вполне сливающиеся части. Первая часть бессюжетна. Ее содержание — характеристика персонажа с философской стороны, воспроизведение его убеждений, его философского бунта против мировой закономерности и против закономерно обосновываемого общественного идеала. Вторая часть —

¹⁷ Б. Г. Кузнецов. Эйнштейн. Изд. АН СССР, М., 1963, стр. 98, 99.

¹⁸ Ф. М. Достоевский. Письма, т. II, стр. 613.

¹⁹ Там же, т. I, стр. 362.

«По поводу мокрого снега» — сюжетна. Но объединяющего сюжета, который связал бы обе части в единое синтетическое целое, Достоевский не нашел, несмотря на то, что он является величайшим мастером сюжета. В первой части разворачивается психологически окрашенная, переживаемая философия вне сюжета, во второй части — подпольный человек дан в действии, в поступках, в эпизодах, философский смысл которых, однако, без первой части не может быть понят. В первой части время *длится*, не прерываясь переменами, не наполняясь событиями, оно однотонно — как однотонны конвульсивные настроения и думы подпольного человека. Содержание первой части охватывает срок в двадцать с лишним лет. Во второй части время летит, появляется действие, приобретающее бурные темпы и сосредоточивающееся в течение четырех дней. Действие во второй части разворачивается по всем канонам поэтики Достоевского — в обострении, с неожиданными поворотами, «вдруг» развязываясь в одно роковое и неотвратимое мгновение. Герой рассказа хотя и бесхарактерен, но в момент действия он вовлекается в поток в высшей степени интенсивных переживаний, толкающих его на безрассудные поступки. Однако агитации «подпольного» недостаточно, чтобы его поступки охватили всю повесть в целом и превратили ее тем самым в роман. Подпольный человек — *антигерой*, не только по дрянным качествам своего характера, но и по своей сюжетной неполноценности: «. . . в романе надо героя, а тут нарочно собраны все черты для анти-героя. . .» (IV, 194).

Чтобы объединить и философию и сюжет, нужен был герой; без героя повествование грозило выродиться в бесконечную цепь однозначных эпизодов, не ведущих к развязке, но для того чтобы герой получил простор для своего проявления, нужен был *роман*.

После «Записок из подполья» Достоевский приступает к созданию своих больших, бессмертных романов, вступает в последний и самый зрелый период своего творчества.

Преодоление теоретических трудностей психологическим аффектом возможно в художественном образе, но оно ничего не стоит в чисто теоретическом плане. Мыслители-декаденты типа Льва Шестова, принявшие каприз литературного персонажа за философское решение вековых философских проблем, распались и в своей философской бедности, и в своей эстетической слепоте. Они не сумели оценить Достоевского. Достоевский в самом деле хотел поразить Чернышевского, Некрасова, Щедрина, Ге. Но в процессе выполнения замысла он невольно заменил тип передового разночинца подпольным разночинцем, *разночинцем-мещанином*. Как великий художник, Достоевский с огромной убедительностью показал социальную и этическую опасность эгоистического, потребительского индивидуализма.

Каковы бы ни были первоначальные намерения Достоевского, он пришел к объективно-художественному результату, который, быть может, лучше всего определил М. Горький, строго относившийся к Достоевскому и нетерпимо к «достоевщине». «Достоевскому принадлежит слава человека, — говорил Горький на Первом всесоюзном съезде писателей, — который в лице героя „Записок из подполья“ с исключительно ярким совершенством живописи слова дал тип эгоцентриста, тип социального дегенерата. С торжеством ненасытного мстителя за свои личные невзгоды и страдания, за увлечения своей юности Достоевский фигурой своего героя показал, до какого подлого визга может дожить индивидуалист из среды оторвавшихся от жизни молодых людей XIX—XX столетий».²⁰ Горький же

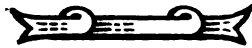
²⁰ М. Горький, Собрание сочинений в тридцати томах, т. 27, Гослитиздат, М., 1953, стр. 313.

указал на то, что мораль ницшеанства была гениально предвосхищена и депозитизирована в образе подпольного человека.

Критики-декаденты взяли из противоречивого содержания «Записок из подполья» только одну сторону, и, пользуясь тем, что прогрессивная критика игнорировала повесть, узурпировали ее, истолковав по-своему, заплатив, однако, за этот произвол большую цену: они утратили «Записки» как произведение искусства.

Критики-декаденты, критики-идеалисты обращались к «Запискам из подполья», чтобы доказать метафизический характер и метафизическое происхождение творчества Достоевского. Между тем анализ «Записок из подполья» наилучшим образом показывает, что творчество Достоевского выросло в определенных исторических и социальных условиях. Тем самым отпадают и многочисленные попытки отождествить природу подпольного человека с природой человека вообще.

Как художественное произведение «Записки из подполья» вобрали в себя все противоречия мещанского бытия, не сумев разрешить ни одного из них, ибо даже сам Достоевский в данном случае не стал настаивать на религии как на средстве их преодоления. Зато «Записки из подполья» остались как грозное напоминание об опасности мещанства с его склонностью тиранствовать, мучить, жить за счет общества, не давая ничего взамен, с его пониманием свободы как произвола и неоплаченного потребления. Крах подпольной философии и подпольной этики, столь убедительно выступающий из повести Достоевского, лишней раз подтверждает марксистский тезис, гласящий, что личность может достигнуть свободы только вместе с другими людьми, только в освобожденном и социалистически преобразованном обществе.



ОБ ИСТОЧНИКАХ «ЛЕВШИ» Н. С. ЛЕСКОВА

1

Как известно, «Сказ о тульском косом левше и о стальной блохе» в двух первых публикациях имел подзаголовок «Цеховая легенда» и предвварялся вступлением, в котором автор сообщал читателям, что предлагаемая «оружейничья легенда» записана им в Сестрорецке, со слов «старого оружейника, тульского выходца»; далее следовала краткая характеристика этого оружейника.¹

По справедливому замечанию советского исследователя, «приверженный „старой вере“, помнящий еще времена Александра I оружейный мастер — такой же литературный персонаж-рассказчик, как и бойкая мещанка, от лица которой ведется повествование в рассказе „Воительница“, или кроткий духом богатырь Иван Северьяныч „Очарованного странника“».²

Утверждение Лескова о том, что он лишь записал и опубликовал народную легенду, было несомненно продиктовано художественным расчетом: образ рассказчика мотивировал причудливое речевое своеобразие «сказа».

Такая мотивировка — уже прямо от автора — была дана в новом «сказе» — «Леон дворецкий сын», написанном и напечатанном вслед за «Левшой», выполненном в той же манере и принадлежащем к тому же замышленному Лесковым циклу, которому писатель хотел первоначально даже дать общий заголовок: «Исторические характеры в баснословных сказаниях нового сложения» (VII, 500). Самый «сказ» и на этот раз предвваряется вступлением, — более развернутым, чем в «Левше». Говоря здесь о «возникновении новых легендарных сказаний» в народе (со ссылкой на свою «запись» «народной легенды о „косом Левше“»), Лесков мотивирует речевую специфику якобы «записанных» им «сказов» социальным обликом рассказчиков: «... язык испещрен прихотливыми наносами дурно употребляемых слов самой разнообразной среды. Последнее происходит, конечно, от слишком сильного старания слагателей попасть в разговорный тон того общественного слоя, из которого они берут выводимых ими лиц. Не имея возможности усвоить настоящий склад разговорного языка этих людей, они думают достичь наибольшей живообразности в пересказе, влагая в уста этих лиц слова как можно пестрее и вычурнее, чтобы не было похоже на простую речь» (VII, 60—61). Новая легенда, по сообщению автора, «слышана» им «на палубе парохода, шедшего из Рыбинска в Череповец. Рассказчик, торговый крестьянин, часто бывал в Петербурге и знал здесь много людей, которые, по его словам, „имели обшир-

¹ Текст этого вступления и библиографические данные о публикациях «Левши» см. в моем комментарии в «Собрании сочинений» Н. С. Лескова, т. VII (Гослитиздат, М., 1958, стр. 498—508; в дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте).

² Э. С. Литвин. Фольклорные источники «Сказа о тульском косом Левше и о стальной блохе» Н. С. Лескова. «Русский фольклор», т. I, Изд. АН СССР, М.—Л., 1956, стр. 125—126.

ные знакомства в публике и могли знать при дворе разные абсолютные обстоятельства» (VII, 62).

«Леон дворецкий сын» не был включен Лесковым в собрание его сочинений; при перепечатке же «Левши» в собрании сочинений (1889) подзаголовок «Цеховая легенда» и предисловие были отброшены автором: в этом тексте рассказ начинается без всякого указания на то, кому принадлежит явно «неавторская» речь; это совершенно необычно для Лескова. Косвенное указание осталось лишь в последней главе, написанной «от автора», а не «от рассказчика»; здесь сказ о Левше назван «баснословной легендой» и «эпосом работников». Эти слова в первоначальном тексте имели, конечно, в виду сказанное во вступлении; да и вся последняя глава перекликается со вступлением, написана в его стиле и тоне: сказ оружейника обрамлен комментарием писателя — «публикатора» народной легенды. Таким образом, в окончателном тексте не только исчезла мотивировка стиля и тона повествования, но и самая композиция произведения стала менее четкой.

Зачем же Лесков исключил предисловие, невзирая на известный художественный ущерб, наносимый этим произведению? На этот вопрос можно ответить с полной уверенностью: отзывы об отдельном издании «Левши» (1882) заставили Лескова счесть художественный прием, реализованный им в предисловии, неудавшимся. Рецензенты приняли вымысел Лескова за изложение подлинной истории возникновения произведения. Один рецензент сообщал читателям, что «авторское участие г. Лескова. . . в „сказе“ ограничивается простым стенографированием. И надо отдать справедливость г. Лескову: стенограф он прекрасный».³ Другой рецензент заподозрил, что Лесков «сочинил, вероятно, добрую. . . половину» «длинной эпопеи», так как «многое в баснословии отзывается литературною искусственностью».⁴ Третий отнесся к произведению не как к записи, точной или неточной, а как к авторскому «пересказу» «народной сказки», зародившейся, «как видно по ее обстановке и ломаной терминологии. . . в среде фабричного люда».⁵ Но ни один из пяти рецензентов издания не усомнился в использовании Лесковым готового сюжета фольклорного происхождения.

Ознакомившись с рецензиями, Лесков пришел к убеждению в необходимости раскрыть мистификацию и сделал это прежде всего в специальном письме в редакцию «Нового времени». Здесь он пишет: «. . . как рецензенты „Нового времени“ и „Голоса“, так и все другие, высказавшие свое мнение о „Левше“, в одно слово утверждают, будто сказ о Левше есть „легенда старая и общеизвестная“.

Это требует поправки, и я прошу позволения ее сделать.

Все, что есть чисто *народного* в „Сказе о тульском левше и о стальной блохе“ заключается в следующей шутке или прибаутке: „Англичане из стали блоху сделали, а наши туляки ее подковали, да им назад отослали“. Более ничего нет „о блохе“, а о „левше“ как о герое всей истории и о выразителе русского народа нет никаких народных сказов, и я считаю невозможным, что об нем кто-нибудь „давно слышал“, потому что, — приходится признаться, — я весь этот рассказ *сочинил* в мае месяце прошлого года, и *левша* есть лицо *мною выдуманное*. Что же касается самой подкованной туляками английской блохи, то это совсем не легенда, а коротенькая шутка или прибаутка, вроде „немецкой обезьяны“, которую „немец выдумал, да она садиться не могла (все прыгала), а московский меховщик взял да ей *хвост пришил*, — она и села“.

³ «Дело», 1882, № 6, стр. 102 (2-я пагинация).

⁴ «Отечественные записки», 1882, № 6, отд. II, стр. 258.

⁵ «Вестник Европы», 1882, № 7, обложка.

В этой обезьяне и в блохе даже одна и та же идея и один и тот же тон, в котором похвальбы может быть гораздо менее, чем мягкой иронии над своей способностью усовершенствовать всякую заморскую хитрость». ⁶

Этой газетной заметкой Лесков не ограничился: по разным поводам он еще дважды — в 1885 и 1889 годах — сообщил своим читателям о «выдуманности» «Левши» (VII, 449; XI, 242). Тем не менее недоразумение продолжалось и наложило печать не только на критическую, но и на исследовательскую литературу о «Левше». Не помогло и исключение предисловия, вызвавшего недоразумение, из окончательного текста «Левши» (1889).

До недавнего времени единственной работой, посвященной генезису «Левши», была большая статья С. А. Зыбина «Происхождение оружейничьей легенды о тульском косом Левше и о стальной блохе», напечатанная в 1905 году в ведомственном журнале «Оружейный сборник». Автор статьи — артиллерийский полковник, начальник одной из мастерских Тульского оружейного завода и историк этого завода — знал заинтересовавшее его произведение, как очевидно из его статьи, по отдельному изданию и не подозревал, что в собрании сочинений снято, а в ряде печатных выступлений автора дезавуировано предисловие, к которому Зыбин отнесся как к документальному свидетельству, не вызывающему никаких сомнений. Зыбин рассматривает рассказ Лескова как запись фольклориста, допуская лишь возможность некоторой порчи Лесковым фольклорного текста. «К сожалению, — пишет он, — вычурный язык легенды, дешевое каламбурство, рассеянное во многих местах, несколько уменьшают ее достоинство. Очень возможно, что эта сторона легенды больше обязана самому Лескову, любившему разные словечки, чем народному остроумию». ⁷

Оценки, мотивы, источники «сказа» выявляются Зыбиным применительно не к Лескову, а к «народу». «Народ, — с удовлетворением констатирует Зыбин, — сумел разобраться между Клейнмихелем и Скобелевым, между Платовым и Чернышевым, сумел отдать должное суровому царю-патриоту Николаю и отметил с грустью космополитизм Александра I». ⁸

При такой установке, очевидно, прежде всего надо выяснить, откуда же безымянные слагатели легенды заимствовали сведения, лежащие, казалось бы, далеко за пределами их опыта.

Хорошее знание рассказчиком Петербурга не смущает Зыбина. «Очевидно, — пишет он, — что *рассказчик*, старый сестрорецкий оружейник, выходец из Тулы, . . . внес кой-что местное, чисто петербургское, но главные подробности рассказа, оценка в нем событий, характеристика лиц и положений, образ Левши пришли с ним из Тулы, как продукт народного творчества». ⁹

Сложнее оказывается аналогичный вопрос о Лондоне: «Откуда тульские оружейники могли получить сравнительно достоверные сведения о Лондоне, его фабриках, заводах, о жизни его обитателей?» ¹⁰ Этот вопрос становится центральным в статье Зыбина и разрешается привлечением эпизода из истории Тульского оружейного завода в XVIII веке. В 1785 году двое туляков, Алексей Сурнин и Андрей Леонтьев, были отправлены в Англию для обучения оружейному мастерству. Леонтьев не вернулся в Россию и спился в Англии, а Сурнин вернулся и, по повелению Екатерины II, был назначен «мастером оружейного дела и надзира-

⁶ «Новое время», 1882, № 2256, 11 июня, стр. 2.

⁷ «Оружейный сборник», 1905, № 1, отд. II, стр. 2.

⁸ Там же, стр. 57.

⁹ Там же, стр. 9.

¹⁰ Там же, стр. 45.

телем всего до делания ружья касающегося», с большим по тому времени жалованьем «по пятьсот рублей на год».¹¹

Таким образом, источник, из которого в народный эпос проникли сведения об Англии, Зыбин счел найденным: «Понятно, Сурнин много рассказывал своим слушателям, бывшим товарищам его игр, об Англии»; «туляки получили великолепный, подлинный материал от своего же брата-оружейника».¹² Самый образ Левши народная фантазия создала, по Зыбину, из сочетания искусного мастера и патриота Сурнина с гулякой Леонтьевым.¹³

Статья полковника Зыбина до недавних пор оказывала прямое влияние на изучение «Левши».

В 1947 году В. Б. Шкловский поместил в «Огоньке» заметку «Об одной пеховой легенде»; заключительный вывод ее гласит: «В легенде о Левше сохранились и воспоминание об искусстве Сурнина, и память о том, что тульский оружейник при приезде из Лондона выполнил какую-то дипломатическую миссию».¹⁴

Такая формулировка не кажется удачной. Искусными мастерами Тула славилась и славится с XVI века до наших дней, дипломатическое поручение Сурнина состояло лишь в том, что он привез в Петербург, возвращаясь из Лондона, депешу от русского посла С. Р. Воронцова, Левша же в «сказе» Лескова никаких дипломатических поручений не выполняет.

В 1948 году в качестве предисловия к тульскому изданию «Левши» была напечатана статья историка Тулы В. Н. Ашуркова «Сказ о тульском мастерстве», в которой повторены все утверждения Зыбина.

Лишь недавно достоверность зыбинской версии переоценена в упомянутой статье Э. С. Литвин. Здесь мы читаем: «Не отрицая возможной связи исторической фигуры Сурнина и лесковского Левши, необходимо указать, что эта связь не является ни прямой, ни наглядной. Никакие устно-поэтические отголоски предполагаемых рассказов Сурнина не найдены; в Англию он попал как ученик, которого с трудом удалось устроить на обучение к мастеру-англичанину, а не как почетный гость, каким является для англичан Левша. . . Следовательно, если Лескову и была известна история Сурнина, то она послужила для него лишь одним из элементов повествования о русском талантливом мастере и его печальной судьбе».¹⁵

С этим выводом нельзя не согласиться. Если в наивной и курьезной статье Зыбина есть «рациональное зерно», то это именно предположение о какой-то связи образа Левши с «исторической фигурой Сурнина», хотя эта связь совсем не того рода, какой имел в виду Зыбин. Надо все же признать, что пребывание тульского оружейника в Англии и его большой профессиональный успех там был явлением исключительным; совпадение этих фактов с сюжетным мотивом «Левши» вряд ли случайно. Убедительно звучит частично приведенный в упомянутой статье В. Н. Ашуркова отрывок из письма русского посланника в Англии С. Р. Воронцова к брату А. Р. Воронцову от 9 июля 1790 года. С. Р. Воронцов пишет о Сурнине: «. . . есть опасность потерять его: он может здесь жениться, может обосноваться в стране, где при искусности, какую он обладает, он может заработать свыше 200 фунтов стерлингов в год и быть независимым и в тысячу раз более счастливым, чем в Туле».¹⁶ Это в самом деле близко к эпизоду, когда англичане уговаривают Левшу остаться в Англии и жениться на

¹¹ Там же, стр. 51.

¹² Там же, стр. 52, 45.

¹³ Там же, стр. 46—47.

¹⁴ «Огонек», 1947, № 19, стр. 16.

¹⁵ Э. С. Литвин. Фольклорные источники «Сказа о тульском косом Левше и о стальной блохе» Н. С. Лескова, стр. 127.

¹⁶ Архив князя Воронцова, кн. IX, М., 1876, стр. 179. Подлинник по-французски.

англичанке (VII, 50—51). Правда, к этому эпизоду близок и цитируемый Э. С. Литвин рассказ казака Земленухина о том, как англичане уговаривали его остаться в Англии, обещая ему «богатую землю».¹⁷ Однако Земленухин, в отличие от Сурнина и Левши, был немолод, женат и был донским казаком, а не тульским оружейником.

Есть еще одно свидетельство связи «Левши» с какими-то материалами о тульских оружейниках. И. З. Серман обнаружил анекдот, напечатанный в начале XIX века и использованный в «Левше». В связи с моими занятиями «Левшой» И. З. Серман любезно предоставил мне свою находку для опубликования. Вот ее текст:

«Многие из нас слышали следующий анекдот. Один знаменитый вельможа, купив английские пистолеты, сказал случившемуся у него на то время мастерскому оружейному Тульского завода: „Посмотри! Так ли у вас делают? Правда, я заплатил за них дорого, но зато какая работа!“ Мастерской вместо ответа попросил посмотреть пистолет, отвертел курок и под шурупом показал свое имя. „Возможно ли!“ — вскричал вельможа. „Что делать, милостивый государь! Вить вы не дали бы мне за них и половины того, что заплатили англичанину. Мы поневоле продаем им за бесценок свое родное: увы! мы русские!“».¹⁸

Анекдот этот воспроизведен в «Левше» (VII, 28—29); значит, народные анекдоты о тульских оружейниках не остались без отклика в лесковском сказе. Однако основным источником «Левши» они бесспорно не являются.

2

До сих пор никем не проанализирована вторая версия происхождения «Левши», выдвинутая Лесковым взамен первой. Лесков ведь, дезавуировав утверждение, будто его «сказ» — простая фольклорная запись, вовсе не признал тем самым, что этот «сказ» никак не связан с фольклором; напротив, как мы знаем, он тут же сообщил, что замысел «Левши» пошел от «шутки или прибаутки» о тульских кузнецах: «Англичане из стали блоху сделали, а наши туляки ее подковали, да им назад отослали».

Надо сразу же отметить, что если только сообщение Лескова соответствует действительности, — роль цитированной «прибаутки» в творческой истории «Левши» немаловажна. «Прибаутка» в этом случае определяет весь ход сюжета. Трём ее эпизодам вполне соответствуют три основных части лесковского «сказа» (история об английской блохе, о ее подковке и об отсылке в Англию). Центральным эпизодом является, конечно, подковка блохи: следовательно, центральным героем «сказа» должен стать тульский кузнец, подковавший блоху. Единство сюжета, естественно, требует, чтобы он и отвез подкованную блоху в Англию. Должна появиться и общая мотивировка: кто-то должен получить блоху из Англии, быть побудителем ее подковки и инициатором обратной отсылки. Этот персонаж с международными связями и широким правом распоряжаться людьми и работами, очевидно, должен обладать достаточно высоким положением: естественнее всего тут царь — традиционный персонаж народной легенды или сказки. Словом, основные мотивы и персонажи «сказа» прямо или косвенно определены «прибауткой», если только она в самом деле существовала.

Но именно слишком большая близость к рассказу Лескова делает ее существование подозрительным. Приведенная Лесковым «прибаутка»

¹⁷ Э. С. Литвин. Фольклорные источники «Сказа о тульском косом Левше и о стальной блохе» Н. С. Лескова, стр. 133—134.

¹⁸ [С. Н. Глинка]. От издателя. «Русский вестник», 1808, ч. II, № 4, стр. 117—118.

могла возникнуть только как конспект анекдота. Сама по себе, вне подразумеваемого анекдота, она, так сказать, «не держится». Но сюжет этого анекдота — это сюжет лесковского «Левши»; Лесков же утверждает, что такого сюжета в фольклоре не было: «сюжет этот я сам сочинил» (XI, 242).

В самом деле, «прибаутка» сама по себе может казаться нам понятной, потому что мы воспринимаем ее на фоне лесковского «сказа». Но попытаемся представить себе ее вне сюжета «Левши».

«Англичане из стали блоху сделали». С какой целью? Чтобы показать необычайное искусство английских мастеров? Но ведь, во-первых, в «прибаутке» не сказано, что модель блохи сделана в натуральную величину, а если даже считать, что это само собой понятно людям, не читавшим Лескова, — так ведь сделать изображение блохи в натуральную величину — не такая уж диковинная работа, которую можно было бы хвалиться на весь свет. Ведь в «Левше» искусство английских мастеров — не в том, что стальная блоха не больше живой, а в том, что она танцует, — здесь же этого нет.

«. . . И им назад отослали». Кто отослал? Откуда узнали, кому и куда ее отсылать? Каков был результат этой отсылки? Без каких-то, пусть уже утраченных в «прибаутке», но существовавших в первоначальном анекдоте, ответов на эти вопросы возникновение «прибаутки» вряд ли было возможно. Если ответы надо дать по Лескову, — значит в фольклоре ранее существовал утраченный, но сплюснутый, так сказать, в сохранившейся «прибаутке» сюжет «Левши». Если же ответы надо дать не по Лескову, — тогда эпизоды «прибаутки» должны быть связаны иначе, образуя какой-то иной сюжет. Но какой же тут может быть иной сюжет? Обе альтернативы представляются маловероятными.

«Прибаутка» по своим размерам и форме носит как будто пословичный характер. Но в пословицах и поговорках, образовавшихся из рассказа, из анекдота, сохраняются те сюжетные моменты, которые имеют какое-то обобщающее значение. Но какая обобщающая мысль заключена в том, что блоху «назад отослали»? Ведь мысль о том, что тульская работа тоньше английской, — единственная обобщающая мысль, которую можно усмотреть в «прибаутке», — заключена в сопоставлении двух первых эпизодов; третий ничего к этой мысли не прибавляет.

От начального и конечного эпизодов «прибаутки», связанных с «английской» темой, резко отличается центральный эпизод: «а туляки ее подковали». Здесь чувствуется народность и подлинность, принадлежность к определенному фольклорному жанру. Это очень распространенный в русском фольклоре жанр поговорок-дразнилок, которыми высмеивали жителей той или иной губернии, уезда или города. В «Сказаниях русского народа» И. П. Сахарова, в «Пословицах русского народа» В. И. Даля они сгруппированы по местностям, и среди поговорок, посвященных тулякам, в обоих собраниях имеется следующая: «Блоху на цепь приковали».¹⁹ Это по мысли и настроению совсем близко к лесковскому варианту. А С. А. Зыбин (которому, как сказано выше, письмо Лескова, содержащее «прибаутку», осталось неизвестным) приводит в качестве эпиграфа к своей статье следующую «народную поговорку»: «Туляки блоху подковали и на цепь посадили».²⁰ В данном случае как будто нет оснований не доверять фольклорной подлинности поговорки, приведенной Зыбиным — кадровым работником Тульского оружейного завода, ежедневно общавшимся с тульскими кузнецами.

¹⁹ Сказания русского народа, собранные И. Сахаровым, т. I, кн. II. Изд. 3-е, СПб., 1841, стр. 117; Пословицы русского народа. Сборник В. Даля. Гослитиздат, М., 1957, стр. 341.

²⁰ С. Зыбин. Происхождение оружейничьей легенды о тульском косом Левше и о стальной блохе, стр. 7.

Итак, можно полагать, что в основе «Левши» лежит подлинная народная поговорка: «Туляки блоху подковали».

Однако Лесков называет своим источником не эту поговорку, а образованную на ее основе «прибаутку»; «прибаутка» же эта не развивает, а совершенно меняет смысл поговорки. Насмешка над туляками заменяется насмешкой над англичанами, а подкованная туляками блоха заменяется стальной моделью блохи. Живая блоха поговорки превращена в игрушечную.

Заслуживает внимания, что это то же самое изменение, посредством которого создавалась другая «шутка или прибаутка», приводимая Лесковым в параллель к первой: об обезьяне, которую «немец выдумал, да она садиться не могла (все прыгала), а московский меховщик взял да ей хвост пришил, — она и села».

Здесь также «прибаутка» образована из известной поговорки «Немец обезьяну выдумал». Поговорку эту употребляют, когда хотят сказать о хитрости и изобретательности немцев. Ср., например, у Щедрина («За рубежом»): «Да, брат-немец! про тебя говорят, будто ты обезьяну выдумал, а коли поглядеть да посмотреть, так куда мы против вас на выдумки тароваты!»²¹ Даль в сборнике пословиц приводит поговорку в таком виде: «Немец хитер: обезьяну выдумал».²² В «Толковом словаре» Даль раскрывает и генезис поговорки: «Хитер немец: обезьяну выдумал! — гов[орит] народ о заезжих гаерах с обезьянами».²³

Что происхождение поговорки действительно таково, — может засвидетельствовать цитата из очерка И. Т. Кокорева «Мелкая промышленность в Москве», впервые напечатанного в 1848 году: «При речи о райках, очень естественно, рождается вопрос, почему же мелкая промышленность не возьмется за разные фиглярства, не вступит в компанию с штукарями, не выдумает каких-нибудь представлений? Ответ будет решительный и ясный: „Это дело тальянцев и немцев: они облизьяну выдумали, блох обучили плясать, лошадь часы узнавать, собак муштруют, свинок морских, словно невидаль какую, показывают, шарманкой да волюнкой кормятся“; а русский человек, как ни беспечен, совестится быть дармоедом, приобретать хлеб подобными средствами, считает недостойным себя пуститься в комедиянство».²⁴

Итак, в обеих народных поговорках — о блохе и об обезьяне — речь идет о живых существах, между тем как в обеих «прибаутках» фигурируют их искусственные подобию.

В прибаутке об игрушечной обезьянке нет ничего недосказанного, и ее народное происхождение вполне правдоподобно: вероятно, она возникла в среде упомянутых в ней меховщиков. Лесков не без основания видит в ней «мягкую иронию над своею способностью усовершенствовать всякую заморскую хитрость». Но почему в прибаутке о блохе он усматривает «ту же идею и тот же тон»? Ведь в *прибаутке* стальная блоха — не механическая игрушка, которую русские мастера лишили ее назначения: этот мотив есть только в лесковском «сказе», в «прибаутке» нет никаких следов его.

Мы видим, что, говоря о «прибаутке», Лесков на самом деле имеет в виду не ее, а сюжет своего «сказа». Представляется вероятным, что «прибаутка» — не источник, а конспект сюжета «Левши», что Лесков сам сочинил «прибаутку» о блохе, переименовав народную поговорку в направ-

²¹ Н. Щ е д р и н (М. Е. С а л т ы к о в), Полное собрание сочинений, т. XIV, Гослитиздат, Л., 1936, стр. 91.

²² Пословицы русского народа. Сборник В. Даля, стр. 346.

²³ Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля. 3-е изд., т. II, СПб.—М., 1905, стлб. 1495.

²⁴ И. Т. К о к о р е в. Москва сороковых годов. «Московский рабочий», 1959, стр. 8.

лении сюжета своего «сказа», который возник на основе поговорки «Тупляки блоху подковали», — возможно, не без влияния анекдота об обезьяне, которой пришили хвост. И в этом анекдоте, и в «сказе» живое существо заменено заморской механической игрушкой, имитирующей его движения,²⁵ игрушкой, которую русский мастер «усовершенствовал», проявив находчивость и уменье, но этим «усовершенствованьем» испортил.

Конечно, наше предположение означает, что Лесков, давая новую версию происхождения «Левши», в какой-то мере снова мистифицировал читателей. Возможно ли это, и для чего это могло быть нужно Лескову?

Ответ на второй вопрос дать нетрудно: не желая, чтобы читатель принял его произведение за фольклорную запись, Лесков, очевидно, хотел, чтобы «сказ» воспринимался все же как произведение на фольклорной основе, — и несколько расширил эту основу по сравнению с подлинной в своем объяснении. Что касается первого вопроса, надо сказать, что память у Лескова была так неразрывно связана с творческим воображением, что он дополнял и переиначивал сюжеты не то что безымянной народной шутки, а даже прямо обозначенных им литературных произведений. Подтвержу это примером.

Вот как излагает Лесков в первой главе «Тупейного художника» сюжет рассказа Брета Гарта: «... знаменитый американский писатель Брет-Гарт рассказывает, что у них чрезвычайно прославился „художник“, который „работал над мертвыми“. Он придавал лицам почивших различные „утешительные выражения“, свидетельствующие о более или менее счастливом состоянии их отлетевших душ.

Было несколько степеней этого искусства, — я помню три: „1) спокойствие, 2) возвышенное созерцание и 3) блаженство непосредственного собеседования с богом“. Слава художника отвечала высокому совершенству его работы, то есть была огромна, но, к сожалению, художник погиб жертвой грубой толпы, не уважавшей свободы художественного творчества. Он был убит камнями за то, что усвоил „выражение блаженного собеседования с богом“ лицу одного умершего фальшивого банкира, который обобрал весь город. Осчастливленные наследники плута таким заказом хотели выразить свою признательность усопшему родственнику, а художественному исполнителю это стоило жизни. . .» (VII, 220—221).

Лесков имеет в виду рассказ Брета Гарта «Разговор в спальном вагоне». Но у Гарта речь идет не о «чрезвычайно прославленном художнике», а о гробовщике в маленьком американском городке, который умел придавать лицам покойников «христиански-блаженную улыбку» (ни о каких «степенях этого искусства» в рассказе нет речи). После того, как он устроил такую улыбку на лице человека, отверженного общественным мнением, отпетого забулдыги, пьяницы и распутника, — для гробовщика начался «поворот к худшему». «Но не это его погубило»: гробовщик «прогорел» после того, как приезжий врач заподозрил в «христиански-блаженной улыбке» одного покойника действие стрихнина. Что было дальше — неизвестно; «разговор в спальном вагоне» обрывается на этом, так как собеседники приехали на свою станцию и вышли из вагона.²⁶ Как видим, Лесков выткал по чужой канве собственный сюжет.

Здесь хоть и удалось установить, какое произведение Лесков имеет в виду, поскольку назван автор. Хуже обстоит дело, когда Лесков не на-

²⁵ Приведенная выше цитата из очерка Кокорева показывает, что пляшущая блоха (упомянутая рядом с обезьяной) — не выдумка Лескова, а популярный аттракцион того времени. О дрессировке и прыжках блох упоминается в энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона (т. IV, кн. 7, СПб., 1891, стр. 97—98). Академик Е. Н. Павловский свидетельствует даже о существовании целых «блошиных театров» (Е. Н. Павловский и др., Паразитологические мотивы в художественной литературе и в народной мудрости. Л., 1940, стр. 19).

²⁶ Брет Гарта. Калифорнийские повести. Гослитиздат, М., 1939, стр. 410—413.

зывает автора. В «Печерских антиках» он подробно излагает сюжет «известной картины» из жизни Петра I (VII, 187—188). Чтобы прокомментировать это место «Печерских антиков», я проконсультировался с рядом крупнейших знатоков русской живописи, в том числе специально занимавшихся иконографией Петра I; никто не знает картины на сюжет, изложенный Лесковым. Видимо, творческая фантазия Лескова настолько переименовала сюжет картины, что уже нет возможности идентифицировать его с сюжетом, рассказанным в «Печерских антиках».

Такого рода примеры можно было бы умножить. Они, мне кажется, свидетельствуют о полной возможности для Лескова создать на основе народной поговорки и приписать народу такую «прибаутку», которой народное творчество не знает.

Конечно, методологически невозможно с полной достоверностью установить фольклорную неподлинность такого маленького произведения, если оно сочинено величайшим мастером народной речи, да еще на основе подлинной народной поговорки, но вышесказанного, я полагаю, достаточно, чтобы считать, что несомненной основой лесковского сказа является народная поговорка «туляки блоху подковали», фольклорная же подлинность остальной части «прибаутки» сомнительна.

3

Э. С. Литвин привлекла к изучению «Левши» новую группу фольклорных источников — песни и сказы об атамане Платове. Эти материалы не оразились, правда, в «Левше» текстуально, но самый образ Платова действительно дан в «сказе» совсем не таким, каким его знает история, а таким, каким он предстает в народном предании. Как и в фольклоре, генерал граф Платов изображен в «Левше» простым и лихим казаком, «верным родной среде и ее обычаям»;²⁷ он резко отличается своими демократическими замашками, наружностью, одеждой, вкусами и симпатиями от царедворцев, окружающих двух монархов. «Фигура „мужественного старика“ в изображении Лескова настолько близка к эпическому образу удалца Платова в народном творчестве, что воздействие фольклорного материала на сказ Лескова можно признать несомненным», — пишет Э. С. Литвин.²⁸

Нельзя не согласиться с этим. Однако думается, что исследовательница недоучитывает некоторые особенности лесковской интерпретации фольклорного образа Платова и в связи с этим преувеличивает значение образа Платова в идейно-художественной концепции «Левши».

Вот как характеризует Э. С. Литвин этот образ, стремясь показать полную его идентичность у Лескова и в фольклоре: «Платов у Лескова отличается не только горячим патриотизмом, воплощением которого он является и в народной песне и в казачьем сказе, но также исключительной храбростью. „Мужественный старик“ Платов не пугался „никакого неприятеля на свете“, царедворцы его „терпеть не могли за храбрость“, он не боится и государева гнева, постоянно спорит с Александром, отстаивая „своих людей“. Отвага и удаль — основные черты любимого героя народной песни. Он впереди всех мчится на коне во время битвы, он отважно отправляется в гости к французам, он гонится за отступающим неприятелем. Народное творчество восторженно характеризует храбрость Платова. . . Как настоящий эпический богатырь, он наделен выдающейся силой, на руку весьма тяжел, а характером горяч, но справедлив. Поколотив из-

²⁷ Э. С. Литвин. Фольклорные источники «Сказа о тульском косом Левше и о стальной блохе» Н. С. Лескова, стр. 130.

²⁸ Там же, стр. 131.

рядно Левшу, он, когда оказывается, что тульский мастер не посрамил русской чести, просит у обиженного прощения и дарит ему сто рублей».²⁹

Казалось бы, эпитеты взяты исследовательницей из самого сказа, и отношение рассказчика к Платову таково, каким она его рисует. Но именно отношение *рассказчика*, а не автора. Здесь мы встречаемся с характерным приемом лесковского «езопова языка», состоящим в несовпадении оценок простодушного рассказчика и стоящего за ним автора. Не совпадает, в частности, оценка Платова.

Рассказчик воспринимает избиение простых людей начальством как нечто естественное, само собой разумеющееся и даже свидетельствующее о лихости и удалстве начальника; но в оценке автора, внушаемой читателю, Платов компрометируется уже описанием его езды. Ездит он с двумя «свистовыми» казаками, которые, сев по обе стороны ямщика, непрерывно и «без милосердия» хлещут его нагайками, чтобы он, в свою очередь, понуждал нестись вихрем обезумевших от побоев лошадей. Если же один из казаков задремлет, Платов сам будит его ударом ноги.

Даже наивного полковника Зыбина смутило такое поведение Платова. «Очевидно, — пишет Зыбин, — грубый, безобразный образ несущегося вскачь фельдъегеря, подгоняющего кулаком ямщика, наслоился невольно на величественный образ народного героя».³⁰

«Невольное» ли это «наслоение»? Это не единственное противоречие между тоном рассказчика и поступками Платова. Рассказчик действительно расхваливает храбрость Платова; приведенные Э. С. Литвин слова о том, что Платов никакого неприятеля не пугался, принадлежат рассказчику, — но вспомним, в каком контексте они сказаны: «И вот он хоть никакого в свете неприятеля не пугался, а тут струсил: вошел во дворец со шкатулочкою да потихонечку ее в зале за печкой и поставил. Спрятавши шкатулку, Платов предстал к государю в кабинет и начал поскорее докладывать, какие у казаков на тихом Дону междуусобные разговоры. Думал он так: чтобы этим государя занять, и тогда, если государь сам вспомнит и заговорит про блоху, надо подать и ответить, а если не заговорит, то промолчать; шкатулку кабинетному камердинеру велеть спрятать, а тульского левшу в крепостной каземат без срока посадить, чтобы посидел там до времени, если понадобится» (VII, 42—43).

Это написано в очень типичной для Лескова манере — тихой, но «коварной».³¹

Запереть человека потихоньку, без вины и без срока, в крепостную одиночку по распоряжению высокопоставленного лица, боящегося компрометации, — такие гнусности творились, и Лескову, очевидно, были известны. И приписал такое намерение Лесков в своем сказе не кому иному, как «мужественному старику» Платову. И напрасно Э. С. Литвин хвалит Платова за то, что он «просит у обиженного прощения и дарит ему сто рублей», «когда оказывается, что тульский мастер не посрамил русской чести». Посадить Левшу в «крепостной каземат» Платов собирался без проверки, посрамил ли тот русскую честь или не посрамил, а подарок и извинения описаны в таком контексте: «Тут и другие придворные, видя, что левши дело выгорело, начали его целовать, а Платов ему сто рублей дал и говорит. . .» и т. д. (VII, 47). Видимо, на Платова действует не столько правота Левши, сколько его возвышение.

²⁹ Там же, стр. 130.

³⁰ С. Зыбин. Происхождение оружейничьей легенды о тульском косом Левше и стальной блохе, стр. 41.

³¹ «. . . Еще несколько лиц поддержали, что в моих рассказах будто действительно, трудно различать между добром и злом и что даже порою будто совсем не разберешь, кто вредит делу и кто ему помогает. Это относили к некоторому врожденному коварству моей натуры» (Н. С. Лесков. Уха без рыбы. «Новь», 1886, № 7, стр. 352).

В сущности, ведь Платов — главный виновник гибели Левши, поскольку он кинул его «себе в коляску в ноги» «без тугамента» и не вступился потом, когда больного Левшу не принимали «без тугамента» в больницу.

Конечно, Платов в сказе Лескова — горячий патриот, любящий русский народ и верящий в его силы и способности. И за это его ценят и рассказчик, и сам Лесков, солидарный с рассказчиком в его любви к родине и родному народу. Но это не значит, что «образ Платова оказывается. . . носителем основной, глубоко патриотической идеи всего произведения». ³² Ибо замысел «Левши» не ограничивается показом даровитости и патриотизма русского народа, в него не в меньшей мере входит показ бесправия и угнетенности народа и невежества, в котором его держат. А Платов, при его искреннем патриотизме и демократических поведенческих, все же принадлежит к угнетателям народа. Он любит свой народ, он гордится им, но это совсем не та любовь, которая заставляет страдать за народ, печалиться о его доле. И не Платовы, разумеется, понесут в народ то, что, по мысли Лескова, всего необходимее ему, — просвещение.

В судьбе Левши воплощено все, что хотел сказать Лесков своим произведением: показана изумительная талантливость русского народа и его невежество в ту пору, его горячий патриотизм и его угнетенность и забитость. Объясняя смысл своего произведения, Лесков сам выделил эти четыре идейных мотива. Он писал: «Левша сметлив, переимчив, даже искусен, но он расчет силы не знает, потому что в науках не запелся и вместо четырех правил сложения из арифметики все бредет еще по псалтырю да по полусоннику. Он видит, как в Англии тому, кто трудится, — все абсолютные обстоятельства в жизни лучше открыты, но сам все-таки стремится к родине и все хочет два слова сказать государю о том, что не так делается, как надо, но это левше не удастся, потому что его на парат роняют. В этом все дело» (VII, 503).

В сюжете «Левши» одинаковый вес имеет и то, что Левша с товарищами проявили сверхъестественное мастерство, и то, что, приложив это мастерство, они испортили заморский механизм. Если же не учитывать второго сюжетного мотива, — нетрудно прийти к взгляду глубоко ошибочному, но декларируемому даже в академической «Истории русской литературы»: автор главы о Лескове (В. А. Гебель) находит в сказе о Левше «некоторые элементы реакционной тенденциозности», утверждая, что «Лесков в силу своей идейной ограниченности возвеличивал отсталость Левши, выдавая ее за национальную самобытность». ³³

Примерно за полтора года до «Левши» написана сказка Щедрина «Игрушечного дела людешки». Для нашей темы интересно в ней ироническое отношение к проблеме «русского самородка». «. . . В Любезнове процвели разнообразнейшие мастерства, которые сделали имя этого города известным не только в губернии, но и за пределами ее». «. . . Изуверовы. . . занялись изобретением *perpetuum mobile* и, в ожидании, покуда это дело выгорит, работали самокаты и делали какие-то особенные игрушки, которые „чуть не говорят“; Идоловы. . . избрали специальностью сборку деревянных часов, которые в сутки показывали двое суток, но и за всем тем, как образчик русской смекалки, могли служить поводом для размышлений о величии России; Строптивцевы. . . изобрели такие шкатулки, до которых нельзя было дотронуться, чтобы по всему дому не пошел гвалт и звон. . .» «И еще говорили, что если бы всех самородков, в недрах земли

³² Э. С. Литвин. Фольклорные источники «Сказа о тульском косом Левше и о стальной блохе» Н. С. Лескова, стр. 129.

³³ История русской литературы, т. IX, ч. II, Изд. АН СССР, М.—Л., 1956, стр. 137.

русской скрывающихся, откопать, то вышла бы такая каша, которой врагам России и во век бы не расхлебать».³⁴

Смысл иронии Щедрина над восхвалениями «русских самородков» ясен. Эта тема издавна — и особенно с николаевской эпохи — разрабатывалась реакционерами в том плане, что простому русскому человеку вовсе не нужна наука и даже грамота, он-де без всяких немецких хитростей, одной силой русской смекалки и таланта до всего дойдет и все преодолеет. Политический смысл такого рассуждения сводился к тому, что народ вовсе не нуждается в учении, в реформах, в перемене своего положения. Щедрин постоянно боролся с этой реакционной идеей; против нее направлен и лесковский сказ. Видеть в этом сказе тот реакционный смысл, против которого произведение направлено, было простительно первым рецензентам «Левши». В начале 80-х годов идеология позднего Лескова могла еще не быть ясной современникам, которым казалось, что автор парит «высоко-высоко над Европой, превознося русские таланты и верно-преданность» (VII, 502); сбивало и то, что Лесков (может быть, из «коварства» по отношению к цензуре) поместил «Левшу» первоначально в славянофильском журнале. Но рецензент «Вестника Европы» и тогда уже верно характеризовал идейную направленность «Левши». «... Вся сказка, — писал он, — как будто предназначена на поддержку теории г. Аксакова о сверхъестественных способностях нашего народа, не нуждающегося в западной цивилизации, — и вместе с тем заключает в себе весьма злую и меткую сатиру на эту же самую теорию» (VII, 503).

Зная творческий метод Лескова, естественно предположить, что в самой основе «Левши» должно лежать еще что-то, кроме поговорки «Туляки блоху подковали»: в своих рассказах Лесков всегда отталкивается от каких-либо житейских случаев, анекдотов, преданий, воспоминаний, документов, литературных источников. Если это имеет место и в данном случае, можно предположить, что толчком к созданию «Левши» был какой-то рассказ о чудесном мастерстве русского самородка, переименованный Лесковым в духе «мягкой иронии над его способностью усовершенствовать всякую заморскую хитрость». Конечно, на такой источник можно напасть лишь случайно. И, кажется, такая случайность произошла.

4

Советский искусствовед Алексей Николаевич Савинов, просматривая газеты прошлого века в поисках материалов по истории русского искусства, обнаружил в «Северной пчеле» 1834 года, в № 78 от 6 апреля, в разделе «Смесь» небольшой фельетон, который поразил его рядом тематических совпадений с лесковским «Левшой». Не занимаясь вопросами этого рода, А. Н. Савинов поделился своей находкой со мной, разрешив мне обнародовать ее и взять на себя исследование вопроса о связи ее с «Левшой».

Вот текст фельетона:

«ИЛЬЯ ЮНИЦЫН

С год тому назад на съезду Московской части привели рослого детину с рыжей бородой, в красной рубахе и в синем армяке. Зачем взяли его? — Он не обращался в пьянстве, не буянил, не нахальствовал, не бесчинствовал, не воровал, не грабил, не жил без вида, не бродяжничал, словом, — ни в чем не преступил Устава Благочиния. Кажись, и зачем бы брать мужика с рыжею бородой, в синем армяке под стражу: да та беда, что он шел как-то около обводного канала путем-дорогой с каким-то *господи-*

³⁴ Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), Полное собрание сочинений, т. XVI, М., 1937, стр. 120, 123.

ном, как называют наши добрые простолюдины всякого, кто носит немецкое платье. Господин, идучи, разговорился и выспрашивал мужика: из какой губернии, как зовут, чем занимается, — и получил в ответ, что он уроженец Вологодской губернии, что зовут его Ильёю Юницыным, что ремеслом каменотес, работает при Александровской колонне и получает 60 руб. в месяц и что умеет делать железные замки с ключами, которые их открывают, такие крохотные, не больше почти блохи, и такие легкие, что в 140 замках с ключиками всего только один золотник весу. Это заставило господина подумать, что его спутник с ума спятил и что он рехнулся, сердечный, именно на том, что делает замки, почему и показал вид презрительного сомнения, которое так обидело Юницына, что он давай его упрашивать — пожаловать к нему на квартиру у Волковской заставы, где он ему покажет свои изделия. Господин обиделся и, поровнявшись с будочником, приказал взять помешанного в будку. Раба божия препроводили, по принадлежности, в часть, где он не переставал говорить о своих необыкновенных замочках. При обыске нашли при Юницеине палочку стали и сверточек бумажки, которую развернули, — и что же? — нашли точно несколько необыкновенно маленьких замков с ключиками, которые надобно было, для ясности, рассматривать сквозь увеличительное стекло. Никто не мог сладить, чтобы их отпереть; но дело мастера боится, и огромные пальцы мастера взяли едва видимые ключики и открыли микроскопические замочки. Юницын был отпущен с честью. С этого времени он сделался осторожнее и на улицах с встречным и поперечным не говорил о своих замочках, которые истинно удивительны и которые, заплатя рубль за штучку, вы можете приобрести от самого мастера, жительствоющего в квартире, занимаемой делателем водоочистительных машин Аксеновским.* Впрочем, должно сказать правду, что в Вологде давным-давно делались подобные замочки, но никогда не достигали до такого, едва вероятного совершенства, до какого достиг ныне Илья Юницын, отличный слесарь и весьма искусный каменотес. Делали прежде до 80 штучек в золотнике, но решительно никто не достигал до того, чтобы делать 140 шт. в золотнике весу, доказательством истины чего служат те замочки с ключиками, кои выставлены были Юницыным на Выставке 1833 года. К сему присовокупить должно, что Юницын выделяет в утро не более парочки таких замочков, и не мудрено, потому что он делает их без помощи машины, а просто — руками и обыкновенными грубыми инструментами слесарного ремесла. Конечно, это вещь ненужная, но вещь редкая, за которую англичане готовы дать огромные деньги и которая достойна внимания по редкости своей и по тому, что свидетельствует о необыкновенных способностях этого мастера, изученного самою Природою.

В. Б.

* Кстати об Аксеновском. Года за два пред сим был он работником в типографии, где печатается „Северная пчела“. Ныне красуется в медали, полученной им за отлично хорошие и дешевые водоочистительные машины, представленные им на Выставку отечественных изделий 1833 года. Он живет у Вознесенского моста, по Екатерининскому каналу, в доме Дьячкова под № 235. У него можно получать делаемые им машины по 35 р., по 25 р., по 20 р., смотря по величине и наружной их обделке».

Странно было бы, если бы сходство сюжетных мотивов этого фельетона и лесковского сказа оказалось случайным: для этого оно слишком многосторонне. Перед нами рассказ о русском «умельце», удивительном мастере, делающем из стали игрушечные предметы «не больше почти блохи», с механизмом (в виде затвора) и ключиком, который можно рассмотреть лишь сквозь увеличительное стекло и с которым могут управиться лишь искусные пальцы мастера. И делает он эти шедевры «без помощи машины, а просто руками и обыкновенными, грубыми инструмен-

тами слесарного ремесла». Тут же поминаются англичане, которые за работу Юницына «готовы дать огромные деньги». Мы узнаем и о том, что искусного мастера без всякой вины «препроводили по принадлежности в часть» и там обыскали. Правда, обыскав «в квартале» Левшу, «пестрое платье с него сняли и часы с трепетиром и деньги обрали» (VII, 56), Юницын же, по словам газеты Булгарина и Греча, «был отпущен с честью»; но, во-первых, у Юницына нечего было и «обирать», а главное, Лесков знал, что значило тогда попасть в полицию, — он это ярко описал в рассказе «Грабеж». В этой связи не лишено значения, что время основного действия «Левши» — примерно то же, к которому относится фельетон об Илье Юницыне.

Стальная блоха, естественно, могла явиться в замысле Лескова в результате контаминации стальных замочков («не больше почти блохи») со вспомнившейся по ассоциации с ними поговоркой «туляки блоху подковали» (отсюда и герой — туляк вместо вологодца). А тот факт, что крошечный предмет имеет механизм и снабжен ключиком, подал идею *заводной* блохи (имитирующей движение живой дрессированной блохи). Место увеличительного стекла, нужного, чтобы рассмотреть работу Юницына, занял — в духе народно-сказочного гиперболизма — «мелкоскоп, который в пять миллионов увеличивает» (VII, 46). Тема англичан, соблазняющих Левшу остаться в Англии, естественно навеивается фразой об англичанах, готовых ценить труд Юницына совсем не так, как его ценят на родине. Это могло вызвать ассоциацию и с Сурниным (если только Лесков знал его историю, что, по сказанному выше, вероятно). Словом, фельетон содержит или вызывает по ассоциации основные элементы лесковского «сказа», и естественно признать его первоисточником или, может быть, лучше сказать, первым толчком к созданию «Левши».

Но каким образом Лескову мог попасться на глаза номер «Северной пчелы» почти полувековой давности? Ответить на этот вопрос поможет установление автора фельетона.

Авторство подобных газетных фельетонов-однодневок обычно нет возможности раскрыть, но в данном случае автор устанавливается с полной несомненностью и оказывается лицом, не совсем безвестным в истории русской литературы.

Фельетон подписан инициалами *В. Б.* По указанию авторитетнейшего словаря русских псевдонимов, под этими инициалами, так же как и под криптонимами *В. Б-шев, Вл. Б-шев, Вл-р Б-шев, Вл-мир Б-шев*, писал в те годы в «Северной пчеле» Владимир Петрович Бурнашев.³⁵ За этими подписями в «Северной пчеле» 1832—1834 годов помещен ряд статей, посвященных различным «самородкам» — резчикам, табакерщикам, мастерам черепаховых, перламутровых, роговых изделий, музыкальных инструментов и т. п., — а больше фабрикантам и торговцам.

В своих мемуарах В. П. Бурнашев пишет: «Я тогда (речь идет о 1834 году, — *В. Б.*) питал. . . страстишку к русским фабрикантам, ремесленникам, торговцам, особенно ежели люди эти были мало-мальски замечательные самородки. Отсюда ряд восторженных моих статей в „Северной пчеле“ о различных производителях чисто русского закала. . . Раза два тогдашний шеф корпуса жандармов, обоготворяемый Гречем граф Александр Федорович (так! — *В. Б.*) Бенкендорф похвалил эти статьи за их направление и сказал, что они приходятся даже по вкусу государю императору, желающему всевозможных успехов отечественной фабричности и ремесленности. . . С другой стороны, Греч ценил статьи мои еще и потому, что они делали фурор между читателями гостиного двора и вообще между читателями из почтенного „российского“ купечества,

³⁵ И. Ф. Масанов. Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей, т. I. М., 1956, стр. 140, 184; т. IV, 1960, стр. 87.

которые, по прочтении этих довольно романических, правда, монографий русских ремесленных или торговых людей, частенько восклицали: „Ишь ты «Пчелка»-то как славно, шельма, жужжит! Ан, наш брат русак-то англичанина аль немца инога так себе за пояс-то затыкает!“ И эти патриоты сильно подписывались на „Пчелку“. . .»³⁶

Цитированные мемуары Бурнашева печатались в восьми книжках «Русского вестника» 1872 года. А в трех из этих книжек печатались «Соборяне» Лескова, в том числе и в той, из которой взята приведенная цитата. Совершенно невероятно, чтобы Лесков — усердный и жадный читатель мемуарной литературы — не прочел начатых в этой книжке мемуаров старого литератора об особенно интересовавшей Лескова эпохе. А из этих мемуаров Лесков должен был узнать, что в «Северной пчеле» 1834 года помещена серия очерков о русских самородках. Весьма вероятно, что, узнав об этом, Лесков пожелал просмотреть комплект газеты за указанный год (в Публичной библиотеке хотя бы). Ведь тема русских народных талантов — одна из самых любимых, самых заветных тем Лескова; вспомним «Запечатленного ангела», «Очарованного странника», «Штопальщика», «Тупейного художника» и многие другие его произведения. Возможность получить сведения о ряде русских самородков должна была привлечь Лескова, и, таким образом, не оказывается ничего неправдоподобного в том, что Лесков ознакомился со старым фельетоном Бурнашева.

Добавлю к этому, что «Русский вестник», в котором печатались записки Бурнашева, был единственным журналом, где Лесков в эти годы сотрудничал. Основным же органом, в котором он печатался в 1871—1873 годах, была петербургская газета «Русский мир».³⁷ В «Русском мире» 1871—1872 годов и Бурнашев печатал свои мемуарные статьи о старом Петербурге. В доме редактора-издателя «Русского мира» В. В. Комарова Лесков познакомился с Бурнашевым.³⁸ Личное знакомство делает еще более вероятным ознакомление Лескова со старыми писаниями Бурнашева.

Что же представлял собой Бурнашев? Это был писатель без дарования, без убеждений и принципов, без знаний, не получивший никакого образования, кроме так называемого «домашнего», но обладавший бойким пером (его покровитель Греч дал ему прозвище «Скоропишев»). В 30—40-е годы Бурнашев выпустил под своим именем, под бесчисленными псевдонимами и анонимно бездну книг самого разнообразного содержания. Нисколько не смущаясь скудостью своих знаний, отсутствием практического опыта, некомпетентностью, он писал по вопросам сельского хозяйства, скотоводства, домоводства, кулинарии, кожевенного, рогового, валяльно-войлочного и любого другого производства, издавал книжки для народного чтения и — при бедности тогдашней литературы для детей — был довольно заметным в 30-е годы детским писателем. По формулировке советского исследователя истории детской литературы, «Бурнашев усиленно доказывает, что царь — добрый отец своего народа, что помещик —

³⁶ [В. П. Бурнашев]. Воспоминания об эпизодах из моей частной и служебной деятельности (1834—1850). «Русский вестник», 1872, № 5, стр. 48—49 (подп. Петербургский Старожил).

³⁷ См. статью И. В. Столяровой «Н. С. Лесков в „Русском мире“ (1871—1875)» («Ученые записки Омского государственного педагогического института», вып. 17, 1962, стр. 97—122).

³⁸ См. об этом в мемуарно-биографической статье о Бурнашеве, напечатанной Лесковым вскоре после смерти Бурнашева и включающей его автобиографию: Николай Лесков. Первенец богемы в России. «Исторический вестник», 1888, № 6, стр. 534—564. «Я встретил впервые покойного Влад. Петр. Бурнашева около десяти лет тому назад в доме редактора Комарова, — пишет здесь Лесков (стр. 535). «Около десяти лет тому назад» — это значит в конце 70-х годов. Однако такой датировке начала знакомства противоречит то, что в 1872 году Бурнашев перестал печататься в «Русском мире» и резко порвал с В. В. Комаровым, а в 1873 году Комаров перестал быть редактором-издателем «Русского мира».

благодетель своих крепостных. Под флагом народности он прославляет кондовую, отсталую, патриархальную Русь».³⁹

В 1844 году в рецензии на книгу Бурнашева (изданную под обычным для его детских книг псевдонимом Виктор Бурьянов) «Прогулка с детьми по земному шару» Белинский писал: «На 80 странице г. Бурьянов говорит: „С простым топором русский (мужик) сделает несравненно более, чем немцы с своими замысловатыми инструментами“. Именно так — что и говорить! Куда дуракам-немцам до нашего мужика! Дайте ему кусок мрамора, он вам сейчас сделает из него топором и скобелью статую лучше Аполлона Бельведерского или Венеры Медичейской, которые хоть и славятся в мире, как диво искусства, а если посмотреть — так что! просто дрянь, немецкая работа! Всякий русский мужик лучше сделает! Вы правы, г. Виктор Бурьянов! Ваша книжка сделана тоже топором и скобелью, а ведь куда хороша, куда лучше всех немецких книг!»⁴⁰

Белинский великолепно издевается над той идеологией, борьба с которой явилась идейным заданием «Левши».

Через полвека в очерке «Загон» (1893) Лесков с возмущением писал об изданиях Бурнашева николаевской эпохи, в которых прославлялась отсталость русской деревенской жизни и, в частности, рекомендовалась как лекарство от всех болезней сажа, которую «получать. . . можно было только в русских курных избах, и нигде иначе, так как нужна была сажа *лоснящаяся*, которая есть только в русских избах, на стенах, натертых мужичьими потными загорбками. Пушистая же или лохматая сажа целебных свойств не имела. На Западе такого добра уже нет, и Запад придет к нам в Загон за нашею сажею, и от нас будет зависеть, дать им нашей копоты или не давать; а цену, понятно, можем спросить какую захотим. Конкуренентов нам не будет.

Это говорилось всерьез, и сажа наша прямо приравнивалась к ревеню и калганному корню, с которыми она станет соперничать, а потом уберет их и делается славой России во всем мире.

Загон был доволен: осатанелые и утратившие стыд и смысл люди стали расписывать, как лечиться сажею. „Лоснящуюся сажу“ рекомендовалось разводить в вине и в воде и принимать ее внутрь людям всех возрастов, а особенно детям и женщинам. И кто может отважиться сказать: скольким людям это стоило жизни! Но тем не менее брошюра о саже имела распространение» (IX, 366—367).

Здесь звучит то же негодование, что и в рецензии Белинского. Официальный лжепатриотизм и демагогическая лженародность писаний Бурнашева николаевской эпохи вызывали у Лескова — особенно в 80—90-е годы⁴¹ — ту горькую иронию над апологией застоя и «квасными» восторгам, которая в «Левше» так тонко оттеняет восхищение «самобытнейшего писателя русского»⁴² высокой одаренностью русского народа. Идейное отталкивание от Бурнашева могло быть основным стимулом диссимуляции источника «Левши» в цитированном выше письме Лескова в редакцию «Нового времени».



³⁹ А. П. Б а б у ш к и н а. Истоия русской детской литературы. Учпедгиз, М., 1948, стр. 139. Ср. статью Т. А. Григорьевой «Бурнашев, Владимир Петрович (Виктор Бурьянов)» в книге «Материалы по истоии русской детской литературы (1750—1855)» (под ред. А. К. Покровской и Н. В. Чехова, вып. 1, М., 1927, стр. 201—213).

⁴⁰ В. Г. Б е л и н с к и й, Полное собрание сочинений, т. VIII, Изд. АН СССР, М., 1955, стр. 120.

⁴¹ В том числе и в вышеуказанном очерке «Первенец богемы в России».

⁴² М. Г о р ь к и й. Н. С. Лесков. См.: М. Г о р ь к и й, Собрание сочинений в тридцати томах, т. 24, Гослитиздат. М., 1953, стр. 237.

ДРАМА А. П. ЧЕХОВА «ИВАНОВ»

1

Драма А. П. Чехова «Иванов» сразу же после ее первой постановки в 1887 году вызвала в критике разнотолки и споры. Одни считали эту пьесу произведением по преимуществу разоблачительным и характер главного героя расценивали как отрицательный в своей основе. «Он вечно действует очертя голову, — писал, например, критик «Русских ведомостей». — И ничего путного не создается из его действий. Он сознает, что не в силах побороть себя, заставить себя действовать согласно с разумом, а не подчиняясь первому побуждению безвольной натуры».¹

Другие же, напротив, видели в пьесе изображение глубокой душевной драмы, даже трагедии русского интеллигента и в центральном персонаже усматривали фигуру положительную. Так, в небольшой статье П. П. Перцова «Вне уровня», подписанной псевдонимом «Посторонний», говорилось, что Иванов устал «не столько от своей деятельности, сколько от слишком большого несоответствия этой деятельности, да и всей своей личности, с окружающей средой». И дальше: «Всего печальнее в этой трагедии, что в ней, собственно, никто не виноват. . . Мы негодуем на весь жизненный строй изображаемого общества, на его пустоту и пошлость и начинаем думать, как бы устроить так, чтобы люди, вроде Иванова, не были одинокими. . .»²

Современные литературоведы придерживаются точки зрения, родственной той, что сформулирована рецензентом «Волжского вестника». При этом они сторонятся тех крайностей, к которым были склонны такие критики, как П. П. Перцов, и в главном герое «Иванова» видят не «раненого льва», не трагического героя, а фигуру сложную, противоречивую, двойственную, трагикомическую. Особенно настаивает на сложности характера Иванова как принципиально важном, проблемном моменте чеховской пьесы А. П. Скафтымов — один из самых авторитетных исследователей драматургии Чехова.

Отказавшись от нежелательных крайностей в истолковании образа Иванова, советские ученые, однако, до сих пор недостаточно отчетливо определяют, в чем же Чехов видел силу и слабость своего героя. И мысль автора, воплощенная в этом образе, а следовательно, во всей пьесе, остается не понятой сколько-нибудь полно. В этом убеждает недавняя полемика между Л. Малюгиным и В. Ермиловым на страницах журнала «Вопросы литературы» (1961, № 5). По мнению первого, Иванов «попадает в состояние, близкое к отчаянию, не только вследствие вообще „утомленности“, но и от очень конкретных обстоятельств — катастрофического безделья, разорения, нищеты».³ Второй же утверждает, что главное в пьесе — это мысль о недостаточной идейной вооруженности людей типа Иванова. Нам представляется, что истина в этом отношении на стороне В. Ерми-

¹ «Русские ведомости», 1889, № 90, 1 апреля, стр. 2.

² «Волжский вестник», 1892, № 11, 12 января, стр. 2—3.

³ «Вопросы литературы», 1961, № 5, стр. 104.

лова. Однако его точка зрения, которую разделяет и Г. П. Бердников, до сих пор недостаточно конкретизирована и обоснована путем анализа текста пьесы. Драма нуждается в дальнейшем изучении — и прежде всего со стороны ее содержания.

В некрологе, посвященном Н. М. Пржевальскому, Чехов, как известно, поднимал на щит людей «веры, подвига и ясно сознанный цели»,⁴ людей, для которых целеустремленное служение науке, обществу, прогрессу, родине является душевной потребностью, условием личного счастья. А вместе с тем писатель уже в конце 80-х годов хорошо понимал, что людям такого склада жизнь чинит весьма серьезные, а то и неодолимые препятствия, что программа творческой деятельности во имя культурного прогресса является в современной ему России неосуществимой в сколько-нибудь широких масштабах. Он отчетливо видел скованность общества, нравственную подавленность тех людей, в душах которых таились качества, отвечающие его высокому нравственному идеалу. «... Что мы теряем жизнь, — это так же верно, как то, что Вы носите очки», — замечал Чехов в письме И. Щеглову 14 сентября 1888 года (XIV, 167). А несколько позже он писал А. Н. Плещееву о своих знакомых Линтваревых: «... все они умны, честны, знающие, любящие, но все это погибает даром, ни за понюшку табаку, как солнечные лучи в пустыне» (XIV, 206).

Угнетенное состояние интеллигенции Чехов уже в эту пору истолковывал как последствие жестокого политического гнета в стране, о котором говорил подчас с почти щедриной язвительностью и резкостью. «Погода у нас туманная, — сообщал, например, писатель Н. А. Лейкину 23 октября 1886 года. — Столько по улицам туману напущено, что не только либералов, но даже и консерваторов не видно. Надо будет Пальмину дать тему для стихов — „Туман“: бог Феб скрылся благодаря туману, напущенному идолами нашей хмурой эпохи; но идола не разочли, напустили больше, чем следует, и сами погибли. . .» (XIII, 242).

При этом Чехов упорно стремился понять, как сказывается «туманная погода» на гражданской деятельности и нравственной жизни людей прогрессивных взглядов. И он пришел к очень интересным и своеобразным обобщениям, которые сформулировал в письме к Суворину от 30 декабря 1888 года. Писатель высказал здесь весьма оригинальный взгляд на нравственно-психологические свойства «русских интеллигентных людей» (XIV, 269).

Специфически русской чертой Чехов считает «крайнюю возбудимость», чреватую быстрой и легкой «утомляемостью». Отмечая это психологическое свойство, присущее, по его мнению, большинству русских «образованных дворян» — университетских либералов, он вместе с тем утверждал, что народнический социализм (иного Чехов не знал) — это также один из видов возбуждения. «Разочарованность, апатия, нервная рыхлость и утомляемость, — писал Чехов, — являются непременно следствием чрезмерной возбудимости, а такая возбудимость присуща нашей молодежи в крайней степени. Возьмите литературу. Возьмите настоящее. . . Социализм — один из видов возбуждения. Где же он? В письме Тихомирова к царю. Социалисты поженались и критикуют земство. Где либерализм? Даже Михайловский говорит, что все шапки теперь смешались. . . А чего стоят все русские увлечения? Война утомила, Болгария утомила до иронии, Цукки утомила, оперетка тоже. . .» (XIV, 270—271).

Эта концепция излишней «возбудимости» русского интеллигента несомненно свидетельствовала о некоторой незрелости мировоззрения писателя. Понятия психологии и физиологии, с помощью которых Чехов пы-

⁴ А. П. Чехов, Полное собрание сочинений и писем, т. VII, Гослитиздат, М., 1947, стр. 477. В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте. При цитировании пьесы «Иванов» (т. XI) указываются только страницы.

тался подвергнуть анализу общественную жизнь своего времени, были в данном случае явно недостаточны. И это создавало предпосылки для одностороннего и неверного истолкования социальной действительности. В частности, в приведенном высказывании весьма наивной выглядит попытка писателя объяснить одним и тем же национально-психическим фактором такие разноплановые явления, как поражение народничества и разочарование театральной публики в оперетке.

А вместе с тем рассуждения Чехова на психиатрические темы — о «возбудимости» и «утомляемости» — имели определенную политическую направленность. Расценивая отступничество как неизбежную дань «утомляемости», Чехов, естественник по образованию, в своеобразной форме говорил о гражданской несостоятельности народников и либералов. И в этом отношении мысль писателя о крайней возбудимости «русских интеллигентных людей» была совершенно справедливой.

70—80-е годы XIX века для русской прогрессивной общественности были, как известно, временем господства субъективистских представлений и взглядов. Прогрессивные деятели этой эпохи не имели возможности опираться на активность сколько-нибудь широких слоев общества и ориентировались на весьма ограниченные социальные силы — в основном на образованное меньшинство, на интеллигенцию. Именно прогрессивно мыслящих интеллигентов-семидесятников имел в виду Н. В. Шелгунов, когда в «Очерках русской жизни» критически, хотя и сочувственно, отзывался о «строгих моралистах прежней формации, ожидавших от „энергической личности“ общественного обновления».⁵ Такими «строгими моралистами», в сущности, были и либералы-реформисты с их неоправданными надеждами на чудодейственные свойства петиций и ходатайств к властям со стороны представителей «общественности», и революционеры народнической закваски, верившие во всепобеждающую силу террористических актов или же — в лучшем случае — в успех пропаганды социалистических идей в крестьянстве.

Гражданственность и тех и других основывалась скорее на добрых пожеланиях и намерениях, нежели на познании закономерностей развития общества.

Поэтому-то активные участники прогрессивных движений 70-х годов — будь то земский и университетский либерализм или же революционное народничество — в большинстве случаев не понимали реального соотношения общественных сил и не способны были объективно и трезво оценивать перспективы и возможные результаты собственной работы. В результате они оказывались склонными к переоценке собственной роли в истории, к своего рода фанатизму и экзальтации, которые в конечном счете оборачивались недостаточной идейно-гражданской стойкостью, — ко всему тому, что Чехов и назвал «крайней возбудимостью» и «легкой утомляемостью».

Драму «Иванов» и следует рассматривать как художественное воплощение исторически верных, хотя и недостаточно отчетливых чеховских представлений о «возбудимости» и «утомляемости» русского интеллигента. Эти представления в очень большой степени определили как сильные, так и слабые стороны пьесы.

2

Внимание читателя и зрителя приковывает прежде всего душевная драма центрального героя пьесы.

Монологи Иванова, предающегося воспоминаниям, позволяют понять характер прежней деятельности персонажа и уяснить его былую об-

⁵ «Русская мысль», 1888, кн. 5, стр. 128 (вторая пагинация).

щественную позицию. Иванов вспоминает о своем вдохновенном труде, о том, что он, выйдя из университета, «воевал», «сражался», произносил «горячие речи», что его волновали широкие, смелые проекты — «всевозможные рациональные хозяйства, необыкновенные школы» (24). В письме Чехова к Суворину, которое цитировалось выше, в дополнение к этому говорится, что люди, подобные Иванову, берутся «сразу и за школы, и за мужика, и за рациональное хозяйство, и за письма министру, и за „Вестника Европы“» (XIV, 269).

И это прошлое Иванова резко противопоставляется его настоящему. Герой пьесы признается, что теперь он решительно отошел от гражданской деятельности и не имеет для нее ни волевой энергии, ни физических и нервных сил. Он постоянно жалуется на слабость, боль в голове, шум в ушах, то и дело проявляет крайнюю неуравновешенность. Но, как это становится ясно из некоторых высказываний героя, беда его не только в крайней усталости, но и в идейном кризисе, — в том, что он утратил веру в свои былые идеалы. Переутомление Иванова предстает при этом как симптом его гражданского банкротства: герой пьесы не просто отошел от общественной деятельности и борьбы, а принципиально отказался от каких-либо новых попыток прямого и решительного воздействия на социальную действительность. Иванов пытается теперь выдвинуть и обосновать совершенно новое *sredo* — примиряется с действительностью и убеждает себя и других, что следует жить «естественной» жизнью, быть довольным собою и тем, что имеешь. «... Всю жизнь стройте по шаблону, — говорит он. — Чем серее и монотоннее фон, тем лучше. . . Не бейтесь лбом о стены. . . Запритесь себе в свою раковину и делайте свое маленькое, богом данное дело. . . Это теплее, честнее и здоровее» (24). «У него, — пишет Чехов об Иванове, — еще и порядочных усов нет, но он уж авторитетно говорит: „Не женитесь, батенька. . . Верьте моему опыту“. Или: „Что такое в сущности либерализм? Между нами говоря, Катков часто был прав“. Он готов уж отрицать и земство, и рациональное хозяйство, и науку, и любовь. . .» (XIV, 269).

При этом в пьесе подчеркивается, что эволюция Иванова обусловлена крайне неблагоприятными и тяжелыми обстоятельствами его жизни и деятельности. Герой вспоминает, что вел бесплодную войну «в одиночку с тысячами», что перед ним были какие-то «стены», о которые приходилось «биться лбом» (24). «Ведь нас мало, а работы много, много!» — восклицает он (77). Саша утверждает, что «около великодушных затей» этого человека «наживался всякий, кто хотел» (36). Писатель, как видно, дает понять, что жизнь обманула Иванова именно в его гражданских чаяниях, что сами результаты деятельности героя оказались неожиданно печальными.

В этом контексте мысль Иванова о том, что он взвалил на плечи непосильную «ношу» (77) и «надорвался» (56), выглядит весьма многозначительной; речь идет не просто о личной слабости человека, а о поражении одного из тех общественных деятелей, которые принялись за решение насущных социальных проблем, не имея для этого реальных и действенных средств. Не случайно Иванов однажды начинает говорить от лица определенной группы людей: «В двадцать лет мы все уже герои, за все беремся, все можем и к тридцати уже утомляемся, никуда не годимся» (57).

Уже неоднократно отмечалось — и В. В. Ермиловым, и Г. П. Бердниковым, и другими авторами, — что эволюция героя чеховской пьесы весьма характерна для русской общественной жизни 80-х годов, точнее — для либеральной интеллигенции, часто переходившей на откровенно консервативные позиции. И тем не менее Иванов как тип русской жизни до сих пор предстает в освещении недостаточно ярком. Попробуем же представить яснее, какие явления социальной действительности стоят за высказываниями Иванова о «горячих речах» и «рациональных хозяйствах»,

о войне «в одиночку с тысячами», а самое главное — какова общественная подоплека и сущность переживаемой им душевной драмы.

Либералы пореформенной России, как известно, ратовали за конституционные преобразования в пределах помещичьего строя и монархической системы правления. И преобразования эти мыслились ими не как итог политической борьбы, а как акт доброй воли царя, который, вняв просьбам и ходатайствам общественности, сам ограничит свою власть законами. На знаменах либералов было написано содействие постепенному культурному прогрессу посредством деятельности в органах местного самоуправления — в земствах, учрежденных в 60-е годы. Иначе говоря, либерализм в пореформенную эпоху выдвигал программу «малых дел». Его доктрина, по замечанию В. И. Ленина, была неполитической.

Эту ограниченность либерализма постоянно имеют в виду историки и литературоведы, в частности — и авторы работ о Чехове. Но они нередко забывают о другой стороне дела — о том, что либералы, оплотом которых были земства, уже в первые пореформенные десятилетия попали в весьма тяжелые условия и не могли не становиться в оппозицию к властям. «... Всемогущая чиновничья клика *не могла* ужиться с выборным всесословным представительством и принялась всячески травить его», — писал В. И. Ленин.⁶ И эта травля вызывала ответную реакцию либералов-земцев, которые, как показано в работе «Гонители земства и Аннибалы либерализма», явили собою весьма значительную силу, оппозиционную властям. В. И. Ленин говорил, что либералы-земцы в конце 70-х годов, вопреки своей «неполитической» доктрине, вступили в политический конфликт с властями, проявив не очень-то свойственные для этого движения в целом самоотверженность и героизм. С этим «кульминационным» моментом истории русского либерализма и связано светлое прошлое Иванова.

А мрачное настоящее героя объясняют последующие политические события. Самодержавная власть перешла в начале 80-х годов в наступление на прогрессивную общественность. Либеральные помещики-земцы, которые не имели поддержки ни в народе, ни в среде разночинной революционно-демократической интеллигенции, очень скоро оказались побежденными. В. И. Ленин замечал, что их гражданская активность была всего лишь «бессильным „порывом“» и правительство «почувствовало себя достаточно крепким, чтобы вытеснять либералов и из тех скромных и второстепенных позиций, которые ими были заняты „с разрешения начальства“».⁷

Поражение русского либерализма в его прогрессивно-гражданских политических тенденциях сопровождалось разочарованием большинства участников этого движения. Для земцев-либералов в начале 80-х годов был весьма характерен резкий переход от гражданских увлечений к скептицизму. Оппозиционно настроенные, граждански мыслящие участники либерального движения, пережив подобные разочарования, уходили из земства, т. к. не хотели превращаться в чиновников и безропотно выполнять предписания реакционных властей. «... Даже предводители дворянства обращаются в бегство, не желая исполнять полицейских обязанностей!», — писал В. И. Ленин.⁸

Новое поколение деятелей земства, этого «либерального» института, представлявшего собою, выражаясь метафорически, «маленький кусочек конституции», оказалось «рабски покорным властям, «свободным» от подлинно прогрессивной гражданственности. Это были, в основном, люди, действовавшие «применительно к подлости», — «пенкосниматели», не способные внести в свою деятельность какую-либо общественную прив-

⁶ В. И. Ленин, Сочинения, т. 5, стр. 32.

⁷ Там же, стр. 36, 33.

⁸ Там же, стр. 45.

ципиальность. Они стали «негласными винтиками» в бюрократической машине самодержавия, безотказно покорялись начальству и, по существу, сомкнулись с административно-чиновничьими кругами. «Самоуправление» стало чистой фикцией, чему содействовали также реформы 1890 года.

Об этом перерождении либерализма свидетельствуют некоторые публицистические произведения 80-х годов. «Новые веяния кончились, и наступило наше теперешнее безмятежное прозябание, — пишет С. А. Приклонский в 1886 году о помещичьем земском либерализме, к которому он имел самое прямое отношение. — Орел, недавно паривший в облаках, погряз в болоте. Страстная, нервная жизнь, благородные порывы, жгучие речи, высокое парение мысли — ничего как не бывало. . . И однако затишье, наступившее в общественной жизни, не дает нам покою. Оно давит нас, как будто ночной кошмар. Из наболевшей груди невольно вырывается отчаянный крик: нет, так жить нельзя!». «Что было хорошего в новых веяниях, то оказалось не больше, как чудным, волшебным сном. Сновидение кончилось. Общество спросонок протерло глаза и видит — как не бывало роскошного чертога, виденного во сне, а живем мы по-прежнему в убогой избушке, и у ног наших валяется разбитое корыто».⁹ Н. Яковлева в своих очерках, печатавшихся в «Неделе», писала: «. . . земство, где рядом с кабатчиками, фабричными молодцами и мелкими авантюристами сидят *soi disant* порядочные люди, ливонские кавалеры, потомки гетманов и воевод, те благородные господа, которые сами не так давно кричали против эксплуатации капитала, — такое земство *mixte* представляет собой небывалое уродство, какой-то винегрет, который свидетельствует о полнейшем оскудении земских чувств, о настоящей прострации земской идеи». «. . . Хорошие люди нынче стали робки, — отмечает она, — они, как добродетель, вышли из моды и, видя, что праздник не на их улице, не решаются идти против течения».¹⁰ «Среди самих земских деятелей утратилась вера в возможность создать что-либо полезное при тех условиях, при которых им приходится действовать», — говорилось в книге, изданной в 1883 году в Берлине на основе материалов, не опубликованных в «Русской мысли» из-за цензуры.¹¹

Иванов — из числа тех либеральных земцев, у которых «утратилась вера в возможность создать что-либо полезное» и которые были готовы перейти на консервативные позиции. В пьесе Чехова речь идет, как в этом еще раз убеждают приведенные исторические материалы, о «психологических последствиях» кризиса земского либерализма, зашедшего в тупик в обстановке политической «реакции».

Чехову, демократически мыслящему интеллигенту, восхищавшемуся людьми, которые были способны на гражданские подвиги, во многом импонировала активная гражданственность земцев-либералов, проявившаяся на рубеже 70—80-х годов. Поэтому Иванов, воевавший, сражавшийся, волнуемый смелыми проектами и произносящий горячие речи, возвышен и опозитизирован в глазах читателей и зрителей. Чехов дал почувствовать подкупающую нравственную цельность прежнего Иванова. Отдаваясь работе, этот человек находил в ней огромное нравственное удовлетворение, и жизнь его была исполнена романтики. Иванов был «бодр, горяч, неутомим», страстно верил, что делает большое, нужное для страны дело, и в «будущее глядел, как в глаза родной матери»; он «знал, что такое вдохновение» и, сидя по ночам за рабочим столом, нередко предавался мечтаниям, гордый своей высокой общественной миссией, «умел плакать,

⁹ С. А. Приклонский. Очерки самоуправления земского, городского и сельского. СПб., 1886, стр. 256, 257.

¹⁰ Н. Яковлева. Как живет в провинции. Письма к другу. СПб., 1886, стр. 274, 37—38.

¹¹ Мнения земских собраний о современном положении России. Berlin, 1883, стр. [1].

когда видел горе, возмущался, когда встречал зло», «говорил так, что трогал до слез даже невежд» (57). И не удивительно, что в пьесе говорится о прежнем Иванове как о человеке смелом, великодушном, обаятельном — самом интересном и значительном в уезде. Его прошлая жизнь, жизнь деятеля и борца, была озарена романтическим чувством к Сарре, на которой он женился «по страстной любви» (21). «Это, доктор, замечательный человек, — говорит Сарра о муже, — и я жалею, что Вы не знали его два-три года тому назад. Он теперь хандрит, молчит, ничего не делает, но прежде. . . Какая прелесть! Я полюбила его с первого взгляда. . . Взглянула, а меня мышеловка хлоп! Он сказал: пойдём. . . Я отрезала от себя все, как, знаете, отрезают гнилые листья ножницами, и пошла. . .» (29).

Вместе с тем Чехов вовсе не был склонен отнести к гражданственности людей типа Иванова апологетически. Писатель, как известно, критически относился ко всем идейно-политическим группировкам в современной ему России, в том числе и к либеральной интеллигенции, действовавшей «на земской ниве». Не следует, конечно, думать, что автор «Иванова» сколько-нибудь отчетливо представлял себе ту политическую ограниченность программы либералов-земцев, которую впоследствии так ясно определил В. И. Ленин в работе «Гонители земства и Аннибалы либерализма». Но Чехов, несомненно, понимал, что высокая самооценка и оптимизм либеральных земцев были всего лишь самообольщением и, употребляя выражение Ленина, «непростительной наивностью».

Об этой идейной несостоятельности интеллигентов-либералов Чехов и говорил в своей пьесе, но говорил очень своеобразно. Писатель подверг рассмотрению не самую общественную программу либеральных земцев, не объективное содержание и обстоятельства их деятельности (о «громких речах» и «рациональных хозяйствах» говорится в его пьесе вскользь, как бы между прочим), а нравственно-психологические предпосылки и последствия поражения участников этого движения. Либерального помещика-земца он показал как человека фанатичного и безрассудного, склонного к экзальтации и по-мальчишески легкомысленного. Главный герой пьесы признается, что действовал «не соразмерив своих сил, не рассуждая, не зная жизни», что, отдаваясь труду и богу, он «пьянел, возбуждался» (77) и тешил свой ум «мечтами» (57).

Проявления одержимости и фанатизма писатель усмотрел не только в общественной деятельности, но и в частной жизни Иванова. В искренней и возвышенной любви к Сарре было немало стремления к гражданскому миссионерству. Обратив в свою веру девушку, выросшую в богатой, косной, исполненной националистических предрассудков еврейской семье, было своего рода подвигом. И Иванова увлекло свершение этого подвига. Он «женился не так, как все» (56). И действительно, в его чувство к Сарре вмешалось что-то постороннее любви, идущее от теорий и принципов, а не от сердца. В свою любовь, окрашенную гражданским миссионерством, Иванов, естественно, внес исступленную горячность и романтическую экзальтацию, которые были ему присущи. Он не думал о драме разрыва Сарры с ее средой — о той боли, которая должна остаться навсегда в душе молодой женщины в результате конфликта с родителями, возненавидевшими непокорную дочь. Он по-мальчишески беспечно предался розовым надеждам на абсолютное, вечное счастье любви, которыми увлек и любимую женщину. «Клялся в вечной любви, пророчил счастье, — вспоминает Иванов, — открывал перед ее глазами будущее, какое ей не снилось даже во сне», а она, слушая обещания и веря им, в то же время «угасала под тяжестью своих жертв», «изнемогала в борьбе с совестью» (57).

В пьесе при этом подчеркивается, что романтическая экзальтация, будучи внутренней предпосылкой гражданской деятельности, вместе с тем ведет в тупик безрассудных поступков, которые оказываются ни-

кому не нужными и бесплодными. В самом деле, Иванов, упивавшийся своей высокой миссией, не оглядывался всерьез на исполненную антагонизмов действительность, он замкнулся в мире своих гражданско-романтических представлений и потому оказался неспособным разумно и целесообразно ориентироваться в сложных обстоятельствах. Борьба во имя высоких общественных идеалов оборачивалась тем, что герой «бился лбом об стены» и, подобно Дон-Кихоту, «сражался с мельницами» (недаром об этом в пьесе говорится дважды!); его подвиги оказывались «ничтожными» (77), жизнь превращалась в цепь ошибок. «Сколько ошибок, несправедливостей, сколько нелепого!» — с горечью восклицает Иванов, вспоминая о прошлом (24).

Самое же главное, черты характера прежнего Иванова — крайняя возбудимость и склонность к экзальтации — выступают в освещении писателя в качестве основной предпосылки идейной и нравственной неустойчивости героя, которую он проявил при столкновении с неблагоприятными обстоятельствами.

Прежние ясные убеждения Иванова, не опиравшиеся на трезвое понимание действительности в ее противоречиях, уступают место растерянности и беспомощности, так что герой не в состоянии утвердиться в каком-то определенном отношении к жизни. Временами заявляя, что покатился вниз по наклонной плоскости «без всякой видимой причины» (74), он иногда задумывается о том, что его погубило. «Чем, чем ты объяснишь такую утомляемость?» (57) — восклицает Иванов. Но ответить на этот вопрос он не может и, размышляя о своем прошлом и настоящем, в недоумении разводит руками. «. . . Мысли мои перепутались. . . , и я не в силах понимать себя» (21), — жалуется герой пьесы. Былая убежденность Иванова в своей правоте, основанная на привычке «тешить ум мечтами», как видно, обернулась полной неспособностью к планомерному и систематическому мышлению. В результате этого и былой оптимизм, в основе которого лежала наивно-романическая вера героя в свои собственные титанические силы, перешел в свою противоположность — в мрачную мизантропию: Иванов совершенно потерял вкус к жизни и ее благам. «. . . Мне уже кажется, — признается он, — что любовь — вздор, ласки приторны, что в труде нет смысла, что песня и горячие речи пошлы и стары» (77).

И былая воля Иванова к действию, естественно, оказалась в состоянии «атрофии». На смену гражданскому воодушевлению, в котором была известная доля «возбуждения и опьянения», приходят вялость и апатия. Иванов «в безделье» проводит «дни и ночи» (57), жалуется, что «устал телом и душой» (43), что душа его «скована какой-то ленью» (21) и, когда заходит разговор о «деле», испытывает такое чувство, как будто «мухомору объелся» (63). Он совершенно не способен предпринять какие-либо практически целесообразные меры, которых от него требует жизнь: дать отпор назойливому Львову, изыскать средства для расплаты с кредиторами, уяснить свое отношение к жене и Саше. Так, лишь настроением минуты продиктовано решение Иванова отправиться на поиски новой жизни вместе с Сашей, решение, от которого несколько позднее он сам готов отказаться. «Сашу, девочку, трогают мои несчастья, — говорит он. — Она мне, почти старику, объясняется в любви, а я пьянею, забываю про все на свете, обвороченный как музыкой, и кричу: „Новая жизнь! Счастье!“ А на другой день верю в эту жизнь и в счастье так же мало, как в домового» (58).

И, наконец, что, пожалуй, особенно важно, уважение и снисходительность молодого Иванова к окружающим, происходившие, скорее, от высокой самооценки, нежели от настоящей, деятельной любви к людям, обнаружили свою неприглядную «изнанку». Как только этот человек перестал видеть в себе самом достойного восхищения деятеля, на смену ду-

шевной щедрости и мягкости пришли сердечная холодность, даже черствость и жестокость. «Близкий вам человек погибает оттого, что он вам близок, — вполне основательно упрекает Иванова Львов, говоря о его отношении к жене, — дни его сочтены, а вы . . . вы можете не любить, ходить, давать советы, рисоваться. . .» (24). «Я стал раздражителен, вспыхив, резок, мелочен до того, что не узнаю себя» (21), — с горечью признается Иванов. И действительно: к большой жене он не чувствует «ни любви, ни жалости» (21—22) и, в конце концов, жестоко ее оскорбляет.

Таким образом, «новый» Иванов, будучи, казалось бы, полярной противоположностью тому, каким он был несколькими годами раньше, в то же время вырос из прежнего.

Эволюция Иванова нередко истолковывается как его «прогресс», как проявление идейного роста и становления характера этого персонажа. В таком духе высказывается, например, Ю. Юзовский.¹² На самом же деле, как в этом убеждает сказанное выше, все обстоит иначе. Сдвиги во взглядах и поведении героя писатель рассматривает как идейное и нравственное падение, как отступничество и ренегатство. Иванов выглядит человеком жалким и беспомощным, отчасти растратившим свои лучшие качества и, как говорится, зашедшим в тупик.

Выделяя крупным планом отрицательные качества Иванова, писатель, следовательно, выражал свое критическое отношение к прежней позиции героя, а в конечном счете к гражданственности либеральных земцев, «сдобренной» романтической экзальтацией и фанатизмом.

Вместе с тем Иванов отнюдь не предстает в качестве отрицательного персонажа. Чехов постоянно имеет в виду, что его герой попал в тупик не вследствие ложности своих идей или же каких-либо низменных, корыстных побуждений, а в результате того, что крайне неблагоприятными были обстоятельства для тех, кто участвовал в борьбе за исторически истинные цели и всецело ей отдавался. Поэтому-то отступничество и нравственное перерождение героя вовсе не рассматриваются писателем как акт его свободной воли, как его вина, а, напротив, истолковываются как явление объективно обусловленное и закономерное. И образ Иванова дается не в комедийно-сатирических тонах, а в драматическом освещении.

Отступничество со всеми его тяжелыми последствиями оказывается для Иванова мучительной душевной драмой, которая и выдвинута Чеховым на первый план. Драматические переживания героя вызываются его страстным неприятием собственного банкротства. «Говорю, как пред богом, — говорит Иванов Саше, — я снесу все: и тоску, и психопатию, и потерю жены, и свою раннюю старость, и одиночество, но не снесу, не выдержу я своей насмешки над самим собою. Я умираю от стыда при мысли, что я, здоровый, сильный человек, обратился не то в Гамлета, не то в Манфреда, не то в лишние люди. . . сам черт не разберет! Есть жалкие люди, которым льстит, когда их называют Гамлетами или лишними, но для меня — это позор! Это возмущает мою гордость, стыд гнетет меня, и я страдаю. . .» (44).

И на протяжении всех четырех действий Иванов напряженно размышляет над своей судьбой, искренне недоумевая перед своим падением и страстно осуждая свое отступничество.¹³ Он язвительно иронизирует над

¹² Ю. Ю з о в с к и й. Максим Горький и его драматургия. Изд. «Искусство», М., 1959, стр. 287.

¹³ Эти покаянные настроения героя чеховской пьесы вполне отвечали духу времени. В беллетристике и публицистических статьях 80-х годов разочаровавшаяся, опустившая руки либерально-культурническая интеллигенция неоднократно подвергалась суровой и резкой, но весьма неглубокой, моралистической критике. «Нечего нам кивать на Якова да слезно плакаться на неблагоприятные внешние „условия“. Какие прежде были условия, такие и теперь остались. Они. . . отчасти сделались даже лучше прежнего. И однако прежде мы находили в себе силы жить среди тех же самых

самим собой и тем самым как бы внутренне сопротивляется свершившемуся, полный гнетущей тоски и тревоги. При этом герой пьесы больше говорит о своих отрицательных качествах, нежели их проявляет.

Душевная драма Иванова воплощается в сюжете пьесы весьма своеобразно. Внешние сюжетные конфликты вовсе не являются основным источником драматических переживаний главного героя. Иванов сосредоточен главным образом на своем поражении и отступничестве и живет этими горькими думами постоянно, тогда как сложные взаимоотношения с женой и Сашей, ненависть и оскорбления Львова, нелепое поведение Боркина, долги, сплетни обывателей — это лишь дополнительные неприятности, осложняющие положение героя, и без того плохое. Характер Иванова при этом раскрывается не столько в становлении, сколько в определенном состоянии, которое не возникает и не исчезает, а обнаруживается в сюжетных событиях.

И сюжетная интрига как бы отодвигается на второй план. Сцены, посвященные каким-либо сдвигам в жизни главного героя, занимают в композиции «Иванова» довольно скромное место. Вехами в истории взаимоотношений Иванова с женой и Сашей являются лишь заключительные, финальные эпизоды каждого действия, всегда неожиданные и внезапные. В конце первого акта Сарра узнает, что муж охладил к ней. В финале второго акта Сарра случайно видит, как Иванов обнимает Сашу. Третий акт завершается тем, что Иванов страшно оскорбляет жену, которая обвиняет его во лжи и вероломстве. Смерть Сарры, решение жениться на Саше и объяснение на этот счет вовсе вынесены за сцену и происходят между третьим и четвертым актами. И затем в конце четвертого акта, в последний момент перед свадьбой, Иванов — опять-таки неожиданно для зрителя — кончает самоубийством.

События же, происходящие на сцене, оказываются в своем большинстве скорее поводами для горьких раздумий, сетований и жалоб Иванова, нежели предпосылками или результатами каких-то перемен в его судьбе. Большая часть разговоров главного героя с Саррой, Сашей, Львовым и уж тем более с другими персонажами не вносит в его жизнь ничего нового.

Разрабатывая подобные эпизоды, Чехов впервые намечал тот своеобразный психологический рисунок, который впоследствии лег в основу его зрелых пьес. На первый план выдвигается чередование импульсивных вспышек недовольства, тоски, отчаяния и периодов относительного спокойствия в душе героя, а характерный для традиционной драматургии переход мыслей и чувств героя в намерения, решения и поступки приобретает второстепенное значение. Это помогло автору с особенной яркостью и полнотой воплотить мысль о том, что лучшие представители современной интеллигенции оказываются жертвами «расейской действительности», что запросы людей прогрессивных взглядов трагически сталкиваются с реакционным жизненным укладом и что эти люди оказываются обреченными на мучительное прозябание.

3

Если первой фигурой в пьесе Чехова является сам Иванов, то второе место в ней принадлежит несомненно доктору Львову. Писатель резко протестовал против понимания этого персонажа как положительной фи-

условий. Мы, мало того, что жили, но и вносили в жизнь элемент борьбы» (С. А. Приклонский. Очерки самоуправления земского, городского и сельского, стр. 256). И еще: «Было время, когда все свои беды и неудачи мы сваливали с большой головы на здоровую, на правительство, на „независящие обстоятельства“, на условия жизни и т. д. Это блаженное время прошло безвозвратно. Теперь мы поняли, что условия нашего счастья лежат в нас самих, а не вне нас» (Н. И. Фудель. Письма о современной молодежи и направлениях общественной мысли. М., 1888, стр. 61).

гуры. «Если Иванов, — писал он, — выходит у меня подлецом или лишним человеком, а доктор великим человеком. . . , то, очевидно, пьеса моя не вытанцовалась, и о постановке ее не может быть речи» (XIV, 268). А вместе с тем — в том же письме к Суворину — замечал, что такие люди, как Львов, «нужны и в большинстве симпатичны» и «рисовать их в карикатуре. . . нечестно, да и ни к чему» (XIV, 272).

О последнем же в настоящее время нередко забывают, трактуя этот персонаж как сатирический. А. Дикий и Ю. Юзовский, например, произнесли немало язвительных слов по адресу не только Львова, но и всех тех, кто позволяет себе ему сочувствовать. И такого рода крайность, как мне кажется, ничем не лучше противоположной. Львов в такой же малой мере «ничтожество», как и «великий человек».

Сопоставление Иванова и Львова — это сопоставление либерального помещика с интеллигентом-тружеником, одним из тех, кто составлял так называемый «третий элемент» земских организаций. В работе «Внутреннее обозрение» (1901) В. И. Ленин говорит, что в 80—90-е годы земство, где заправляли резко поправевшие либералы-помещики, сомкнувшиеся с администрацией и бюрократией, было вместе с тем сферой глубоких, хотя и скрытых антагонизмов. Он указывает, что в деятельности земства участвовали не только дворяне и чиновники, но и интеллигенты-разночинцы — врачи, учителя, техники, статистики, агрономы, — лишенные каких-либо привилегий.¹⁴

Представители «третьего элемента» земств (так было принято называть эту общественную группу) выступали против бесчинств власть имущих и отстаивали главным образом свои профессиональные интересы. Но эти выступления, как отмечал В. И. Ленин, были выражением оппозиционности к существовавшим в стране порядкам и вытекали из стремления защитить интересы не правящих сословий, а трудящихся масс. Об этом же свидетельствует, например, И. П. Белокопский, автор статьи «Земское движение до образования партии „Народной свободы“». «. . . Вокруг земства, — пишет он, имея в виду 80—90-е годы, — сгруппировалась почти вся лучшая, наиболее энергичная, демократически настроенная интеллигенция. . . Получилась громадная сила, прочная организация, если не связанная никакою программой, то проникнутая единым стремлением — вывести народ из тьмы, невежества, бедности и произвола к свету, свободе и материальному обеспечению».¹⁵

Белокопский несомненно преувеличивает. Интеллигенты-разночинцы, группировавшиеся вокруг земства, хотя и являли собою общественную силу, к которой, как говорил В. И. Ленин, власти относились с опаской, все же не были, конечно, «громадной силой» и «прочной организацией». Они не составляли какой-либо оформленной общественной группировки, тем более союза или партии. Но Белокопский совершенно прав, говоря, что интеллигенты-разночинцы, работавшие в земствах, представляли собою отряд демократии и были сторонниками правовой эмансипации общества и в конечном итоге — его политического раскрепощения, деятелями, пытавшимися отстаивать интересы угнетенных трудящихся масс.

Львов — один из таких интеллигентов-разночинцев. Его исполненные гражданского воодушевления монологи проникнуты враждебностью к господствующим нравам. Весьма многозначительно и то, что Шабельский — пусть саркастически — говорит о Львове, как о «подобии» (40) Добролюбова. «Честность» Львова, о которой так часто упоминают в пьесе, — это прежде всего его демократизм.

¹⁴ В. И. Ленин, Сочинения, т. 5, стр. 258.

¹⁵ «Былое», 1907, № 5/17, стр. 56.

Текст пьесы не дает оснований судить о том, является Львов сторонником культурничества или же ему присущи революционные стремления, на что сделан недвусмысленный намек в письме Чехова к Суворину. «Если нужно, он бросит под карету бомбу», — говорится там (XIV, 272). Несомненно только то, что Львов очень последователен в своей приверженности к трудовым формам жизни и в своем отрицательном отношении к помещикам и их окружению. И в этом смысле Львов — как ни различны темперамент, склад личности и масштабы дарований этих людей — в какой-то мере напоминает Астрова, каким тот, вероятно, был лет за десять до того, как развернулись события, изображенные в пьесе «Дядя Ваня». Поэтому кажется основанным на недоразумении утверждение Ю. Юзовского, будто в лице Львова Иванову, якобы изжившему либеральные иллюзии, противопоставляется ортодоксальный либерал.¹⁶

Писатель, напротив, настойчиво подчеркивает двойственность, глубокую внутреннюю противоречивость общественной позиции доктора Львова и в значительной степени уподобляет его прежнему Иванову. Знаменательно, что в письме Суворину оба эти персонажа охарактеризованы одними и теми же словами — как люди «честные», «прямые», «горячие» (XIV, 268, 271). И что гораздо существеннее, Львов, подобно прежнему Иванову, предстает как человек крайне возбудимый, одержимый и фанатичный в приверженности к своим идеям и к своей гражданской миссии. «Вот точно так же и он (т. е. Иванов, — В. Х.) когда-то говорил. . . Точь-в-точь. . .» (29), — говорит Анна Петровна, выслушав одну из тирад Львова.

Фанатизм и одержимость Львова отчетливо проявляются в его действиях. Этот персонаж показан на сцене в его неудачной, нелепой до смешного попытке вступить в борьбу с окружающей его средой. Львов видит своего злейшего врага в Иванове, считая его подлецом и стяжателем. И свою гражданскую миссию в уезде, где служит врачом, он видит в том, чтобы разоблачить и обезвредить этого человека, которого, по существу, совершенно не понимает. «Сколько ошибок, несправедливостей, сколько нелепого!» (24) — повторит, вероятно, когда-нибудь Львов слова, произносимые в пьесе Ивановым.

Сказавшаяся в поступках Львова «крайняя возбудимость» выступает у Чехова опять-таки в качестве предпосылки «утомляемости» — гражданской и нравственной неустойчивости. «Борьба» с Ивановым оказывается для Львова чем-то непосильным. Она надламывает его и лишает его веры в жизнь. И это напоминает происшедшее когда-то с главным героем. «Вы измучили и отравили мою душу, — сетует Львов, обращаясь к Иванову. — Пока я не попал в этот уезд, я допускал существование людей глухих, сумасшедших, увлекающихся, но никогда я не верил, что есть люди преступные, осмысленно, сознательно направляющие свою волю в сторону зла. . . Я уважал и любил людей, но когда я увидел вас. . .» Такое уподобление либерального помещика-земца демократически мыслящему интеллигенту и разночинцу имеет весьма глубокий идейный смысл. Оно воплощает совершенно справедливую мысль автора о гражданской несостоятельности обеих значительных групп русской интеллигенции 80-х годов, мысль, которая будет варьироваться и развиваться в последующих произведениях Чехова.

Сопоставляя Иванова и Львова по сходству, писатель как бы отметил заранее ту точку зрения, которую впоследствии приписал ему в статье «Лишние люди» В. Воровский, утверждавший, что умонастроение людей, изображаемых Чеховым, характерно для кающихся дворян, но отнюдь не для разночинцев. «. . . Разночинец, — писал Воровский, — начал приспособлять обстоятельства к своим задачам, кающийся дворянин начал

¹⁶ Ю. Юзовский. Максим Горький и его драматургия, стр. 287.

приспособлять свои задачи к этим (неблагоприятным, — В. Х.) обстоятельствам». И продолжал: «Донкихотизму разночинцев культурно-народническое течение (речь идет о либеральных помещиках, — В. Х.) противопоставляло гамлетизм».¹⁷

Чехов же, изображая интеллигенцию, исходил из того, что «приспособить» обстоятельства к своим задачам в реакционную эпоху не могли не только либеральные дворяне типа Иванова, но и разночинцы-демократы типа Львова, что положение в обществе и тех и других, поскольку они придерживались прогрессивных взглядов, было противоречивым по самой своей сути — независимо от нюансов их классовой психологии. «Донкихотство» Львова сопоставляется с «гамлетизмом» Иванова не как удел разночинца с уделом образованного дворянина, а как две закономерные стадии в эволюции прогрессивно мыслящих интеллигентов 70—80-х годов, к какому бы классу они ни принадлежали. И это вполне отвечало логике русской общественной жизни — ее «типическим обстоятельствам».

В «Иванове» писатель выступает против нетерпимости к инакомыслящим, против ригоризма тех интеллигентов, демократические убеждения которых не опирались на опыт общественной деятельности и борьбы, имели умозрительный, книжный характер и приводили к безжизненному доктринерству. Недаром в письме Суворину Чехов замечал, что Львов не знает жизни, но начитался романов Шеллера-Михайлова! В 80-е годы демократически мыслящие интеллигенты-разночинцы, работавшие в земствах, еще только начинали формироваться как общественная сила. И взгляды их в самом деле часто оказывались умозрительными, не опиравшимися на познание реальной действительности.

Однако, осуждая ригоризм и предвзятость Львова, писатель зашел слишком далеко. В сугубо критическом изображении демократически мыслящего интеллигента сказалась известная односторонность Чехова, от которой он избавился позднее — после поездки на Сахалин.¹⁸ Львов у него нередко выглядит не трагической жертвой враждебной действительности (а ведь именно это отвечало «типическим обстоятельствам» русской жизни!), а воплощением и источником зла — «добродетельным злодеем»,¹⁹ как остроумно выразился один из критиков. Он сурово осуждает «пустую, пошлую среду» (29) и проявляет при этом вопиющую нравственную односторонность. По словам писателя, Львову чуждо «все, что похоже на широту взгляда или на непосредственность чувства» (XIV, 271). Рационалистичному до сухости и черствости, ему «некогда скучать» (28) по матери; Львов не способен отдалиться порыву веселья, проявить снисходительность к окружающим. Как это неоднократно отмечается в пьесе, он говорит с людьми преимущественно о собственной честности, и честность эта, в силу недостаточного понимания жизни и людей, оказывается «прямолинейной» (40): этот человек не умеет видеть в людях людей. И он не способен чутко, снисходительно, по-человечески отнестись к тем, кто не стоит на уровне его понимания жизни. Мыслящий исключительно категориями «честности» и «подлости» и обличающий все, что не отвечает его идеалу, он не испытывает ни горечи, ни сострадания, ни обиды за человека, а только презрение и ненависть. Прямолинейность и предвзятость сближают Львова с худшими из обывателей: он верит сплетням, клеветает на Иванова, настаивает против него жену и Сашу, прибегая даже к анонимным письмам.

¹⁷ В. В. Воронский. Литературно-критические статьи. Изд. АН СССР, М., 1956, стр. 112, 122.

¹⁸ Г. П. Бердников совершенно справедливо отметил, что доктор Львов — прямой «предшественник» Громова и что за годы, которые отделяют «Иванова» от «Палаты № 6», отношение Чехова к людям этого типа, воспитанным в демократических традициях 60-х годов, резко изменилось к лучшему (Г. П. Бердников. А. П. Чехов. Идеи и творческие искания. Гослитиздат, М., 1961, стр. 317).

¹⁹ «Неделя», 1889, № 6, стр. 207.

«Вы хороший человек, но ничего не понимаете, — говорит Анна Петровна в ответ на обличительный монолог Львова. — Он никогда не выражался так: „Я честен! Мне душно в этой атмосфере! Коршуны! Совиное гнездо! Крокодилы!“ Зверинец он оставлял в покое, а когда, бывало, возмущался, то я от него только и слышала: „Ах, как я был несправедлив сегодня!“ или: „Анюта, жаль мне этого человека!“ Вот как, а вы. . .» (46).

Создавая образ Львова, Чехов вовсе не хотел говорить о демократических идеях как об отрицательном явлении в современном ему обществе. Наоборот! В письме Суворину, как отмечалось, он утверждал, что «такие люди нужны и в большинстве симпатичны». И тем не менее акцентирование крайней нравственной односторонности демократически мыслящего Львова было серьезным идейно-творческим просчетом автора, просчетом, который свидетельствовал о незрелости его собственного демократизма. Гиперболическое изображение отрицательных качеств интеллигента-демократа было неоправданным с точки зрения основ мировоззрения самого Чехова. Показав Львова «превосходящим» обывателей в нечувствительности к людям, писатель явно «перегибал палку» и, быть может, сам не желая того, сближался с теми, кто метал громы и молнии против людей прогрессивных убеждений.

И в этом отношении отчасти прав был Короленко, который счел «Иванова» «отрыжкой „новременских“ влияний на молодой и свежий талант», назвал пьесу «плохой» в общественном отношении и ужасался тому, что ей рукоплескали. «. . . Чехов в задоре ультрареализма, — писал он А. А. Дробыш-Дробышевскому, — заставляет *поклоняться* тряпице и пошлому негодяю, а человека, который негодяйством возмущается, который заступает за „жидовку“ и страдающую женщину, — тенденциозно заставляет писать анонимные письма и делать подлости». «. . . Тенденция направлена на защиту негодяйства, против „негодующих“ и „обличающих“». ²⁰ Идеологические просчеты Чехова, как видно, помешали автору «Истории моего современника» заметить большую жизненную правду и глубокую, верную в своей основе мысль, воплощенную в образах пьесы. Но сами эти просчеты отмечены верно.

4

Образы женщин в пьесе «Иванов» как бы завершают развенчание незрелой, субъективистской гражданской романтики. При этом они отчетливо противостоят образам любящих женщин в литературе прошедших десятилетий: рисуя Сарру и Сашу, Чехов вступает в своего рода полемику со своими великими предшественниками.

Мучительную драму отречения и отказа от романтических самообольщений пережила Сарра, жена Иванова. Ощувив, что счастье ее и мужа оказывается весьма недолговечным, она так и не смогла понять суть происшедшего и, пытаясь вернуть былое, отчаянно цеплялась за последние соломинки. И, наконец, окончательно убедившись, что романтические восторги ушли безвозвратно, Сарра впала в обратную крайность: поверила ложным домыслам и поклепам на любимого человека. Так переосмысливается автором «Иванова» один из мотивов демократической литературы 60—70-х годов, мотив спасения девушки «из подвала» человеком, граждански мыслящим и сулящим ей «новую жизнь».

Подобным же образом переосмыслен у Чехова излюбленный «тургеневско-гончаровский» романтический мотив любви женщины к разочарованному, «лишнему» человеку, которого она пытается вернуть к одухотворенной жизни. Трагикомичной выглядит участь Саши Лебедевой. Одна

²⁰ В. Г. Короленко о литературе. Гослитиздат, М., 1957, стр. 491, 490.

из тех «эмансипированных» девушек дворянского круга, которых коснулись новые, либеральные веяния, Саша ждет от людей поступков, «хоть немножко похожих на подвиг» (37). И любовь ее к Иванову связана прежде всего с жаждой самопожертвования и подвижничества: девушка хочет сделать Иванова прежним — вернуть ему молодость и гражданский энтузиазм. «... Главное, не забывай дела» (63), — поучает его Саша. «Всякой девушке скорее понравится неудачник, чем счастливец, — рассуждает она, — потому что каждую соблазняет любовь деятельная... Мужчины заняты делом, и потому у них любовь на третьем плане... А у нас любовь — это жизнь. Я люблю тебя, это значит, что я мечтаю, как я излечу тебя от тоски, как пойду с тобою на край света» (62).

Но задача Саши невыполнима. И она со временем убеждается, что силой самоотверженной любви Иванову нельзя вернуть юношеский энтузиазм или хотя бы смягчить его страдания; она ошиблась, приняв за любовь свое искреннее стремление спасти человека, у которого «нет ни матери, ни сестры, ни друзей» (75). «Бывают даже минуты, когда мне кажется, что я... я его люблю не так сильно, как нужно, — признается она отцу. — А когда он приезжает к нам или говорит со мною, мне становится скучно» (70). В жалобах Саши выражается ее душевная драма, родственная той, которую переживает главный герой пьесы, хотя, конечно, и не столь глубокая. «Папа, я и сама чувствую, что не то, — говорит Саша отцу о предстоящей свадьбе. — Не то, не то, не то. Если бы ты знал, как мне тяжело! Невыносимо! Мне неловко и страшно сознаваться в этом» (70).

В представлении современных театральных деятелей Саша Лебедева — самая положительная фигура в драме «Иванов». А. Дикий, например, говорил, что ее образ воплощает «начало деятельности, здоровья, борьбы».²¹ Так же поняли чеховскую Сашу М. О. Кнебель, режиссер очень интересного спектакля московского театра им. Пушкина, актриса Т. Зяблова и критик М. Туровская. «Лишь один молодой и звонкий голос, голос протеста, — пишет М. Туровская, — раздается среди этой уездной тиши — голос Шурочки. Именно эту тему — непокорности, вызова, жажды жизни — оттеняет в своей героине молодая актриса Т. Зяблова. Но если главная тема намечена ею очень точно, то хотелось бы пожелать актрисе большего разнообразия красок. Пусть бы чувствовались в ее Шурочке еще и сердечность, душевная чуткость, доброта».²²

Нам же кажется, что подобное стремление увидеть в юной героине чеховской драмы совершенное, идеальное существо уводит далеко в сторону от авторского замысла. Чехов, в отличие от Тургенева, изображавшего самопожертвование женщины в ореоле высокой поэзии, видит в позиции Саши проявление ее нравственной односторонности и «снижает» свою героиню в глазах читателей и зрителей. «Любит она не Иванова, а... задачу», — заметил он в письме к Суворину (XIV, 273). Стремление Саши к самопожертвованию он рассматривает как результат книжных влияний и прежде всего — воздействия тенденциозных либеральных романов. Об этом свидетельствует один из эпизодов третьего акта. «И весь этот наш роман, — говорит Иванов, — общее, избитое место: он пал духом и утерял почву. Явилась она, бодрая духом, сильная и подала ему руку помощи. Это красиво и похоже на правду только в романах, а в жизни...» «И в жизни то же самое» (60), — отвечает ему Саша, пытающаяся осмыслить жизнь по романам. И в поведении Саши неоднократно подмечаются штрихи, которые свидетельствуют о какой-то надуманности и ненатуральности ее самопожертвования. «С вами... хоть в могилу, только ради бога скорее, иначе я задохнусь...» (48), — воскли-

²¹ «Театр», 1954, № 7, стр. 82.

²² «Советская культура», 1955, № 16, 5 февраля.

цает она. Вряд ли энтузиазм любящей девушки, выраженный такими словами, вызовет у зрителя восхищение, а не ироническую улыбку! При этом в пьесе подчеркивается, что претензии героини на подвижничество совершенно неосновательны.

Присущая Саше жажда подвига оборачивается ошибками и заблуждениями. Девушка не поняла, что ее подвиг великодушия и самопожертвования не только не нужен Иванову, но неминуемо окажется для него, человека гордого, тяготящегося собственной беспомощностью, чем-то губительным. Во имя ложно понятого долга Саша заглушает свое истинное чувство и настаивает на свадьбе, не нужной ни ей, ни ему. «Пойми: в тебе говорит не любовь, а упрямство честной натуры, — убеждает Иванов Сашу, — ты задалась целью во что бы то ни стало воскресить во мне человека, спасти, тебе льстило, что ты совершаешь подвиг. . . Теперь ты готова отступить, но тебе мешают ложное чувство» (75). Но Саша не отступает. «. . . Я не хочу его великодушия! Я знаю, что делаю!» (75) — восклицает она, обращаясь к отцу, не понимая, что совесть и ложно понятый долг диктуют ей решение, которое толкнет Иванова на самоубийство.

Героиня чеховской драмы снижается в глазах зрителя и своим холодным равнодушием к отцу. «. . . Не оскорбляйте моего слуха вашими грошевыми расчетами» (69), — гневно говорит она ему, не замечая, что тот желает ей только хорошего и полон беспокойства. И, надо думать, совсем не вследствие художественного просчета, как это кажется В. Ермилову,²³ Чехов показал Сашу в третьем акте несколько назойливой, поступающей, по словам героя пьесы, «легкомысленно и бесчеловечно» (60). Вопреки тому, что говорит В. Ермилов, Чехов и не хотел, чтобы его юная героиня предстала сердечной и чуткой — в ореоле обаяния и поэтичности. Ему было важно, чтобы зритель ощутил нравственную ограниченность девушки.

Как видно, Саша Лебедева, подобно доктору Львову, в своем поведении нередко «повторяет» прежнего Иванова: она несет в себе искреннее, от души идущее стремление к подвигу и вместе с тем — фанатизм, романтическую экзальтацию и некоторую прямолинейность — то, что Иванов назвал «упрямством честной натуры». И ее образ еще больше привлекает внимание зрителей к противоречиям в характере главного героя.

В своеобразную «параллель» главному герою поставлены также Лебедев и Шабельский. Лебедев когда-то, как и Иванов, учился в университете и, по его словам, считал себя либералом. Шабельский в молодости «разыгрывал Чацкого» (40). И оба они оказались, подобно главному герою, всего лишь «рыцарями на час»: их гражданственность была данью «возбудимости». И теперь, тая в глубине своих душ недовольство, горечь, сожаления о лучшем прошлом, они оба влачат жалкое обывательское существование и мирятся с ним, как с чем-то неизбежным и привычным. Рисуя Шабельского и Лебедева, предвосхищающих Сорина и Чебутыкина, Чехов делал более ощутимыми «отрицательные готовности» в характере Иванова.

В душах обитателей провинциальной усадьбы Чехов видит глухое брожение и недовольство, неудовлетворенные гражданские запросы и обманутые надежды. И «свободны» от подобных душевных травм, связанных с «возбуждением» и «утомлением», лишь те, кто органически сросся с обывательщиной и собственничеством, — недалекий, грубоватый Боркин, стяжательница Зююшка Лебедева и некоторые третьестепенные персонажи. Все же остальные действующие лица так или иначе страдают. Даже Бабакина с ее «графоманией» проливает в четвертом акте горькие

²³ В. Ермилов, Избранные работы в трех томах, т. III, Гослитиздат, М., 1956, стр. 78—79.

слезы, что усиливает ощущение трагикомизма всего происходящего на сцене. . .

Иванов, как видно, является не антагонистом других героев, а наиболее ярким представителем группы людей недовольных, страдающих, склонных к сетованиям и жалобам.

В «Иванове» Чехов изобразил нравственно подавленное и душевно угнетенное общество. Он понимал, что крайне тяжелое общественное настроение — явление закономерное, «неустранимое» благими намерениями отдельных личностей. Поистине роковая, трагическая дилемма стояла перед прогрессивно мыслящими людьми 70—80-х годов: или гражданская активность при фанатизме и экзальтации — или же трезвый скепсис при гражданской пассивности, скепсис, располагающий к отходу от прогрессивных взглядов и к погружению в обывательщину. Приковывая внимание современников к этой дилемме, Чехов тем самым будил протест против реакционного общественного строя, который делал ее реальностью. «И был в этой трагедии, — писал Н. Эфрос о спектакле «Иванов» в постановке Художественного театра, — громадный, не только психологический, но и общественный смысл. Был, если угодно, урок. . . разбить раковину, хотя бы опять с риском надломить спину. Родится то пламенное отрицание, которым движется вперед жизнь, — если уж нужно говорить о социальных уроках театральных представлений».²⁴

А вместе с тем в пьесе сказалась и некоторая непоследовательность Чехова в истолковании тяжелого внутреннего состояния современной ему интеллигенции. В «Иванове» причудливо переплелись заблуждения с верными догадками писателя, чуткого к жизни. И если в одном из писем Чехов заметил, что, создав «Иванова», он «попал приблизительно в настоящую точку» (XIV, 290), то в другом признавался: «. . . своей пьесы я не люблю и жалею, что написал ее я, а не кто-нибудь другой, более толковый и разумный человек» (XIV, 282).

Дело в том, что в драме «Иванов» явственно ощутимы примирительные нотки, которые впоследствии определили звучание комедии «Леший». Чехову, который во второй половине 80-х годов еще не вполне утратил веру в толстовские моралистические рецепты, временами казалось, что душевная гармония и счастье вполне возможны для каждого из современников — в том числе и для людей прогрессивно мыслящих и гражданской настроенных. Понимание связи между угнетенным нравственным состоянием общества и политической атмосферой в стране еще не было у Чехова достаточно отчетливым. Вероятно, именно поэтому суждения об общественной обусловленности тех или иных жизненных явлений предстают в пьесе как пародийно-комические. Так, Лебедев замечает, что Иванова «среда заела» (57), но тут же это предположение представляется ему самому банальным и глупым; один из скучных гостей пытается занять присутствующих «умным» разговором о том, что молодые люди предпочитают холостую жизнь в силу «социальных условий» (34); комическое впечатление производит реплика Косых: «Неужели даже поговорить не с кем? Живешь, как в Австралии: ни общих разговоров, ни солидарности. . . Каждый живет врозь. . .» (52).

Чехов обнаруживает в пьесе склонность к своего рода морализированию и видит иногда в нечуткости изображаемых им людей их главную беду и вместе с тем вину. Неправильное поведение Саши Лебедевой и Львова оказывается едва ли не главной причиной бесславной гибели Иванова. Вследствие этого у зрителя временами создается впечатление, будто изображаемые автором люди просто-напросто затронуты какой-то «порчей» — предвзятым отношением к жизни и к окружающим. Начинает казаться, что если бы герои пьесы не осложняли своей жизни «высокими

²⁴ «Театр и искусство», 1904, № 44, стр. 779.

миссиями» (Иванов не вдавался бы в крайности, Саша не одурманивала бы себя идеей жертвенности, Львов поменьше бы доктринерствовал и все они были бы более чутки и внимательны друг к другу), то в их жизни все обстояло бы более или менее благополучно. В одной из промежуточных редакций пьесы эта примирительная тенденция автора выражена еще яснее: там Саша соглашается отказаться от Иванова, и тогда он, показывая ей револьвер, говорит, что покончил бы с собой, если бы она поступила иначе. Как это убедительно показывает А. П. Скафтымов, здесь Чеховым «выдвигалась мысль о том, что при благожелательном понимании со стороны окружающих Иванов мог бы „выздороветь“ и до оскорбления Львова находился на пути к „выздоровлению“». ²⁵

Во всем этом сказывалась некоторая незрелость чеховского демократизма. Убеждать зрителя в том, что интеллигентам прогрессивных убеждений вполне достаточно быть сердечными и чуткими друг к другу, чтобы оказаться благополучными и счастливыми, — значило сеять иллюзии и выдавать страждущему человечеству по видимости спасительные, а по существу бесплодные рецепты, т. е. вставать на путь большинства русских драматургов 80-х годов.

Эта тенденция к чести писателя в окончательной редакции пьесы была не такой уж ощутимой. «Иванов» оказался не драмой частных и исправимых заблуждений, а трагикомедией прозябания прогрессивно мыслящих интеллигентов в крайне неблагоприятной для них социальной обстановке. И не случайно в окончательной редакции 1889 года Чехов снял слова главного героя, которые отвечали примитивно-поучающей тенденции пьесы: «. . . возбуждайся, но знай меру, иначе жестоко накажет тебя судьба!» (530). Писателю становилось все более ясно, что коренной причиной горестей и бед современных ему прогрессивно мыслящих интеллигентов является не сама по себе высокая степень возбудимости, а отсутствие «общей идеи», как об этом сказано в «Скучной истории» (1889).

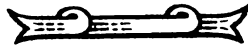
Итак, драма «Иванов» несет на себе печать сложных и противоречивых идейных исканий автора. Она представляет собою один из этапов преодоления писателем моралистических, примирительных тенденций. Отталкиваясь от поверхностного детерминизма, в свете которого поведение личности непосредственно обуславливалось состоянием окружающей среды, Чехов приближается к пониманию того, что противоречия в нравственном облике интеллигентов вызваны в конечном счете всей социально-политической атмосферой в стране.

Неудачно складывающиеся судьбы главных героев пьесы — прежде всего самого Иванова — выступили как неотразимо убедительное свидетельство поистине трагического бессилия тех интеллигентов, которым было не на что опереться в защите прогрессивных идеалов и оставалось верить только в свои собственные «титанические» силы; будучи не в состоянии найти действенные средства для осуществления своих исторически оправданных требований, они воевали с ветряными мельницами или же переживали разочарования, душевные драмы и идейные кризисы. Разрушение иллюзий либеральной и демократической — в том числе и революционно-народнической — интеллигенции было главной идейно-творческой установкой Чехова. Об этом свидетельствует одно из его писем по поводу отзывов современников о пьесе «Иванов»: «Получаю. . . анонимные и не анонимные письма. Какой-то социалист (по-видимому) негодует в своем анонимном письме и шлет мне горький упрек; пишет, что после моей пьесы погиб кто-то из молодежи, что моя пьеса вредна и проч. . . Очевидно, поняли, чему я очень рад» (XIV, 304).

²⁵ А. Скафтымов. Статьи о русской литературе. Саратовское книжное издательство, 1958, стр. 346.

Идея пьесы «Иванов» — это прежде всего «идея-предостережение». Писатель предостерегал одновременно и от примирения с социальной действительностью, и от такого протеста против нее, который порожден романтической экзальтацией, фанатизмом и безрассудством. Тем самым он ставил перед читателями и зрителями вопрос о том, какими идейно-нравственными качествами должен обладать настоящий гражданин. Решение этого вопроса, на первый взгляд, было лишь негативным. По существу же, оно позволяло Чехову наметить — пусть не прямо, а косвенно — положительную программу, его *credo* как гражданина. В конечном счете в драме «Иванов» шла речь о настоятельной необходимости появления в России таких «интеллигентных людей», которые не только обладали бы верой в свою правоту, не только испытывали бы желание совершать подвиги, но и имели бы «ясно сознанные цели» и опирались бы на конкретное понимание действительности в самых серьезных и глубоких ее противоречиях.

Пьеса Чехова — произведение подлинно прогрессивное. Судьбы ее персонажей убеждают и будут убеждать, что достойной человека является лишь позиция гражданина, способного к решительному и смелому воздействию на окружающее. А вместе с тем образы пьесы наводят и будут наводить на раздумья о том, что гражданская деятельность людей, находящихся во власти субъективистских иллюзий, склонных к романтической экзальтации и не способных к трезвому, непредвзятому анализу действительности, неминуемо оказывается трагически бесперспективной и бесплодной.



ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

А. БОЛДУР
(Румыния)

ЯРОСЛАВНА И РУССКОЕ ДВОЕВЕРИЕ В «СЛОВЕ О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

В «Слове о полку Игореве» имеются заметные следы языческих верований, как это отметил еще К. Маркс в своем письме к Фр. Энгельсу от 5 марта 1856 года.¹ Однако смысл одного выражения в «Слове» ускользнул от внимания исследователей, хотя оно связывается тесным образом со всей системой языческих верований «Слова».

Среди главных религиозных явлений, нашедших свое отражение в «Слове», находится поклонение солнцу.² Перед отправлением в поход князь Игорь бросает взгляд на солнце в надежде увидеть с его стороны одобрение и благословение. Но солнце проявляет к его предприятую явно враждебное отношение: происходит затмение. Иначе отзывается солнце на бегство Игоря из плена: оно ярко светит в небел

Как правильно отмечает Б. В. Сапунов, опубликовавший интересную статью «Ярославна и древнерусское язычество»,³ Ярославна обращается не к богам официального пантеона, признанным Владимиром, не к Даждьбогу или Хорсу, упоминаемым в «Слове», а прямо к солнцу, которому русские люди продолжали еще долгое время после принятия христианства тайно поклоняться.

Представляет особый интерес употребление Ярославной в обращении к солнцу эпитета «тресветлое». Этот эпитет находит свое объяснение в сочетании язычества с христианством. Ярославна перевела атрибуты христианского бога на языческое божество. Поскольку христианский бог представляется в виде святой Троицы, то и солнце, поклонение которому не прекращалось, естественно, получает подобные же атрибуты. В сущности, выражение Ярославны означает «святую Троицу солнца». Эта гипотеза подтверждается параллелью, которую можно найти в христианской православной службе погребения. В ней имеются следующие слова: «Трисиятельное единого божества поем вопиюще». После этого следует непосредственно упоминание бога отца, бога сына и святого духа.

Слово «трисиятельное» выражает качество христианского бога, а именно — наличие трех ипостасей, откуда и идет «тройное сияние». Это та же идея, которую выразила Ярославна в применении к солнцу.

В своем плаче Ярославна обращается к ветру, воде (Днепру) и солнцу, употребляя по отношению к ним слово «господин», с которым тогда адресовались к языческим божествам. Ярославна не апеллирует к христианскому богу, всемогущему и всепрощающему, каким его изображают христианские проповедники. Она не призывает к себе в помощь ни небесную заступницу — богородицу, ни Христа.⁴

Вообще в «Слове» о христианском боге говорится дважды. В первый раз прямо, когда христианский бог помогает Игорю бежать из плена (ему «бог путь кажет из земли Половецкой на землю Русскую»), и второй раз косвенно, в рефрене Бояна (никто не может избежать «суда божьего»). Правда, в последнем случае мы не вполне уверены, что речь идет непременно о суде христианского бога, а не о судьбе, назначенной, по языческим представлениям, каждому новорожденному младенцу. Мы не считаем связанными с христианской верой ссылки на храмы св. Софьи и Пирогощей, так как в данном случае налицо простые локализации.

Необходимо признать, что в «Слове» очень мало отзвуков христианства, тогда как следы язычества находятся на каждом шагу.

При рассмотрении вопроса о религии «Слова» имеются две тенденции. Одни отрицают христианско-языческое двоеверие в «Слове», другие, напротив, утверждают его существование.

Кажется, первым отрицателем двоеверия в «Слове» был Вс. Миллер. Свою точку зрения он выразил очень определенно. «Заключать отсюда, — писал он, — о язы-

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. XXII, стр. 122.

² И. И. Срезневский. Об обожании солнца у древних славян. «Журнал Министерства народного просвещения», 1846, т. VII (часть 51), отдел 2, стр. 36—60.

³ Слово о полку Игореве — памятник XII века. Изд. АН СССР, М.—Л., 1962, стр. 329.

⁴ Там же, стр. 322.

честве автора было бы так же произвольно, как если бы кто-нибудь утверждал, что Державин верил в бога Леля, которого упоминает в песнях». Автор «Слова» говорил о языческих богах с той же целью, с какой поэты XVIII века говорили об Аполлоне, Диане, Парнасе и Пегасе.⁵ Взгляды В. С. Миллера получили поддержку в работах М. Н. Сперанской, Д. С. Лихачева, И. П. Еремина, В. Н. Перетца, В. Ф. Ржиги, В. К. Каллаша, отчасти Н. К. Гудзия и др. Противоположную позицию заняли А. С. Петрушевич, Н. Изволенский, И. В. Сребрянский, Н. Михайлов, Е. В. Петухов, Б. В. Сапунов, Ю. М. Лотман, а также, по-видимому, М. Н. Тихомиров.

Стремление превратить следы язычества в «Слове» в простые стилистические приемы ведет к модернизации памятника XII века. Однако «Слово» не нуждается в модернизации. Пусть оно будет и дальше «диким цветком», как его назвал В. Белинский. Надо же делать разницу между XII и XVIII веком!

Насколько сильно было двоеверие в эпоху «Слова», можно судить по тому, что церковь вела против него напряженную борьбу. Имеется целый ряд памятников, свидетельствующих об этом. Так, например, в «Слове некоего христиолюбца, ревнителя по правой вере», относящемся к домонгольскому периоду, перечисляются языческие боги, которым продолжали поклоняться русские. Русский переписчик «Хождения богородицы по мукам» (известного на Руси с XI века) также прибавил перечень славянских богов, поклонение которым, наравне с другими суевериями, он считал грехом.

Руководимые волхвами движения крестьян (смердов) и горожан в продолжение XI и XII веков имели религиозный оттенок, были связаны еще с языческими верованиями. Эти движения жестоко подавлялись государственной властью в союзе с церковью.

Двоеверие проникало и в княжескую среду. По утверждению Е. В. Аничкова, «Слово некоего христиолюбца» было проповедью, произнесенной с амвона кафедрального собора св. Софьи в Киеве перед представителями феодалов и клира.⁶

О прочности языческих поверий можно судить по наивному и крайне примитивному описанию моровой язвы в Лаврентьевской летописи под 1092 годом.⁷ Летописец рассказывает, что «предивно» было в Полоцке. По улицам ходили бесы, как люди. Кто выходил из дому, был «уязвлен» и умирал. Потом бесы начали появляться днем на конях, их не было видно, видны были только конские копыта. Люди говорили: «навье бьют полочаны». Иначе говоря, души мертвецов бьют живых жителей Полоцка. С тех пор до похода Игоря не прошло и одного века, поэтому невозможно утверждать, что автор «Слова» не верил в языческих богов. Разве он не был сыном своего времени?

Как правильно отметил В. И. Чичеров, долгое время вопрос о сочетании христианства и язычества в «Слове» мало привлекал внимание исследователей.⁸ Большой удар отрицанию двоеверия в «Слове» был нанесен гипотезой о существовании русского эпоса о Всеславе Полоцком. Р. Якобсон и М. Шефтель опубликовали исследование о существовании на Руси эпоса о князе-оборотне Всеславе на основании былинны о Волхе Всеславиче: прототипом этого героя, по их мнению, и был Всеслав. Эту тему на основании новых данных развили Р. Якобсон и Г. Ружичич, поставив ее в связь с сербскими легендами о сыне Змея-дракона, обладавшем способностью предвидеть будущее и превращаться в волка и других животных.⁹ Они доказали существование общеславянского мифа об оборотне.

Отражение мифа о Всеславе находим и в «Слове о полку Игореве». Он — колдун, оборотень, бежит как дикий зверь, в полночь скачет волком из Киева и успевает до пения петухов прибежать в Тмуторокань, предупреждая появление в небе великого Хорса, слышит в Киеве звон церковных колоколов из Полоцка и т. д.

Если в «Слове» нашел отражение миф о Всеславе, почему же не допустить, что автор и в других частях своего произведения искренно передал свои языческие убеждения, смешивая их с немногими проявлениями христианства?

Предположение, что автор «Слова о полку Игореве» был одним из адептов двоеверия, позволяет нам удовлетворительно объяснить не только образ Всеслава, но и «Слово» в целом со всеми его остатками язычества.

Б. В. Сапунов в упомянутой нами выше статье о Всеславе приходит к следующему выводу: «... анализ образа Всеслава помогает решить загадку, уже долгое время

⁵ Все в. М и л л е р. Взгляд на Слово о полку Игореве. М., 1877, стр. 10 и 71.

⁶ Е. В. А н и ч к о в. Язычество и древняя Русь. СПб., 1914, стр. 136, 369 и сл.

⁷ Лаврентьевская летопись. Изд. Археографической комиссии, СПб., 1897, стр. 207—208 (чтение дается по Радзивиловскому списку).

⁸ В. И. Ч и ч е р о в. Из истории народных поверий и обрядов. «Труды Отдела древнерусской литературы», т. XIV, 1958, стр. 529.

⁹ R. J a k o b s o n and M. S z e f t e l. The Vseslav epos. Russian Epic Studies. Philadelphia. American Folklore Society, 1949; R. J a k o b s o n and G. R u z i c i c. The Serbian Zmaj ognjeni Vuc and the Russian Vseslav Epos. «Annuaire de l'Institut de Philologie et d'Histoire Orientales et Slaves», t. X, Bruxelles, 1950. См. также: Б. В. С а п у н о в. Всеслав Полоцкий в «Слове о полку Игореве». «Труды Отдела древнерусской литературы», т. XVII, 1961, стр. 75—84.

занимающую исследователей: каким образом книжный человек XII в., после двухсот лет христианства, мог так щедро использовать языческие образы?»¹⁰

Еще в прошлом веке известный историк русской церкви Е. Голубинский указывал, что язычество сохранялось в религии высших слоев населения наряду с христианством очень долго, а народные массы не только внесли в христианство часть языческих верований, но попросту соединили христианство с язычеством. Языческий политеизм благоприятствовал такому смешению двух вер. Принимая христианство и сохраняя язычество, народные массы должны были исповедовать двоеверие в точном смысле этого слова. Появилось два ряда божеств: христианские и языческие. После периода открытого двоеверия наступил период полужазычества, замаскированное двоеверие. Больше того, Е. Голубинский утверждает, что русские не составляют исключения: так было у всех христианских народов Европы, не исключая и Греции.¹¹

Совершенно невозможно поэтому представить себе, чтобы автор «Слова» в среде, насыщенной языческими верованиями, мог не верить в них, превращая их в простые поэтические фигуры и образы.

Ярославна, зывающая к «тресветлому» солнцу по образцу христианской Троицы, — яркое доказательство двоеверия автора «Слова».

Наступило время сдать в архив старое предубеждение против двоеверия в «Слове» и отказаться от утверждения, что язычество «Слова» только простая черта литературного стиля.

В. АДРИАНОВА - ПЕРЕТЦ

ОБ ЭПИТЕТЕ «ТРЕСВЕТЛЫЙ» В «СЛОВЕ О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

В статье проф. А. Болдура происхождение словосочетания «тресветлое солнце» объясняется, как и у его предшественников, поэтической традицией, идущей от гимнографии и связанной с догматом троичности христианского божества. Действительно, «тресветлый» (точный перевод греческого *εἰλημπρός*) употребляется часто в применении и к божеству и к христианским подвижникам, но в гимнографии отсутствует сочетание его с существительным «солнце». В старшем русском списке Минеи служебной 1095—1097 годов мы находим следующие сочетания: «тресветлая троица», «тресветлое божество», «тресветлый свет», «тресветлая заря», «тресветлая свеча» (последний образ не имеет прямого отношения к догмату троичности; он украшает общую похвалу трем подвижникам: три мученика Гурий, Самон и Авив «троици равночисльни», поэтому к ним прилагается эпитет «тресветлы»).¹

В гимнографии мы встретим «свет тресолнечный», также «тресолнечное божество», «тресолнечная красота», «тресолнечные лучи»,² но не «тресветлое солнце».

Для объяснения этого словосочетания, примененного в «Слове о полку Игореве», материал дает другой переводный памятник, который был хорошо знаком на Руси уже в XI веке, — Шестоднев Иоанна экзарха болгарского.³ Этим сочинением в XI веке пользовался Иларион, митрополит киевский, в начале XII века — светский писатель Владимир Мономах. Эта своеобразная энциклопедия естествознания читалась и переписывалась на Руси в течение всего средневековья. На основе античных греческих и византийских сочинений Шестоднев разъяснял библейскую легенду о сотворении мира, сообщая разнообразные сведения о строении земли и неба, небесных светил, о мире растительном и животном, о человеке — анатомии и физиологии его тела, о психологии.

¹⁰ Б. В. Сапунов. Всеслав Полоцкий в «Слове о полку Игореве», стр. 84.

¹¹ Е. Голубинский. История русской церкви, т. I, вторая половина. Изд. 2-е, [М., 1904], стр. 834—856.

¹ См.: И. В. Ягич. Служебные Минеи за сентябрь, октябрь и ноябрь в церковнославянском переводе по русским рукописям 1095—1097 г. СПб., 1886, ноябрь, стр. 377 и 379; см. также: октябрь, стр. 86.

² Там же, сентябрь, стр. 0147, 0173; ноябрь, стр. 304, 378.

³ Русские списки Шестоднева не старше XV века, но поскольку приводимые далее чтения этих списков совпадают с более древним сербским текстом, цитирую их по изданному списку 1263 года: А. Попов. Шестоднев, составленный Иоанном экзархом болгарским. По харатейному списку Московской Синодальной библиотеки 1263 года. М., 1879. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте.

Шестоднев представлял происхождение небесных «светильников» следующим образом: в первый день был создан «прост и несложеп свет», который светил первые три дня, на четвертый «свещающее сущее пръвобывшаго света» было «вложено» в солнце, луну и звезды (л. 106) — это «телесные образы» «первобытного света» (л. 106 об.). Таким образом, в астрономических представлениях Шестоднева была заложена идея троичности проявления единого света. Когда к имени христианского бога прикрепилось метафорическое сопоставление с солнцем (христианство как солнце освещает весь мир), то следующим шагом в развитии этой метафоры явилось сопоставление «единого в трех лицах» христианского божества с троичным проявлением света. Так, в Шестодневе появился образ-метафора, выражавший христианское представление о «творце и владыке» вселенной: «*слънце* праведное видим лице к лицу *тръми светы сияюще* божествъыми собствы, единымъ же естъством» (л. 132 об.).

Если мы сопоставим с этой сложной метафорой необычный эпитет солнца в «Слове о полку Игореве» — «тресветлое солнце», то увидим, что путь к созданию этого эпитета был открыт и астрономической концепцией Шестоднева, и его поэтическим языком. Вряд ли можно определенно решить вопрос о том, вкладывал ли автор «Слова о полку Игореве» в эпитет «тресветлое» оттенок христианского догмата троичности божества, или он отразил лишь теорию Шестоднева о трех проявлениях света, применив ее к представлению о восточнославянском боге солнца. Мне думается, что последнее предположение вероятнее: ведь плач Ярославны построен на народнопоэтическом приеме — на обращении за помощью к обожествлявшимся когда-то стихиям природы. Безусловно книжный, «ученый» эпитет «тресветлое» лишь подчеркивал могущество божественной силы солнца, и вряд ли древнерусский читатель вместе с автором воспринимал этот эпитет в свете христианского догмата троичности. Формально словосочетание «тресветлое солнце»⁴ очень близко к метафорическому образу христианского «праведного солнца»⁴ «треми светы сияющего», но по существу эпитет «тресветлый» не уводит непременно от понимания солнца как одного из трех, главного источника света на земле. В умелом сочетании народно-поэтического образа солнца, которое может и погубить и защитить человека, образа, выросшего еще на почве языческой, с книжным эпитетом, созданным в христианской литературе, сказался художественный такт автора «Слова о полку Игореве», мастерски владевшего обеими системами поэтической речи своего времени — народной и литературной.

Г. МОИСЕЕВА

НОВЫЙ СПИСОК ПОВЕСТИ ОБ АЛЕКСАНДРЕ НЕВСКОМ

Лаврентьевская летопись, переписанная в 1377 году с «ветшаного летописца» 1305 года, сохранила нам два великолепных литературных памятника древней Руси — «Поучение Владимира Мономаха» и повесть об Александре Невском. Последняя помещена в летописи под 1263 годом — годом смерти Александра Невского. К сожалению, текст этой повести сохранился в Лаврентьевской летописи меньше чем наполовину.

Повесть об Александре Невском (имеющая также название — Житие) известна в составе и других летописей — Новгородской I младшего извода, Софийской I, Псковской II, Никоновской — и в 11 отдельных списках. Списки повести разбиваются на многочисленными редакциями, возникновение которых связано с конкретными историческими событиями и лицами (канонизация Александра Невского в 1547 году, например, вызвала появление целого ряда агиографических обработок повести, включенных в Четьи-Минеи митрополита Макария, Степенную книгу, Никоновскую летопись). Изучение этих позднейших редакций представляет собой значительный интерес, но не входит в нашу задачу.

В настоящее время обнаружен неизвестный список повести об Александре Невском.

⁴ Сочетание «праведное солнце» было широко распространено в русской религиозной литературе, но когда в XVI веке появились попытки употреблять его в применении к человеку, автор специального рассуждения «Повесть глаголет от избранных слов о праведном солнце и не внимающих божиих заповедей, иже люди друга друга зовуще солнцем праведным, лъстяши себе» (Летописи русской литературы и древности, т. V, М., 1863, стр. 90—93) обрушился с резкими упреками по адресу тех, кто «лъстяши» называет своего собеседника «праведным солнцем»; по убеждению автора этого рассуждения, даже солнце «на круже небесном» нельзя называть «праведным».

В Архангельском областном архиве хранится сборник повестей и житий русских святых, составленный в самом начале XVI века. О древнем происхождении сборника свидетельствует прежде всего его внешний вид: переплет его сделан из толстых прямых досок толщиной 10 мм, склеенных «в затылок» темнокоричневой кожей. Уже к середине (и особенно к концу) XVI века переплетные доски изготовлялись более тонкими (толщивой 4—5 мм), со скосом внутрь, и кожей обтягивались полностью.¹ Подобные переплеты встречаются в сборниках XIV—XV веков.²

Сборник состоит из отдельных тетрадей размером «в полдсть» (в четверку). В его состав входят следующие произведения: «Житие преподобного и богоугодного отца нашего игумена Сергия списано от Пахомия иеромонаха Святые горы» (лл. 3—67 об.); Житие Григория чудотворца (лл. 69—110 об.); повесть об Александре Невском (лл. 111—128); «Житие Алексея митрополита киевского и всеа Руси. Списано иеромонахом Пахомием» (лл. 129—141); Житие Леонтия Ростовского чудотворца (лл. 141 об.—156 об.); Житие Дионисия Глушицкого (лл. 157—215 об.).

Как видим, перечисленные произведения, вошедшие в состав Архангельского сборника, являются оригинальными — здесь подобраны только русские жития. По классификации В. О. Ключевского, они представляют собой наиболее древние редакции, сохранившиеся притом в небольшом количестве списков.³

Водяные знаки бумаги сборника позволяют датировать его началом XVI века: голова быка с крестом между рогами, увитыми змеей (1515 год); три горы с большим крестом (1501 год); папская тиара большой формы (1512 год).⁴

Повесть об Александре Невском начинается с киноварного заглавия, написанного вязью: «Мѣсяца ноября в 23 преставися великий князь Александръ Ярославичъ». на бумаге, имеющей водяной знак: сфера, опоясанная линией, с маленькой пятиконечной звездочкой, увенчивающей вертикальную линию, которая пересекает сферу. Бумага иностранная, хорошей выделки. Брикке писал, что бумага с водяным знаком «сфера» выделялась в Италии и Франции начиная с XIV века.⁵ Однако наибольшее распространение этот знак (уже деформированный) получил в XVI и XVII веках. В альбоме водяных знаков, собранных Н. П. Лихачевым на материале русских летописей, точно таких начертаний сферы и маленькой звездочки, увенчивающей перпендикулярную линию, найти не удалось. В русских рукописях 40—50-х годов XVI века водяной знак «сфера» претерпел значительные изменения: искажена форма круга, звездочка с деформированными — вытянутыми и искривленными — лучами не перпендикулярна вертикальной линии. Все это характеризует более позднее время выхода бумаги по сравнению с той, на которой переписана повесть об Александре Невском (см. №№ 1795, 3437, 3442, 3443 и др.). Наиболее близок по форме сферы (хотя форма звездочки здесь также несколько нарушена) водяной знак, обнаруженный Н. П. Лихачевым в Никоновской летописи (лл. 1145—1148) по списку Оболенского (№ 2904). Н. П. Лихачев по целому ряду данных относит составление этой рукописи к 1530-м годам (стр. 326—331).

О переписке повести об Александре Невском не позднее начала XVI века свидетельствует анализ палеографических и орфографических особенностей рукописи. Повесть переписана крупным, очень четким полууставом, еще недалеко ушедшим от устава: буквы прямые, без тенденции к наклону, высотой 4 мм, шириной 3—4 мм. По буквенным начертаниям эта часть Архангельского сборника чрезвычайно напоминает «Апостола» из собрания Н. П. Лихачева, переписанный в Галиче в 1495 году.⁶ Широко употребляются *а* (наряду с ним йотированное *а*), графема *ou* (но наряду с ней *у*). Об архаических чертах списка говорит и написание в ряде случаев *а* вместо *я* (чюжаа, побѣждаа). Широко распространено смягчение шипящих (положю, душю. ввожю). Перечисленные графические явления были характерны для XV и начала XVI века. Позднее они исчезли, особенно с введением книгопечатания, когда орфография рукописей начинает настойчиво повторять графические особенности печатных изданий.

¹ См.: И. А. Шляпкина. Русская палеография. СПб., 1913, стр. 88—92.

² Отдел рукописей Государственной Публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина. Собрание Соловецкое, № 1133/1024. В дальнейшем: РГБ.

³ В. О. Ключевский. Древнерусские жития святых. М., 1871, стр. 3—4, 193, 196.

⁴ Н. П. Лихачев. Палеографическое значение бумажных водяных знаков, ч. I. СПб., 1899, №№ 1485, 1338, 1404, 1406. В дальнейшем ссылки приводятся в тексте.

⁵ Briquet. Les filigranes dictionnaire Historique des marques du papier, t. III. Geneva, 1907, pp. 689—694.

⁶ О времени переписки «Апостола» имеется приписка на листе 172 (Рукописный отдел Ленинградского отделения Института истории АН СССР, ф. 238, № 530).

Сведя воедино все наблюдения над Архангельским сборником, мы пришли к выводу, что он был составлен в первых десятилетиях (не позднее первой четверти) XVI века.⁷

Приписки и скрепы на сборнике дают возможность в известной степени проследить его судьбу в последующее время.

К первому листу Жития Сергия Радонежского, открывающему сборник, в начале XVII века были пришиты три листа: два первые из них склеены (лл. 1—1а об.), третий отдельный. О том, что они присоединены к сборнику позднее, с несомненностью говорит то, что концы ниток, скрепляющих эти листы, не заправлены, в то время как нитки после того, как сборник сшили, были заделаны в деревянный переплет (что также датирует составление сборника не позднее начала XVI века).⁸

На этих листах привлекают внимание сведения, которые оказались важными для истории сборника. Здесь находятся начало грамоты Бориса Годунова 1603 года и донесения дьякона Борисоглебского монастыря «Олексея» архиепископу «Суждальскому и Торускому Галахтину» о пропаже каких-то церковных ценностей. В сане архиепископа Суздальского и Торусского Галактион находился с 1593 года и был изгнан оттуда в 1609 году.⁹ На листе 2 об. запись: «Сия книга сборник Иванова человека Ивановича Салтыкова Ондreja Оладьяна». Следовательно, этот сборник принадлежал Ивану Ивановичу Салтыкову — человеку» Андрея Оладьяна. Оладьяны — дворянская фамилия, одна ветвь которой обосновалась на севере, другая — в Волоцком удельном княжестве. В 1480 году духовную грамоту волоцкого князя Бориса Васильевича писал дворцовый дьяк Оладья.¹⁰ Его потомок — Денис Григорьевич Оладьян был членом великого посольства, отправленного к Сигизмунду в 1610 году. Вероятнее всего сыном Дениса и был Андрей Оладьян, связанный с правительственными кругами и принимавший активное участие в политической деятельности времени Смуты. Бумаги, относящиеся к первым годам XVII века, к нему могли попасть от Дениса.

Ниже этой приписки помещена новая запись: «Продад сию книгу Михаил Оладьян «нрзб» писал своею рукою Похнутьева монастыря черному дьякону Перфилию». Таким образом, от Оладьяных сборник попал к дьякону Перфилию. Купивший сборник «черный дьякон» сразу же сделал свою владельческую скрепу на листах 3—19: «Лета 7133 «1625 г.» месяца августа в 26 дал в дом Рождества пречистые богородицы и великому чудотворцу Пафонотию книгу сию сборник в полдесть черный дьякон Перфирей при игумене Иосифе с братиею». Иосиф был игуменом Пафнутьева-Боровского монастыря с 5 сентября 1619 до 1649 года.¹¹ С этого времени сборник стал «казенной» книгой, о чем сделана запись на первом листе, а на листе 2 появилось оглавление — перечисление житий. Более ста лет сборник находился в Пафнутьевом-Боровском монастыре. В 1735 году на листе 1а об. сделана новая запись: «Сия святая книга житии и чюдеса святых из древней написанных Пафнутьева монастыря, что в Боровску, казенная. Подписана 1735 г. мая в 5 день иеромонахом Игнатием книгохранителем и уставщиком своеручно».

Сколько времени после 1735 года сборник находился в Боровске, неизвестно, как неизвестно и то, какими путями он попал в Архангельский областной архив, где хранится в составе рукописей и старопечатных книг под № 624.

2

Что же нового вносит Архангельский список в изучение повести об Александре Невском?

Настоящая статья не ставит своей целью полного изложения всей аргументации, которая раскрывала бы выводы текстологического исследования; главная ее задача — публикация неизвестного списка повести об Александре Невском. Но ниже мы остановимся на том, какие поправки вносит Архангельский список в наше представление о первоначальном виде повести.

Известно, что по вопросу о близости к первоначальной редакции различных видов повести об Александре Невском мнения исследователей разделились. В. Мансикка первым писал о принадлежности к первоначальной редакции того вида повести, которая включена в Лаврентьевскую летопись. Список Московской духовной академии (ГБЛ, ф. 173, № 208), Волоколамской библиотеки № 523 (ГБЛ, ф. 113) и собрания М. П. Погодина (ГПБ, № 641) он относит к «краткой версии» первоначальной

⁷ В определении времени составления сборника большую помощь мне оказали А. И. Копанев, В. И. Малышев, М. В. Кукушкина и Н. Н. Розов. Всем им я пишу сердечную благодарность.

⁸ См.: И. А. Шляпкина. Русская палеография, стр. 88.

⁹ П. М. Строев. Списки иерархов и настоятелей монастырей российской церкви. СПб., 1877, стр. 655—656.

¹⁰ П. Долгоруков. Российская родословная книга, ч. IV. СПб., 1857, стр. 6.

¹¹ П. Строев. Списки иерархов... стр. 571.

редакции.¹² Списки же Псковско-Печерского монастыря, Псковской II летописи, Московского Публичного и Румянцевского музеев (ГБЛ, ф. 212, № 15) и библиотеки Уварова (ГИМ, собрание Уварова, № 279)¹³ — ко второй редакции. Важнейшим признаком различия видов этой повести для В. Мансикки явился рассказ о погребении князя и о чуде с прощальной грамотой.

Н. Серебрянский очень определенно разделил редакции повести об Александре Невском Лаврентьевской летописи от редакции Псковской II летописи, полагая, что к последней принадлежит очень небольшое количество списков.¹⁴ В решении вопроса о характере редакции повести об Александре Невском, помещенной в Псковской II летописи, Н. Серебрянский пришел к выводу, что «со стороны изложения предпочтение нужно отдать Лаврентьевскому списку. В Псковском житии текст в некоторых случаях подновлен, иногда внесены пояснения и поправки местного характера». Вместе с тем Н. Серебрянский высказал предположение о том, что список повести об Александре Невском, сохранившийся в Псковской летописи, «точнее, чем Лаврентьевский передает нам первоначальный состав владимирского церковного жития». Отсутствующий в этом списке рассказ о 6 новгородских храбрацах, участниках Невской битвы, Н. Серебрянский рассматривает не как пропуск эпизода, органически входящего в состав повести, а как позднейшую вставку в списках другого вида. Так как Н. Серебрянский не смог доказать своего вывода текстологически (приведенное им сопоставление как раз свидетельствует об обратном), то в качестве довода он приводит следующее соображение: «... житие (Александра Невского, — Г. М.) было написано не для помещения в летописи, а для церковного употребления. Для церковного же памятника рассказ об удальцах был в сущности излишен».¹⁵ То же обстоятельство, что именно в составе летописи XVI века, переписанной с летописца 1305 года, сохранился фрагмент древнейшего текста повести об Александре Невском с рассказом о 6 удальцах, Н. Серебрянский не объясняет, хотя не отрицает, что в Лаврентьевском списке сохранился древнейший текст, подновленный в Псковской II летописи.¹⁶

В 1946 году В. И. Малышевым в собрании Гребенщицкой старообрядческой общины был открыт новый, неизвестный список повести об Александре Невском, датированный серединой XVI века.¹⁷ Этот список повести с фрагментом «Слова о погибели Русской земли» внес много новых, ценных сведений, обогативших изучение древнерусской литературы.

По вопросу о редакциях повести об Александре Невском высказал ряд соображений также Ю. К. Бегунов, точка зрения которого отличается от предшественников. Текстологическое изучение двух списков повести, имевших в качестве введения «Слово о погибели» (список Х. М. Лопарева и В. И. Малышева), привело его к выводу о том, что они восходят к одному архетипу.¹⁸ «Слово о погибели» в древнейшем тексте повести об Александре Невском, по мнению Бегунова, отсутствовало, оно объединилось с повестью на более позднем этапе жизни памятника. Первая редакция, считает Бегунов, представлена 9 списками, сохранившимися в сборниках (в числе их и найденный В. И. Малышевым, и список Московской духовной академии — ГБЛ, ф. 173, № 208), и 2 списками, входящими в Лаврентьевскую (ГПБ, ф. IV. № 2) и Псковскую (ГИМ, Синод., № 154) летописи. Внутри первой редакции Ю. К. Бегунов наметает два вида. Древнейший, близкий к авторскому, текст сохранился в Псковской II летописи (ГИМ, Синод., № 154) и в трех списках (ГБЛ, ф. 212, № 15; ГИМ, Собрание Барсова, № 1413; ГИМ, Собрание Уварова, № 279). В остальных списках первой редакции, отнесенных ко второму виду, Ю. К. Бегунов видит большое количество «младших и дефектных чтений, значительно отдаленных его от авторского текста Жития». Таким образом, если для В. Мансикки важнейшим признаком различия редакций повести об Александре Невском был эпилог произведения, где по-разному описан эпизод с прощальной грамотой, а для Н. Серебрянского наличие или отсутствие рассказа о шести храбрацах, отличившихся в Невской битве, то Ю. К. Бегунов не при-

¹² В. Мансикка. Житие Александра Невского. (Разбор редакций и текст). «Памятники древней письменности», т. СХХХ, 1913, стр. 48.

¹³ Там же.

¹⁴ Н. Серебрянский. Древнерусские княжеские жития. Обзор редакций и тексты. М., 1915, стр. 176—180.

¹⁵ Там же, стр. 180. Впрочем, уже в XIX веке В. Васильев отметил, что древнейшая редакция Жития Александра Невского была совершенно непригодна для церковного употребления. Именно поэтому при канонизации 1547 года потребовалось составление новой редакции (В. Васильев. История канонизации русских святых. «Чтения Общества истории и древностей российских», 1893, № 3, отд. II, стр. 179).

¹⁶ Н. Серебрянский. Древнерусские княжеские жития, стр. 177.

¹⁷ В. И. Малышев. Житие Александра Невского. «Труды Отдела древнерусской литературы» (далее: «Труды ОДРЛ»), т. V, 1947, стр. 185—193.

¹⁸ Ю. К. Бегунов. Слово о погибели Руския земли. Автореферат на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Л., 1960, стр. 6—9.

нимает во внимание ни один из этих признаков и единственный критерий близости к первоначальному виду повести усматривает в сохранении «большинства древнейших чтений». К сожалению, автор пока еще не смог развернуть всю систему доказательств и свое понимание термина «младшие» и «старшие» чтений.

В «восстанавливаемом авторском тексте» повести об Александре Невском, по выводу Ю. К. Бегунова, должны быть следующие компоненты (при наличии «старших» и «недефектных чтений»): предисловие о «господе бозе», рассказ «о 6 храбрецах» и «чуде за Ижорой», о походе Дмитрия Александровича на Юрьев в 1262 году, пространная версия рассказа о посмертном чуде с грамотой.¹⁹

Всем этим данным отвечает найденный Архангельский список; в нем находятся: полное предисловие с сообщением автора кратких сведений о себе и о задачах повествования, цельный рассказ о выдающихся подвигах шести русских храбрецов в Невской битве, о «чюде» за рекой Ижорой, о походе в 1262 году сына Александра Невского, Дмитрия, на Юрьев и, наконец, пространный эпилог повести с подробным описанием эпизода с прощальной грамотой. В этом смысле Архангельский список имеет преимущество перед списком, помещенным в Псковской II летописи, в котором отсутствует рассказ о шести храбрецах, составляющий один из важнейших идейно-художественных элементов повести.

Сопоставление Архангельского списка с уже известными 11 списками первой редакции повести показывает превосходную сохранность найденного текста этого замечательного памятника древней русской литературы.

Список начинается словами: «Скажем же мужство и житие его²⁰ (Александра Невского, — Г. М.)». Эта фраза, отсутствующая в списке Псковской II летописи, с полным основанием может быть отнесена к первоначальному тексту повести, так как она согласуется с дальнейшей характеристикой поведения Александра Невского и его сподвижников, какими они обрисованы в произведении: «И се слышав краль части римския от полуношныя страны таковое мужство князя Александра Ярославича» (л. 113—113 об.); «Здѣ же, в полку Александровѣ, явшася 6 мужей храбрых и сильных и мужествовавъ с ним крѣпко» (л. 117), «Третий же Ияковъ, родомъ пологчанинъ. . . сей наѣховъ на полкъ с мечемъ и мужествовавъ» (л. 117 об.). Таким образом, начальные слова являются органической частью повести. То, что на первый план выдвинуто именно «мужство»,²¹ подчеркивает определенную направленность повести. Это не житие святого, а рассказ о воинской доблести и государственной деятельности Александра Невского.

Архангельский список исправляет (л. 120) дефектное чтение списка Псковской II летописи²² в том отрывке, где описывается приближение вражеского войска к Чудскому озеру. Более полно сохранены в новом списке стилистические формулы воинских повестей древней Руси (л. 121). Этот список вносит поправки также в понимание текста, повествующего о победе Александра Невского над семью полками «ратных» (а не «ратий», как в списке Псковской II летописи). В числе разночтений здесь следует указать еще отрывок, где говорится о том, как народ воспринял кончину Александра.

Архангельский список

Бысть же плачь великъ зѣло и кричанье много, яко николи же тако, но токмо яко и земли потрястися (л. 127).

Список Псковской II летописи

Бысть же вопль и кричанье и туга, яко же нѣсть была, яко и земли потрястися (стр. 16).

Расхождение, казалось бы, не существенное, но в действительности в списке Псковской II летописи исчезает литературное сравнение. В нашем же списке указывается, что народный плач о князе Александре был таким, «как никогда еще, но. . . как если бы потряслась земля». Как видим, в Псковской летописи во второй части фразы произошло нарушение смысла. Вместо «яко николи же тако, но токмо» — «яко же нѣсть была» (т. е. как не была). В результате заключительная часть этого отрывка во многих списках повести производит впечатление, что якобы действительно в момент смерти Александра Невского произошло землетрясение (не описанное, кстати, ни в одной летописи под ноябрем 1263 года). Анализ этих разночтений свидетельствует о первоначальности текста, сохранившегося в Архангельском списке. Это же подтверждают и ремниценции ряда источников, использованных автором повести об Александре Невском.

¹⁹ Там же, стр. 8.

²⁰ Архангельский областной государственный архив, № 624, л. 111. Далее ссылки на эту рукопись приводятся в тексте.

²¹ Мужество — доблесть; мужествовати — действовать доблестно. См.: И. И. Срезневский. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным источникам, т. II. СПб., 1895, стлб. 193.

²² Псковские летописи. Вып. 2. Под ред. А. Н. Насонова. М., 1955, стр. 11, 13. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте.

В статье «Галицкая литературная традиция в Житии Александра Невского» Д. С. Лихачев указывает некоторые источники, приведенные составителем повести, в их числе «Никифоров летописец вскоре», входивший в состав Русского Хронографа.²³ Д. С. Лихачев приводит параллельно тексты Русского Хронографа и Жития Александра Невского. Архангельский список гораздо точнее и полнее передает этот отрывок из Русского Хронографа.²⁴

Меньше путаницы в именах и названиях содержит и то место повести, где автор ссылается на библейский эпизод из Хроники Амартола, содержащий описание того, как царю Езикии, выступившему против полчищ ассирийского царя Сеннахерима, помогли ангелы, побившие войска врагов.²⁵ Подобные же результаты дает и проверка ссылок на литературные источники повести об Александре Невском, указанные другими исследователями — В. Мансиккой²⁶ и Н. Серебрянским.²⁷ Архангельский список по сравнению с Псковской II летописью сохраняет большую близость в деталях и к «Истории Иудейской войны» Иосифа Флавия, и к повести о Троянском пленении, и к «Александрии» Псевдо-Каллисфена.

3

Сопоставление найденного списка повести об Александре Невском с древнейшим списком повести, находящимся в составе Лаврентьевской летописи XIV века, позволяет сделать заключение о близости этих списков. В них ни в тексте, ни в заглавии Александр Ярославич ни разу не назван Невским. Это свидетельствует о том, что оба они восходят к тому древнейшему виду повести, которая была создана в среде ближайших сподвижников князя вскоре после его смерти, когда еще было живо представление о нем как о «великом князе Александре Ярославиче». Постоянное употребление отчества говорит о проникновении в повесть бытовой формы обращения слуги к господину (автор называет Александра своим «господином» в описании кончины князя). Местное почитание Александра Невского началось с конца XIV века.²⁸ Именно с этого времени в списках повести начинают появляться эпитеты «святой», «благочестивый» и наименование «Невский», в честь великой победы, одержанной на Неве в 1240 году.

Тщательный анализ Лаврентьевского и Архангельского списков позволяет сделать вывод, что текст повести об Александре Невском в Архангельском сборнике древнее по своему происхождению, чем текст, включенный в Лаврентьевскую летопись, переписанную, как известно, в 1377 году с «ветшаного летописца» 1305 года.

Текст повести об Александре Невском в Лаврентьевской летописи дефектен. Издатели летописи вынуждены были внести в него ряд исправлений и добавлений.²⁹ Архангельский список в значительной части подтверждает конъектурные чтения, предложенные издателями.³⁰ Кроме того, он сохранил более точные имена ряда исторических лиц и географические названия, упоминаемые в повести об Александре Невском: земли Жжерской — земли Ижерской; лице Есифа — лице Иосифа; царя римского Еспиинана — царя римского Еусписяяна; Подъиюдфискую землю — землю Июдфискую; царица Ужская — царица Оужская.

В пользу старшинства текста повести об Александре Невском в Архангельском сборнике по отношению к тексту памятника, включенного в Лаврентьевскую летопись, говорят также некоторые фонетические особенности найденного списка, особенно явственно сказавшиеся в судьбе редуцированных. В Архангельском списке звучащие редуцированные представлены очень широко: въскресение, възшествие, събор, възвратишася, възприать, възтокъ, въздѣвъ, мъртвых, възташа, възприим, възбрани, сътворивый, възраст.

Академик С. П. Обнорский, исследовавший текст «Поучения Владимира Мономаха», переписанный в Лаврентьевской летописи, пришел к выводу о том, что исчезновение слабых и замена сильных редуцированных ъ, ь на о, е — это позднейший пласт в тексте сочинения Мономаха, внесенный переписчиками и, в частности, послед-

²³ Д. С. Лихачев. Галицкая литературная традиция в Житии Александра Невского. «Труды ОДРЛ», т. V, 1947, стр. 38—39.

²⁴ Там же, стр. 39. Ср.: Архангельский список, л. 125.

²⁵ В. М. Истрин. Хроника Георгия Амартола в древнем славянорусском переводе. Пгр., 1920, стр. 158—159. Этот источник указан также Д. С. Лихачевым в его работе «Галицкая литературная традиция в Житии Александра Невского» (стр. 43).

²⁶ В. Мансикка. Житие Александра Невского, стр. 26—32.

²⁷ Н. Серебрянский. Древнерусские княжеские жития, стр. 184.

²⁸ Е. Голубинский. История канонизации святых в русской церкви. М., 1903, стр. 65.

²⁹ Полное собрание русских летописей (далее «ПСРЛ»), т. I. Изд. 2-е, Л., 1927, стлб. 477—481 и примеч. к ним.

³⁰ Ср.: Архангельский список (лл. 116 об., 117); Лаврентьевская летопись («ПСРЛ», т. I, стлб. 479—480, примеч. «е», «и»).

ним из них — «мнихом Лаврентием».³¹ Текст повести об Александре Невском в Лаврентьевской летописи в сопоставлении с текстом Архангельского списка очень наглядно подтверждает выводы С. П. Обнорского.

В первоначальном тексте повести об Александре Невском, созданной в конце XIII века, ъ и ѣ в сильном положении не могли не быть звучащими. В Лаврентьевской летописи, переписанной во второй половине XIV века (1377 год), в период, когда усиленно развивается процесс исчезновения слабых редуцированных и перехода сильных ъ и ѣ в о и е, в тексте повести об Александре Невском этот процесс вызывает самые неожиданные явления. Приведем некоторые примеры:

Архангельский список	Лаврентьевская летопись
възраст ³²	възраст

Этот процесс мы наблюдаем многократно:

не бѣ въдал такового вѣстанія	не бѣ въдал такового встанія
Яко же нача солнце вѣсходити	Яко же нача солнце всходити

Но в иных случаях происходила и замена:

Въ второе же лѣто по възраще- нии с побѣды	въ второе же лѣто по возвраще- нии с побѣдою
---	---

4

Подводя итог нашим наблюдениям над списком повести об Александре Невском в Архангельском сборнике, мы можем считать, что здесь сохранился самый древний текст повести из всех имеющихся в распоряжении исследователей списков этого произведения. Архангельский список переписывался в первых десятилетиях XVI века со списка, который восходил по своим лексическим, морфологическим и фонетическим особенностям к концу XIII—началу XIV века. Поэтому и в графике списка сохранились чрезвычайно архаические (для начала XVI века) черты, о которых мы говорили в начале настоящей статьи. Таким образом, Архангельский список позволяет нам воссоздать облик первоначального (или наиболее близкого к нему) текста повести об Александре Невском, созданного, как полагают исследователи, вскоре после смерти этого крупнейшего полководца и политического деятеля древней Руси.

Исследователи древнерусской литературы давно уже указывали на неудовлетворительность изучения повести об Александре Невском в связи с тем, что дошедшие списки дефектны.³³ С. Бугославский предпринимал попытку воссоздать текст повести об Александре Невском путем сведения воедино ряда списков с исключением дефектных чтений, полагая, что «путем поправок» и «выбора старейших чтений» можно «приблизить» текст «к искомому оригиналу Жития».³⁴ Однако его реконструкция текста в сопоставлении с Архангельским списком очень убедительно демонстрирует ущербность «механической текстологии», ибо в большинстве списков повести об Александре Невском присутствуют позднейшие искажения текста самого памятника, которые С. Бугославский по принципу «большинства» внес в текст «искомого оригинала».

Архангельский список повести об Александре Невском позволяет прочесть это произведение заново, не прибегая к конъектурам и исправлениям.³⁵ В нем имеется лишь единственная опска на листе 122 во фразе: «О, невѣгласи плескови, аще се забудете до правнучат Александровых. . .» (вместо слова «забудете» — «не будет»).

Для того, чтобы яснее представить значение Архангельского списка повести об Александре Невском, достаточно припомнить, что подавляющее большинство произведений древнерусской литературы, имеющих светский характер, сохранилось

³¹ С. П. Обнорский. Очерки по истории русского литературного языка старшего периода. Изд. АН СССР, М.—Л., 1946, стр. 32—80.

³² О закономерности исчезновения ѣ в слове «возраст» свидетельствует употребление этого слова дважды (л. 112 и л. 113).

³³ Д. С. Лихачев. Галицкая литературная традиция в Житии Александра Невского, стр. 36—38; И. П. Еремин. Художественная проза Киевской Руси XI—XIII веков. М., 1957, стр. 354—356.

³⁴ С. Бугославский. К вопросу о первоначальном тексте Жития великого князя Александра Невского. «Известия Отделения русского языка и словесности Акад. наук», т. XIX, 1915, стр. 261—273.

³⁵ Повесть об Александре Невском многократно издавалась по рукописи Московской духовной академии (ГБЛ, ф. 173, № 208). Список этот, относящийся к третьей четверти XVI века, принадлежит к тому же виду, что и Архангельский, однако имеет много дефектных чтений. В первом издании арх. Леониды (Л. А. Кавелина) «Сказания о подвигах и житии св. Александра Невского» (ПДП, т. XXXVI, 1882) дефектные чтения не исправлены. В. И. Мансикка внес в издание ряд добавлений и конъектурных чтений (В. Мансикка. Житие Александра Невского, стр. 1—10).

в поздних списках. Исключение составляет лишь «Ефросиновский сборник» конца XV века, где помещены два крупных памятника оригинальной русской литературы — «Задонщина» и «Повесть о Дракуле». ³⁶ Но Кирилло-Белозерский список «Задонщины» не имеет окончания, и притом многие места его совершенно искажены. ³⁷ Известно также, как много искажений было внесено переписчиками древней Руси в текст «Слова о полку Игореве», дошедшего, по мнению исследователей, в списке XVI века. ³⁸ Много дефектных чтений и в списках повести об Александре Невском, находящихся в составе Лаврентьевской летописи XIV века и Псковской II летописи, составленной в конце XVI века. ³⁹ Не меньше неясных мест в тексте можно отметить и в тех списках повести, которые оказались разбитыми на погодные известия и были включены в Софийскую I летопись и Новгородскую I летопись младшего извода. ⁴⁰ История русской литературы почти не знает случаев такой хорошей сохранности древнейшего текста, отделенного от времени создания до переписки более чем трехсотлетним периодом. Публикуемый Архангельский список повести об Александре Невском даст возможность исследователям более полно и всесторонне изучить этот великолепный памятник нашей древней литературы. Текст публикуется по правилам, принятым в «Трудах ОДРЛ». Выносные буквы в конце слов переданы с ъ, с — ся, частица же — же.

Мѣсяца ноября в 23 преставися великий князь Александръ Ярославичъ.

Скажем же мужство и житие его. О господѣ нашем Иисусе Христе сыне божии. И азъ, худый и грѣшный и недостойный, начинаю писати житие великаго князя Александра Ярославича, внука Всеволожа, понеже слышах от отца своих и самовидецъ есмь възрасту его и рад бых исповѣдалъ святое житие его и честное и славное. Но яко же Приточникъ рече: «Въ злочитру душу не внидет премудрость — на высокихъ бо краехъ есть посреди же стезь стояше, при вратѣхъ сильныхъ присѣдитъ». Аще и грубъ есмь умомъ, молитвою святыя госпожи богородици и послѣшениемъ святаго князя Александра Ярославича начать положю си.

Сый бѣ князь Александръ Ярославичъ богомъ роженъ от отца благочестива и нищелюбца, паче же кротка — великаго князя Ярослава, от матери благочестивыя Феодосии. Яко же рече Исаия пророкъ: «Тако глаголетъ господь: князи азъ учиняю, священни бо суть, азъ ввожу въ истинну, безъ божия бо повелѣния не бѣ княжения его». Но княжение князя Александра Ярославича богомъ благословено, но възрастъ его паче инѣхъ чловѣкъ, а гласъ его яко труба в народѣ, а лице его яко лице Иосифа, иже бѣ поставилъ его египетскій царь втораго царя въ Египтѣ. Сила же бѣ ему часть бѣ от силы Самсона. И премудрость бѣ ему Соломона даль богъ. Храброство же ему царя римскаго Еусписияна, сына Нерона царя, иже пленилъ есть землю Иудѣйскую иногда ополчився граждане Анфипату хотя приступити, шедше граждане победиха полкъ его. И оста единъ, и взя сий град их до врат градныхъ, и посмѣяся дружине своей, и укори я укором, и рече: «Остависте мя единого». Такожде и князь Александръ Ярославичъ, побѣждаа, непобѣдим.

И се нѣкто от западныхъ страны иже нарицаются слугы божии, и от тѣхъ придоша, хотя видѣти дивный възрастъ его, якоже древле царица Южская приходила к Соломану царю, хотя слышати премудрости его. Яко сий, именемъ Андрѣашъ, видѣвъ князя Александра Ярославича, и възвратися къ своимъ и рече: «Прошед страны и языки не видѣхъ таковаго ни въ царихъ царя, ни въ князихъ князя».

И ее слышавъ краль части римския от полунощныя страны таково мужство князя Александра Ярославича, рече: «Поиду поплению землю Александрову». И собра силу велику, и наполни корабли многи полковъ своихъ, и поиде в силѣ величѣ, пыхая духомъ ратнымъ. И преиде реку Неву, шатааясь безумиемъ. Посла послы, разгордѣвся, ко князю Александру Ярославичю в Новгород Великий, и рече: «Аще можеш ми противитись, и уже есмь здѣ, поплению землю твою».

Князь же Александръ Ярославичъ, слышавъ словеса си, и разгорѣвся сердцемъ, вниде въ церковь святыя Софиа, и паде на колѣну предъ олтаремъ, и нача молитися съ слезами богу, и рече: «Боже хвальный и праведный, богъ крѣпкый и великий, боже вѣчный, сътворивый небо и землю, море и реки, и постави предѣлы языкомъ, и повелѣ жити, не преступая в чужаа части земли». И въсприимъ псаломьскую пѣснь, и рече: «Суди, господи, и расуди праю мою, суди, господи, обидящимъ мя, и възбрани

³⁶ Я. С. Л у р ь е. Литературная и культурно-просветительная деятельность Ефросина в конце XV в. «Труды ОДРЛ», т. XVI, 1961, стр. 164—168.

³⁷ В. П. Адрианова-Перетц. Задонщина. Текст и примечания. «Труды ОДРЛ», т. V, 1947, стр. 195.

³⁸ Д. С. Л и х а ч е в. Археографический комментарий. Слово о полку Игореве. Под ред. В. П. Адриановой-Перетц. М.—Л., 1950, стр. 364—365.

³⁹ Псковские летописи. Вып. 2. Под ред. А. Н. Насонова. М., 1955, стр. 1—4.

⁴⁰ Ю. К. Б е г у н о в. Житие Александра Невского в составе Новгородской I и Софийской I летописей. В кн.: Новгородский исторический сборник. Под ред. Д. С. Лихачева. Новгород, 1959, стр. 229—238.

борющимъ мя, прими оружие и щит, и стани в помощь мнѣ». И скончавъ молитву, възставъ поклонися архиепископу. Архиепископъ же Спиридонъ благослови его и отпусти. Александръ же Ярославичъ идя ис церкви, утирая слезы. И нача крѣпити дружину свою. И рече: «Не в силѣ богъ, но в правдѣ. И помянемъ пѣснословца Давида — сии въ оружии, а сии на коних, мы же въ имя господа бога призовем. Ти спяти быша и падоша». И поиде на ня в малѣ дружине не съждавша съ многою силою своею, уповая на святую троицу. Жалостно слышати яко отецъ его, Ярославъ честный и великий, не бѣ вѣдалъ такового вѣстаниа на сына своего милаго, великаго князя Александра Ярославича. Ни оному бысть вѣсть послати къ отцю въ градъ Киевъ: уже бѣша приближилися ратнии и мнози новгородци не совокупилися бѣху, понсже ускори князь великий поити. И прииде на нихъ въ день въскрессениа на память святыхъ отецъ 630 бывшаго собора в Халкидоне и на память святаго Кирика и Улиты и святаго князя Владимирера, крестившаго землю Рускую, имѣяше же вѣру велику къ святымъ мученикомъ Борису и Глѣбу.

Бѣ нѣкто мужъ старѣшина земли Ижерской Пельгусичъ, поручена же бысть ему стража утреничная морская. Въсприять же святое крещение и живяше посреди рода своего, погана суща. Наречено бысть имя ему въ святомъ крещении Филиппъ, и живяше богоугодно, и в среде и в пятокъ пребывааше въ алчбѣ. И сподоби его богъ видѣти видѣние страшно. Скажемъ же силу ихъ въкратцѣ. И увидѣ силу ратныхъ идущихъ противъ князя Александра Ярославича, да скажетъ ему силу варяжскую и станы ихъ, стрегущу ему обоя пути. И пребысть всю ночь въ бдѣнии. Яко же нача солнце възходити и услыша шумъ страшень по морю, и видѣ насадъ единый, гребущъ по морю. А посреди насада Борисъ и Глѣбъ стояща въ одежахъ червленыхъ быста руки своя держаща на рамѣхъ. И грѣбци седяху, аки мглюю одѣни. И рече Борисъ Глѣбу: «Брате Глѣбе! вели грести. Да поможемъ сроднику своему, великому князю Александру Ярославичю».

Видѣвши Пельгусиа таково видѣние и слыша гласъ таковъ отъ святую мученику, стояше трепетенъ. И отиде насадъ отъ очию его. И поиде скоро князь Александръ Ярославичъ. Пельгусиа же видѣ его радостныма очима, и повѣда великому князю единому видѣние. Князь же рече ему: «Сего не повѣдай никому же».

И поды ався на нихъ наѣхати в 6 часъ дни. И бысть сѣча велика надъ римляны. И изби множество бесчисленное отъ нихъ. И самому королеви възложи печать на лицѣ острымъ своимъ копиемъ.

Здѣ же, в полку Александровѣ, явишася 6 мужей храбрыхъ и сильныхъ и мужествовавъ с нимъ крѣпко. Гаврило единый, именемъ Алексичъ. Сей наѣхавъ на шняку, видѣвъ королевича мчаща подъ руцѣ, възвехавъ по досцѣ до самаго короля, по ней же досцѣ възсхожаху. И възтекоша предъ нимъ, и паки обращшеса, и свергоша его з доски и с конемъ в море. Божию благодатию оттуду изыде неврежень. И паки наѣха, бися с самѣмъ воеводою крѣпко среди полку.

Другой же новгородецъ, имене Збыславъ Якуновичъ. Сей наѣхавъ многожды биашеса единымъ топоркомъ и не имѣяше страха въ сердци своемъ. И паде нѣколько отъ руку его. Подивижеса князь Александръ Ярославичъ силѣ его и храбрости. Третий же Шяковъ, родомъ полочанинъ, ловчей бысть у князя. Сей наѣхавъ на полкъ с мечемъ и мужествовавъ. И похвали его князь. Четвертый же новгородецъ, именемъ Миша. Сей пѣшь съ дружиною своею погуби три корабля римлянъ. Пятый отъ молодыхъ его, имене Сава. Сей наѣхавъ шатерьъ королевъ великий, златоверхый и подѣсѣчъ столпъ шатерный. Полцы же великаго князя Александра Ярославича видѣша падение шатра, и възрадовашася о падении шатра того. Шестый же отъ слугъ его, имене Ратмиръ. Сей бысть пѣшь и оступиша его мнози, и отъ многихъ ранъ паде и скончася. Сии вся слышавъ отъ господина своего, князя Александра Ярославича, и отъ иныхъ, иже в то время обрѣтошася в той же сѣчи.

Бысть же в то время чюдо дивно яко же и въ древняя дни при Езикѣи цари, егда прииде Сенахиримъ, асирийскый царь, на Иерусалимъ. И внезапно изыде аггелъ господень и изби отъ полку асирийска 100 тысящ. И възсташа заутра, и обрѣтошася трупиа мрътва. Такжеже и при побѣдѣ князя Александра Ярославича, егда побѣди корабля обонъ полъ реки Ижеры, идѣже не бѣ проходно полкомъ Александровымъ, здѣ же обрѣтошася вся трупиа мрътва отъ архагела божиа; и останокъ побѣже, а трупиа мрътвыхъ своихъ наметаша корабля и потопиша в мори. Князь же Александръ Ярославичъ възвратиса с побѣды, хваля бога и слава творца, отца и сына и святаго духа и нынѣ и присно и въ вѣкы вѣкомъ. Аминь.

Въ второе же лѣто по възвращении с побѣды князя Александра Ярославича приидоша отъ западныхъ страны и възгради⁴¹ градъ въ отечествии его. Великий же князь Александръ Ярославичъ изыде на ня въскорѣ, и изверже градъ изо основаниа, а самѣхъ избиша, иныхъ с собою приведе, а иныхъ помилова и отпусти: бѣ бо милостивъ паче мѣры.

По побѣде же Александровѣ егда побѣди короля въ третий же годъ в зимнее время поиде на землю немецкую в силе велицѣ, да не хвалится, ркуще: «Урокомъ словенскимъ языкомъ ниже себе». Уже бо взятъ градъ Псковъ и тиуни ихъ посажени.

⁴¹ На слове «възгра» обрывается текст повести об Александре Ярославиче в Лаврентьевской летописи.

Техъ же князь великий Александръ Ярославичъ изыма и град Псковъ свободи отъ плѣна и землю ихъ повоева и пожже, и полона взя бес числа, иныхъ посѣче, а иныхъ въ градъ совокупишася и рѣша: «Поидемъ победимъ князя Александра Ярославича и имемъ его руками».

Егда приближишася ратнии и почюша стражие великаго князя Александра Ярославича. Князь же Александръ ополчився, поиде противъ ратнымъ. И наступиша море Чюдское. Бысть же обохъ множество. Отець же его Ярославъ послалъ бѣ ему на помощь брата меншаго, князя Андрѣя, въ мнозѣй дружинѣ. Тако и у князя Александра множество храбрыхъ мужъ, яко же древле у царя Давида, крѣпци и силнии. Такожде и мужи Александрови исполнишася духа ратна: бяху сердца ихъ аки лвомъ. И рекоша: «О княже нашъ честный, драгий! Нынѣ приспѣ время намъ положить главы своя за тя!» Князь же Александръ Ярославичъ, въздѣвъ руцѣ на небо, и рече: «Суди, господи, и рассуди прю мою! Отъ языка велерѣчива избави мя. Помози ми господи яко же Моисѣю на Амалика древле, и прадеду моему Ярославу на акааннаго Святополка!».

Бѣ же тогда день суботный, възходящу солнцю. Ступишася обои и бысть сѣча зла, и трускъ отъ копей ломление и звукъ отъ мечнаго сѣченна яко же морю мръзшу двинути. Не бѣ видѣти леду: покрылося бяше кровию. Се же слышавъ отъ самовида. Рече: видѣхомъ полкъ божи на въздусѣ, пришедши на помощь Александру Ярославичю. И победи я помощю божиею. И вдаша ратнии плещи своя, они же сѣчашутъ и гоняще, яко по аеру. И не бѣ имъ камо убѣжати. Здѣ же богъ прослави великаго князя Александра Ярославича предъ всѣми полкы, яко Иисуса Навгина въ Ерихонѣ. А иже рекъ: «Имемъ руками великаго князя Александра Ярославича, сего дастъ ему богъ в руцѣ его. И не обрѣтется никто же противяся ему въ брани».

И възвратився князь Александръ Ярославичъ съ побѣды съ славою великою. Бысть много множество полону в полку его, ведяху подлѣ конѣ, иже именуются рыдели. Егда прииде князь Александръ Ярославичъ къ граду Пскову и сретоша его съ кресты игумени и попове в ризахъ, и народъ много предъ градомъ, подавающе хвалу богови, поюще пѣснь и славу государю великому князю Александру Ярославичю: «Пособивый, господи, кроткому Давиду победити иноплеменики и вѣрному князю нашему Александру оружиемъ крестнымъ свободити градъ Псковъ отъ иноязычныхъ рукою Александровою!»

О, невѣгласи плескови, аще се забудете⁴² до правнучатъ Александровыхъ, уподобистесе жидомъ, иже питѣлися в пустыни манною и крастели печеными, сихъ всехъ забывше бога своего, изведшаго ихъ изъ работы египетскыя!

И начаша слышати имя великаго князя Александра Ярославича по всѣмъ странамъ и до моря Пешескаго и до горъ Аравитскихъ, обону страну Варяжскаго и до Рима.

В то время умножися языкъ литовскый и начаша пакостити въ области Александровѣ. Александръ же, възѣздя, нача избивати. Единою же случися ему выехати и поби семь полковъ ратныхъ и множество князей и воеводъ изби: овыхъ руками изыма, другимъ же ругающимъ, вязаху къ хвостомъ коней своихъ. И начаша боятися имени его.

В то время нѣкто царь силенъ на вѣсточной странѣ и покори ему богъ многи языки отъ вѣстока и до запада. Той же царь слышавъ князя Александра Ярославича храбра и славна, посла к нему послы ркуще Александрове силе: «Богъ покори мнѣ многи языки, ты ли единъ не хочещи покоритися силе моеи. Но аще хочещи съблюсти землю свою, то скоро прииди ко мнѣ, и узриши честь царства моего». Князь же Александръ Ярославичъ по умертвии отца своего прииде в Володимерь в силѣ велице. И бысть грозенъ приѣздъ его: проиде вѣсть до усть Волги и начаша жены моавидскыя полошати дѣти своя, рекуще: «ѣдетъ князь Александръ Ярославичъ!»

Здумавъ же великий князь Александръ Ярославичъ и благослови его Кирилъ епископъ, поиде и къ цареви. И видѣвъ его царь Батый и подивися, и рекъ вельможамъ своимъ: «Вѣстинну ми повѣдаша — нѣсть подобна ему князя въ отечествии его». И отпусти его съ великою честью.

Потомъ же царь Батый разгнѣвася на брата его на меншаго, на князя Андрѣя, и посла на него воеводу своего Невруя, и повоева землю Суждальскую. По пленении же Невруеве князь великий Александръ Ярославичъ церкви въздвигнувъ и грады исполни, и люди распуженныя събра в дома своя. О такихъ Исаи пророкъ рече: князь благъ въ странахъ тѣхъ увѣтливъ, кротокъ, смиренъ по образу божию есть, не збираетъ богатства, не зря крови праведни сиротѣ и вдовице въ правду судя, милостнилюбецъ, благъ домочадецъ своимъ и внѣшнимъ странамъ, сиротамъ кормитель, богомолень, аггеломлюбителъ, человекъ щедръ ущедряетъ, показуетъ на мирѣ милость свою. Распространи богъ землю его богатствомъ и славою, и удовли богъ лѣтъ его.

Иногда же придоша послы отъ папы изъ великаго Рима, глагола князю Александру Ярославичю: «Папа нашъ рече: слышавомъ тя князя честна и дивна, и земля твоя славна и велика. Сего ради послахъ къ тебѣ отъ двою на десять колѣну люди хитрѣиша Гемонта и послушай учения ихъ». Великий же князь Александръ Ярославичъ здума съ хитреци своими и рече къ нимъ: «Отъ Адама до потопа и до раздѣления языкъ

⁴² В рукописи: не будет.

и до начала Авраама, и до произытия Израиля сквозь Черное море, оть исхода сыновъ Израилевъ до умертвия Давида царя, от начала царства Соломона и до Августа, и до рождества Христова, до страсти и въскресения, оть въскресения на небеса възшествие и до царства Константина Новаго, до перваго събора и до седмаго. Си вся добръ събдаю». И рече: «Первымъ отъ васъ учениа не примлемъ». Они же възвратиса въсво-яси.

Великому же князю Александру Ярославичю умножися дни живота его: бѣ иерѣлюбоецъ и мнихолобецъ, митрополита же и епископы чтяше, аки самого творца.

Бѣ бо тогда нужда велика оть поганыхъ: веляху людемъ с собою воинствовати. Великий же князь Александръ Ярославичъ поиде къ цареви, дабы отмолилъ люди от бѣды, а брата своего меньшаго Ярослава и сына своего Димитрия посла с новгородци на западныя страны и вся полки своя с ними отпусти. И поиде Ярославъ с сыновцемъ своимъ в силе велицей и плениша град Юрьевъ Немецкый и възвратиса въсво-яси со многымъ полономъ и с великою честью. Великий же князь Александръ Ярославичъ възде оть иноплеменикъ до Новагорода Нижнего и ту пребы дни мало здравъ, до-шесть Новагорода и разболѣся.

О горе тебѣ, бѣднй человекъ! Како можеши написати кончину господина своего! И како не испадета ти зѣници со слезами вкупѣ! Како ли не рассядеса сердце оть горки туги. Отца бо человекъ можетъ забыти, а добра государя не можетъ забыти. Аще бы живѣ, с нимъ въ гробъ влѣзъ.

Великий же князь Александръ Ярославичъ ревновавъ по господѣ бозѣ своемъ крепко, оставя земное царство и желаа небеснаго царства, възприатъ аггельскый образъ мнишескаго жития. И еще же сподоби его богъ большй чинъ възприати — скиму. Тако господеву духъ предасть с миромъ скончася месяца ноября въ 14 день на память святаго апостола Филиппа.

Митрополитъ Кирилъ глаголетъ к людемъ: «Чада моя, разумѣте, яко уже заиде солнце земли Суждальскые!» Игумени же и попове, и диякони, и черноризици, богати и нишии и вси людие мнози въпиаху глаголюще: «Уже погибаем!» Святое же тѣло его понесоша к Володимѣрю. Митрополитъ же с чиномъ вкупѣ церковнымъ, князи и бояре, весь народъ, малии и велиции, сretoша его в Боголюбове съ свещами и с кандилами. Народъ же оть множества угнѣтахуся, хотяще приступити честнѣмъ одрѣ тѣла его. Бысть же плачь великъ зѣло и кричание много, яко николи же тако, но токмо яко и земли потрястиса. Бысть же тогда чудо дивно памяти достойно. По скончании святаы службы над честнымъ теломъ его приступи Кирилъ митрополитъ, хотя разгнути руку его, вложити грамоту духовную. Онъ же самъ, яко живѣ, распростре руку и приа грамоту оть руки митрополита. И бысть страхъ и ужасъ великъ зѣло на всѣхъ. И положено бысть честное тѣло его в Рождествѣ святаы Богородици месяца ноября въ 23 день на память святаго Анфилофия епископа съ псалми и гѣсми, славяще отца и сына и святаго духа, святаю троицю и нынѣ и присно и в вѣкы вѣкомъ. Аминь.

НЕИЗВЕСТНАЯ ПОВЕСТЬ XVIII ВЕКА О ХВАСТЛИВОМЪ КНИЖНИКЕ

(ПУБЛИКАЦИЯ В. МАЛЫШЕВА)

Предлагаемая вниманию исследователей вновь найденная старорусская повесть входит в состав рукописного сборника первой четверти XIX века (бумага с датой 1811 года) старообрядческого происхождения. Рукопись недавно была приобретена Пушкинским домом АН СССР от ленинградского собирателя старины Н. С. Плотникова.¹ Сборник — небольшого формата, имеет 165 листов, написанных одним полууставным почерком, и заключен в характерный для старинных рукописных книг дощатый переплет, покрытый орнаментированной (тисненой) кожей. Кроме повести, он содержит следующие произведения старой традиции: выписки из различных книг богословского и церковно-канонического содержания в защиту старых обрядов, Поучение против матерной брани, Повесть из Великого Зеркала о некоем князе, Повесть из Киево-Печерского Патерика об Исакии-затворнике, проложные сказания об Антонии Римлянине и Георгии Победоносце (чудо о змее), Сказание о Вавилонском царстве (о трех отроках).

Интересующая нас повесть помещена в самом конце сборника, на листах 159—164 об. Ее заглавие со ссылкой на «летописецъ» и главу 92 и описки в словах говорят

¹ Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР, разряд IV, собрание Н. С. Плотникова, № 7.

о том, что перед нами не оригинал старинного произведения, а обычная копия, снятая скорее всего тоже со списка, а не с авторского текста. Возможно, что повесть была переписана в сборник из какого-нибудь Цветника (сборника) или из Патерика, в который она была включена ранее как глава 92. Указанные же сборники в старину иногда получали название «летописца».

Повестушка, точнее — нравоучительный рассказ, изображает два типа монастырских «гораздых грамоте» книжников. Один из них, «наизусть умея» все книги, которыми он нагрузил корабль, ищет человека, чтобы «побеседовать» с ним «от книг». Этот «старец» явно гордится своими знаниями: «во своей земли» он не нашел достойного собеседника. Игумен «святой обители», куда приплыл этот старец в поисках равного себе книжника, тоже «горазд грамоте»; он решает проучить хвастуна. Хотя большая часть тех толкований, какие он дает «видениям» старца, направлена на прославление монашеской жизни, однако не в них заключается главная мораль рассказа, а в разоблачении бахвальства его гостя ученостью. Очевидно, игумен различает книги по их ценности; у него самого есть только «азбука: 40 слов и 40 книг, всяко слово книга с притчами и буки с притчами» (таких толковых азбук на разные темы немало известно в рукописях XVII—XVIII веков), а у его собеседника — целый корабль нагружен книгами «складными». Не слышится ли за этим противопоставлением древнерусское представление о книгах «истинных» и «ложных»? Устами игумена автор как бы предупреждает читателя, что «старец», способный хвалиться и гордиться своей ученостью, знает мало именно «истинных» книг: он подобен синице, которая хвалилась — «аз море выпью», но лишь немного «испила и свалися». С насмешкой советует игумен старцу: «пойди за море, во свою землю, и тамо буди мудр, а zde у мене и ученики умеют сколько ты». Не кроется ли за этим советом намек на то, что в «святой обители» известна та истинная мудрость, какой не знают в «земле» хвастуна-старца? Не из Соловецкого ли монастыря, отвергавшего ученость «никониан», живших по другую «страну моря», откуда приплыл старец, идет эта нравоучительная повестушка? Ведь в представлении игумена важно не число книг, хотя бы и «наизусть» выученных, а их содержание.

Сравнение хвастуна-монаха с синицей, собравшейся море выпить, наводит на мысль, что автору были знакомы басни и стихи о хвастливой синице, распространенные в литературе XVIII века (И. Богдановича, Ф. Волкова, А. Сумарокова и безымянные в рукописных сборниках стихов и песен XVIII века). Возможно также, что автор читал широко известные в то время басни Эзопа, в которых встречаются отдельные мотивы, сходные с повестью. О хвастливой синице писалось и в журналах Н. Новикова «Трутенъ» и «Кочешек».

Таким образом, обнаруженная повесть поднимала важный вопрос об отношении к «книжной премудрости», и в этом ее историко-культурный интерес. Следует также учитывать, что эта проблема освещена с позиции, характерной для старообрядческой среды. Повесть — своеобразный пример отражения светской литературы XVIII века в старообрядческой нравоучительно-сатирической литературе.

Повесть печатается по правилам, принятым в «Трудах Отдела древнерусской литературы».

ЛЕТОПИСЕЦ. ПОВЕСТЬ О НЕКОЕМ СТАРЦЕ, ИЖЕ БЯШЕ ГОРАЗД ГРАМОТЕ. СЛОВО 92

Бысть некий старец в некоем монастыре, бяше горазд грамоте. И киими корабль нагрузил, а все те книги наизусть умеет. И бяше некому в той стране с ним от книг говорить. И оный старец сел в корабль и переплы за море на ону страну, яже на край моря монастырь, святая обитель. А в обители той бяше игумен горазд грамоте.

Оной же старец прииде во обитель ко игумену. И благослови его игумен и рече ему: «Откуда еси, чадо, и что твое пришествие к нам?» Старец же рече ко игумену: «Аз, отче, ежжу из-за моря, а ищу кто бы со мною побеседовал от книг. Аз во своей земли ни нашел человека, кто бы со мною побеседовал от книг. А я книгами корабль нагрузил, а те книги наизусть умею». Рече ему игумен: «Аз, чадо, рад с тобою от книг говорить, толки не ныне, завтра. А ныне поиди на иное дело».

И постави его на край моря и повеле ему зрети на запад всю ночь: «Что увидиши в нощи, кое видение покажет ти бог, и ты завтра скажи ми истинну». А сам игумен в келью поиде.

Старец начат стояти у моря и зрети на запад. И абие показалось ему первое видение. Облуста его свет великий от небеси. Он же паде на землю ниц, не возможе зрети божественного света. И паки в полунощи показася ему столп огненный от земля до небеси. Он же того не устраниши, устоял. И паки перед зарею показал ему иное чудо: из-за моря летит вран ниско, — крылием воду бьет, а за ним гонит зверь. Ни вран не улетит, ни зверь не застанет. И с великим трудом и с нуждею едва прелете вран море на сию страну — зверь его не заста, остался на мори. И показа ми ся иное чудо на утре: летит птица велика и грозна зело, а говорит человеческим гласом: «Аз море выпью». Учала ближе прилетати и начат ставитися меньше. Ближе стала и того меньше

показася. И прилете на сию страну, испила воды из моря и свалися: стала птица-синица.

На утре взят его игумен в келию свою и начат вопрошати: «Что, чадо, видел еси в сию ночь?» Он же поведа по ряду вся. Начат вопрошати игумен: «Которыя книги умеши?» Старец рече: «Аз, отче, умею книги складныя». Игумен рече: «У меня есть азбука: 40 слов и 40 книг, всяко слово книга с притчами и буки с притчамп». Старец рече игумену: «Скажи, отче, про начешнее видение».

Начат игумен поведати сиде:

«Первый свет видел, и паде на землю, и невозможе зрети его. То есть, чадо, который человек пострижется млад и работает богу. И кто непорочно священствует или ина како работает ему по вся дни живота своего единомысленно и до дни смертнаго не осквернит плоти своея, толь велик он у бога, яко и ангели зрети его не могут.

А второй свет видел еси — столп огненный от земли до небеси. То есть, чадо, который человек браком живет целомудренно, и милостию многу творит, и всякия добродетели совершает. И потом облечется во ангельский святой образ и работает богу до скончания живота своего.

А еже третие видел еси, что летит вран ниско, крылием о воду бьет, а за ним гонится зверь. Ни вран не улетит, ни зверь не застанет. И едва с нужею прелете море на сию страну, а зверь остася на море. То есть, чадо, который человек пострижется на старость, пред смертию своею, а не поработает богу нисколько, то гонится за ним мука вечная и застати его не может. И той человек от муки избудет, а дарования и почести ему не будет, яко же великим святым, которые работали богу постом и молитвами день и ночь во всей жизни своей.

А еже иное чюдо видел еси, что птица велика из-за моря показася, а сама говорит: „Аз море выпью“. Ближи — меньши и паки меньши, и как прилете — яже синица. И испила воды из моря, и свалися. То ты, старче. И сколько та синица испила воды из моря, то ты только умеши грамоты. И ты, старче, поиди за море, во свою землю, и тамо буди мудр, а zde у мене и ученики умеют сколько ты».

И. СЕРМАН

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОЙ ПОЛЕМИКИ 1753 ГОДА

Выход в 1751 году «Собрания разных сочинений в стихах и прозе» Ломоносова и появление трагедий Сумарокова «Синав и Трувор» (1750) и особенно «Семиры» (1751), с огромным успехом поставленной при дворе кадетами, вызвали небывалое дотоле оживление в литературной жизни столицы. У обоих поэтов появились ученики и сторонники. Русский классицизм из дела одиночек превращался в литературное направление, внутри которого началась интенсивная разработка общих принципов эстетики и частных проблем стиля и языка. Именно в связи с назревшей общественной потребностью в более конкретном решении насущных литературных вопросов развернулась в 1752—1753 годы острая полемика, в которой приняли участие почти все наличные силы тогдашней литературы.

Полемика эта была по преимуществу стихотворной и распространялась только в рукописях, так как никакого литературного журнала тогда в России еще не было. До самого конца XVIII столетия полемические стихи начала 1750-х годов переписывались любителями литературы; они встречаются даже в рукописных сборниках¹ 1790-х годов, хотя уже в сильно испорченном виде. Только в середине XIX века А. Н. Афанасьев по материалам рукописного сборника «Разныи стиходействии», хранящегося в библиотеке Казанского университета, впервые опубликовал² эту стихотворную полемику 1752—1753 и позднейших лет. Наиболее полное исследование материалов литературной борьбы этих лет проделано П. Н. Берковым,³ он же перепечатал большую часть этих материалов. Некоторые уточнения в изложение хода полемики внес Л. Б. Модзалевский.⁴ Но ввиду того, что названные исследователи располагали только сравнительно поздними списками (сборник «Разныи стиходействии» датируется не ранее середины 1770-х годов), многие тексты исказились до полной бессмысленности, а кое-что очень интересное было совсем утрачено.

¹ Таков, например, сборник 1792 года (Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР, ф. 265, оп. 3, № 9).

² «Библиографические записки», 1859, №№ 15, 17.

³ П. Н. Берков. Ломоносов и литературная полемика его времени. 1750—1765. Изд. АН СССР, М.—Л., 1936, стр. 101—146.

⁴ Л. Б. Модзалевский. Ломоносов и его ученик Поповский. В кн.: XVIII век, сб. 3. Изд. АН СССР, М.—Л., 1958, стр. 130—136.

Недавно обнаруженный рукописный сборник⁵ отличается от всех известных собраний литературной полемики 1752—1753 годов большей полнотой — он содержит ряд полемических произведений, нигде более не встречающихся; самый текст в нем гораздо исправнее, почти не имеет ошибок и дает возможность внести существенные исправления в уже опубликованные произведения.

Большая, чем обычно, полнота и лучшая сохранность текстов нового сборника объясняются, очевидно, его сравнительной близостью ко времени появления всех этих произведений. По водяным знакам на бумаге он может быть отнесен к началу 1760-х годов и, следовательно, может восходить к каким-то сборникам, близким эпохе самой борьбы.

Неизвестный нам составитель расположил весь материал, прозаический и стихотворный, в той последовательности, которая, по-видимому, больше всего совпала с действительным ходом литературных событий 1753 года. Вот оглавление сборника:

- | | |
|--|---------------|
| 1. «Государь мой, имею честь вам сообщить Епистола г. Елагина к г. Сумарокову, которой содержание ему панегирик и сатира о петиметрах, и некоторые стихи в ее опровержение. . .» | л. 1—1 об. |
| 2. Епистола г. Елагина к г. Сумарокову | лл. 2—4 об. |
| 3. «Милостивый государь, по желанию вашему все, что в моей силе состоит, готов исполнить. . .» | лл. 5—6 об. |
| 4. Защищение петиметра («Похвал, о Елагин, достоин ты неложно. . .») | лл. 7—9 |
| 5. <i>Defence des Coquettes et des Petitmaitre</i> («O vous dont l'art vainqueur foit captives nos sens. . .») | л. 9—9 об. |
| 6. Стихи на стихи похвальные Епистолы («Какой ужасный крик и вопль мой слух пронзает. . .») | л. 10—10 об. |
| 7. «Государь мой, Иван Перфильевич! Не подумайте, чтоб завидлив к вашей славе. . .» | лл. 11—17 об. |
| 8. Епистола к творцу сатиры на петиметров | лл. 18—22 об. |
| 9. Стихи на Епистола («Какой ужасной крик и вопль мой слух пронзает. . .») ⁶ | л. 23—23 об. |

Сборник открывается анонимным (как и все в нем помещенное) прозаическим письмом, обращенным, как видно из его содержания, к Ломоносову.

Неизвестный автор этого письма посылает появившуюся в половине 1753 года «Сатиру на петиметра и кокеток», написанную учеником и последователем Сумарокова Иваном Перфильевичем Елагиным, и просит Ломоносова высказать о ней суждение. Письмо это еще никогда не публиковалось, поэтому даю его полностью:

«Государь мой,

имею честь вам сообщить Епистола г. Елагина к г. Сумарокову, которой содержание ему панегирик и сатира о петиметрах, и некоторые стихи в ее опровержение; я думаю, если б автор предвидел оной следствие, вообразил бы сколько надобно или есть разных дарований к сочинению стихов, то бы он, конечно, от того воздержался; недовольно знать хорошо язык и порядок грамматических правил и скорое изыскание рифм; все оное, хотя бы и мевши, не делает стихотворцем. Надобно иметь особливою рожденной с собою дар правых мысли, пространное знание, свободное изъяснение, чтоб в изображении вещей не принужден был творец перемешивать термины к получению меры желаемого своего стиха и делаться невольником слога или рифмы и оставить за невозможностию предприятую мысль. Не поминую о разных родов стихов, из которых каждой сочинителю дает строгия законы. Будучи подвержен толь многим затруднениям, многия имеет на себя в погрешностях критики и, будучи несовершен, не может согласиться со вкусом каждого. Один, смотря на материя стихов, входит в собственное авторово состояние, хвалит его без пристрастия и достоинства или судит его слабость, злость и другия разные пороки. Другой, любя и зная совершенно язык, не прощает кто его без всякой нужды для пустых рифм портить отваживается, пуская в публику; иной слушает приятного согласия, наблюдая порядочной меры, невидит частых некстати местоимений и наречий и в дополнении стиха служащих; повреждается его слух скрипом от встречающихся часто гласных и грубых слов; и другия многия на разные пороки строгия хулили. Почти все ненавидят сатирической род стихов, хотя некоторые в прошедшие времена в том себя и прославили, но имели особливую к тому склонность, великое просвещение и остроту разума, но и тех было во все время три

⁵ Рукописный отдел ИРЛИ, ф. 265, оп. 2, № 977. Архив журнала «Русская старина» (из бумаг Ив. Ос. Селифоновта). В дальнейшем при цитации этого сборника в тексте указываются только номера листов.

⁶ Из помещенных здесь полемических произведений опубликованы №№ 2, 3, 9. Прозаическое письмо-памфлет № 3 печатается обычно в собраниях сочинений Ломоносова как его письмо к И. И. Шувалову. Остальные, за исключением № 8, в других рукописных сборниках или отдельно не встречаются.

или четыре, которые справедливую хвалу от того заслужили. Но не имевши дара писать и знания довольно к сочинению стихов и начинать да еще и сатирую, не удивительно поднять на себя многие осуждения. Поручаю приложенное «в» беспристрастное и разумное ваше рассуждение. С моим истинным почтением, остаюсь

Ваш, государь мой, и пр.» (л. 1—1 об.)

Данное письмо интересно не только потому, что в нем отражен самый начальный момент полемики (автор знает только «Сатиру» («Епистолю») Елагина и «стихи в ее опровержение», а всего, что последовало затем, он, по-видимому, еще не мог читать), но и потому, что существование этого документа объясняет нам появление великолепного письма-памфлета Ломоносова, которое по традиции, идущей еще из XVIII века, считается адресованным к И. И. Шувалову.

По сравнению с последней публикацией письма Ломоносова в академическом собрании сочинений, текст его в нашем сборнике более исправлен и полон.

Прежде всего это относится к иноязычным словам: позднейшие переписчики, как правило, опускали совсем французские слова. По этой причине оказалось пропущено следующее интересное упоминание в тексте письма Ломоносова:

Академическое издание

«В присланном Елагина письме к Сумарокову он употребленную рифму: *Россия—Индия* на смех в пример поставил. Я подлинно знаю, что сия рифма так же нехороша, как известная вам у Расина, и для того Елагин жмет, чтоб он ею любовался».⁷

Сборник

«В присланном Елагина письме к Сумарокову, где он употребленный Ломоносовым рифм: *Россия—Индия* на смех в пример поставил, я подлинно знаю, что сей рифм так же нехорош, как *Mitridate et Ardate* у Расина, и для того Елагин жмет, чтобы он им любовался» (л. 5).

Как видно из этого сопоставления, в письме Ломоносова была точно указана рифма, трижды повторяющаяся в трагедии Расина «Митридат» и, очевидно, считавшаяся примером неудачной рифмовки собственных имен.

В основном тексте письма также обнаруживаются ошибки и пропуски:

«. . . и „Паном песенным“ назвать себя не допустит. . . Кто бы Расина назвал Буаловым наперсником, то есть его любимым прислужником, то бы он едва вытерпел: дивно, что А[лександр] П[етрович] сносит. Кажется, сверстать его с А[лександром] П[етровичем] истинная обида».⁸

«. . . и попом песенным назвать себя не допустит.

. . . Кто б Расина назвал Боаловым наперсником? То есть его любимым прислужником, то б он едва вытерпел, диво, что А. П. сносит. Сверх того Боало, как и Минерва, ни трагедий, ни песенок не делал затем, что не умел, а особливо по-русски! Как же его сверстать с Александром Петровичем? Истинно обида» (л. 5).

Та готовность, с которой Ломоносов ответил на письмо неизвестного, говорит о том, что с автором этого письма он должен был считаться и в литературных вопросах. Поскольку одним чисто литературным письмом Ломоносова к И. И. Шувалову мы располагаем, есть основания предположить, что автором письма, которое открывает данный сборник, является И. И. Шувалов. Да и стилистически письмо анонима очень сходно с опубликованными письмами сиятельного мецената.⁹

Вторым номером вслед за этим письмом в сборнике идет «Епистола» Елагина с нумерацией строк, сделанной на полях для того, чтобы авторы возражений могли ссылаться на номера строк. Текст этой «Епистола» (сатиры) во всех доселе известных сборниках сильно испорчен, наш сборник впервые дает возможность правильно прочесть некоторые места в «Епистоле», искаженные переписчиками до совершенной непонятности. Так, две строки, обычно читающиеся следующим образом:

Сбирает речи все с романов, что читал,
Которые деньжат для бедности списал, —

на самом деле имеют очень точный смысл:

Сбирает речи все в романах, что читал,
Которые Даржанс¹⁰ для бедности писал.

⁷ М. В. Ломоносов, Полное собрание сочинений, т. X, Изд. АН СССР, М.—Л., 1957, стр. 493.

⁸ Там же, стр. 493—494.

⁹ «Русский архив», 1870, № 8—9, стлб. 1395—1417.

¹⁰ Даржанс Жан-Батист де Буайе, маркиз (1704—1771) — французский литератор, одно время сочинявший авантюрные романы только для денег. Он напечатал

Из остальных полемических произведений особого внимания заслуживают № 7 — подробный критический разбор «Епистолы» Елагина в прозе, в котором каждое замечание отнесено к соответствующему стиху, и № 8 — «Епистола к творцу сатиры на петиметра» — стихотворное полемическое произведение с пространными прозаическими примечаниями. Произведение с таким названием указано у Сопикова, но ни в одном книгохранилище СССР оно пока не было обнаружено.¹¹ Анонимная, как и все в данном сборнике, «Епистола к творцу сатиры на петиметра» своим стилем, нарочито усложненным, педантизмом примечаний и стихотворным размером (семи-стопный хорей с цезурой после четвертого слога) очень напоминает критические и стихотворные произведения В. К. Третьяковского. Высказываю это только как предположение, нуждающееся еще в доказательствах.

Во всяком случае «Епистола к творцу сатиры на петиметра» принадлежит к числу наиболее интересных литературно-полемических произведений начала 1750-х годов. Именно эти названные выше произведения (№№ 7 и 8) позволяют детальнее и конкретнее представить себе не только общий смысл литературных споров 1753 года, но и характер расхождений в оценке состояния русской жизни и русской литературы.

Особенно неприемлемым не только для Ломоносова и его сторонников, но и для лиц, занимавших более или менее нейтральную позицию в борьбе Ломоносова с Сумароковым, оказался общий пафос «Епистолы» Елагина — превознесение Сумарокова как главы современной русской литературы, учителя и наставника молодых писателей.

Основной материал для спора дали первые шесть строк «Епистолы» Елагина, обращенные к Сумарокову:

Открытель таинства любовныя нам лиры,
Творец преславныя и пышныя Семиры,
Из мозгу рождшейся богини мудрой сын,
Наперсник Боалов, российский наш Расин,
Защитник истины, гонитель злых пороков,
Благий учитель мой, скажи, о Сумароков!

Для литературно образованного читателя 1752 года «Епистола» Елагина имела значение не только по своему содержанию и конкретным полемическим намекам, в ней отчетливо ощущалась соотнесенность с общеевропейской традицией литературы классицизма. Елагин не скрывал, а как бы подчеркивал, что он пишет свою «Епистолу» как сознательное подражание, или, вернее, создает свой, русский вариант знаменитой второй сатиры Буало «К Мольеру». На подражательность в этом смысле «Епистолы» Елагина указывается в самых серьезных и обстоятельных критических произведениях в рукописном сборнике «Русской старины». Об этом говорит автор ее разбора («Государь мой, Иван Перфильевич! Не подумайте, чтобы завидлив. . .»): «Вы началом вашего письма подражали Буалу в его второй сатире о трудности стихотворства, также начатой похвалой Мольеру» (л. 11 об.). Об этом же, но еще подробнее, говорится в «Епистоле к творцу сатиры на петиметров», в ее тексте и особенно в примечаниях:

Открытель таинства несогласных речей,
Издатель, коль слыть хочешь, не тронь мысли чужей.¹²

Елагин нескрываемой близостью своей сатиры второй сатире Буало как бы поднимал значение своего стихотворного обращения к Сумарокову. Оно получало смысл общественно-литературного признания заслуг русского драматурга. И самое замечательное в материалах сборника «Русской старины», что никто из представленных в нем авторов не оспаривает по существу той оценки, которую получил в елагинской сатире Сумароков: признания его роли русского Расина (создателя русской трагедии) и русского Буало, автора «Эпистолы о стихотворстве» — русского «Поэтического искусства». Автор «Разбора» согласен с Елагиним, что Сумароков «за свои трагедии достоин похвалы», он имеет «справедливую славу» и только возражает против преувеличенных похвал. Автор «Епистолы к творцу сатиры на петиметров» одобряет то определение заслуг Сумарокова, которое предлагает Елагин:

Назвав его Расином, достойно применил

И собственно то славно, что славы в нем достойно,

в Голландии во второй половине 1730-х—начале 1740-х годов около десятка таких романов. Некоторые из них были переведены в России и расходились в списках.

¹¹ В. С. Сопиков. Опыт российской библиографии. СПб., 1904, ч. III, № 3746.

¹² В примечании к этому стиху автор «Епистолы» пишет: «Сатиры писатель в похвалу господина Сумарокова точную ту мысль и речь употребил, которая и в равном уже употреблении находится в сатире Боаловой „К Мольеру“ (Боаловых трудов том 1, лист 30, стих 6)».

Достоинства в нем есть, не лстя — он вправду славен,
Ласкательством ему ты век не будешь нравен;
Разумен, тем уж он никак не ослепится,
Парнас что покорен и муза что страшится.

Ломоносов в этой полемике занял наиболее непримиримую позицию. В своем письме-ответе на обращенное к нему письмо (скорей всего И. И. Шувалова) с просьбой откликнуться на «Сатиру» Елагина Ломоносов язвительно высмеял все пышные титулы, какими наградил Елагин Сумарокова, а титул «Российского Расина» — приравнял к обвинению в подражательности: «„Российским Расин“ м⁴ А[лександр] П[етрович] по справедливости назван, затем что он его не токмо половину перевел в своих трагедиях по-русски, но и сам себя Расином называть не гнушается».¹³

Сатира-эпистола Елагина, как видно из новых материалов, имела для современников не только собственно литературный интерес. Автор подробного ее прозаического разбора (№ 7) уделяет очень много внимания вопросам импорта предметов роскоши, о которых Елагин говорит в следующих строках «Сатиры на петимтра»:

Тут истощает он все благоуханы воды,
Которыми должат нас праздные народы,
И, зная к новостям весьма наш склонной нрав,
Смеются, ни за что с нас втрое деньги взяв. . .

Критик очень обстоятельно оправдывает ввоз предметов роскоши, дорого обходившийся России в середине XVIII века: «Хотя то и правда, что мы иногда даем излишнее за многие вещи, да оное для того, что наш климат не позволяет оным вещам быть у нас произведенным, как многие из цветов высиженные воды, которые цветы в теплейших воздухах сами рождаются, а у нас должно их в оранжереях содержать, и как нам в них, хотя несовершенные, однако есть нужда, то мы у них оные покупаем. Равным образом: вещи, которые у нас есть, а у иностранных народов нет, они у нас покупают, но почему бы сие было смешно, никто с вами не согласится, ибо для того торговля устлавена, чтоб мы за недостатком своих имений чрез прибыльной промен чужим пользоваться могли. Может быть, вы мне в ответ скажете, что наши праотцы скифы и сарматы торговли не имели, и не имели нужды в помочи, (я в) вещах, которые не рождались под их климатом, но еще мы в том и не завидуем. По времени мы имеем нравы переменны; они в шелашах живали, а мы в великолепных домах живем, так и в прочем есть явная к лучшему отмена; итак, мы не можем хвалить то, что у них от суровости и незнания происходило» (лл. 13—14).

Из этого спора по вопросу, действительно как будто не имеющему отношения к литературе, видно, что «Сатира» Елагина была воспринята современниками как боевое общественное выступление, как политическая сатира в конце концов. Политический характер, по-видимому, имели даже личные намеки, сейчас трудно поддающиеся объяснению. В «Сатире» Елагина говорится о том, с каким восторгом встречают кокетки петимтра:

Другая, истинно — подобно как взбесясь,
Французским языком издетска (?) заразясь,
Кричит devant Dieu как ангел ты хорош,
И на прекрасного ты М. . . похож!

П. Н. Берков, имея в своем распоряжении текст сборника «Разныи стиходействии», где последняя строка читается: «И на прекрасного М. . . похож!», предположил, что инициалом начинается условная фамилия Маркизов, которая должна была скрывать истинную фамилию адресата сатиры — И. И. Шувалова.

Как следует из текста «Сатиры», нами приведенного выше, чтение «Маркизов» здесь невозможно, так как оно не укладывается в строку шестистопного ямба, которым написана «Сатира» Елагина.

Автор «Эпистолы к творцу сатиры на петиметров» откликнулся на эти строки Елагина. Он писал:

Хотя и не назначен М. . . тобой,
И Л. . . и М. . . краснеть будут собой.
Не назван всякой видит представлена себя,
Исправишь тем ты многих, ничем не согрубя.

Из стихотворного размера елагинской строки следует, что М. . . замещает трехсложное слово, эту длину оно должно иметь и в соответствующей строке «Эпистолы к творцу сатиры на петиметров», но во второй строке приведенного четверостишия, поскольку здесь имеются в виду уже другие лица, а не М. . . , названный Елагиным, и Л. . . и М. . . обозначают двусложные фамилии.

¹³ М. В. Ломоносов, Полное собрание сочинений, т. X, стр. 494.

Предположительно можно указать на одну личность, которая наделала немало шуму в русском обществе в 1753 году. Это был французский литератор, человек с биографией авантюриста, — Фужере де Монброн, у которого произошла во время его пребывания в России ссора с Сумароковым; вскоре он был вообще выслан из России.¹⁴

Вот с этим-то залетным парижским гостем и мог сравнить Елагин своего петиметра. Если наше предположение будет принято, то елагинскую строку надо будет читать следующим образом:

И на прекрасного ты Мёнброна похож.

Новый сборник полемических материалов, как видно из немногих примеров, нами указанных, при дальнейшем изучении может помочь исследователям лучше и конкретнее представить себе смысл литературной борьбы 1753 года.

В. СМОЛИЦКИЙ

ПЕСНИ О РАЗБОЙНИКЕ ГРИГОРИИ РЕПКЕ

Летом 1791 года путешествовал по русскому Северу Петр Иванович Челищев. Позади — следствие по делу школьного товарища и друга Александра Николаевича Радищева, опасения ареста, подозрения императрицы, что и он, Челищев, был соучастником в деле этого «страшного бунтовщика хуже Пугачева». Но автор «Путешествия из Петербурга в Москву», старательно выгородив всех своих друзей и знакомых, всю вину в сочинении и издании книги взял на себя. Сосланный в Сибирь Радищев летом 1791 года находился еще в пути, где-то между Тобольском и Томском, а Челищев, за отсутствием каких-либо улик полностью оправданный, странствовал по северу России. В пути Челищев вел дневник, в котором можно найти заметки о быте крестьян, об их экономическом положении, о различных северных промыслах. От его взгляда не ускользает ни крестьянская бедность, ни произвол олонейского губернатора, ни бюрократические издевательства над погорельцами. Среди прочих замечаний в его путевом журнале мы находим и сообщения о разбойниках во главе с атаманом Репкой, которые «частешенько в окрестностях пощупывали помещиков, богатых крестьян и проезжих посадских, отчего дороги с Ладоги на Свирь и к Тихвину стали было почти непроходимыми. Я, проезжая на Соловки, — добавляет Челищев, — сам не без основания этих бродяг опасался».¹

До последнего времени эта заметка Челищева была единственным упоминанием о «славном злодее атамане Репке», и поэтому немудрено, что историки мало интересовались этим разбойником. В конце XVIII века в России в ответ на усиление эксплуатации участились случаи убийств помещиков, крестьянские бунты и восстания. Одной из форм проявления классовой борьбы было распространение разбойничьих шаек, а Новолодожский и Тихвинский уезды на протяжении XVIII и XIX веков «славились» своими разбойниками, державшими в постоянном трепете окрестных помещиков. Большое количество разбойничьих шаек именно в этих местах объяснялось географическим положением города Тихвина, через который лежали дороги на Москву, Петербург, Новгород и Псков. Через Тихвинский и Новолодожский уезды шли беглые крестьяне, пытавшиеся скрыться от крепостного гнета. Еще в 1767 году дворяне Обонежской пятины Новгородской губернии, куда входил и Тихвинский уезд, жаловались на «воров, разбойников и приставщиков», на то, что они пользуются поддержкой местных крестьян, и в Наказе своему депутату в Комиссию по составлению нового уложения требовали усиления борьбы со «злодеями». В том же Наказе говорилось о подговорщиках, «кои к побегу крестьян и дворовых людей склоняют, подговоря, уводят в Польшу и в другие места». За их поимку даже предлагалось установить вознаграждение не менее 50 рублей за человека.²

Таким образом, разбойник Репка не был явлением исключительным, и, возможно, его забыли бы совсем, если бы одна находка не возбудила интереса к его имени.

В рукописном отделе Государственного литературного музея в Москве находится коллекция рукописных книг новолодожского помещика XVIII века Якова Яковле-

¹⁴ См.: P. N. Berkov. Fougeret de Monbron et A. P. Sumarokov. «Revue des Études Slaves», 1960, t. XXXVII, fasc. 1—4, pp. 29—38.

¹ П. И. Ч е л и щ е в. Путешествие по северу России в 1791 году. СПб., 1886, стр. 270. О Челищеве см.: К. Ч и с т о в. Путешествие по северу России П. И. Челищева (1745—1811). «На рубеже», 1952, № 9, стр. 71—80; В. Б а з а н о в. Очерки декабристской литературы. Гослитгиздат, М., 1953, стр. 14—29; М. В. Н е ч к и н а. Движение декабристов, т. 1. Изд. АН СССР, М., 1955, стр. 90, 441—442.

² Сборник русского исторического общества, т. XIV, СПб., 1875, стр. 332, 333.

вича Мордвинова. Здесь рядом с житиями святых и богословскими трактатами можно найти сочинения М. В. Ломоносова и Вольтера, рукописные повести XVII—XVIII веков, сборники песен. И коллекция и личность самого коллекционера еще ждут своего описания и изучения. Одна из рукописей этого собрания была уже однажды описана и частично опубликована.³ В ней наряду с произведениями Фонвизина и Вольтера были обнаружены четыре произведения народной сатиры. В той же коллекции находятся и материалы, публикуемые в настоящей статье. Это две песни из рукописной книги, которая, как и печатный сборник М. Д. Чулкова, называется «Собрание разных песен».⁴ И действительно, 104 песни переписаны из этого сборника по изданию 1770 года. Сначала переписчик добросовестно, страницу за страницей, списывал с этого издания все подряд, вплоть до посвящения графине Строгановой и «Предупреждения», которые предпослал Чулков своему труду. Но после № 39 переписчик начинает пропускать целый ряд песен: с 40 по 77, со 115 по 120, со 124 по 128, со 132 по 137, со 143 по 165 и со 169 по 186, проставляя уже собственную нумерацию. Поэтому последняя песня первой части (№ 200) оказалась у Чулкова под № 104. С № 105 сборник уже не следует какому бы то ни было изданию. Здесь можно встретить произведения русских поэтов, в частности «Стонет сизый голубочек» И. И. Дмитриева, народные лирические, шуточные и сатирические песни. Большинство из них уже опубликовано. Но есть и неизвестные до сих пор. Особенно интересны две разбойничьи песни, из которых одна связана с именем Репки. Приводим ее полностью.

Во Тихвинском уезде злы богаты господа,
Крестьян с домов согнали, все имение скопляли,
Как знали, что напасть — всем их денежкам пропасть.
Пришла Репкина команда, удалые молодцы.
К Макарову пришли, его дома не нашли,
Взяли золота без счету, серебра взяли без весу;
Ассигнации делили, то Макарова хвалили,
Стали золото делить, благодарность приносить,
Мы ко Бровцыну ходили, только славу получили,
Жемчугу у него взяли, только доброго нашли,
Табакирки и часы все без денежки прошли,
Его белая холстина вся в болоте погнила.
Сколько Бровцын не вострился, а имения лишился.
Полно, Бровцын, не востришь, лучше с Репкой помирись,
А со мной не помирись — всего имения лишишься.⁵

Эта песня обращает на себя внимание тем, что в ней «удалые молодцы», «Репкина команда» выступают не простыми грабителями, а борцами против социального гнета. Песня исполнена ненависти и презрения к помещикам, «злым богатым господам», которые отнимали крестьянские земли, «крестьян с домов согнали, все имение скопляли». В ее бесхитростных словах говорится об одной из самых больших несправедливостей последних десятилетий XVIII века, когда многие помещики стали расширять барскую запашку; для этого они переводили крестьян с оброка на барщину и всеми правдами и неправдами захватывали земли государственных «свободных» крестьян. По словам историка Н. М. Дружинина, «началась настоящая лихорадочная охота за земельными угодьями».⁶ Классовым интересам помещиков служило и проводившееся в это время генеральное межевание. Даже Н. Архаров, генерал-губернатор Новгородского наместничества, 3 октября 1791 года вынужден был писать, что казенные крестьяне по земельным спорам «нередко проигрывают. . . и самые справедливые тяжбы».⁷

В песне Репка выступает мстителем за обиды крестьян. Сочинителю песни были хорошо известны похождения шайки. По-видимому, он был ее участником. Обращают на себя внимание две последние строчки песни: «Полно, Бровцын, не востришь, лучше с Репкой помирись, А со мной не помирись, всего имения лишишься». Неожиданно появившееся в последней строчке местоимение «со мной» делает весьма вероятным предположение, что автором этой песни был сам атаман Репка: смещение 1-го и 3-го лица очень характерно для малограмотного человека, когда он повествует о самом себе.

Кто же этот Репка? Сможем ли мы узнать о нем что-нибудь сверх упоминаний в дневнике П. И. Челищева? Длительные поиски привели нас в Государственный исто-

³ В. Г. Смоллицкий и Т. А. Тургенева. Четыре произведения народной сатиры. «Труды Отдела древнерусской литературы», т. XVII, 1961, стр. 500—511.

⁴ Филигрань РФІЯ (ростовская фабрика Ивана Яковлева), герб Ростовского уезда, под ним год — 1790.

⁵ Рукописный отдел Государственного литературного музея, № 81, л. 59. Тексты документов и песен даются в современной орфографии и пунктуации.

⁶ Н. М. Дружинин. Государственные крестьяне и реформа П. Д. Киселева, т. I. Изд. АН СССР, М.—Л., 1946, стр. 84.

⁷ ЦГАДА, Госархив XVI, № 975, Донесения Архарова по Новгородской и Тверской губерниям, ч. II, л. 427.

рический архив Ленинградской области. Здесь среди бумаг Новоладожского уездного суда,⁸ Новоладожской нижней расправы⁹, Петербургского нижнего надворного суда¹¹ и Петербургской палаты уголовного суда¹¹ были найдены документы, рассказывающие о самом Репке, его товарищах и тех, кто его укрывал. Наиболее интересно «Решительное определение о разбойнике Григорье Репке», найденное в протоколах заседаний Петербургской палаты уголовного суда за вторую половину 1791 года. Здесь дается полное жизнеописание Репки от его рождения до момента, как он предстал перед судом в 1791 году. Полное его имя — Григорий Яковлевич Репка. Он родился в 1753 или 1752 году (в октябре 1791 года ему было 38 лет) в селе Хотилове Вышневолоцкого уезда. Где-то выучился грамоте. До службы в армии был ямщиком. В 1777 году был отдан в военную службу. Трижды совершал побеги, трижды его ловили и наказывали пиндуренами. Наконец, в 1789 году он бежит из госпиталю, куда его поместили после последнего наказания. Сколотив на Ладожском озере шайку из таких же, как и он, беглых солдат и достав два ружья и пистолеты, Репка на протяжении нескольких месяцев грабил помещиков и богатых крестьян, пока не был пойман и присужден к публичному наказанию кнутом, вырезанию ноздрей и вечной каторге. Привести приговор в исполнение не успели: разломав стену в доме главной полиции в Петербурге, Репка с тремя товарищами по заключению бежал. Вскоре его снова поймали, наказали кнутом, вырезали ноздри и отправили в каторжную работу в Ригу. Но он вновь совершает побег, удивительный по своей дерзости. На этот раз он бежит из бани, находившейся на берегу Двины, и, переплыв реку на двух досках, скрывается сначала у местных жителей, а затем, ночуя по баням и овинам, пробирается в Новоладожский уезд. Его снова ловят, снова отправляют в Ригу, снова наказывают и посылают в каторжную работу. Но через день он снова бежит «п разломав на погах своих железа, переплыв показанную реку Двину, пробравшись мимо разными местами и селениями, лесными проходами, вышел пониже Новгорода на реку Волхов».¹² Оттуда — на Сясь-реку, — и вот он в Тихвинском уезде во главе беглых крестьян, солдат и каторжников. Это было в 1791 году. В это время записал о нем в своем дневнике путешествовавший по северу России Челищев. И известная нам песня относится к этому же периоду походов Репки.

Многие факты, описанные в песне, находят действительное подтверждение в документах. В песне упоминается Бровцын. Это — одна из старинных-российских помещичьих фамилий. В Тихвинском и Новоладожском уездах были расположены главные владения многих представителей этого рода. Бровцыны нередко встречаются среди различных выборных должностных лиц. Так, например, надворный советник Николай Бровцын в 1786 году был тихвинским предводителем дворянства.¹³ К надворному советнику Николаю Бровцыну и явился Репка со своей командой. Их повел бывший крестьянин этого помещика, сбегавший от своего господина. Шайка остановилась недалеко от помещичьей усадьбы, послав вперед двух своих товарищей. Те явились к самому хозяину, назвали скотниками и повели разговор о закулке коров. Попросили напиться. Бровцын распорядился принести им квасу. Когда слуга вышел, раз-

⁸ Государственный исторический архив Ленинградской области (далее ГИАЛО), ф. 1709, №№ 845 (По обвинению крестьян Огуровской вотчины... в укрывательстве разбойника Репки), 846 (По обвинению экономических крестьян деревни Лаболовой Горки в укрывательстве разбойника Репки), 847 (По обвинению крестьян Петра Кузьмина и Ирины Егоровой в приеме от разбойника Репки денег и вещей), 849 (По обвинению крестьян помещика Философова в укрывательстве разбойника Репки).

⁹ ГИАЛО, ф. 1721, д. 12, журнал заседаний расправы за 1791 год, л. 259 (Приговор крестьянам, укрывавшим Репку).

¹⁰ ГИАЛО, ф. 1716, дд. 1107 (По обвинению крестьянки Марии Алексеевой в укрывательстве бегавшего с каторги Григория Репки), 1173 (По обвинению крестьянина Филиппа Алексеева в соучастии с Григорием Репкой в ограблении баронессы Фридриховой), 1177 (По обвинению беглого солдата С. Архипова в участии с Григорием Репкой в ограблении дома баронессы Фридриховой).

¹¹ ГИАЛО, ф. 1724, оп. 1, д. 53, Протоколы заседаний Петербургской палаты уголовного суда за вторую половину 1789 года, №№ 266 (Решительное определение о беглом солдате Репке, о крестьянине Евдокимове, о женке Ефросинье Ивановой и купце Кривошапкине, лл. 242—245 об.), 339 (О наказании крестьянина Шарандина кнутом, лл. 481—484); д. 56, Дело об укрывательстве солдата Григория Репки крестьянином Карпом Шарандиным; д. 85, Протоколы заседаний Петербургской палаты уголовного суда за вторую половину 1791 года, №№ 223 (Решительное определение о разбойниках Богучарове, Антонове и соучастниках с ними), 271 (Решительное определение о разбойнике Григорье Репке), 298 (О наказании кнутом Петра Кузьмина и женку Ирину Егорову).

¹² ГИАЛО, ф. 1724, оп. 1, д. 85, протокол № 223; Решительное определение о разбойнике Григорье Репке, л. 452 об. (далее сокращенно: Решительное определение...).

¹³ ЦГАДА, Госархив XVI, № 975. Донесения Архарова по Новгородской и Тверской губернии, ч. 1, л. 199.

бойники повалили помещика на землю и начали избивать его, пока не увидели людей, бежавших на выручку своему господину. Только тогда они оставили Бровцына, который пустился бежать и залерся в своих покоях. А разбойники стали кричать, призывая на помощь своих товарищей, притаившихся поблизости. Те не заставили себя ждать. Репкина команда, уже в полном сборе, ворвалась к Бровцыну во двор. Разломав двери в господские покои, разбойники бросились искать хозяина, но тот выскочил в окно и бежал из своей усадьбы. Крестьяне разбежались, и «удалье молодцы», не встречая никакого сопротивления, стали грабить господский дом. «Трофеи» были богатые: четверо серебряных часов, две золотые и одна серебряная табакерки, шесть янток жемчуга, серебряная посуда и много других драгоценностей (ср.: «Жемчугу у него взяли, только доброго нашли, Табакерки и часы все без денечки прошли. . .»).

Обстоятельства этого эпизода известны нам из судебного протокола. О многом, о чем молчит сухая писарская запись, можно только догадываться. Как правило, при ограблении помещичьих усадеб Репка стремился избегать встречи с самим помещиком и проникал в дом во время отсутствия хозяина. В данном случае за Бровцыном гонятся, его избивают. И это делается по наущению крестьянина, бежавшего от этого помещика. Все это заставляет думать, что на этот раз было не простое ограбление, что нападение на Бровцына имело какие-то другие, более веские основания. Скорее всего это была крестьянская месть одному из «злых богатых господ», о которых поется в песне.

Что касается Макарова, другой жертвы Репки, упомянутой в песне, то ни в одном известном нам документе, связанном с Репкой, эта фамилия не встречается. Все подробности ограбления, которые приводятся в песне (отсутствие хозяина дома, большое количество награбленного золота и серебра), дают основание предполагать, что речь здесь идет о помещике Василии Харламове, ограбление которого предшествовало походу на Бровцына. В «Решительном определении. . .» записано, что Репка с товарищами, войдя в дом Харламова, «разломав двери разные, сундуки и шкафы, в коих нашед взяли денег золотую монетою империалов и полумимпериалов, но сколько, он не помнит. . ., серебряною монетою пограблено, а сколько, не упомнит».¹⁴ Возможно, замена фамилии произошла несколько позже, уже в период устного бытования песни, прежде чем песня была записана. Вероятность такой догадки подкрепляется еще тем, что в отношении стихотворного размера слова «Макаров» и «Харламов» могут свободно заменять друг друга.

Зашел как-то Репка и к Якову Яковлевичу Мордвинову, тому самому, в библиотеке которого обнаружен сборник с песней о Репке. Встреча была удивительно мирной. Репка только спросил стакан вина. Ему принесли. Он выпил и удалился. Да еще велел написать о нем властям: был-де Репка, да ушел. Мордвинов так и поступил, и смысл его письма дворянскому заседателю Апрелеву примерно такой, какого потребовал Репка.¹⁵ Судя по всему, любил Репка покуражиться над своими врагами, к каковым не без основания причислял всех помещиков, капитанов-исправников и дворянских заседателей.

А в Новоладожском и Тихвинском уездах давно уже заволновались. Был послан вооруженный отряд во главе с тихвинским земским капитаном-исправником, чтобы изловить разбойников. Встреча произошла в лесу, в 10 верстах от деревни Прогаль. Ружья палили с обеих сторон. Репка был ранен, но шайке все же удалось уйти от погони.

Репка продолжал грабить помещиков и богатых крестьян. Беспомощность новоладожских и тихвинских властей, которые ничего не могли сделать с неуловимым разбойником, вероятно, дала повод к созданию новой песни, обнаруженной нами в том же сборнике, что и первая.

Во Ладоге во граде в Песочной улице
 На Чичере на реке проявились молодцы;
 По беседушкам ходили, нову песенку сложили.
 Послушайте, господа, споем песню про себя.
 Что нас в Ладоге не любят, в уезде жить не велят.
 Мы из Ладоги пошли и за Волхов перешли.
 Мы сели да сидим, ничего не говорим.
 Мы подумаем о том, куда молодцы пойдем.

¹⁴ Решительное определение. . ., л. 453 об.

¹⁵ Приводим письмо полностью: «Новоладожского уезда дворянскому заседателю Ивану Федоровичу Апрелеву объявление: Сего числа разбойник Репка или Костычев со своей командой в восьми человекам (так! — В. С.), прошед мимо двора моего и остановясь на большой дороге в небытность людей моих в доме, потребовал от меня только вина, что и принуждены были исполнить. И как скоро выпили по стакану, то нимало медля пошли в деревню Медведеву и велели (в подлиннике описка: «ведели», — В. С.) о себе к вам писать, да слышал я, что здешние о крестьянина Блещедова (Близнедова, — В. С.) дом разграбили, о чем вам сим объявляю и прошу вашего зашщшения. Сентября 25-го числа 1791 г. Капитан Яков Мордвинов» (ГИАЛО, ф. 1709, д. 846, л. 17).

Мы Березье обошли, на Сяски рядки пришли.
 Мы Сясь-реку перешли и по Вильгоме пошли.
 Мы по Вильгоме пошли, на большой конвой нашли.
 С конвоем подрались, на крут берег поднялись.
 Нас исправник испужался, на Сяски рядки бросился
 (бросался? — В. С.),

Мужиков скоро сбивал, за нам следом побежал,
 Нас следом не нашел, сам по Лынгачу пошел,
 Все Лунгачу обыскал, нас нигде он не сыскал,
 Назад скоро торопился, в Нову Ладогу бросился,
 Городничему знать дал, чтобы город обыскал.
 Городничий торопился, искать в городе спешился,
 Хотя много он спешил, только город насмешил.
 Купцы ладогские воры и злодеи мужики,
 У них бороды широки, умом-разумом глупы.
 Купцы ладогски уклали, что мы в городе покрали.
 Барсуков на нас озлился, к городничему бросился.
 Городничему просил, на нас имянно доносил.
 Скажите вы ему, не причиной мы тому.
 Барсуков, не заедайся и на нас не говори.
 Буде станешь говорить — за скотинкой не ходить,
 По деревням не ходить, с собой денег не носить.
 Попадешь нам на лесу, разобьем твою кису,
 Тебе шею намочалим, твои денежки оставим.
 Не год целый уже с нами дружбу водил с молодцами.
 Он вино и водку пил, калачи, рыбу носил,
 А после хоть озлился и на нас стал доносить.
 Сколько хоть ты ни доносишь, не уттишь тебе от нас.
 Не твоим веком ходить, чтоб нас молодцов ловить.¹⁶

В этой песне имя Репки не упоминается. Но общность стилистических приемов, композиции и идейного содержания дает основание предполагать, что обе песни вышли из одной среды приблизительно в одно и то же время. На это указывают и топографические названия, упоминаемые в песне. В «Решительном определении. . .» читаем: «. . . минаю Новую Ладогу. . ., переехав Волхов на Сяский канал и при половине одного в лесу зашел в свой стан. . .»¹⁷ Не этот ли стан назван в песне: «Мы из Ладоги пошли и за Волхов перешли»? Упомянутые далее в песне Сяские Рядки подтверждают наше предположение, что и в песне, и в «Решительном определении. . .» говорится об одних и тех же местах. Все это делает очень вероятным, что и эта песня была сочинена «удальными молодцами» Репки. Конечно, не исключено, что песня «Во Ладоге» возникла в какой-нибудь другой разбойничьей шайке, которых в этих местах было немало. Но и при этом условии она могла быть известна товарищам Репки. В сборнике Мордвинова обе песни следуют одна за другой. Это может до некоторой степени служить подтверждением мысли, что обе песни входили в репертуар «Репкиной команды».

Упоминаемая в песне фамилия Барсукова очень широко распространена среди новолодожских купцов. Вероятнее все о здесь идет речь о городском голове, богатом потомственном купце 3-ей гильдии Алексее Барсукове,¹⁸ который, наверное, находился в каких-то темных отношениях с разбойниками, возможно, скупал у них грабленное.

А Репкой уже заинтересовались в Петербурге. До некоторого времени чиновники Новой Ладоги и Тихвина не хотели, чтобы до начальства дошли сведения о беспорядках в их уездах. Но когда такие слухи все же дошли, чиновники поспешили донести, что уже посланы воинские команды и «воровских скопищ» больше нет. Из канцелярии Петербургского губернского правления в Новолодожский уездный суд пришел указ, в котором сообщалось, что до генерал-губернатора дошли разные жалобы и слухи «о скопившихся в ладожском уезде разбойнических шайках, к поимке коих отряжены были разные воинские команды, а затем донесения помянутого суда (новоладожского земского, — В. С.) содержали все, что таковых скопищ воровских в уезде том не было уже». Эти донесения, как говорилось далее в указе, «приводили разновестиями своими в совершенную запутанность дело, в коем при том же не видно было ревностных и живых деятельностей ни со стороны исправника, ни нижнего земского суда».¹⁹ Из Петербурга в Новую Ладогу был послан специальный чиновник.

¹⁶ Рукописный отдел Государственного литературного музея, № 81, лл. 58 об.— 59.

¹⁷ Решительное определение. . ., л. 457 об.

¹⁸ ГИАЛО, ф. 685 (новоладожской городской думы), д. 24; ф. 697 (новоладожского городничего), дд. 20, 43, 71.

¹⁹ ГИАЛО, ф. 1709, д. 790, Указы Петербургского губернского правления и Петербургской палаты гражданского суда за октябрь 1791 года, л. 1.

чтобы на месте произвести следствие. Все это заставило местные власти действовать по-оворнее.

Наконец, в начале октября, казацкой команде во главе с капитаном-исправником земского суда удалось выследить и поймать Григория Репку.

По делу Репки проходило в общей сложности несколько десятков человек. Жестоко были наказаны не только те, кто вместе с Репкой участвовал в грабежах, но и те, кто давал Репке приют, кормил его. Обвиненные в укрывательстве Репки приговаривались к публичному наказанию кнутом (от 20 до 50 ударов) и ссылке на поселение. Строго был наказан священник Саратовской пустыни Семен Дементьев, у которого долгое время скрывался Репка. Он был также публично бит плетью на площади в Тихвине. После этого его повезли по окрестным погостам для повторных публичных наказаний, «необходимых» для острастки местного населения. «...Кровь сих несчастных преступников брызнула даже до моего сердца»,²⁰ — записал в своем дневнике П. И. Челищев, узнав о судьбе этого священника.

Сам Репка, видимо, не считал, что игра проиграна окончательно. В «Решительном определении...» сообщается, что «оной Репка между разговоров его с находящимися при нем караульными нижними военными похвалялся, что ежели-де бог даст и он жив будет, то намерен по-прежнему учинить побег и делать злодеяния наипаче прежнего и мстить всем тем людям, кои им замечены недоброхотами его».²¹ Он еще не собирался сдаваться и, рассчитывая на побег, думал о мщении.

Приговор Репке гласил: «...подновя ему клейменные знаки с вынятием до кости ноздрей, учинить публичное жестокое наказание кнутом и, оковав в крепчайшие кандалы, сослать в тяжкую работу по-прежнему с тем, дабы благоволено было держать его там во оной работе окованного за крепким караулом».²²

На этом наши сведения о Репке обрываются. Удалось ли ему снова бежать или так и погиб он на каторге, — неизвестно. Не он первый, не он последний. Подобных ему разбойников на Руси было много. Но песни, связанные с его именем, очень интересны. Они, без сомнения, должны занять свое место в ряду других удалых, так называемых разбойничьих, песен. Их ценность увеличивается от того, что мы можем сравнительно точно определить место и время их возникновения — начало 90-х годов XVIII века. Очевидно, песни были сложены тогда, когда удача сопутствовала «удальным молодцам». Оттого так задорен тон, так весел рассказ о драке с конвоем и о глупости испуганного исправника, так внушительны угрозы помещикам и местным богатым.

В. БАЗАНОВ

ФЕДОР ГЕРМАН И МУРАВЬЕВСКИЙ ВАРИАНТ «РАССУЖДЕНИЯ» Д. И. ФОНВИЗИНА

«Рассуждение о непременных государственных законах» Д. И. Фонвизина справедливо считается одним из замечательных документов русской общественной мысли. В трудах советских ученых К. В. Пигарева («Творчество Фонвизина», Изд. АН СССР, М., 1954) и Г. П. Макогоненко («Депис Фонвизин. Творческий путь», Гослитиздат, М.—Л., 1961) «Рассуждение» получило всестороннюю и справедливую оценку. Нас интересует это «Рассуждение» как своеобразный памятник декабристской потаенной литературы. Известно, что фонвизинский политический трактат распространялся декабристами в списках. Племянники знаменитого писателя XVIII столетия М. А. Фонвизин и И. А. Фонвизин становятся участниками декабристского движения (генерал-лейтенант М. А. Фопвизин был членом Северного общества, а младший, полковник И. А. Фонвизин, состоял в Союзе Благодеяния); от них и идет знакомство с неопубликованным наследием Дениса Ивановича, в частности с «Рассуждением», хранившимся в семейном архиве. В записках М. А. Фонвизина упоминается о том, что копия «Рассуждения» была передана им Н. М. Муравьеву, который приспособил «содержание этого акта к царствованию Александра I-го».¹

К. В. Пигарев в «Литературном наследстве» опубликовал тот самый переработанный вариант «Рассуждения», который распространялся в списках. Сравнивая «Рас-

²⁰ П. И. Челищев. Путешествие по северу России в 1791 году, стр. 274.

²¹ Решительное определение... , л. 466.

²² Там же, л. 469 об.

¹ «Русская старина», 1884, апрель, стр. 62.

суждение» Фонвизина с «переработкой» Муравьева, Пигарев приходит к выводу: «... Н. М. Муравьев значительно сократил (почти наполовину) фонвизинский текст и местами ограбичился его пересказом. Сокращения произведены преимущественно за счет отвлеченных политико-теоретических размышлений автора о свойствах „идеального“ монарха. Совершенно опущена заключительная часть „Рассуждения“, в которой излагается характерная для дворянских просветителей XVIII в. мысль о „благонравии государя“, образующем „благонравие народа“. Устранены некоторые намеки, понятные для современников Фонвизина, но ко времени декабристов уже утратившие свою злободневность (выпады против Потемкина); несколько смягчены строки о Пугачеве и др. Среди чисто стилистических изменений, внесенных Муравьевым в текст Фонвизина, обращает внимание замена слов иностранного происхождения русскими: „народ“ вместо „нация“, „условия“ вместо „пункты“, „нравственный“ вместо „моральный“, „общественный“ вместо „публичный“, „основной“ вместо „фундаментальный“, „судилище“ вместо „трибунал“. В тех случаях, когда Муравьев прибегает к пересказу фонвизинского текста, он, однако, не вносит в него ни одной мысли, которая бы не находила соответствия в подлиннике. Каких-либо дополнений, содержащих конкретные намеки на политическую обстановку последних лет царствования Александра I, в муравьевском тексте „Рассуждения“ не имеется».²

Ничего принципиально нового Никита Муравьев в «Рассуждении» действительно не вносит; он сокращает текст и производит незначительную стилистическую правку. Даже замена одних слов другими не может считаться творческой переработкой. В частности, замене слова «нация» словом «народ» нельзя придавать исключительного значения. В «Рассуждении» Фонвизина слово «народ» также встречается и в очень важном контексте: «Тиран, где б он ни был, есть тиран, и право народа спасать бытие свое пребывает вечно и везде непоколебимо».³ Поэтому свидетельство М. А. Фонвизина о том, что Никита Муравьев «приспособил» фонвизинское «Рассуждение» к царствованию Александра I, мы должны принимать с большими ограничениями. Только условно можно говорить о «декабристской переработке» и т. п. «Рассуждение» декабристы распространяли в сокращенной редакции, но без каких-либо существенных изменений и дополнений.

Опубликованный К. В. Пигаревым в «Литературном наследстве» муравьевский вариант восходит к двум спискам: из записной книжки П. А. Вяземского (список сделан писарским почерком) и из бумаг полярного исследователя Ф. П. Литке. «Оба списка „Рассуждения“ Фонвизина в переработке Н. М. Муравьева, — замечает исследователь, — изобилуют большим количеством разного рода неточностей, особенно список из архива Вяземского».⁴ К. В. Пигарев дает сводный текст. Реконструировал оба эти списка К. В. Пигарев удивительно удачно, избежав «разного рода неточностей». Об этом мы можем говорить с полной уверенностью. В нашем распоряжении третий список и самый авторитетный. Но он не вносит ничего принципиально нового в сводный текст «Литературного наследства». Этот третий список был отобран при аресте у Ф. И. Германа.⁵ Ф. И. Герман — двоюродный племянник В. И. Штейнгеля; от дяди-декабриста он и получил копию «Рассуждения» в 1822 году. Таким образом, этот список вышел непосредственно из декабристских кругов. Безусловно его следует учитывать при повторной публикации «Рассуждения» Д. И. Фонвизина в переработке Н. М. Муравьева.

В течение десяти лет Ф. И. Герман хранил фонвизинское «Рассуждение», неоднократно к нему обращался и для изучения и в целях полемики. Прибыв в 1831 году из Оренбурга в Казань, он останавливается на квартире дворянки Минятовой. При встрече с оставшимся штабс-ротмистром из л. г. конного полка Родионовым Герман познакомил квартирную хозяйку и Родионова с «Рассуждением» и своим ответом. Хозяйка квартиры тогда же донесла полиции о состоявшихся разговорах, назвав при этом Германа «карбонарием». Казанский губернский прокурор немедленно сообщил управляющему Министерством юстиции Д. В. Дашкову о «подозрительных бумагах», отобранных у Германа. Этот документ, отражающий официальный взгляд на фонвизинское «Рассуждение» и личность Германа, а также сочинение Германа, написанное по поводу «Рассуждения», и его объяснительные записки, представленные казанскому вице-губернатору Е. В. Филишпову, мы и публикуем в своем сообщении.

² «Рассуждение о непременных государственных законах» Д. И. Фонвизина в переработке Никиты Муравьева. Публикация К. В. Пигарева. «Литературное наследство», т. 60, кн. I, 1956, стр. 343—344.

³ Д.: И. Ф о н в и з и н. Собрание сочинений в двух томах, т. II, Гослитиздат, М.—Л., 1959, стр. 263.

⁴ «Литературное наследство», т. 60, кн. I, стр. 344.

⁵ ЦГИАЛ, ф. 1405, дело 1831 г., лл. 7—12 (рапорт казанского прокурора Солнцева о найденных у штабс-капитана Ситникова «подозрительных бумагах и печатях»). Вместо названия документа: «Доставлено в 1822 году бароном Штейнгелем сочинение Фонвизина о необходимости непременного законоположения».

РАПОРТ КАЗАНСКОГО ГУБЕРНСКОГО ПРОКУРОРА

Секретно

Его превосходительству господину тайному советнику, управляющему Министерством юстиции, статс-секретарю и кавалеру Дмитрию Васильевичу Дашкову.

От 21 июня текущего года за № 622-м имел я честь доносить вашему превосходительству о найденных у штабс-капитана Генерального штаба г. Ситникова⁶ разных подозрительных бумагах и печатях, при посредстве коих рассеваемы были им пасквили против высочайшей особы государя императора и правительства; в каковом донесении моем между прочим объяснялось и о том, что сверх штабс-капитана Ситникова сообщено было от меня в то же время и о других некоторых лицах жандармским офицерам подполковнику Булыгину и полковнику Маслову для зависящего со стороны их наблюдения. В числе таковых указанных мною лиц был и отставной майор Федор Герман, служивший прежде в гвардии, а потом в отдельном Оренбургском корпусе; поводом к сему моему об нем, Германе, замечанию были: устранение его от гвардейской службы, от звания адъютанта и правителя канцелярии по Оренбургскому корпусу, склонность к занятиям его политическими предметами и особенный образ жизни в продолжение пребывания его в Казани, при отличных дарованиях его. познаниях и владении даром слова. Догадки мои подтвердились 11-м числом сего октября. Г. управляющий губерниею вице-губернатор Филиппов дал мне по секрету знать о найденных у него, Германа, в 11-е число разных подозрительных бумагах, с приглашением меня к разбору и точному рассмотрению оных при жандармском подполковнике Булыгине. В числе оных бумаг оказались следующие: 1) список с сочинения полковника фон-Визина о необходимости неперменного законоположения или о конституционных законах, переданный г. Герману для изложения своих мыслей в 1822-м году бывшим подполковником бароном Штейнгелем (на основании сентенции верховного уголовного суда 1826-го года в Сибирь сосланным и его, Германа, родственником); 2) ответное рассуждение г. Германа на оное сочинение г. фон-Визина, в мае месяце 1825-го года писанное; 3) его ж, Германа, мысли, писанные для себя по кончине государя императора Александра; 4) статья о поэзии и музыке; 5) отрывок об опытности; 6) листок о воспитании; 7) историческая статья о вынужденном одним братом у другого чрез насилие и пронырство у местного начальства имении, основанная на истинном происшествии в Орловской губернии; 8) статья, готовленная для «Вестника Европы» г. Коченовского, с изложением предречения г. Прадта и Мерсье о славной в будущих веках судьбе Северо-Американских Соединенных областей, Гишпанской Америки и России, должствующих изменить со временем форму своего правления и составить из себя несколько отдельных независимых одна от другой земель; 9) сочинение об английских обоих парламентах и о депутатах; 10) его ж, Германа, перевод Шиллеровой истории об освобождении Нидерландов в царствование Филиппа II по французскому переводу Шато-Жиропа; 11) и перевод одного отрывка из истории английского парламента о славных революционерах; 12) сверх того ж Германа дорожная книга, в коей заключались некоторые мелочные сочинения его юношества, разные записки по горной части, счета, списки с официальных бумаг, маршруты, шифрная азбука его изобретения и некоторые фигуры. По тщательному рассмотрению мною оных сочинений, переводов и дорожной книги г. Германа нашел я, что 1) сочинение о необходимости неперменного законоположения г. фон-Визина есть одно из самых возмутительных сочинений своего века, когда во Франции пылал революционный факел и французские вольнодумцы силились возжечь от оных искру и в нашем любезном отечестве. В сем сочинении фон-Визин рассуждает о праве свободы и собственности, об общественном договоре, начертывает по-своему границы прав государям и подданным и их обязанности, монархическое правление именует тираннею, ставит на вид слабости и злоупотребления любимцев государей, злоупотребление власти самих владык земных и черными красками оттеняет собственное свое отечество в безумном упоении мнимой свободы и заключает необходимость в государстве установить неперменные конституционные законы. Вероятно, сие сочинение часто обращалось в руках и заговорщиков декабря 14-го. Преступник Штейнгель, не без намерения распространяя крамолу, сообщил оное и г. Герману, своему родственнику и как недовольный правительством недовольному. 2) Ответное рассуждение на оное сочинение г. Германа хотя и содержит в себе оппозиционные мысли против оного в применении к России, основываемые на сравнительных исторических примерах и событиях, но отзывается также духом существовавшего тайного общества под названием Союза Спасения, та только замечательна разность, что мысли Германа сходствуют с умеренными членами оного общества, желавшими действовать постепенно на народное мнение и ожидать преобразований политических от времени. Сие доказывается, между прочим, заимствованными им мыслями из Беля и собственными его выражениями в ответном

⁶ О С. И. Ситникове см.: В. Г. Б а з а н о в. Казанский агитатор (штабс-капитан С. И. Ситников и его «возмутительные бумаги»). Сб. «Вопросы славянской филологии», под редакцией проф. Е. И. Покусаева, Изд. Саратовского университета. 1963, стр. 225—265.

рассуждении, где он говорит, что незачем еще думать о разделении власти и о политической системе внутреннего правления, что мы не созрели еще для чистых наслаждений гражданской свободы, что время есть лучший лекарь болезней, что в России недостает достойных лиц, которые бы могли поддерживать представительную систему, что Государственный Совет и Комитет гг. министров в 24-е года ничего еще не сделали достойного благодарности народа и памяти потомства, что дворянское сословие не имеет патриотизма и рабство еще существует, что, несмотря на утверждение университетов, просвещение еще далеко, что господствуют еще предрассудки, невежество, корыстолюбие и несправедливость, что должно ожидать вожденных последствий с терпением и упованием, что при стремлении рода человеческого к совершенству, при быстроте взаимных сообщений народов, отличительной черты XIX века, когда нравственные и гражданские успехи Англии и Северной Америки перенесутся благодетельным ходом времени и в наше хладное отечество (чего боже избави!) и озарят его светом своих добродетелей и общественного порядка и когда пройдет младенческий возраст России и окрепнут силы и разум, тогда сами цари даруют ей основные законы, т. е. конституцию; а, по-видимому, г. Герману нравятся преимущественно пред другими конституции Англии и Северо-Американских штатов. Замечательны его также, Германа, мечтания, на полях его рассуждения вынесенные, о восстановлении Польши и о соединении Италии и мысль, брошенная отдельно в конце того ж его сочинения: «должно падать господствующее мнение, чтоб усмирить его, когда будет время». Может быть, г. Герман и не имеет никакого деятельного участия с любителями переворотов; быть может, он острит только свой игровой ум и утешается картинными произведениями воображения о политической свободе без всякого участия в том его сердца и, помещая себя в число электрических голов, любитесь своими бравадами; но за всем тем невместно ему было свободные сочинения сообщить другим, как например подпоручице Минятовой и оставанному штабс-ротмистру Родионову, что видно из рапорта частного пристава Машкина казанскому полицмейстеру, 10-го сего октября поданного, из собственных его, Германа, показаний, и распространять тем дух чужеземного брожения. Что ж касается, наконец, до его нелицеприятных и оскорбительных отзывов о почтенных сановниках государственных и, ужасно думать! даже о священных особах блаженной памяти государей наших императора Павла и Александра I-го, коего он именует притом личным своим благодетелем, то прилагаю перст к устам моим и тем оканчиваю разбор оного Германа сочинения. 3) Его ж сочинение, писанное по кончине государя императора. Здесь Герман уже именует его великим и благоославляет царствование его и скорбит вместе со всем отечеством о его кончине: это достойное дело верноподданного; одобрение желательных его идеалов о усовершенствовании администрации армии как по кавалерии, так и по пехоте, о усовершенствовании морских сил и военных поселений зависит от началств, до коих сие принадлежит. 4) Его ж сочинения о поэзии и музыке, 5) Об опытности, 6) Отрывок о воспитании — ничего политического в себе не содержат и суть только литературные его опыты. 7) Статья о вынуждении одним братом у другого насилии и пронрыством у местного начальства имения, основанная на истинном происшествии в Орловской губернии, о коем он слышал и видел сих обоих братьев, одного в нищете, в гражданском и нравственном ничтожестве, а другого в торжестве своего бесчеловечного корыстолюбия (оные братья Костромитиновы), принадлежит к числу филантропических и дает повод правительству к раскрытию сего происшествия. 8) Статья, готовленная г. Германом для напечатания в «Вестнике Европы» г. Коченовского, на отрывок Прадтов о колониях, о славной в будущих веках судьбе Северо-Американских Соединенных областей, Гишпанской Америки и России. В сем сочинении он, Герман, объясняет мысль Прадтову, что государства сии состоят под одним правительством потому только, что они пустыни; но если в России народонаселение достигнет до ста миллионов жителей, то это будет эпохою ее разделения на многие земли, а шаги ее в просвещении и сближении с Европою содействуют, ускоряют оное, ибо какое правительство достаточно для дел ста миллионов подданных? Где взор, способный следовать за движением такой массы? Где ум для управления и рука для удержания оной? Г. Герман, не отвергая и не приная безусловно сего Прадтова идеала, между тем замечает, что событие сие, отдаленное многими столетиями вперед, не невозможно; к подтверждению чего, переносясь в область возможностей, говорит, что многие части нашего отечества соединяют в себе по неистощимому богатству внутренних сил великие удобства к состоянию независимому и самобытному, и затем указывает на Оренбургскую губернию, из всех более ему известную. Предречения Прадта, Мерсье и Германа ни в каком российском журнале не должны быть терпимы и распространяемы в народе. Не удивительно за сим, что при таковых разглашениях башкирец может думать о политике и независимости своей? 9) Статья об английских парламентах и депутатах как историческая и основанная на выписке из одного немецкого журнала в сем отношении любопытна, но под завесою парламента верхнего и нижнего и депутатов-англичан не кроется ли применения к дворянским выборам не только польских, но и великороссийских губерний, на большинстве избирательных голосов основываемых, по силе всемирносправедливее жатованной благородному российскому дворянству грамоте, к коренным законам сопричисленной? 10) Его ж, Германа, перевод Шиллеровой истории об освобождении Нидерландов в царствовании Филиппа II-го, с французского перевод Шато-Жирона

взятый. В сем сочинении яркими красками оттенено восстание слабых нидерландцев против сильнейшего в свой век из всех монархов во всей тогдашней Европе гишпанского короля Филиппа II, своего государя, и богатствами, и пространством земель, и военными силами, и славою оружия, и политическим перевесом во всех кабинетах именитого; прославлены усилия и торжество бельгийцев и возглашен в Европе упадок гишпанской монархии. Под сим историческим отрывком не таится ли подстрекания мятежного духа польского, подобно как и 11) в переведенном отрывке из истории английского парламента пробегает искры, приманчивые для любителей политических переворотов. Наконец, 12) Дорожная книга, заведенная Германом, по его показанию, в 1808 году, когда ему было от роду 17-ть еще лет. В сей книге особенное внимание обращает помещенная на 44-м листе шифрная азбука, по словам его, изобретенная для забавы молодых лет, коей при сем прилагается ключ для перевода. Быть может, показание Германа и справедливо, а можно таковые шифры употреблять и в других тайных переписках, как то и открыто мною по бумагам штаб-капитана Ситникова. Еще замечателен в сей книге на обороте 53-го листа карандашный чертеж, по-видимому одра смертного, в возглавии коего карандашом же означена французская литера «i», отчасти похожая и на российское «у», а вверху чернилом в четыре ряда написано имя Александра; в конце же книги на портфельном листе под номерованною 69-ю страницю и еще какие-то фигуры, похожие на литеры, как бы оттиснутые, коим я не умел дать настоящего значения и потому требуют собственного откровенного объяснения со стороны самого Германа. Замечания таковые о всех вышеобъясненных предметах сообщены мною и г. управляющему губернии на его усмотрение; а между тем по распоряжению его от майора Германа истребованы некоторые представительные пояснения, с коих, равно как и с самих бумаг, у него взятых, и сверх того с рапорта частного пристава Машкина, казанскому полицмейстеру поданного, всего пятнадцать приложений имею честь представить на благоусмотрение вашего превосходительства. Подлинные же и с моею скрепою от г. управляющего губернии представлены к г. генерал-адъютанту корпуса жандармов шефу Александру Христофоровичу Бенкендорфу; а самый майор Герман состоит под строжайшим надзором гражданской полиции.

Казанский губернский прокурор Гавриил Солнцев.

№ 1256. 15 октября 1831.⁷

ОТВЕТНОЕ РАССУЖДЕНИЕ Ф. И. ГЕРМАНА, АДРЕСОВАННОЕ В. И. ШТЕЙНГЕЛЮ

Ma réponse à l'écrit sur la nécessité dans l'état de loix constitutionnelles de M. le Colonel
Fon Wisin.⁸ Mai, 1825

Я читал рассуждение, которое ты у меня оставил, нахожу его справедливым вообще, но мечтательным и вредным в приложении. Кто не чувствует, что законы, определяемые автором под именем основных, составляют истинное благо народов? Но во все ли эпохи народного просвещения, во всяком ли возрасте и состоянии государства полезно их установление? Если б, например, Петр I-й вместо всего того, что он сделал для преобразования тогдашней России, ввел в ней английскую конституцию, которая в его время уже утвердилась, что бы из того вышло?

Полвека после Петра Екатерина сзывала депутатов. Один все улучшения своей области заключил в новой кровле воеводского дома; другой, который почитал себя умнее и либеральнее прочих, после вопроса: будут ли за изданием уложения именные указы в употреблении, объявил, что депутатам делать нечего. Я уверен, что если б и Александр решился на подобный опыт, то следствия будут не лучше. На поприще просвещения далеко ли мы ушли от той точки, на которой Петр нас оставил? А к основным законам, т. е. к конституции, к представительному правлению народы должны быть приготовлены веками успехов нравственных и гражданских. Убедительный пример тому видим на Франции: в 1814-м году проект конституции, начертанный под диктатурою Талейрана, одного из лучших умов страны, опередившей нас целыми столетиями в политике, заключал одни мелочные, своекорыстные виды деспотического Сената, которым хотели принести на жертву свободу и истинные блага нации. Но король, озаренный во мраке бедствий своих светильником политических установлений

⁷ ЦГИАЛ, ф. 1405, дело 1831 г., лл. 1—6.

⁸ Мой ответ на сочинение о необходимости в государстве конституционных законов г-на полковника Фонвизина (фр.). Сокращенный вариант «Рассуждения» приписывался не только Никите Муравьеву, но и племянникам Фонвизина. Герман исходит из последней версии, поэтому он и обращает своей ответ полковнику Фонвизину.

Англии, присягнул хартии, которая в главных основаниях подобна английскому государственному уложению. Между тем не прошло пять лет, как нация сама собою склонилась под монархические формы. Из 80 тысяч избирателей составилось только 15; из погодных депутатов — семилетие; из свободных — на жалованья правительства; произвол стал вкрадываться во все отрасли правления; королевский министр объявил палате, что выборы должны подлежать влиянию Министерства; в Департаменте финансов сумма 200 миллионов выписана в расход под статью: confusion; правая сторона в палате вошла к левой в пропорцию едва не 10 к 1; Манюэля выгнали из камеры; протестантов губили, как в одну ночь св. Варфоломея; не говоря уже о пастырском увещании архиепископа Труасского, которое проникнуто началами гнуснейшего деспотизма. Доказательство, что нация еще не созрела для конституционных форм!

Призвать ли еще в свидетели Англию? Раскром ее историю: уже шесть веков, с 1215-го года, земля сия питала корни личной свободы граждан и право суда присяжных; но зреет ли что-нибудь во тьме? Мрак невежества, покрывавший нацию, как и всю Европу в средние века, не допустил расцвести сим прекрасным семенам до 1688-го года, т. е. до истечения 500 лет после подписания Иоанном Безземельным Великой хартии (Magna Charta). Она была беспрестанно раздираема, и Эдуард I одиннадцать раз присягал ей; следственно, еще чаще нарушал ее. Спустя 200 лет Генрих IV хотел ее возобновить и обещал уважить права и свободу нации, но нация сама себя еще уважить не умела, и ни в какое время не совершалось более насильств, пыток, заговоров и междоусобных драк, как на сих кровавых страницах истории. Кончилось тем, что при Генрихе VII возник деспотизм наисовершеннейший, а при Генрихе VIII наикровожаднейший. В его адской тирании погиб благородный Томас Морус и парламент обесславил себя рабством, варварством и жестокостями беспримерными. Четыре раза переменал веру, и кто исчислит все казни, все жертвы тиранства и фанатизма сего времени? При Елизавете умы утопали еще в том же духе невольничества, и раболопный парламент осудил Марию Стюарт в угоду личной ненависти и мести королевы. Революция возникла при Карле I; народ и парламент от успехов торговли были уже умнее; но Кромвель, Карл II и Яков II были тираны, потому что истинный свет еще не озарил умов. Оксфордский университет провозгласил догматы рабства, и Локк был выгнан из университета за несогласие с постыдным его учением. Акт Habeas Corpus, основание личной свободы англичан, состоялся при Карле II; и между тем никогда не было более насилия свободе, как в это царствование. При Якове бесчеловечный полковник Кирк и лютый инквизитор Жеффрейс разлили реки невинной крови. Так было еще в 1686-м году. Два года спустя свергли Якова II и утвердилась конституция; но еще до 1746 года, т. е. до половины XVIII века, эпохи, в которую философия, политика и науки озарили Англию светом немерцающим, были явления, где дух партий и нетерпимости торжествовал над истиною и правами человечества. Так, справедливо, что самые лучшие законы, самые твердые установления не служат ни к чему, если семена просвещения не возрастали благодетельных плодов своих.

Теперь сослаться ли на пример Северной Америки? Отчего сия народная держава столь быстро возвысилась и достигла на наших глазах такого совершенства политического? Оттого, что при самом начале своей независимости вся нация состояла из граждан, исполненных духом религии, справедливости и семейственных добродетелей; оттого, что нация наслаждалась уже сокровищами своего внутреннего трудолюбия, который есть прекраснейший плод наук и искусств, переплывших океан вместе с умами, их вещающими; оттого, что в числе сих умов были гении — гордость и удивление всего человечества. Спрашиваю: чем подобным можем похвастать мы в свое время?

Дайте эскимосам или киргизам какие хотите формы гражданского общества; возьмите грифель у мудрости и им напишите для них уложение. Что ж? Думаете ли, что совершили великое дело политики и законодательства? Нет! Гражданское общество должно состоять из граждан; законы должны иметь исполнителей, а ни теми и ни другими не могут быть ни дикие, ни полудикие дети природы. И вот почему в России не зачем еще думать о разделении власти, о политической системе внутреннего правления в формах века и духе народов просвещенных.

Не говорите мне о победах, о военной славе. И монголы и турки побеждали! Но военные успехи не имеют ничего общего с успехами разума. Там торжествуют сила, удача, ошибка, здесь общее чувство справедливости, самоотвержение воли, совершенство мыслей и мирных трудов и благие нравы.

Какая мне выгода в суде присяжных, когда они будут судить меня бессовестнее неприсяжных? и либо не понимают святости клятвы и продадут свою присягу моему обвинителю, как теперь у нас продают целые селения первому, кто захочет купить.

Вообразите богатого русского провинциала, который, владея десятью тысячами душ и наслаждаясь тремстами тысяч дохода, приехал в Петербург и влюбился в Елагинский дворец. Он разорился на построение подобного в своей деревне; здание кончено: но в нем жить некому! Оно стояло густо и разрушилось прежде, нежели на что-нибудь годилось. Вот и изображение России, если б она стала домогаться конституционного правления в наше время.

Кто будут у нас представители, кто избираемые и избиратели? Где среднее состояние (tiers état)? Екатерина дала нам право избирать своих судей и управителей полиции: как пользуемся мы сим правом? Кого выбираем? Где же возьмем депутатов

в Палату верховного правления? Где наследственные дарования будущих пэров? К чему готовятся и как воспитываются дети наших бояр и богатых дворян? Положим, например, что Мордвинов, Ростоичин не уронили бы аристократической камеры, что Гурьев, Безбородко могли бы еще быть терпимы: но сыновья и наследники их куда годятся? Литература народа есть верное мерило его просвещения. Сообразите все произведения наших литературных талантов и скажите беспристрастно, не есть ли это лепетание младенцев? Кроме «Истории» Карамзина, «Теории налогов» Тургенева и немногих страниц Батюшкова, переживет ли хотя одно творение десятилетие, в которое родилось? Поэзия, правда, имеет образцы высокие и язык ее достойный; но усилия поэзии свойственны детскому возрасту народов; а свобода, без сомнения, не может быть ни нуждою, ни достоянием детей. Воспитание — вот все, что им нужно и полезно; и, следовательно, необходима не власть ограниченная, а власть деятельная учителя, которой с отеческою заботливостию и с принуждением, когда нужно, обратил бы их на путь, с которого они совращаться могут. Одним словом, нам потребен другой Петр I со всем его самодержавием, а не Вильгельм III, не Людовик XVIII с их конституциями; даже не Франклин и не Вашингтон с их добродетелями.

Жертва правления Александра, я, конечно, не могу быть его льстецом, но как друг истины могу ли не признать превосходства его личного характера? Скорее обвиню его в слабости, нежели в злоупотреблении власти, которая находит границы в одних побуждениях его собственной души. Он несчастливо выбирает людей и, может быть, недовольно строг; скажу более — недовольно деятелен в управлении внутреннем: вот все, что я могу поставить в вину его, но и тут вина падает более на век и на народ его, нежели на личный характер. Он уже ввел некоторый род ограничения установлением Государственного Совета и Комитета министров, т. е. возвратил государство к древним его аристократическим формам, уничтоженным могуществом Петра. Но что же сделали Совет и министры достойного благодарности народа и памяти потомства? В двадцать четыре года сего, без сомнения, кроткого царствования возникло ли хоть одно гражданское достоинство? Дворянство вспомоществовало ли трону в намерениях ко благу общему? В годину испытания, т. е. 1812-го года, не покрыло ли оно себя всеми красками чудовищнейшего корыстолюбия и бесчеловечия, расхищая, как и теперь, все, что расхитить было можно, даже одежду, даже пищу, и ратников, и рекрут, и пленных, не следуя на прославленный газетами патриотизм, которого действительно не было ни искры, что бы ни говорили о некоторых утешительных исключениях? Двадцать лет существуют университеты: кто в них учится? Спрашивать ли, что доучивается? Дворянский полк, из которого выходят в армию 20-ти и 25-тилетние офицеры, не вводил ли сию армию гнуснейшими образцами невежества и пороков? Молодые дворяне, которые на наших глазах вступили в службу, не отличаются ли отсутствием всего, что дворянство и человечество имеет благородного и достойного? Я имею честь служить в полку, который смело можно назвать одним из лучших в армии счастливым соединением в нем отличных офицеров; но я с сожалением видел, что в три года моей службы из тридцати или семидесяти вступивших вновь дворян только один нравами и просвещением способен украшать свое звание, десять, может быть, не стоят его, а остальное число могло бы без потери для общества остаться в кругу родных холопов, бегунов и собак.

Несколько электрических голов, к которым принадлежит и твоя, любезный друг, может быть и моя, кружатся над суеверием свободы и конституционных теорий, несвойственных и несвоевременных для нации, как выше доказано; почему же ни одна из сих голов не доступна к мыслям об ограничении наших собственных прав над действительными рабами, наследственными крестьянами нашими. Самый человеколюбивый, самый великодушный из помещиков наших не располагает ли произвольно семействами, отнимая сына, брата, дочь, часто мужа, жену из земледельческой хаты для наполнения своей дворни, псарни, коровни, винокурни? Мысли императора об этом предмете не подлежат никакому сомнению; в двадцать четыре года своего царствования он не прибавил ни одного раба, а несколько тысяч выкупил; лифляндских рабов освободил всех, и известно несколько замечательных слов его, сюда относящихся, из которых достоверно, что всякой опыт дворянства в сем отношении был бы у трона принят с благоволением, что доказывается примерами свободных хлебопашцев. Но мы проповедуем пределы власти над собою, а не своей над теми, коих жребий зависит от нашего произвола гораздо более и чаще, нежели наш от самодержавия; ибо должно, наконец, сказать беспристрастно, что Александр гораздо менее деспот, нежели Аракчеевы, Гурьевы, Волконские, которых невежество и самоволие не тяготят только над их собственными творениями. Но сии орудия тиранства, ежели оно существует, возникли посреди нас; они принадлежат к наемному сословию; соучастники и угодники их — к нашему поколению; и многие, если не каждый из нас, при благоприятных обстоятельствах, может быть, не погнушались бы также разделить преступное упоение их всемогущества. . . Не очевидно ли после всего этого, что мы не созрели для чистых наслаждений гражданской свободы и что государство, где привилегированный класс народа не спешит присвоить себе плодов чужеземных наук и искусств, где сей план не возвышается над самым последним отчуждением его пороков (я говорю об общей заразе сребролюбия и непорочности в жизни), где безнравственность, стремление к роскоши, праздность и предрассудки заменяют гражданские добродетели, где, на-

конец, умы, даже сияющие блеском превосходства над другими (я говорю даже о себе), действительно суть не более как полуумы по недостатку здравых политических истин, методы в изучении их и опытности в соображении, — там нечего думать об исконных законах, определяющих состав государственного тела, там остается только желать более любви к просвещению и справедливости, более нравственных успехов, более чистоты в исполнении законов, уже существующих, которые как бы ни противоречили друг другу, но ни один не противоречит совести и все имеют одну цель: безопасность лиц и неприкосновенность собственности. Страсти и пороки человеческие заразительны, но сердцу утешительно верить, что и добродетели заразительны также, а в том нет сомнения, что род человеческий стремится к совершенству. Станем ждать с теплою верою в благость провидения, что при быстроте взаимных сообщений народов, отличительной черте XIX века, нравственные и гражданские успехи Англии и Северной Америки перенесутся благодетельным ходом времени и в наше хладное отечество и озарят его светом своих добродетелей и общественного порядка.

Александр теперь в цвете возраста и силы; он видел собственными глазами большую половину областей своих; ему могут наскучить разводы и парады; он может, наконец, заняться сам постепенным улучшением разных частей государственного устройства, исправлять одно, заводить другое, уничтожать невежество, питать семена учения и дух чести, сблизить нацию с собою, допускать публичную известность о действиях всех пружин правления. Он сражался как герой; а когда великий воин был дурным человеком? Он дал Европе мир и оградил его прочностью; а когда миротворец был врагом общественного порядка? Он вел себя великодушно и с французами и с поляками, с побежденными и завоеванными народами; будет ли хотеть порабощения своих, не гений, но близок к нему силой духа и добротою сердца? Он в упоении славы и власти беспредельной не может желать ничего, кроме счастья своего народа, надобно только, чтоб он видел источники, где почерпнуть его. Двадцатипятилетний опыт его — не хуже умозрений. Будем ждать вожденных последствий с терпением и упованием. Время есть лучший лекарь болезней; а гражданское общество бессмертно, и на развалинах одного возвышается другое; но Россия юная, сильная, богатая, полная жизни — далека от падения; младенческий возраст ее пройдет, силы и разум окрепнут. . . тогда сами цари даруют ей основные законы, ибо они не могут быть счастливы и истинно велики без счастья и величия народов своих. Будем благодарны фамилии Романовых; они, не исключая даже и неужного Павла, постоянно воздвигали колосс наш из мрака на вид и изумление всего земного шара. Только чернь, возникшая из пыли, не уважает воспоминаний, освещенных правами на народную признательность.⁹

ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫЕ ЗАПИСКИ Ф. И. ГЕРМАНА

Первая

На требование управляющего Казанскою губерниею г. вице-губернатора Еврафа Васильевича Филиппова имею честь объяснить: 1) что тетрадь, на синей бумаге писанная, под именем «О необходимости неперменного законоположения», доставлена мне была в 1822 году подполковником бароном Штейнгелем как любопытное сочинение фон-Визина; и поелику по содержанию сей же тетради возник между бароном Штейнгелем и мною спор о идеях, в оной изложенных, то Штейнгель просил меня равным образом изложить мои мысли о сем предмете на бумаге, что я впоследствии времени и исполнил. 2) Сию тетрадь и мой ответ, вчерне у меня оставшийся, читал я в первых числах сего октября месяца в доме помещицы казанской подпоручицы Минятовой с отставным штабс-ротмистром Родионовым единственно оттого, что, перебирая на днях свои бумаги, нашел их у себя и поелику г. Родионов изъявил мне желание прочесть что-нибудь мною писанное. 3) Сочинение фон-Визина, с мыслями которого я ни мало не согласен, однако ж не полагал я себя обязанным представить правительству, во-первых, потому, что сочинение сие, будучи давно написано, могло быть и без того известно всем, кому сие надлежало ведать, второе, что автор давно уже умер; третье, что доставлено оно мне было известною особою, которая и сама могла бы сие сделать, если б почитала то полезным, и что, наконец, я не находил ничего противного тому в сем сочинении, которое не согласно было со многими книгами печатными на иностранных языках, которые находятся в свободном обращении в руках публики. 4) Слова мои: и вот почему в России незачем еще думать о разделении власти, о политической системе внутреннего правления в формах века и духе народов просвещенных, будучи следствием многих доказательств, что народы самые просвещенные в наш век достигли основных своих законов весьма медленно и после чрезвычайных усилий разума, — слова сии доказывают, что я признавал и теперь признаю всякий опыт в России в сем роде несвоевременным, понимая всегда, что таковые опыты могли бы происходить

⁹ Там же, лл. 13—17.

единственно от самодержавной власти, и рассуждая о сем предмете исключительно как о метафизической идее, а отнюдь не как о вещи. В доказательство чего в начале всей моей статьи говорено о Петре Великом, Екатерине II-й, Александре I-м, а в конце говорится, что сами цари некогда даруют основные законы своему государству, когда увидят, что они необходимы для его блага. В одном же месте моей статьи говорится, что не только несвоевременны для России основные законы, но и несвойственны ей как по времени, так и по духу народа, привязанного к самодержавию, которое, по моему мнению, ныне всего нужнее; почему в другом месте и сказано, что нам потребен правления Александра — относятся к тому несчастному происшествию в моей жизни в 1822 году, когда я выписан был из гвардии, лишен должности адъютанта и правителя канцелярии при генерале Эссене, отослан в армейский полк на фрунтовую службу; и всем сим употребленным против меня мерам до сих пор не знаю ни причины, ни повода. Когда же старался узнать я сие от лиц, составлявших правление, то мне отвечал князь Волконский, что «я родился для того, чтобы повиноваться».¹⁰

В т о р а я

По требованию управляющего Казанскою губерниею г. вице-губернатора Еврафа Васильевича Филиппова имею честь объяснить:

1-е

Что тетрадь на синей бумаге, под названием «О необходимости неперменного законоположения», сочинение известного писателя фон-Визина, доставлена мне была в 1822 году бывшим адъютантом графа Гормасова подполковником бароном Штейнгелем. Как произведение сие содержит мысли, которые в разговоре с бароном Штейнгелем я оспаривал, то он просил меня, для лучшего его убеждения, изложить идеи мои на бумаге, что я впоследствии и исполнил, единственно на тот конец, дабы доказать г. Штейнгелю, что он весьма заблуждается, если разделяет мнения сочинителя той тетради о равной необходимости у всех народов неперменного законоположения, и я помню, что на словах употребил я выражение, опущенное в моем письменном ответе, именно: что я еще не знаю, не должно ли признать отступление от монархических форм возвратным шагом привилегации народов? Выражение сие, возбудив весьма жаркое пренеие со стороны Штейнгеля, ибо он, быв весьма умным человеком, владел разговорным языком в совершенстве, я не повторил оное в своей бумаге, для избежания повода раздражить его самолюбие. Впрочем, рассуждения сии возникли между нами как предмет метафизический и литературный в уединенной беседе, какую мы часто имели между собою, но мне никогда и в голову не могло прийти, чтобы можно было когда-нибудь изъяснять оные в видах преступных или непозволенных.

2-е

Что сию тетрадь и мой ответ на оную читал я в первых числах сего октября в доме здешней помещицы г. Мпнятовой с оставшим штабс-ротмистром конной гвардии Родионовым, потому что сии бумаги недавно попали мне под руку, а г. Родионов желал читать что-нибудь мною писанное.

3-е

Что хотя мысли фон-Визина признавал и признаю я ложными, но не почитал себя обязанным представлять оные правительству, во-первых, потому, что они написаны были слишком тридцать лет назад и могли быть уже известны, кому о них ведать надлежало; во-вторых, что они сообщены мне были известным человеком, который мог сам собою то сделать, а предупредить его в том я почитал себя не вправе и находил неприличным; в-третьих, что автор давно уже умер; в-четвертых, что те же самые мнения находятся во многих печатных иностранных книгах, имеющих в обращении публики и всякой книжной лавке; и, наконец, что обязанность верноподданного и честного человека не заключал я в обязанности беспокоить правительство доносами, тем более, что брошюрка фон-Визина наполнена так называемыми общими мыслями; намеки же и иллюзии относительно к России упомянуты косвенно и не оскорблено ни одно собственное имя; а предание изустное сохранило память о сем авторе как о человеке нечестных нравов, по которым мнения его и не могли иметь влияния ни на современное, ни на последующее поколение. Одним словом, мне казалось и теперь кажется дело сие не имеющим никакой государственной важности. Безумные и неистовые покушения заговорщиков 14 декабря не считал я никогда возможными в то время, когда тетрадь фон-Визина была мне доставлена, и барона Штейнгеля я не полагал никогда способным иметь в них участие, а если б я мог сие предвидеть, то без сомнения

¹⁰ Там же, лл. 41—42.

удалился бы от всякого с ним сообщества; ибо я во всю жизнь вел себя как верный и усердный слуга царской и благонамеренный, по крайнему разумению, член моего общества, в которое судьбою поставлен. А ежели бы предузнал я существование комплота против государственной безопасности и августейшей особы государя или высочайшей фамилии, то всеконечно победил бы в себе отвращение к доносам и поступил бы по долгу присяги и чувству чести и совести. По всем сим причинам осмеливаюсь думать, что непредставление Фонвизовой тетради не может подвергать меня обвинению в недостатке преданности к государю и отечеству и что я достаточно исполнил свой долг, когда при речи о содержащихся в оной ложных мыслях опровергал их силою доказательства исторических и современных событий; следственно, содействовал утверждению в кругу своем мнений здравых и достойных человека просвещенного и благонамеренного. К сему я должен присовокупить, что ответ мой на рассуждение фон-Визина, будучи писан единственно для убеждения Штейнгеля, изложил в таком виде, который бы не позволил я себе никогда употребить, если бы писал для всякого неизвестного мне читателя, ибо я знаю, что самые чистые и благие мысли о предмете столь щекотливом могут быть изъяснены более по тону, нежели по существу своему. Напротив того, я должен был наблюдать сей тон в отношении Штейнгеля, ибо он, лишившись пред тем весьма блистательного места, какое занимал при графе Тормазове, в качестве его адъютанта и правителя всех канцелярий, смотрел на все явления вокруг себя сквозь черную дымку, почему мне надлежало согласоваться некоторым образом с сим беспокойным расположением его ума, дабы тем вернее приготовить торжество моих доказательств. Но, повторяю, что все сии споры, возражения и опровержения происходили в моих попятях без всякого, без малейшего предположения действий, а единственно и исключительно как предмет литературный и метафизический, без всякой другой цели, как только убить свободное время и занять праздность не картами и не шахматами, за которыми у нас проходили целые дни. Он находился тогда в отставке и имел частные занятия, оставившие ему много досуга; а я был в то время фрунтовой офицер и проездом в полк жил с дозволения начальства недели три в Москве. Связь же моя с ним была родственная: мой двоюродный дядя женат на его сестре.

4-е

Что слова мои: и вот почему незачем еще в России думать и проч. — не значат, чтобы я полагал, что незачем только теперь о сем думать; но, напротив того, значат, что вовсе не нужно о сем думать. Далее сие выражено еще яснее словами, что все сии соображения не только не своевременны, но и несвойственны, ибо дух нашего народа, по мнению моему, состоит в совершенной противоположности со всякою другою формою правления. Поговорки народные «батюшка-государь», «белой царь», «надежда государь» служат достаточным доказательством, что нация проникнута духом самодержавия; а думать о правлении, несообразном с духом нации, я почитаю безумством во всякой стране и старался это доказать свидетельством Франции, приводя Штейнгелю собственные слова писателя Беля. Выражение же мое «в России думать» поместил я в двояком значении: первое — думать в Царском Совете, законным властям, с предположением издать устав или закон, и второе — думать людям частным, занимающимся в тишине уединения бескорыстными и частными размышлениями о благе и судьбе народов, о причинах их величия и упадка и передающим потомству плоды своих наблюдений и исследований, не возмущая нисколько порядка уже существующего и не мечтающая создать что-либо собственной силой. Только в сем смысле понимал я, и теперь понимаю, мое выражение и утверждаю, что в России незачем еще думать о переменах в формах века и духе просвещенных народов ни лицам, обязанным заниматься таковыми мыслями по долгу своего звания, ни людям, из любопытства рассматривающим отвлеченные вопросы ума и времени. А что случится чрез несколько столетий, о том я не рассуждал, но доказывал примером Англии, что потребно было 500 лет, дабы основные законы там пришли в надлежащую зрелость и силу. Во всяком же случае таковых законов полагал я возможным исключительно от власти самодержавной и вначале говорил о нововведениях Петра Великого и Екатерины Второй, а впоследствии еще точнее изъяснился, что сами цари даруют России некогда сии законы, если усмотрят в них прямую потребность и благо своего государства. Упомянул даже и о покойном государе Александре Павловиче как о установителе нового порядка учреждением органического Государственного Совета и Комитета министров как исполнительной власти, чего в прежние царствования не было. Следственно, во всем том, что я по сему предмету писал и думал, я имел в виду только то, что бы могло произойти образом законным, а отнюдь не насильственным: чего мне и на мысль не впадало, да и теперь представляется невозможным ни в каком отношении и смысле. В доказательство справедливости всего вышеприведенного ссылаюсь на слова мои, находящиеся в одном месте моей бумаги и выраженные таким образом: «нужна не власть ограниченная, а учитель, который бы с отеческою заботливостию и с принуждением, если нужно, вел на путь истины», и в другом месте: «одним словом, нам потребен другой Петр 1-й со всем его самодержавием, а не Вильгельм и Людовик с их конституциями, даже и не Франклин и не Вашингтон с их добродетелями».

5-е

Что слова мои: «жертва правления Александра» — относятся к тому несчастному происшествию в моей жизни, когда я в 1822 году не имел ни на поведении, ни на совести ни малейшего упрека, был от моего начальника представлен за отличие к награде, вместо того взят от него, лишен своего места и должности, выписан из гвардии и отослан во фронт в армейской полк; когда же просил я бывшего начальника главного штаба его императорского величества князя Волконского объявить мне причины, по коим имел несчастие подвергнуться гневу государя императора, и позволить оправдаться, представя несомненные доводы моей невинности, то получил ответ его сиятельства, что «я не рожден для вопросов, а для повиновения». Когда же в 1824 году начальник мой генерал Эссен представлением к преемнику князя Волконского графу Ивану Ивановичу Дибичу-Забалканскому, оправдывая меня, ходатайствовал, чтобы я обращен был к нему в адъютанты по-прежнему или употреблен был при делах Главного Штаба, то получил в ответ, что высочайшего соизволения на то не последовало. И таким образом я впоследствии принужден был оставить службу, желав всегда посвятить ей все силы жизни и все способности ума, имев лучшую мечтою своего воображения славу умереть на службе своего царя и отечества, по примеру деда и отца моего. В сем несчастном происшествии, которое совершилось надо мною именем высочайшей власти, не имел я безумства роптать на сию власть и даже богу не смел возносить моих жалоб на покойного государя, которого всегда почитал отцом народа и личным моим благодетелем; но в угнетении судьбы моей, лишившись всех надежд благородного, законного честолюбия, не мог не таить в душе моей огорчения против начальника, который не имел ни великодушия, ни справедливости выслушать мои доводы и дать мне способы к оправданию. И вышеупомянутые слова суть отзыв оскорбленного сердца в откровенной исповеди его пред человеком, с которым я связан был узами родства, доверенности из уважения, на которое в то время он имел беспорочное право как умом и просвещением своим, так и безукорительным, благородным поведением, сколько оно мне было известно.

Писав ответы на вопросы, предложенные мне г. управляющим Казанскою губерниею, в его кабинете, когда было в оном рассуждаемо и о других предметах, развлекавших внимание в то же время, я не мог представить свои ответы с надлежащею ясностию и отчетливостию в словах и мыслях, а потому прошу покорнейше принять вместо оных сии четыре листа, написанные мною впоследствии на моей квартире, в минуты более спокойные. Существо сих ответов одно и то же с первыми, но в них более точности и подробностей, а истина в тех и других одна и та же.

14 октября 1831.¹¹

В. И. Штейнгель не случайно передал своему племяннику «Рассуждение» Фонвизина. Видимо, он хотел приблизить Германа к тайному обществу и исподволь готовил его к восприятию декабристских идей.¹² В 1822 году Герман был выписан из гвардии, лишен должности адъютанта и правителя канцелярии при оренбургском генерал-

¹¹ Там же, лл. 43—47.

¹² Ф. И. Герман сотрудничал в Вольном обществе любителей российской словесности. В архиве Вольного общества сохранилось его письмо, посланное из Оренбурга, в январе 1819 года (рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР, ф. 58, ед. хр. 3, л. 64 и об.). Выполняя отдельные поручения Вольного общества, состоя в нем членом-корреспондентом, Герман в Оренбурге распространяет «Соревнователь просвещения и благотворения». Об этом он и пишет секретарю Вольного общества:

«Милостивый государь мой Андрей Афанасьевич,

По причине отлучки моей по должности из Оренбурга, имел я честь получить почтенное отношение Ваше от 20 ноября минувшего года за № 547, сего января 6 числа, и вследствие поручения, возложенного на меня С.-Петербургским Вольным обществом любителей российской словесности, немедленно роздал все присланные ко мне билеты на журнал, изданный обществом в 1818 году. Препровожая при сем следующие за сии билеты деньги, сто пятьдесят рублей, покорнейше прошу Вас, милостивый государь мой, исходатайствовать распоряжение о немедленном доставлении журнала гг. пренумерантам, коим список при сем прилагаю. Будучи всегда готов, по мере возможности, исполнять волю общества, с истинным и совершенным почтением имею честь быть».

В члены-корреспонденты Ф. И. Герман был избран 5 февраля 1817 года. 14 августа 1822 года он присутствовал на заседании Вольного общества и читал свое стихотворение «Уединение», содержащее намек на превратность судьбы. Тогда же, видимо, В. И. Штейнгель передает Герману «Рассуждение» Фонвизина.

губернаторе П. К. Эссене и неожиданно отослан в армейский полк на службу. Из примечаний Штейнгеля к «Запискам несчастного, содержащим путешествие в Сибирь по канату» В. П. Колесникова мы узнаем о действительных причинах расправы с Германом. В. И. Штейнгель свидетельствует:

«Федор Иванович Герман, сын известной своей ученостью берг-гаубтмана Германа, бывшего начальником екатеринбургских заводов, воспитывался в горном кадетском корпусе и служил сперва при отце, но по смерти отца вышел из горной службы. Когда генерал Эссен назначен был военным губернатором в Оренбург, он взял его в адъютанты. По этому случаю Герман вступил в военную службу и вскоре переведен был в лейб-гвардии гусарский полк. Генерал Эссен поручил ему пограничную часть в своей канцелярии, и он не замедлил выказать свои отличные способности, так что генерал Эссен по этой части совершенно на него полагался. Но как благородный Герман не терпел взяточников и невежд, каких тогда в Оренбурге было немало, и неосторожно обнаруживал к ним свое презрение, то один из них, оскорбленный им при разводе, не найдя удовлетворения у Эссена, отпросился в Петербург и подал донос князю П. М. Волконскому. Следствием этого был случай почти беспримерный. Генерал Эссен, бывший на этот раз в Петербурге (в 1823 г.), получил отношение начальника штаба, чтобы приказал своему адъютанту Герману явиться в Главный штаб е. и. в. Герман оставался в Оренбурге. Эссен велел ему приехать, и когда <тот> приехал, послал к кн. Волконскому, *не зная сам зачем*. Когда Герман явился, кн. Волконской сказал ему, что до сведения государя императора дошло, какое вредное влияние имеет он на начальника своего, и потому государь повелеть соизволил перевести его в армию тем же чином и дать ему заметить, чтобы старался службою загладить свой поступок. Эссену прислали просто приказ об этом переводе!»¹³

В 1822 году Штейнгель вручает Герману «Рассуждение». Вместе с «Рассуждением» Герман в своих бумагах хранил памятное письмо Штейнгеля от 19 февраля 1823 года. Это письмо тоже было отобрано при обыске и приобщено к следственному делу. Письмо не оставляет сомнений в том, что между дядей-декабристом и его разжалованным племянником существовали более чем родственные отношения. Штейнгель намекает Герману на тайны, о которых в письме нельзя было упоминать без шифра. По крайней мере, это письмо свидетельствует о том, что Штейнгель Герману многое доверял.

ПИСЬМО В. И. ШТЕЙНГЕЛЯ

«Москва 19 февраля 1823

Долго ждал, зато уже и выждал: Вы очень порадовали меня, *mon très cher cousin!* подробным отчетом за все время Вашего молчания, которое — между нами! — показалось мне очень, очень продолжительным, и я начинал уже беспокоиться: не случилось ли чего необыкновенного, что Вы, по примерной своей философии, привыкли называть *проделкою*. Теперь я спокоен: вижу, что Вы имеете надежду, что терпение Ваше может получить достойное вознаграждение.

Вы немножко увлекаетесь чувствами и забываете, что там, где мы брошены судьбою пресмыкаться, не все и самому себе доверять можно. Письма наши не прямо из чмодапа попадают в сумку разносчика их, но путешествуют наверх, где их подогревают инквизиторским огнем и по такой уже пытке дозволяют доходить до рук, в кои адресованы.

Не могу распространяться более, ибо сего же вечера еду в Петербург. . . Не для искательства, но в качестве простого гражданина, по делам коммерческим. Независимый кусок хлеба, трудами нажитый, право, имеет свою приятность. На многое начинаю смотреть другими глазами и смеюсь тому, за чем гонялся.

Политические новости самые неприятные для того, кто русскую славу считает не за дустой идеал. Но я нынче стараюсь знать только то, что ближе относится к моему собственному владению, состоящему из жены и пятерых детей. Прочее — фантазматория!

Дайте себя обнять, поцеловать и пожелать Вам всего, что может доставить удовольствие прекрасному Вашему сердцу.

P. S. Если в Петербург вздумаете ко мне написать, вот адрес: Его высокоблагородию Василию Федоровичу Дружинину в СПб., а Вас <прзб.>.

— Все мои Вам кланяются и благодарят за напоминание. Желал бы прочесть последнее творение Кавказского певца».¹⁴

В своих показаниях Герман отзывается о Штейнгеле, сосланном после неудавшегося декабрьского восстания 1825 года на каторжные работы в Сибирь, с чувством глубокого уважения и почтения. Смелый ответ характеризует и самого Германа. По-

¹³ В «Русской старине» (1881, декабрь, стр. 786) примечание В. И. Штейнгеля подверглось редакторской правке. Печатаем по рукописи «Записки несчастного» (рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР, ф. 604, ед. хр. 18 (5587), л. 26 и об.).

¹⁴ ЦГАОР, ф. III отд., IV эксп., № 205, 1831 г., лл. 24 и 25 об.

казания Германа приводятся во «Всеподданнейшем докладе об отставном майоре Германе и о читанном им сочинении Фонвизина. С Высочайшею резолюциею от 31 октября 1832 года»:

«Какой жизни и значения в обществе был в то время барон Штейнгель? Самых почтенных: храбрый солдат на море и на земле, украшенный крестами и ранами, добрый отец семейства, умный человек, всегда в кругу высшего общества, старше меня летами и чином, сочинитель исторических и математических книг».¹⁵

Вручая Герману муравьевский вариант «Рассуждения», Штейнгель просил его сообщить свое мнение. Мы уже знаем, что Герман написал полемический ответ и вступил со Штейнгелем в горячие споры, доказывая неподготовленность России к республиканским преобразованиям. Это был спор двух вольнодумцев, расхопившихся в понимании ближайших задач общественно-освободительного движения. В полемическом ответе Германа содержались и такие наблюдения и мысли, против которых едва ли мог возражать Штейнгель, в недавнем прошлом сторонник конституционной монархии.

Казанский губернский прокурор Солнцев имел основание утверждать, что от суждений Германа «отзывается также духом существовавшего тайного общества под названием Союза Спасения, та только замечательна разность, что мысли Германа сходятся с умеренными членами оного общества, желавшими действовать постепенно на народные мнения и ожидать преобразований политических от времени». Даже его скептическое отношение к буржуазному демократизму, недооценка опыта западноевропейского революционного движения находит свое объяснение и в какой-то степени соответствует декабристским историческим интересам.

Говоря об ужасах феодализма и высоко оценивая республиканский образ правления в Соединенных Штатах, Герман одновременно призывает не переоценивать свободу и привилегии, добытые в результате буржуазных революций. Он ссылается на политическую историю Англии и Франции, на ограниченный и формальный характер конституций, постоянно нарушаемых правительственными и правящими партиями. Если Генрих IV пытался возобновить «Великую хартию», обещал «уважить права и свободу нации», то Генрих VII разрушил все надежды, при нем возник «деспотизм наисовершеннейший», а при Генрихе VIII — «наикровожаднейший». Герман указывает также на тиранию Кромвеля и Якова II. Акт о «личной свободе» англичан остался на бумаге, между тем «никогда не было более насилия свободе, как в это царствование». «Революция возникла при Карле I; народ и парламент от успехов торговли были уже умнее, но Кромвель, Карл II и Яков II были тираны, потому что истинный свет еще не озарял умов».

Декабристы сравнительно редко обращались к рассмотрению противоречий английской революции, и все же у нас имеются некоторые данные о их суждениях по этому вопросу. Об английской конституции и обеих палатах парламента во время следствия говорил Пестель: «... существуют для одного только покрывала».¹⁶ В 1830 году Корнилович призвал разобрать «историю какого-нибудь свободного правления, например Великобритания с 1688 г., эпохи, с которой нынешняя ее конституция возымела полезное свое действие, раскрыть недостатки оного и, основываясь на фактах, показать: что свобода и представительство, каким хвалятся англичане, заключаются в одних только формах, что они ни мало не мешают правительству действовать противно выгодам народным».¹⁷

И для Франции не было сделано исключения. Буржуазная революция во Франции, по словам Каховского, «столь благотельно начатая, к несчастью, наконец превратилась из законной в преступную. Но не народ был сему виною, а проницства дворов и политики».¹⁸ Герман напоминает о французской конституции 1814 года, заключающей «одни мелочные, своекорыстные виды деспотического Сената».

Отсюда можно заключить, что разногласия между Германом и его оппонентом Штейнгелем лежали не в оценке итогов буржуазной революции в Англии и Франции. В критике буржуазной действительности Герман не был одинок. Антибуржуазность — характерная особенность русских просветителей, в частности декабристов.

Расхождения возникли как только Герман коснулся положительной программы действий. Находя несвоевременным вопрос о республике, Герман, вполне понятно, не мог приветствовать идею дворянской революции. Его политические идеалы отличались умеренностью. Одним из главных пунктов спора в 1825 году был вопрос об Александре I. Декабристы в это время не питали никаких иллюзий насчет идеального монарха». Для них было ясно, что русский царь давно изменил своим либеральным обещаниям, что историческая минута требует от дворянских революционеров решительных действий против крепостничества и абсолютизма. Герман не только не был подготовлен к восприятию социальной и политической программы декабризма, но

¹⁵ Там же, л. 10.

¹⁶ Восстание декабристов. Материалы, т. IV. ГИЗ, 1927, стр. 91.

¹⁷ Цит. по книге С. С. Волка «Исторические взгляды декабристов» (Изд. АН СССР, М.—Л., 1958, стр. 248).

¹⁸ Из писем и показаний декабристов. Под редакцией А. К. Бороздина. СПб., 1906, стр. 12.

обнаружил полное непонимание создавшейся ситуации в стране. Считая Александра I способным пойти на смелые преобразования, он связывал с ним предстоящие реформы, в частности освобождение крестьян и улучшение государственного аппарата. Разделяя негодование против деспотических порядков в России, указывая на бедственное положение крестьян, Герман все надежды возлагает на Александра I, противопоставляя его Аракчееву. Критика переносится на придворные круги, на самих дворян, погрязших в роскоши и разврате. «Александр, — утверждает Герман, — гораздо менее деспот, нежели Аракчеевы, Гурьевы, Волконские, которых невежество и самоволие не тяготят только над их собственными творениями».

Следует учитывать, что Герман читал декабристский вариант фонвизинского «Рассуждения», где многие высказывания о свойствах «идеального монарха» были изъятые. Полностью отсутствовала в муравьевском варианте заключительная часть, написанная в защиту просвещенного монарха. Именно в заключительной части фонвизинского «Рассуждения» отразилась вера великого писателя-просветителя XVIII века в «добродетельного монарха», которого в России не было, но который должен появиться. «Немедленное врачевание от всех зол, приключаемых ему (государству, — В. Б.) злоупотреблением самовластия» — прямая и главная миссия «добродетельного монарха».¹⁹ «Здравый рассудок и опыты всех веков, — продолжает Д. И. Фонвизин, — показывают, что одно благонравие государя образует благонравие народа. В его руках дружина, куда повернуть людей: к добродетели или к пороку. Все на него смотрят, и сияние, окружающее государя, освещает его с головы до ног всему народу».²⁰

Хотя Герман и спорит с Д. И. Фонвизиным, но его полемика направлена прежде всего против Никиты Муравьева. В своем ответном рассуждении Герман стоит ближе к Фонвизину, нежели к Муравьеву, освободившему фонвизинское «Рассуждение» от тех отвлеченных размышлений об «идеальном монархе», которые фактически разделял и Герман. Если бы Герман читал «Рассуждение» Д. И. Фонвизина в полной редакции, то, возможно, полемика не имела бы столь принципиального характера.

Д. И. Фонвизин, однако, более оптимистически смотрел на «преимущества, коими наслаждаются благоустроенные европейские народы».²¹ Герман же совсем разуверился в возможности конституционного преобразования в России на европейский лад. Отсюда совсем грустное признание: «... мы не созрели для чистых наслаждений гражданской свободы».

Записка Германа вводит нас в ту политическую дискуссию, которая продолжалась в декабристских и околodeкабристских кругах с момента возникновения тайного общества и до самого 14 декабря 1825 года.

Конечно, Штейнгель, тогда уже член Северного общества, не мог согласиться с Германом. Штейнгель доказывал необходимость «для всех народов неперменного законоположения», считал, что и Россия должна стать на путь республиканских свобод. Герман возражал, защищая «монархические формы» правления. Защита самодержавной власти, естественно, вызывала со стороны Штейнгеля «весьма жаркое прение».

В ответах 1831 года казанскому вице-губернатору Филиппову Герман, опасаясь за свою судьбу, усилил верноподданнейшие признания, подчеркнул свое несогласие со Штейнгелем. Однако и в 1831 году Герман не был столь благонамеренным, как это он пытается доказать в оправдательной записке. Казанская помещица Минятова напрасно считала Германа «карбонарием». Таковым он не был. Тем не менее он испытал влияние передовых идей эпохи и сам являлся рядовым участником общественно-освободительного движения. В. П. Колесников, член тайного оренбургского общества,²² осужденный в 1827 году на каторгу, рассказывает в «Записках несчастного»: «Проходя по одной из главных улиц, я заметил г. Германа. Он стоял у забора, закутавшись в шинель, и плакал. Увидя, что мы обриту, он всплеснул руками и сказал довольно громко: „Боже мой, какое варварство!“ С этим словом, закутав лицо, поспешно удалился. Указав на него Дружинину, я сказал: „Это добрый знак! Когда уже такие люди плачут, то нам смело можно гордиться этим унижением и радостно влачить свои оковы“».²³

При всех своих противоречиях, при всех уступках дворянскому либерализму Федор Герман не мог иначе реагировать, глядя на торжество варварства, на несчастных оренбургских узников, уходивших под конвоем в Сибирь. И сам Герман едва не стал жертвой царского произвола.

¹⁹ «Литературное наследство», т. 60, кн. I, стр. 359. К. В. Пигарев приводит параллельно оба текста «Рассуждения»: полный (фонвизинский) и сокращенный (муравьевский). Цитируемые нами отрывки из «Рассуждения» Д. И. Фонвизина не входят в муравьевский вариант.

²⁰ «Литературное наследство», т. 60, кн. I, стр. 360.

²¹ Там же, стр. 359.

²² Об оренбургском тайном обществе см.: М. Д. Рабинович. Новые данные по истории Оренбургского тайного общества. «Вестник АН СССР», 1958, № 7, стр. 106—113.

²³ Цит. по рукописи, хранящейся в рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР (ф. 604, ед. хр. 18 (5587), л. 26 и об.).

О дальнейшей судьбе Германа мы почти ничего не знаем. Он остается служить в армии и в 1834 году значится в чине подполковника. Об этом можно судить по переписке Германа с В. А. Жуковским. В «Русской старине» (1901, июль, стр. 107) было опубликовано письмо Жуковского к Герману: «Любезнейший Федор Иванович. Возвращаю вам ваши бумаги. Что делать. Не удалось, ни у императрицы, ни у великих княжен. Подождем до будущего года. Авось будем счастливее. Вы между тем не дремлите, и если узнаете о какой вакансии, то дайте знать немедленно. Теперь же решительно нет вакансии. Жуковский».

На обороте этой записки рукою библиографа В. И. Межова сделана следующая заметка: «Собственноручное письмо В. А. Жуковского к Ф. И. Герману об определении Е. И. и В. И. Межовых на казенный счет в одно из учебных заведений. Впоследствии Межовы были определены по ходатайству В. А. Жуковского, один пансионером наследника цесаревича, ныне царствующего государя императора, в Гатчинский сиротский институт, другая же пансионеркою наследницы цесаревны, ныне царствующей государыни императрицы в С.-Петербургский Воспитательный дом. — В. Межов. 19 февр. 1868 года».

В рукописном отделе Пушкинского дома сохранилось письмо Германа, написанное уже после того, как Межовы по ходатайству Жуковского были устроены в учебное заведение.²⁴

«Мой adorable Василий Андреевич!

Душа у меня замирала от надежды и благодарности, когда я читал письмо Ваше. Бог и собственное сердце наградят Вас за добро, которое Вы делаете несчастным сиротам Межова. . . Мать их рвется ехать к Вам, поцеловать Ваши руки, обнять Ваши колени; я едва могу ее удержать; но не могу удержаться, чтобы не сказать Вам о ее чувствах.

По назначению Вашему спешу доставить Вам две записки, одну о мальчике, другую о девочке; в обеих чистая и святая правда; я не поэтизировал ничего. Официальные бумаги, как документы всего сказанного об них мною, здесь и будут Вам представлены, как скоро понадобятся.

Для бога довершите начатое: определите куда хоть мальчика; с надеждою в сердце тепелово буду ждать февраля или апреля для девочки. Кроме поэзии сиротства и нищеты, эти дети сами по себе прекрасны и внушают участие. Мать их живет здесь шестой месяц; кидалась везде, стучалась у всех дверей. . . не отворилась ни одна! Вы явились ей как благодетельный гений, как ангел утешитель.

Простите! поручаю себя Вашей великодушной дружбе.

Ваш вечный поклонник
Федор Германн

24 июля 1834 г.
СПб.

Адрес: Подполковнику Федору Иванов. Германну, на Литейной,
в Итальянской улице, в доме Щелкунова, № 38».²⁵

В биографических справочниках о Ф. И. Германе даются самые скудные сведения. В «Справочном словаре» Г. Генади сообщается, что Герман печатал статьи по горной части в «Горном журнале». В «Источниках словаря русских писателей» С. А. Венгрова читаем: «Федор Иванович Герман, полковник, сотрудник „Горн. журнала“ и „Соревнователя“». В том и в другом справочнике ошибочно указан год смерти: «1835». Только в «Русском биографическом словаре» (М., 1916) дата смерти соответствует действительности: 1852 год. Здесь же дается краткая биографическая справка по заметке В. И. Штейнгеля из «Русской старины».

²⁴ Приводим справку, написанную Германом в связи с поступлением Е. И. Межовой в Патриотический институт: «Служивший в Елисаветградском гусарском полку и в Саратовских батальонах военных кантонистов штаб-лекарем коллежский ассessor Измаил Межов умер в 1830 году на службе от холеры, оставя по себя дочь, девицу Евпраксию, родившуюся 20 июня 1829 года. Подполковник Герман ходатайствует об определении сей сироты в Патриотический институт или иное воспитательное заведение для девиц, представляя при сем документы: 1) метрическое свидетельство, 2) свидетельство о дворянстве, 3) свидетельство о здоровом телосложении и 4) свидетельство о первоначальных познаниях девицы Межовой. 12 февраля 1840. Подполк. Герман квартирует на Васильев. острове, по набережной против Зимнего дворца, в доме, где находится комиссия гербовой бумаги».

²⁵ Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР, шифр 27997. СС 16 2.

К ВОПРОСУ О ПУБЛИКАЦИИ ДВУХ СТИХОТВОРЕНИЙ ПУШКИНА В ЖУРНАЛЕ «СОВРЕМЕННОК»

В 1841 году в майской книге «Современника» (т. XXII) впервые были напечатаны два стихотворения А. С. Пушкина — «Мой первый друг» и «Взглянув когда-нибудь», переданные журналу, как об этом говорилось в примечании редакции, сибирским поэтом П. Ершовым.

«П. П. Ершов, — сообщал «Современник», — известный поэт наш, лично знаком был с покойным Пушкиным, который его полюбил, прочитав стихотворение его: *Конек-Горбунок*, как обыкновенно Пушкин до пристрастия привязывался к каждому возникающему таланту. Ершов хорошо помнит почерк Пушкина. Случайно встретив эти два небольшие стихотворения, собственной рукою автора Онегина вписанные в памятную книгу одного из его приятелей, он поспешил их сообщить в редакцию Современника для напечатания. Благодаря его за подарок, мы остаемся в прежней уверенности, что еще долго не составить нам полного собрания сочинений Пушкина без участия общего и единодушного. Кто из русских не сберег в своих листках, если удалось ему принять, и строку этого золотого пера?»

Редакц.¹

Стихотворения А. С. Пушкина «Мой первый друг» и «Взглянув когда-нибудь», как известно, в течение многих лет хранились в «заветной» тетради лицейского друга поэта — декабриста И. И. Пущина и были переданы в «Современник» через П. Ершова, поддерживавшего близкие отношения с редактором журнала П. А. Плетневым.

О том, что И. И. Пущин посылал через поэта Ершова в журнал «Современник» стихи А. С. Пушкина, свидетельствуют два письма декабриста к Н. Д. Фонвизиной, отправленные им уже *после* публикации названных стихотворений. В первом из них, датированном 12 сентября 1841 года, Пущин писал своей корреспондентке: «Прошу вас пригласить к себе соседа вашего, поэта, и вручить ему посылаемые две пиэсы Пушкина. Они нигде не были напечатаны и напоминают юность таланта лицейского моего товарища. Ваше письмо заставило меня припомнить эти стихи, я хотел к ним прибавить еще одно послание, но никак не могу сложить его в старой моей памяти. Пусть Петр Павлович пошлет их Плетневу. Если нельзя было поместить в последние три части его сочинений, пускай по крайней мере в журнале напечатают все эти мелочи, которые имеют неотъемлемое достоинство. Самые небрежности тогдашнего его слога — небрежности великого поэта. . . К Ершову я не пишу сам потому, что не люблю начинать переписки. . .»²

В начале ноября того же года, вспомнив об отправленных ранее стихах Пушкина, Пущин напоминает Фонвизиной: «Пошлет ли Ершов стихи — вы ничего не говорите. . .»³

Казалось, что вопрос о публикации названных стихотворений в XXII томе «Современника» не вызывает сомнений: Пущин передал Ершову неизвестные произведения Пушкина, автор «Конька-Горбунка» переслал их Плетневу, и вскоре они увидели свет на страницах редактируемого им журнала. Однако в «Записках о Пушкине» И. И. Пущин, вспоминая, как А. Г. Муравьева передавала ему в Читинский острог стихотворение «Мой первый друг», пишет о его публикации нечто противоположное тому, о чем сообщал «Современник» своим читателям в мае 1841 года. «По приезде моем в Тобольск в 1839 году, — утверждает в своих мемуарах Пущин, — я послал эти стихи к Плетневу; таким образом были они напечатаны.»⁴

Утверждение И. И. Пущина о том, что им были посланы два неизданных стихотворения А. С. Пушкина в «Современник» еще в 1839 году, справедливо были взяты под сомнение исследователями-пушкинистами. «Если Пущин послал Плетневу в 1839 г. два неизданных стихотворения Пушкина, — писал С. Штрайх, — то как мог редактор „Современника“ держать их под спудом больше полутора лет?»⁵ По мнению С. Штрайха (подтвержденному и другими исследователями), Пущин мог передать названные стихи Пушкина в «Современник» через поэта Ершова не раньше 1840 года.

Поскольку в переписке Пущина с Фонвизиной в разное время дважды упоминается о посылке стихотворений Пушкина для журнала «Современник» (уже после того, как были опубликованы «Мой первый друг» и «Взглянув когда-нибудь»), С. Штрайх не без оснований полагает, что здесь идет речь уже о каких-то других произведениях великого поэта. «Из всего изложенного ясно, — обобщает исследователь, —

¹ «Современник», 1841, т. XXII, стр. 173.

² И. И. Пущин. Записки о Пушкине. Письма. Гослитиздат, 1956, стр. 181—182.

³ Там же, стр. 184.

⁴ Там же, стр. 85.

⁵ Там же, стр. 396.

что Пущин пересылал Плетневу через Ершова стихи Пушкина два раза. И он и Ершов не могли осенью 1841 г. забыть, что в майской книге „Современника“ за тот же год были напечатаны два посвященные Пущину стихотворения Пушкина: „Современник“ получался декабристами в разных местах сибирского поселения. Если же Ершов посылал Плетневу новые списки прежних двух стихотворений Пушкина, то вряд ли Ершов и Пущин не упомянули бы об этом. А Пущин не писал бы в сентябре 1841 г., что стихотворения, опубликованные в мае, нигде не напечатаны: майский номер „Современника“ мог быть уже в сентябре в Сибири, а тем более в ноябре.⁶

В настоящее время предположение С. Штрайха, как и других пушкинистов, нашло свое полное подтверждение. Автор публикуемого сообщения в ноябре 1962 года, перечитывая переписку Н. Д. Фонвизиной с И. И. Пущиным, хранящуюся в Отделе рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина, обнаружил письмо Фонвизиной, до сих пор никем не прочитанное и представляющее несомненный интерес для выяснения вопроса о публикации произведений Пушкина, переданных Пущиным «Современнику» через поэта П. П. Ершова.

В этом письме среди повседневных новостей сибирского поселения декабристов Н. Д. Фонвизина сообщала И. И. Пущину: «Не знаю, писала ли Вам. Мне Ершов поручил Вам сказать, что две пьесы стихов Пушкина уже напечатаны в Современнике и ему тут изъявлена благодарность в сделанной выноске — где сказано, что вот известный поэт Ершов нашел эти две пьесы в альбоме одного приятеля Алек. Сер. Пушкина и с согласия этого приятеля представил как драгоценную находку в редакцию этого журнала. Следует благодарность и вызов всем, если найдут где-нибудь еще нигде не напечатанные стихи Пушкина, — доставить их в редакцию Современника, чем очень одолжат всех. . . и проч. Это вам верно интересно знать».⁷

Письмо Н. Д. Фонвизиной было отправлено из Тобольска 20 августа 1841 года, через пять дней оно поступило в Туринск: на верхнем правом углу первого листка рукой Пущина карандашом поставлена дата получения: «25-го августа».

Теперь, с публикацией письма Н. Д. Фонвизиной, документально подтверждается, что 25 августа 1841 года Пущин уже знал о том, что посланные им через Ершова стихи Пушкина «Мой первый друг» и «Взглянув когда-нибудь» напечатаны в майской книге «Современника».

Письмо Фонвизиной от 20 августа 1841 года опровергает более позднее утверждение автора мемуаров о том, что названные стихи Пушкина были посланы им Плетневу в 1839 году. Фактически, как это и сообщалось в XXII томе «Современника», они были получены журналом от П. Ершова осенью 1840 года.

По-видимому, прочитав письмо Фонвизиной, в котором передается обращение «Современника» ко всем читателям, имеющим пушкинские автографы, направлять их в редакцию для публикации, Пущин решил откликнуться на призыв журнала и, воспользовавшись посредничеством Ершова, отправил ему какие-то новые стихи своего великого друга.

Есть все основания полагать, что письмо Пущина Фонвизиной от 12 сентября 1841 года является ответом на ее послание от 20 августа того же года. Теперь становится понятной и вышеприведенная цитата из его письма, содержащая просьбу о передаче Ершову двух «пиес Пушкина». И. И. Пущин, отвечая своей корреспондентке, так и пишет: «Ваше письмо заставило меня припомнить эти стихи. . .»

О судьбе же вновь найденных Пущиным «двух пиес» Пушкина что-либо определенное сказать пока не представляется возможным.

М. ГИЛЛЕЛЬСОН

ПУШКИН В ДНЕВНИКАХ А. И. ТУРГЕНЕВА 1831—1834 годов

Дневники А. И. Тургенева — один из самых достоверных источников по истории русской и западноевропейской культуры второй четверти XIX столетия. Точные, но, к сожалению, часто лаконичные записи А. И. Тургенева запечатлели многие факты и события того времени, представляющие значительный интерес для отечественных и зарубежных историков литературы и общественной мысли. Записи А. И. Тургенева о его встречах и разговорах с Пушкиным, которого он знал много лет и с которым он особенно часто виделся в 30-е годы, позволяют уточнить канву жизни и творчества поэта. Пушкинисты уже обращались к дневникам А. И. Тургенева, но в поле их зре-

⁶ Там же, стр. 398.

⁷ Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина, ф. 243, тетр. 4, ед. хр. 33, л. 154.

ния попала лишь часть записей о Пушкине. Наиболее полная публикация принадлежит П. Е. Щеголеву, который напечатал дневниковые записи А. И. Тургенева о Пушкине со второй половины ноября 1836 года до первых чисел марта 1837 года.¹

В настоящей работе публикуются неизвестные записи о Пушкине А. И. Тургенева, извлеченные из его дневников за 1831—1834 годы.²

1831 год

«7 декабря. . . Обедал у И. И. Дмитриева, приехал и поэт Пушкин, с ним к Вяземскому» и к к «нягине» Мещерской: о Вортсворте с матерью» (ИРЛИ, ф. 309, № 325, л. 129 об.).

Пушкин приехал в Москву 6 декабря и остановился у П. В. Нащокина, который жил в то время на Пречистенском валу в доме г-жи Ильинской.³ 7 декабря Пушкин начал объезд своих московских друзей: А. И. Тургенев встретил его у поэта И. И. Дмитриева, откуда они вместе поехали к Вяземскому, а затем в дом Мещерского — Петра Ивановича (1802—1876), женатого с апреля 1828 года на Е. Н. Карамзиной (1806—1867). Об английском поэте Вортсворте А. И. Тургенев разговаривал с матерью П. И. Мещерского — Софьей Сергеевной (урожденной Всеволожской, 1775—1848). В то время был жив и отец П. И. Мещерского — Иван Сергеевич (1775—1851), отставной майор, которого также следует включить в число московских знакомых Пушкина.

«8 декабря. . . Был у Пушкина и разговаривал о Петре I. Вечер у Вяземского» с Пушкиным». Разговор с ним и с Вяземским об Англии, Франции, их авторах, их интеллектуальной жизни и пр.: и они моею жизнью на минуту оживились; но я вздохнул по себе, по себе в России, когда мог бы быть с братом! Спор Вяземского с Пушкиным: оба правы (последние два слова зачеркнуты, — М. Г.)» (ИРЛИ, ф. 309, № 325, л. 129 об.).

Замысел написания истории Петра Великого возник у Пушкина еще в 1827 году. Как и в «Стансах» (1826), фигура великого преобразователя России должна была, по мысли Пушкина, показать Николаю I, каким следует быть русскому императору. В июле 1831 года Пушкин получил разрешение Николая I работать в архивах. А. И. Тургенев был осведомлен об этом историческом замысле Пушкина еще до встречи в Москве в декабре 1831 года. Он записал 23 октября 1831 года: «Вечер у Свербеевых, потом у кн. <Д. В.> Голицына», где уладил приглашение Свербеевых на бал. Разговор о Пушкине и Петре I с Уваровым, с князем Голицыным и внимание других к словам нашим» (там же, л. 114 об.). А. И. Тургенев высоко ценил занятия Пушкина отечественной историей; 9/21 июля 1834 года, фиксируя свой разговор с немецким ученым А.-Г.-Л. Геереном о преподавании истории наследнику русского престола, он записал в дневнике: «Напр. сначала взять Историю Петра Великого, хорошо написанную (т. е. когда напишет ее Пушкин, подумал я)» (ИРЛИ, ф. 309, № 305, л. 57). Впоследствии, незадолго до смерти Пушкина, А. И. Тургенев знакомил поэта с историческими документами из своего богатейшего архива и, в частности, с материалами о Петре I.⁴

Сведения, которые А. И. Тургенев сообщал Пушкину и Вяземскому об умственной жизни передовых европейских государств, были для них «живительным кислородом» в затхлой атмосфере николаевского царствования. А. И. Тургенев начиная с середины 1825 года почти непрерывно жил за границей. Он завел многочисленные знакомства с передовыми писателями, учеными и общественными деятелями Франции, Англии и Германии. Его рассказы о встречах с Гете, Ж.-П. Рихтером, Шеллингом, Гумбольдтом, Кювье, Гизо, Шатобрианом, В. Скоттом, Т. Муром и многими-многими другими жадно выслушивались Пушкиным и Вяземским: они открывали им широкую панораму интеллектуальной жизни Западной Европы.

Однако разговоры А. И. Тургенева с Пушкиным и Вяземским в эти дни не ограничивались европейской тематикой. Из дневника А. И. Тургенева видно, что в Москве в это время шли ожесточенные споры по польскому вопросу между Пушкиным, Вяземским, Д. Давыдовым. Вспоминая впоследствии об этом, А. И. Тургенев записал 31 марта 1842 года: «. . . к князь Гагарин», который опять повторил, что я один, по чувству христианскому, понимаю Европу, один-один из русских, но что многим во мне недоволен. — О Вяземском». „Камергер Пушкин теперь в отставке“. Я объяснил ему и Вяземского о Пушкине и их отношения. Вяземский не поддавался ему; не во всем с ним соглашался, а спорил часто; например за Польшу в Москве против Пушкина и Денгиса Давыдова — соглашаясь со мною» (ИРЛИ, ф. 309, № 319,

¹ П. Е. Щеголев. Дуэль и смерть Пушкина. Изд. 3-е, просм. и доп. ГИЗ, М.—Л., 1928, стр. 272—300.

² Дневники Тургенева хранятся в рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР. Далее ссылки приводятся в тексте.

³ См.: Пушкин, Полное собрание сочинений, т. XIV, Изд. АН СССР, 1941, стр. 244. Далее ссылки приводятся в тексте.

⁴ Об этом см.: Илья Фейнберг. Незавершенные работы Пушкина. Изд. 3-е, дополненное. «Советский писатель», М., 1962, стр. 162—187.

л. 138 об.). Однако сложность проблемы, связанная с попытками западных держав использовать польский вопрос в своих интересах, заставляла А. И. Тургенева серьезно прислушиваться к аргументации Пушкина: недаром он записал в дневнике о споре Пушкина с Вяземским — «оба правы».⁵

Собеседник А. И. Тургенева — князь Гагарин, скорее всего Иван Сергеевич (1814—1882), принявший в 1842 году католичество. Не совсем ясна фраза, сказанная, вероятно, им: «Камергер Пушкин теперь в отставке». Почему вместо камер-юнкера он именует Пушкина камергером, а главное, что имеется в виду под словами «теперь в отставке»? Надо думать, что речь идет не о смерти Пушкина, а о недостаточном внимании к памяти и творчеству поэта со стороны его современников.

«9 декабря. . . на аукционе Власова, откуда с Пушкиными к Чадаеву: о статье Вяз «емского» (ИРЛИ, ф. 309, № 325, л. 130).

О посещении Пушкиным аукциона распродажи богатого собрания картин, гравюр, книг, рукописей и других вещей Александра Сергеевича Власова (1777—1825) нам известно также из письма поэта к жене от 10 декабря 1831 года. Однако о посещении им вместе с А. И. Тургеневым в этот день Чадаева мы узнаем впервые.⁷

«10 декабря. . . Солдан зовет меня и Пушкина на спектакль и на вечер: день рождения Марии! Поеду!!!. . . Вечер в спектакле и на бале у Солдан и до 6-го часа утра! Ужинал с Шереметевой,⁶ слушал Пушкина и радовался отрывкам 8-й песни Онегина! — Когда я ему сказал à пророс танцев моих, по отъезде имп «ера» тора», стих его: „Я не рожден парей забавить“ — Пушкин прибавил: „Парижской легкостью своей!“ (ИРЛИ, ф. 309, № 325, л. 130).

А. И. Тургенев описывает свое посещение вместе с Пушкиным бала у Веры Яковлевны Сольдейн (урожденная Мерлина; 1790—1856), жены генерал-майора Христофора Федоровича Сольдейн. Как явствует из следующих ниже записей А. И. Тургенева, Пушкин читал у Сольдейн отрывки из 8-й главы полного текста «Евгения Онегина», т. е. отрывки из путешествия Онегина по России.

А. И. Тургенев приводит цитату из стихотворения Пушкина «Ответ на вызов написать стихи в честь ее императорского величества государыни императрицы Елисаветы Алексеевны», впервые напечатанного в журнале «Соревнователь просвещения и благотворения» в 1819 году (№ 10). В следующем стихе: «Парижской легкостью своей!» — Пушкин пародирует свой стих: «Стыдливой Музою моею».

«11 декабря. . . Обедал у князя Вяз «емского» с гр. Потемкиной, с княгиней Голлицыной (Ланской), с Пушкиным, Давыдовым (Денисовым), графом Толстым и пр.⁷

15 декабря. . . Пушкин звал на цыган; не поехал» (ИРЛИ, ф. 309, № 325, лл. 130 об.—131).

А. И. Тургенев отказался от приглашения Пушкина быть на вечере у П. В. Нащокина. 16 декабря 1831 года поэт писал жене: «Вчера Нащокин задал нам цыганской вечер; я так от этого отвык, что от крику гостей и пенья цыганок до сих пор голова болит» (XIV, 249).

«18 декабря. . . Заезжал к Пушкину и разбирал библиотеку. . .

Одну Россию в мире видя,
Преследуя свой идеал,
Хромой Тургенев им внимал,
И плети рабства ненавидя
Предвидя в сей толпе дворян
Освободителей крестьян.

Поэт угадал: одну мысль
брат имел: одно и видел
в них, но и поэт увеличил:
где видел брат эту толпу?
пять, шесть — и только!

24 декабря. Проводил Пушкина, слышал из 9-й песни Онегина и заключение: прелестно. . .» (ИРЛИ, ф. 309, № 325, лл. 131 об., 132 об.).

⁵ Об отношении Пушкина к польскому вопросу см.: Письма Пушкина к Елизавете Михайловне Хитрово. 1827—1832. Изд. АН СССР, Л., 1927; V. Lednicki. Pouchkine et la Pologne. Paris, 1928; В. А. Францев. Пушкин и польское восстание 1830—1831 г. В кн.: Пушкинский сборник. Прага, 1929, стр. 65—208.

⁶ Шереметева — по всей вероятности, Надежда Николаевна, теща И. Д. Якушкина, декабриста, друга Пушкина.

⁷ Потемкина Елизавета Петровна (1796—1877?), сестра декабриста С. П. Трубецкого, жена графа С. П. Потемкина. Ей посвящено известное четверостишие Пушкина:

Когда Потемкину в потемках
Я на Пречистенке найду,
То пусть с Булгариным в потомках
Меня поставят наряду.

Голицына Анна Васильевна (урожденная Ланская, 1792—1868), жена князя А. Б. Голицына. Как видно из письма Пушкина к жене от 8 декабря 1831 года, А. В. Голицына одновременно с ним ехала в соседнем дилижансе из Петербурга в Москву (XIV, 245). Толстой — вероятно, Федор Иванович, по прозвищу «Американец».

Итак, Пушкин читал А. И. Тургеневу (с учетом записи от 10 декабря) стихи из 8-й, 9-й глав «Онегина» и «заклочение» романа, т. е., вероятно, строфы из 10-й главы.

В 1913 году В. М. Истрин в статье «Из документов архива братьев Тургеневых» опубликовал отрывок из письма А. И. Тургенева к Н. И. Тургеневу от 11 августа 1832 года, в котором также приведены эти же стихи Пушкина о Н. И. Тургеневе, причем против строки «Хромой Тургенев им внимал» А. И. Тургенев приписал: «т. е. заговорщикам; я сказал ему, что ты и не внимал им и не знал их».⁸ Хотя в дневнике А. И. Тургенев более откровенен, нежели в разговоре с поэтом, однако и в дневниковой записи он явно полемизирует с формулировкой Пушкина, стараясь преуменьшить размах декабристского движения, — не толпа, а пять-шесть человек! В то же время жестокая расправа Николая I над декабристами вызывала осуждение со стороны А. И. Тургенева. Вспоминая свою прогулку по Неве, он записал 16 мая 1832 года: «Прошел ввечеру и потом ночью по набережной: прекрасная, тихая ночь сияла в своем вечернем великолепии и отражала здания и сады в своем чистом зеркале; не обольстит меня эта красавица: в ней же видны крепость и д[ворец]» (ИРЛИ, ф. 309, № 325, л. 157 об.).

Запись А. И. Тургенева от 24 декабря уточняет дату выезда Пушкина из Москвы в Петербург. Н. О. Лернер, ссылаясь на письмо Н. М. Языкова к брату А. М. Языкову, считал, что Пушкин покинул Москву 22 декабря.⁹ Учитывая свидетельство А. И. Тургенева, датой выезда Пушкина из Москвы следует считать 24 декабря.

1832 год

9 апреля. . . Вечер у Карамз(иных) с Жуковским, с Пушкиным.

13 апреля. . . Был у Пушкина.

15 апреля. . . Обедал у Жуковского, с Карамзинными, Вяземским, Пушкиным.

21 апреля. . . Вечер у Пушкина, у Загряжской,¹⁰ у Карамзиных.

24 апреля. . . Оттуда к Вяземскому и утро с Пушкиным.

29 апреля. . . Обедал у Фикельмона с Вяземским, Пушкиным, графом Гравовским, Данилевским.¹¹

2 мая. . . Вечер у Карамзиных с Пушкиным.

7 мая. . . Обедал в английском клубе. Был у Пушкина.

11 мая. . . Был в Академии наук на раздаче Демидовских премий. . . Возвратился с Жуковским. Гулял с ним же в саду; с Пушкиным был у Хитрово и болтал с Фикельмоном¹² об Италии. Обедал в клубе.

13 мая. . . к Фикельмон, вальсировал с нею, болтал с Толстою¹³ о брате ее в Лондоне, с сыном Опочинина¹⁴ о просвещении в Польше. Пушкин сказал о запрещении. . .

15 мая. . . Кончил вечер у князя Вяземского с Пушкиным и Жуковским» (ИРЛИ, ф. 309, № 325, лл. 152—157).

28 мая. . . Вечер у Карамзиных с поэтами, с приятелями и с Смирновым.¹⁵

2 июня. . . Заезжал к Пушкину, не застал.

⁸ «Журнал Министерства народного просвещения», 1913, нов. сер., ч. XLIV, март, отд. 2, стр. 17. См. также: Б. Томашевский. Десятая глава «Евгения Онегина». «Литературное наследство», т. 16—18, 1934, стр. 388—389.

⁹ Н. О. Лернер. Труды и дни Пушкина. СПб., 1910, стр. 258.

¹⁰ Загряжская Наталья Кирилловна (урожденная Разумовская, ум. 1837), тетка Н. Н. Пушкиной.

¹¹ Гравовский — видимо, Степан Фомич, статс-секретарь царства Польского. Данилевский — Михайловский-Данилевский Александр Иванович (1790—1848), генерал-лейтенант, военный историк.

¹² Фикельмон Дарья Федоровна (1804—1863), дочь Елизаветы Михайловны Хитрово (1783—1839). Д. Ф. Фикельмон с 1821 года была замужем за графом Карлом-Людвигом Фикельмоном, с 1829 года австрийским послом в России. Пушкин часто бывал в их доме. В дневнике Д. Ф. Фикельмон имеются неоднократные упоминания о Пушкине. Подробнее об этом см.: Н. В. Измайлов. Пушкин в переписке и дневниках современников. «Временник Пушкинской комиссии, 1962», Изд. АН СССР, М.—Л., 1963, стр. 32—37.

¹³ Толстая Анна Матвеевна (1809—1897), дочь сенатора М. Ф. Толстого, двоюродная сестра Д. Ф. Фикельмон, а ее брат, Феофил Матвеевич (1810—1881), — паж выпуска 1827 года, впоследствии писатель, композитор и музыкальный критик. В конце апреля 1832 года он уехал в чужие края: в прибавлениях к «С.-Петербургским ведомостям» от 19, 22 и 26 апреля 1832 года (№№ 90, 93, 96) среди отъезжающих за границу значится: «Чиновник 12-го класса Феофил Матвеев Толстой, спрос. Литейной части 2-го кварт. в доме под № 116».

¹⁴ Опочинин Константин Федорович (1808—1848), поручик л.-г. Конного полка, сын шталмейстера двора Федора Петровича Опочинина (1779—1852), двоюродный брат Д. Ф. Фикельмон.

¹⁵ Видимо, Пушкин, Жуковский и Вяземский были в этот вечер у Карамзиных.

4 июня. . . У Жук *овского* с Пушк *иным* о журнале. Обедал с кн. Вяз *емским* в ресторации.

9 июня. . . Обедал у гр. Велгур *ского* с Вяз *емским*, Бобринским, к *нязем* Адуевским, Пушк *иным*» (ИРЛИ, ф. 309, № 11, лл. 1 об., 4 об., 7 об.).¹⁶

К середине 1832 года относятся хлопоты Пушкина, связанные с проектом издания газеты «Дневник». По всей вероятности, об этом неосуществленном проекте и шел разговор 4 июня на квартире Жуковского. Надо думать, что Пушкин предполагал привлечь А. И. Тургенева в сотрудники этого издания и хотел печатать в нем иностранные корреспонденции А. И. Тургенева, как он это потом осуществил в «Современнике».

«17 июня. . . Был у Пушки *на*: простился с женой его.

18 июня. . . В час сели на первый пароход. Велгурский, Мюральт, Федоров¹⁷ с сыном провожали нас. . . В час — тронулся пароход. Я сидел на палубе — смотря на удаляющуюся набережную, и никого, кроме могил, не оставлял в П *етербурге*, ибо Жук *овский* был со мною. Он оперся на минуту на меня и вздохнул за меня по отечеству: он один чувствовал, что мне нельзя возвратиться. . . П *етербург*, окрестности были далеко; я позвал Пушкина, Энгельгарда,¹⁸ Вяземского, Жук *овского*, Викулина¹⁹ на завтрак и на шампанское в каюту — и там оживился грустию и самым моим одиночеством в мире. . . Брат был далеко. . . Пушк *ин* напомнил мне, что я еще не за Кронштадом, куда в 4 часа мы приехали. Пересели на другой пароход: Николаи I, на коем за год прибыл я в Россию; дурно обедали, но хорошо пили, в 7 час *ов* расстался с Энгельгар *дом* и Пушкиным; они возвратились в П *етербург*; Вязем *ский* остался с нами, завидовал нашей участи» (ИРЛИ, ф. 309, № 11, лл. 13, 14).

Прощальный визит А. И. Тургенева к Пушкиным состоялся накануне его отъезда за границу.

Запись А. И. Тургенева о том, что вряд ли ему удастся вернуться в Россию, вызвана тем, что в это время Николай I и двор открыто выказывали неприязненное отношение к брату декабриста, поддерживавшему с ним постоянную связь. За завтраком в каюте А. И. Тургенев, видимо, разговорился о брате, вызвав замечание Пушкина о необходимости соблюдать осторожность, так как в России и стены имеют уши.

Из неопубликованных записей дневника А. И. Тургенева явствует, что заграничный паспорт ему был выдан лишь по личному распоряжению Николая I — без разрешения царя не осмеливались отпускать его за границу. Его положение в то время было настолько неопределенным, что он предлагал Жуковскому не ехать с ним вместе на одном пароходе, опасаясь неприятных последствий для Жуковского. Однако Жуковский отклонил все возражения А. И. Тургенева и настоял на совместном выезде за границу, а все ближайшие друзья, включая Пушкина, пришли проводить его.

1834 год

«8 сентября. . . Поскакал в театр, в ложе у Пушкина, жена и belles soeurs его.

9 сентября. Воскресенье. Был у Бенкендорфа в толпе искателей и просителей. . . Оттуда к Пушкину. «Слушал несколько страниц Пугачева. Много любопытного и оригинального. «Текст поврежден» сказав, что П *ушкин* расшевелил душу мою, заснувшую в стенах Башкирии. «Симбирск» всегда имел для меня историческую прелесть. «Он устоял» против Пуг *ачева* и Разина» (ИРЛИ, ф. 309, № 305, л. 11).

Итак, А. И. Тургенев дважды встречался с Пушкиным во время кратковременного пребывания поэта в Москве в начале сентября 1834 года. Вспомнивая об этих встречах, А. И. Тургенев писал Вяземскому из Петербурга 23 октября 1834 года: «Здесь Пушкин и его три красавицы; я с ними сдружился еще в Москве».²⁰

Запись от 9 сентября позволяет уточнить дату письма Пушкина к А. И. Тургеневу, которое по времени отъезда Пушкина из Москвы датируется около (не позднее) 9 сентября 1834 года. Это письмо следует датировать точно 9 сентября — оно явно написано после чтения Пушкиным А. И. Тургеневу отрывков из «Истории Пугачева».

¹⁶ Велгурский — Михаил Юрьевич Виельгорский (1788—1856), хозяин музыкально-литературного салона, славившийся своим хлебосольством. Бобринский Алексей Алексеевич (1800—1868), камер-юнкер, в это время служил в Департаменте уделов; его имя неоднократно встречается в дневнике Пушкина. Адуевский — Одосвский Владимир Федорович (1804—1869), писатель, философ, хозяин литературного салона.

¹⁷ Мюральт Иоганн (1780—1850), пастор реформатской церкви в Петербурге, с которым Пушкин встречался еще в 1817 году на квартире братьев Тургеневых (см.: С. Дурыйлин. Пушкин и пасторы. (Из забытых свидетельств о Пушкине). «30 дней», 1937, № 2, стр. 83—86). Федоров Борис Михайлович (1794—1875), литератор, помогавший А. И. Тургеневу в переписке документов из иностранных архивов.

¹⁸ Энгельгард Василий Васильевич (1785—1837), полковник в отставке, член «Зеленой лампы».

¹⁹ Викулин Сергей Алексеевич (1800—1848), узжавший вместе с А. И. Тургеневым и Жуковским за границу.

²⁰ Остафьевский архив, т. III, 1899, стр. 261.

В свою очередь, письмо Пушкина позволяет частично восстановить поврежденный текст записи А. И. Тургенева, сделанной, по всей вероятности, вечером 9 сентября, после получения письма Пушкина, в котором поэт писал: «Симбирск в 1671 году устоял противу Стеньки Разина, Пугачева того времени» (XV, 189). А. И. Тургенев неоднократно бывал в Симбирске, так как его родовое имение в с. Тургенево было расположено в Симбирской губернии. В это время А. И. Тургенев вернулся из деревни: отсюда его выражение о душе, заснувшей в степях Башкирии.

«15 октября. . . Вечер у Пушкина: читал мне свою поэму о П етер бургском по-топе. Превосходно. Другие отрывки. . .» (ИРЛИ, ф. 309, № 305, л. 16 об.).

Эта запись А. И. Тургенева уточняет дату возвращения Пушкина из Болдина в Петербург: в дневнике от 28 ноября поэт записал, что он «воротился к 15 окт ября» в П етер бург» (XII, 332). Однако, основываясь на письме Пушкина к А. А. Фуксу от 19 октября, в котором он писал, что приехал в Петербург вчера (XV, 197), Н. О. Лернер полагал, что более точная дата 18 октября.²¹ Как явствует из публикуемой записи А. И. Тургенева, Пушкин был уже 15 октября в Петербурге.

Поэма о Петербургском потопе — «Медный всадник» — была закончена 31 октября 1833 года. Николай I запретил публиковать поэму в полном виде, и только ее начало было опубликовано в конце 1834 года в «Библиотеке для чтения». Таким образом, ко времени чтения поэмы А. И. Тургеневу она еще не была известна читателям.

«16 октября. . . Вечер в Михайловском театре: давали Родольфа и *La dame blanche*.²² Театрик — прелестная игрушка. . . Оттуда к Карамзиным и к Смирновой: с Пушкиным — о Чадаеве» (ИРЛИ, ф. 309, № 305, л. 16 об.).

Михайловский театр — ныне Малый оперный театр — открылся в 1833 году. А. И. Тургенев, вернувшийся 1 октября 1834 года в Петербург после продолжительного заграничного путешествия и поездки по России, в этот вечер впервые был в Михайловском театре.

Разговор Пушкина с А. И. Тургеневым о Чадаеве, надо думать, касался «Философических писем». С 6-м и 7-м письмами Пушкин был знаком еще в середине 1831 года (см. его письмо к Чадаеву от 6 июля 1831 года — XIV, 187—188). В 1831 году А. И. Тургенев неоднократно виделся с Чадаевым, беседуя с ним на исторические и историко-религиозные темы. В письме к Н. И. Тургеневу он писал 2 июля 1831 года о свидании с Чадаевым: «Он обнял меня нежно и в первое же свидание отдал мне часть своего сочинения, в роде Мейстера и Ламенне, и очень хорошо написанное по-французски».²³

«25 октября. . . Писал к Пушкину и послал Песнь о полку Игореве с примечаниями Италинского» (ИРЛИ, ф. 309, № 305, л. 16 об.).

В письме к Вяземскому от 24 октября 1834 года А. И. Тургенев сообщал: «Пушкин вчера навестил меня. Поэма его о наводнении превосходна, но исчерчена и потому не печатается. Пугачевщина уже напечатана и выходит».²⁴ В дневнике за 23 октября Тургенев не упоминает о посещении Пушкина. Однако сомневаться в этом факте не приходится: именно в связи с этим посещением Пушкина А. И. Тургенев писал ему письмо 25 октября и переслал «Слово о полку Игореве». Эта книга долго хранилась у Пушкина. Уже после смерти Пушкина, 28 марта 1837 года, А. И. Тургенев писал Жуковскому по поводу разбора бумаг поэта: «Может быть найдется у вас и Песнь о Полку Игореву, in 4, в бумажке, с отметками карандашом Италинского. Я ссудил ею Пушкина для его издания этой песни. Пожалостя, поищите. Пропадет и никто не узнает, что рука единственного русского археолога объясняла певца древнейшего; да и объяснения — по восточным языкам — важны».²⁵

Речь идет о первом издании «Слова о полку Игореве» (М., 1800). В описании сохранившихся экземпляров этого издания, сделанном Л. А. Дмитриевым (см. его книгу: История первого издания «Слова о полку Игореве». Изд. АН СССР, М.—Л., 1960, стр. 17—56), ни один из них не идентифицирован с экземпляром, принадлежавшим Италинскому. Однако наличие карандашных помет, относящихся к древнерусскому тексту, в экземпляре под шифром 1800/113, хранящемся в Библиотеке АН СССР, дает возможность предположить, что это именно тот экземпляр, который был передан А. И. Тургеневым Пушкину. Предположение Я. И. Ясинского, что у Пушкина

²¹ Н. О. Лернер. Труды и дни Пушкина, стр. 320.

²² «*La dame blanche*» (премьера в Париже 10 декабря 1825 года) — опера французского композитора Франсуа-Андреана Буальде (1775—1834), бывшего в 1804—1811 годах капельмейстером французской оперной труппы в Петербурге.

²³ «Журнал Министерства народного просвещения», 1913, нов. сер., ч. XLIV, март, отд. 2, стр. 20.

²⁴ Остафьевский архив, т. III, 1899, стр. 262.

²⁵ «Русский библиофил», 1916, № 4, стр. 34—35. См. также: Рукою Пушкина. «Academia», М.—Л., 1935, стр. 217—220; Пушкин и Сочинения, т. IX, ч. II, Изд. АН СССР, Л., 1929, стр. 586—591; Я. И. Ясинский. Из истории работы Пушкина над лексикой «Слова о полку Игореве». «Временник Пушкинской комиссии», т. 6, Изд. АН СССР, М.—Л., 1941, стр. 338—346.

находился экземпляр, принадлежавший В. А. Жуковскому (ИРЛИ, шифр $\frac{7}{506}$), отпадает в связи со свидетельством А. И. Тургенева.

«1 ноября. . . У меня сидели Пушкин и Соболевский.²⁶ Первый о Вольтере, о Ермолове: одного со мною о нем мнения. — О Ериванском Ермолове: все перед ним падает; лучше назвать *Ерихонским*» (ИРЛИ, ф. 309, № 305, л. 18 об.).

Творчество Вольтера привлекало внимание Пушкина начиная с лицейского периода. В 1834 году в статье «О ничтожестве литературы русской» Пушкин, критикуя художественный метод Вольтера, тем не менее называет его великаном XVIII века. В 1836 году Пушкин анонимно опубликовал в «Современнике» статью «Вольтер» (т. 3, стр. 158—169), материалы для которой были присланы ему А. И. Тургеневым.

С Алексеем Петровичем Ермоловым (1777—1861) Пушкин познакомился в 1829 году. Во время своего путешествия на Кавказ он сделал лишних двести верст, чтобы заехать в Орел, где жил в то время герой Кульма. Между Пушкиным и Ермоловым состоялась двухчасовая оживленная беседа. В «Путешествии в Арзрум» Пушкин описал свое знакомство с опальным генералом. Сохранился черновик письма Пушкина к Ермолову, датруемого апрелем 1833 года. В этом письме, которое, видимо, не было отправлено адресату, Пушкин предлагал Ермолову быть его историографом.²⁷

Ериванский Ермолов — это Иван Федорович Паскевич (1782—1856), в 1827 году сменивший Ермолова на посту управляющего Кавказским краем (в 30-е годы был наместником Царства Польского). Он имел титул графа Ериванского. Ерихонским Паскевича назвал Ермолов в разговоре с Пушкиным: «Несколько раз принимался он говорить о Паскевиче и всегда язвительно, говоря о легкости его побед, он сравнивал его с Навином, перед которым стены падали от трубного звука, и называл гр<афа> Эриванского графом Ерихонским» (VIII, 445). Это строки из «Путешествия в Арзрум», написанные 3 апреля 1835 года. При печатании этого произведения в «Современнике» (1836) Пушкин по цензурным соображениям исключил описание своего свидания с Ермоловым. Однако, как видно из дневника А. И. Тургенева, в частном разговоре с ним и С. А. Соболевским Пушкин пересказал слова Ермолова о Паскевиче.

«6 ноября. День смерти Екатерины II. . . Обедал и кончил вечер у Смирновых, с Жуков<ским>, Иксулем²⁸ и Пушкиным. Много о прошедшем в России, о Петре, Екатерине» (ИРЛИ, ф. 309, № 305, л. 19).

Высоко оценивая преобразовательную деятельность Петра I, Пушкин отрицательно относился к политике Екатерины II, противоположность Вяземскому, который, порицая крутой характер петровских реформ, более благожелательно относился к Екатерине II. Оценка этих двух царствований неоднократно вызывала горячие споры между Пушкиным и Вяземским.

«9 ноября. . . Обед у Гец с Друж<ининым>, Мюральт<ом>, Жук<овским>, Пушкин<ин>, Шилинг<ом>, Штакельб<ергом>, Яценко и пр.²⁹

11 ноября. . . У Пушкина да о Екатерине.

13 ноября. . . После обеда два раза у Карамзиных и в театре, в ложе Пушкиных, Фикельмон; играли изрядно: Les enfans d'Edouard.³⁰ — Пушкин напомнил мои bons mots: по чтении Карам<зина> в рус<ской> Академии: „Вперед не будет“. — Еще что-то — снова забытое» (ИРЛИ, ф. 309, № 305, л. 20).

Пушкин напомнил А. И. Тургеневу о речи, произнесенной Н. М. Карамзиным в торжественном собрании императорской Российской Академии 5 декабря 1818 года. В письме к Вяземскому от 11 декабря 1818 года А. И. Тургенев писал о речи Карамзина: «Это было торжество не Академии, но Арзамаса, ибо почетный гусь наш, казалось, отделялся от лесных собратий своих, как век Периклов и Александров отделяются от века Лудвига Благодетельного и Батыева».³¹ Красное слово А. И. Тургенева «Впе-

²⁶ Соболевский Сергей Александрович (1803—1870), эпиграмматист, друг Пушкина.

²⁷ Новые данные о встрече Пушкина с Ермоловым см.: Г. П. Ш т о р м. Новое о Пушкине и Карамзине. «Известия АН СССР, Отделение языка и литературы», 1960, т. XIX, вып. 2, стр. 144—148.

²⁸ Иксуль Александр Карлович (1805—1880), барон, окончил в 1826 году Царсколеский лицей, в 1834 году — камер-юнкер, переводчик в канцелярии начальника Главного морского штаба князя А. С. Меншикова.

²⁹ Гец—Гетц Карл Карлович фон (1793—1880), почетный член Российской академии, дружинин Яков Александрович (1771—1849), с 1800 года член Российской академии, с 1810 года чиновник Министерства финансов. Шилинг Павел Львович (1786—1837), барон, дипломат и ученый; о нем см.: М. П. А л е к с е в. Пушкин и наука его времени. В кн.: Пушкин. Исследования и материалы, т. I. Изд. АН СССР, М.—Л., 1956, стр. 55—67, 73—75. Штакельберг — видимо, Густав Оттонович (1776—1850), граф, дипломат. Яценко Григорий Максимович, переводчик, издавал «Дух журналов».

³⁰ «Les enfans d'Edouard» (премьера в Париже 18 мая 1833 года) — историческая трагедия в трех актах Казимира Делавиня.

³¹ Остафьевский архив, т. I, 1899, стр. 167.

ред не будет», по всей вероятности, было употреблено по адресу А. С. Шишкова, пригласившего Карамзина сказать речь в Академии, которая оказалась, вопреки его ожиданию, враждебной его взглядам.

16 ноября. . . Обедал у новорожденной Карамзиной с Жук *овским*, Пушк *иным*, Кушников *ым*.³² Последний о Суворове говорил интересно. Проврался о гр. Аракч *ееве* по суду Жеребцова, „лежащего не бьют“ и казнивший беременных женщин спасен от казни, а *сидевшие* в крепости — казнены!

17 ноября. . . Обедал у Смирновой с Пушк *иным*, Жук *овским*, *текст испорчен* и Полятика.³³ Пушкин о татарах: умнее Наполеона (ИРЛИ, ф. 309, № 305, л. 20 об.).

Судя по записи А. И. Тургенева, на обеде у Смирновых разговор касался татарского ига и нашествия Наполеона на Россию.

19 ноября. . . *текст испорчен* встретил Пушкина. С ним в англ *инский* ма *г* *азин*.

21 ноября. . . с Пушкиным осмотрел его библиотеку. Не застал *ни* Жуков *ского*, ни Мюральта. Осматривал магазины. (Купить ложки с чернью и с бирюзой). Обедал у Смирн *овых* с Жук *овским* и Пушкин *ым* и Скалоном.³⁴

24 ноября. . . Вечер с Жук *овским*, Пушк *иным* и Смирнов *ыми*, угощал Кар *амзин* у и ней самой концертом Эйхгорнов;³⁵ любезничал с Пушк *иной*, и Смирн *овой*, и Гончар *овой*. Но под конец ужасы Сухозанетские, рассказанные Шевичевой,³⁶ возмутили всю мою душу» (ИРЛИ, ф. 309, №305, л. 22 об.).

Рассказ об «ужасах Сухозанетских» касался генерал-майора Сухозанета Ивана Онуфриевича (1788—1861), назначенного осенью 1833 года главным директором Пажеского и всех сухопутных корпусов. Пушкин писал в дневнике 29 ноября 1833 года: «Три вещи осуждаются вообще — и по справедливости: 1) выбор Сухозанета, человека запятнанного, вышедшего в люди через Яшвиля — педераста и отъявленного игрока, товарища Мартынова и Никитина. Государь видел в нем только изувеченного воина, и назначил ему важнейший пост в государстве как спокойное местечко в доме Инвалидов».³⁷

Видимо, рассказ о Сухозанете, услышанный А. И. Тургеневым, имел отношение к противоестественной паклонности этого генерала.

29 ноября. . . Обедал у гр *афа* Бобрин *ского*»³⁸ с Жук *овским*, Пушкин *ым*, гр *афами* Матв *еем* и Мих *аилом* Велгурскими, кн *язем* Трубец *ким*. Любезничал умом и воспоминаниями с милой и умной хозяйкой.³⁹ Обед Лукулла и три блюда с трюфелями отягчили меня.

1 декабря. . . Оттуда к Пушкин *у*. В театре Мих *айловском* государь и го *с* *ударын*я, а с ними Фридр.⁴⁰ с дочерью. — И Пушкины не пригласили меня в ложу. . . Итак, простите, друзья-сервилисты и друзья-либералы. — «Я в лес хочу!»⁴¹ (ИРЛИ, ф. 309, № 305, л. 23 об.).

Запись А. И. Тургенева указывает на то, что он ясно понимал эволюцию былых участников арзамасского кружка, расколовшихся на два противоположных лагеря: друзей-сервилистов, под которыми он, в первую очередь, подразумевал Д. Н. Блудова и С. С. Уварова, и друзей-либералов, как он именовал Пушкина, Жуковского и Вяземского. Болезненная реакция А. И. Тургенева на нежелание пригласить его в ложу во время присутствия в театре Николая I вполне понятна — ведь не только он сам, но и наиболее пронипательные общие знакомые заметили неловкость его положения. 4 декабря он записал в дневнике: «. . . Смирнова догадалась, что я догадался в театре. . .» (там же, л. 23 об.). В то же время надо учесть, что поведение Пушкина

³² Новорожденная Карамзина — Екатерина Андреевна, родившаяся 16 ноября 1780 года, вдова Н. М. Карамзина. Кушников Сергей Сергеевич (1765—1839), племянник Н. М. Карамзина, член Государственного совета, сенатор. Во время турецкой войны 1788—1789 годов и итальянского похода 1799 года он был адъютантом Суворова.

³³ Полетика Петр Иванович (1778—1849), дипломат, член «Арзамаса».

³⁴ Скалон Николай Александрович (1809—1857), поручик л.-г. Финляндского полка, приятель братьев Карамзиных и Россетов.

³⁵ Эйхгорны — Эрнест (11 л.) и Эдуард (9 л.), братья-скрипачи, выступавшие с концертами в Петербурге.

³⁶ Шевичева — Мария Христофоровна Шевич (1784—1841), сестра А. Х. Бенкендорфа, приятельница Карамзиных.

³⁷ Дневник Пушкина. 1833—1835. Под ред. и с объяснительными прим. Б. Л. Модзалевского. ГИЗ, М.—Пгр., 1923, стр. 1—2.

³⁸ Бобринский Алексей Алексеевич (1800—1868), общественный деятель, агроном.

³⁹ Трубецкой Николай Иванович (1807—1874), камергер, и. д. почт-инспектора I I округа. Милая и умная хозяйка — жена А. А. Бобринского, София Александровна урожденная Самойлова, 1799—1866).

⁴⁰ Фридр. — видимо, Цецилия Владиславовна Фридерикс (урожденная Гуровская, ум. 1851), подруга императрицы, мать Д. П. Фридерикса, одного из участников «кружка шестнадцати».

⁴¹ «Я в лес хочу!» — цитата из «Братьев-разбойников» Пушкина.

вызывалось исключительно сложным положением его при дворе. После пожалования в камер-юнкеры в конце декабря 1833 года поэт стал особенно тяготиться жизнью в Петербурге. 22 июля 1834 года он записал в дневнике: «Прошедший месяц был бурен. Чуть было не поспорился я со двором — но все перемололось — Однако это мне не пройдет». ⁴² В ноябре 1834 года Пушкин нарочно уезжал из столицы в Москву, чтобы не присутствовать вместе с другими камер-юнкерами на торжественном открытии Александровской колонны. 6 декабря 1834 года поэт сказался больным, чтобы не являться во дворец. Понятно, что приглашение в ложу А. И. Тургенева, к которому Николай I в это время относился крайне неприязненно, было бы расценено царем как очередной демонстративный акт. Через три дня после вежливого отказа явиться во дворец Пушкин, видимо, решил воздержаться от обострения отношений с Николаем I.

«2 декабря. . . У Хитрово с час проболтал с Тол <стой>, ⁴³ мило уговаривала меня не давать воли языку. . . Маркиз Дуро ⁴⁴ допрашивал, почему государь не пропустил стихов Пушкина. . . „tes pourquoï, marquis, ne finiraient jamais. . .“» (ИРЛИ, ф. 309, № 305, л. 23 об.).

В своей записи А. И. Тургенев слегка перефразировал слова Вольтера «Tes pourquoï, dit le dieu, ne finiront jamais» из «Discours en vers sur l'homme». Пушкин цитировал эту фразу Вольтера в предисловии ко второму изданию «Руслана и Людмилы». В разговоре с маркизом Дуро речь шла, по всей вероятности, о запрещении «Медного всадника». Пушкин не скрывал от своих друзей, как придирчиво относился к его произведениям королевский цензор; через салон Фикельмон слова Пушкина становились известными в дипломатическом мире Петербурга.

«9 декабря. . . у Пушк <ина>: взял посылку гр <аф>у <нрзб.> Пушк <ин> написал 4 выкинутые стиха; читал примечания письменные на Пугачева, представленные им государю. — NB. Прислать ему из Москвы славянские книги» (ИРЛИ, ф. 309, № 305, л. 25).

Четыре выкинутые стиха, о которых пишет А. И. Тургенев, это не пропущенные цензурой строки из вступления к «Медному всаднику»:

И перед младшею столицей
Померкла старая Москва,
Как перед новою царицей
Порфиноносная вдова.

Дальнейшие строки записи позволяют уточнить некоторые детали, касающиеся так называемых «Замечаний о бунте» (IX, кн. 1, стр. 371—376), которые были официально переданы Пушкиным Николаю I через Бенкендорфа, при письме к последнему от 26 января 1835 года. Запись А. И. Тургенева от 9 декабря, в которой говорится, что «Замечания о бунте» уже переданы царю, дает основание предположить, что первоначально они были показаны Николаю I в частном порядке через кого-либо из друзей Пушкина. Это предположение косвенно подтверждается и письмами Пушкина к Бенкендорфу. Еще 23 ноября 1834 года в письме на имя шефа жандармов Пушкин просил разрешения представить на рассмотрение Николаю I эти замечания, а 26 января 1835 года Пушкин снова писал Бенкендорфу: «Я просил о дозволение представить оные государю императору, и имел счастье получить на то высочайшее соизволение» (XVI, 7). Б. В. Томапевский датирует «Замечания о бунте» декабрем 1834 года. Запись А. И. Тургенева от 9 декабря, а также письмо Пушкина к Бенкендорфу от 23 ноября 1834 года позволяют изменить датировку на ноябрь 1834 года.

«10 декабря. . . вечер у Жуков <ского> до 3-го часа: Пушкин, Велугорский, Чернышев-Кругл <иков>, ⁴⁵ Гоголь. <пропуск> напомнил о шутке брата. Кн. Адуев <ский>. Пили за здоровье *Ивана Ник.*» (ИРЛИ, ф. 309, № 305, л. 25 об.).

Последняя фраза записи не совсем понятна. Однако упоминание о «шутке брата», а также только что прошедшие именины Николая (6 декабря) позволяют предположить, что тост был провозглашен за декабриста Николая Ивановича Тургенева. Видимо, опасаясь, что дневник может попасть в руки III отделения и скомпрометировать его друзей, пивших за здоровье опального декабриста, А. И. Тургенев зашифровал запись и вместо Николая Ивановича написал наоборот: Ивана Николаевича.

«17 декабря. . . У Орловых: о Уварове, о стихах Пушк <ина>. Тут и Чадаев» (ИРЛИ, ф. 309, № 305, л. 26).

⁴² Дневник Пушкина, стр. 20.

⁴³ Толстая Анна Матвеевна, племянница Е. М. Хитрово.

⁴⁴ Маркиз Дуро — сын герцога Веллингтона; 2 декабря 1834 года вместе с другими высокопоставленными иностранными путешественниками представлялся Николаю I (см.: Дневник Пушкина, стр. 222; «Северная пчела», 1834, № 277, стр. 1205).

⁴⁵ Чернышев-Кругликов Иван Гаврилович (1787—1847), граф, действительный тайный советник, с 14 января 1832 года муж С. Г. Чернышевой, сестры декабриста З. Г. Чернышева.

Приехавший из Петербурга А. И. Тургенев рассказывал в доме видного деятеля декабристского движения Михаила Федоровича Орлова (1788—1842), проживавшего в то время в Москве под тайным надзором, о последних произведениях поэта, которые Пушкин читал А. И. Тургеневу при их встречах в столице.

Новые сведения о жизни и творчестве Пушкина, содержащиеся в записях А. И. Тургенева, помогут, как мы надеемся, исследователям в изучении Пушкина 30-х годов.

Е. РЫСКИН

ПУШКИН ИЛИ ГОГОЛЬ?

(О ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ЗАМЕТКЕ К ОТДЕЛУ «НОВЫЕ КНИГИ»
В ПУШКИНСКОМ «СОВРЕМЕННОКЕ»)

Автор заключительной заметки к отделу «Новые книги» в первом томе пушкинского «Современника» до сих пор окончательно не установлен. Вопрос, поставленный Н. О. Лернером более полувека назад: «Пушкин или Гоголь?»,¹ все еще остается нерешенным. Редакция академического издания полного собрания сочинений Гоголя поместила эту заметку в отделе «Приписываемое Гогс'ю»,² тем самым высказав колебания, считая, видимо, свою атрибуцию недостаточной. По мнению В. Г. Березиной, «примечания в академическом издании сочинений Гоголя не проясняют вопроса об авторе данной заметки».³ «Окончательно решить вопрос об авторе заметки, — писала она, — пока затруднительно, но авторство Пушкина можно предполагать с большим основанием, чем авторство Гоголя, и более законное место этой заметке — в приложении не к Собранию сочинений Гоголя, а к Собранию сочинений Пушкина».⁴

Аргументы, которые приводились исследователями в пользу авторства Пушкина или Гоголя, основывались преимущественно на анализе содержания заметки. Но заметка настолько мала, а немногие высказанные в ней мысли настолько близки к другим высказываниям как Пушкина, так и Гоголя, что окончательно решить вопрос об авторстве только методом анализа содержания вряд ли когда-нибудь удастся. Необходима, очевидно, иная аргументация, более точная, более объективная. Думается, что сейчас, после завершения издания «Словаря языка Пушкина»,⁵ основным средством атрибуции для данной заметки должен стать анализ языка.

Заключительная заметка к отделу «Новые книги» очень мала по размерам: в ней всего 138 слов, включая служебные, а без повторяющихся слов — немногим более ста. Тем более неожиданными являются результаты анализа ее словарного состава. Приведем ее полный текст: «Вот книги, вышедшие в продолжении первой четверти сего года. О большей части их мы ничего не говорили, потому что о них решительно ничего нельзя сказать. Иные по значительности своей требуют особого разбора. Иные, взятые отдельно, не принадлежат собственно к Словесности, которой преимущественно посвящен журнал наш, но, будучи сложены в общий итог книг, входят таким образом в область Литтературы и в этом отношении получили здесь место. Из сего реэстра книг ощутительно заметно преобладание Романа и Повести, этих властелинов современной Литтературы. Их почти вдвое больше против числа других книг. Беспрерывным появлением в свет они, не смотря на глубокое свое ничтожество, свидетельствуют о всеобщей потребности. История заглядывает урывками в Русскую Литтературу. Капитальных и больших Исторических сочинений нет ни в переводах, ни в оригиналах

¹ Н. Л е р н е р. Из истории журнальной деятельности Пушкина. «Русский библиофил», 1911, № 5, стр. 66—68.

² Н. В. Г о г о л ь, Полное собрание сочинений, т. VIII, Изд. АН СССР, 1952, стр. 498—499. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте.

³ В. Г. Б е р е з и н а. Из истории «Современника» Пушкина. В кн.: Пушкин. Исследования и материалы, т. I. Изд. АН СССР, М.—Л., 1956, стр. 309. В той же статье оспариваются также доводы, высказанные нами в статье «Н. В. Гоголь и библиография», напечатанной в сб. «Советская библиография» (1953, № 1, стр. 163—178).

⁴ В. Г. Б е р е з и н а. Из истории «Современника» Пушкина, стр. 312. Кроме Н. О. Лернера и В. Г. Березиной, в пользу авторства Пушкина выступили (но не привели никаких аргументов) Н. В. Здобнов (Пушкин и библиография. «Книжные новости», 1937, № 2, стр. 49) и А. Н. Горецкий (А. С. Пушкин и библиография. В кн.: Ученые записки Ульяновского государственного педагогического института. Пушкинский юбилейный сборник. Ульяновск, 1949, стр. 91—92).

⁵ Словарь языка Пушкина в четырех томах. Государственное издательство иностранных и национальных словарей. М., 1956—1961. Далее ссылки на словарь приводятся в тексте.

На Статистику и Экономию одни намеки. Даже в значениях ⁶ практических, не вторгающихся в быт Литтературный, заметно тоже мелководие».⁷

В «Словаре языка Пушкина» совершенно отсутствуют слова: «значительность» (и сочетание «по значительности»), «итог», «преобладание», «урывками», «мелководие». Эти пять существительных Пушкин нигде и ни в художественных произведениях, ни в статьях или письмах — не употреблял. Невозможно допустить, чтобы специально для этой маленькой заметки Пушкин обновил свой словарь и ввел в него новых пять слов.

«Из сего реестра книг. . .» — читаем в заметке. Слово «реестр» встречается у Пушкина всего два раза (в «Капитанской дочке» — в речи Гринева и Савельича), но в несколько иной орфографии («реестр» вместо «реэстр») и в сочетании со словом, стоящим в датальном, а не родительном падеже, — реестр чему-нибудь, а не чего-нибудь («Это, батюшка, изволишь видеть, реестр барскому добру. . .» — говорит Савельич Пугачеву).⁸ Слово «реэстр» отсутствует в статьях и письмах Пушкина: не считал ли он его устаревшим, характерным для людей XVIII века?

«На Статистику и Экономию одни намеки». Слово «экономия» обозначает здесь определенную науку или отрасль знания. В этих случаях Пушкин всегда писал: «политическая экономия». Слово «экономия» без прилагательного «политическая» означало у него не науку, а «бережливость, расчетливость в расходовании чего-нибудь» (Словарь языка Пушкина, IV, 1002).

Отсутствуют также у Пушкина сочетания слов: «решительно ничего» и «ощутительно заметно». Слово «заметно», встречающееся у Пушкина шесть раз (Словарь языка Пушкина, II, 66), всегда употребляется им без какого-либо усилительного наречия (типа: «ощутительно», «резко», «явно», «явственно», как мы это видим у Гоголя).

Необычно для Пушкина и выражение: «знаниях, вторгающихся в быт литературный». К слову «вторгнуться» в «Словаре языка Пушкина» (I, 408) указаны всего три случая употребления этого глагола: «вторглись» (2 раза) и «вторгнулись» (1 раз). Во всех случаях идет речь о вторжении в страну, город, вообще территорию (типа: «Вновь наши вторглись знамена В проломы падшей вновь Варшавы»), а не в сферу умственной, духовной деятельности, как в заключительной заметке.

Автор заключительной заметки пишет: «Капитальных и больших исторических сочинений нет ни в переводах, ни в оригиналах». Такой формы («в оригиналах») и такой конструкции фразы нет у Пушкина. Да и сама семантика слова «оригинал» (у Пушкина оно встречается всего пять раз: Словарь языка Пушкина, III, 143) несколько иная, чем у автора заключительной заметки. В заметке идет речь об отсутствии капитальных сочинений по истории — оригинальных, т. е. написанных на русском языке, и переведенных на русский язык. Здесь сопоставляются оригинальные и переводные труды.

У Пушкина же слово «оригинал» означает подлинник, с которого сделан перевод: «г. Ольдекоп перепечатал-де Кавказского Пленника для справок оригинала с немецким переводом»;⁹ в «Рославеле»: «Мы не видим даже и переводов; а если и видим, то воля ваша, я все-таки предпочитаю оригиналы» (т. е. читаю на языке оригинала, в подлиннике).¹⁰

Думается, что приведенные выше примеры достаточно убедительны: лексика заметки необычна для Пушкина, а иногда и чужда ей, и, следовательно, заключительная заметка к отделу «Новые книги» не может принадлежать Пушкину.

Что касается Гоголя, то, хотя мы не располагаем абсолютно бесспорными доказательствами его авторства, можно с очень большой долей вероятности приписать ему эту заметку. Обратимся к его лексике.

У нас, к сожалению, нет словаря языка Гоголя, подобного пушкинскому, и это, разумеется, ставит исследователя в трудное положение. Особенно трудно сказать, как часто употреблял Гоголь то или иное слово или выражение. Но почти все слова из заметки, упоминавшиеся выше, нетрудно найти в произведениях и статьях Гоголя. Приведем примеры.

Слова, отсутствующие в словаре языка Пушкина, встречаются у Гоголя.

Слово «значительность»: «он старался усилить значительность многими другими средствами» (III, 164); «Какая значительность всякого выраженья!» (VIII, 383); «Никогда история мира не принимает такой важности и значительности» (VIII, 14); «Отсюда значительность литературы» (VIII, 470); «Значительность поэзии повествовательной» (VIII, 477 и далее на той же странице еще три раза).

⁶ Н. С. Тихонравов предложил читать это слово: «в знаниях» (Н. В. Г о г о л ь, Сочинения, изд. 10-е, т. V, М., 1889, стр. 661). Эта поправка принята и в советском академическом издании Гоголя (VIII, 499).

⁷ «Современник», т. I, 1836, стр. 318—319.

⁸ П у ш к и н, Полное собрание сочинений, т. VIII, Изд. АН СССР, 1938, стр. 335.

⁹ Там же, т. XIII, стр. 332.

¹⁰ Там же, т. VIII, стр. 150.

Слово «итог»: «Если счесть итог всех книг» (VIII, 545); «Окинув духовными глазами итог мнений» (VIII, 537); «Итог всего этого был тот» (III, 245); «они видели явно преувеличение итога» (III, 432); «Пословица. . . уже подведенный итог делу» (VIII, 392); «еще не успели мы вывести итогов» (VIII, 404).

Слово «преобладание»: «страшного преобладания европейского населения над землей и страшного преобладания земли над жителями в России» (VIII, 208); «Преобладание поэтического элемента в глубине славянской души» (VIII, 474); «уничтожившие их своим преобладанием» (VIII, 78); у Брюллова нет «того высокого преобладания небесно-непостижимых и тонких чувств» (VIII, 111); «западная, с преобладанием римского населения» (IX, 113).

Слово «урывками»: «Итальянский университет. . . не удовлетворял новой молодежи, которая уже слышала урывками о ней» (III, 220—221); «художнику еще неопытному трудно было ловить урывками и мгновеньями» (III, 415).

Слово «мелководие» нам не удалось найти; но есть «безводие» (IX, 138).

Встречаем мы у Гоголя и слово «реэстр» в сочетаниях со словами, стоящими в родительном падеже: «Вот реэстр изданных им сочинений» (VIII, 191);¹¹ «Реэстр книг, остающихся в Москве» (IX, 493).

Мы не нашли у Гоголя слова «экономия» для обозначения науки, но у него есть близкое слово «экономика» (у Пушкина нет и этого термина). В черновике статьи «О движении журнальной литературы» читаем: в «Сыне отечества» «помещается история, история русская, история вообще, этнография, география, статистика, политика, правоведение, экономика. . .» (VIII, 542). В окончательном тексте (VIII, 163) нет слова «экономика».

Гоголь любил слово «решительно» и сочетание слов «решительно ничего» (и аналогичные: решительно нечем, некого, никакого и т. д.): «Ничего об этом, решительно ничего» (VIII, 531); «в отношении же русской литературы он решительно не сделал. . . ничего» (VIII, 548); «для него решительно ничего не значат все господа большой руки» (VI, 61); «и ничего решительно нельзя было понять» (III, 456); «журнальная критика решительно «далее начато: ничего»» (VIII, 545); «вкуса решительно. . . никакого» (VIII, 524); «указать решительно некого» (VIII, 532); «те писатели, которым уже решительно было нечем другим заниматься» (VIII, 548); «что священное имя его произносится решительно всуе» (III, 141).

Гоголь любит словечко «заметно» и нередко прибавляет к нему усиленные наречия или прилагательные: «давно у нас не было так резко заметно» (VIII, 156); «в это именно время была слишком явно заметна» (VIII, 517); «явственнее. . . стало заметно» (VIII, 549) и др. Характерно также аналогичное усиление слова «ощутительно» в «Одиссее» «ощутительно. . . видимо всем, что легло в дух ее содержания» (VIII, 239); «опускаться до простоты, ощутительной осязанью непонятлившего человека» (VIII, 409); «через это ощутительней видимость самого мужа» (VIII, 374).

«Вторгаются» у Гоголя и в сферу умственной деятельности: газета, «освобожденная от всяких вторжений наук и важных сведений» (VIII, 164).

Встречаем у Гоголя и выражение «в оригиналах» и в том же значении, что в заключительной заметке: «То, что в оригиналах имело смысл, то в копии было без всякого значения» (VIII, 161); «То, что в его оригиналах преувеличенно и неестественно» (VIII, 528). Речь идет об оригинальных произведениях, которым Сенковский подражает.

Из стилистических аргументов в пользу авторства Пушкина нам известен лишь один, его выдвинул в свое время Н. О. Лерпер. Слова «иные, взятые отдельно, не принадлежат собственно к словесности», писал он, сходны со словами Пушкина «многие не входят в область литературы».¹² В. Г. Березина добавляет: «. . . словам Пушкина: „многие не входят в область литературы“ стилистически близки следующие слова из послесловия (т. е. из заключительной заметки, — Е. Р.): „Иные. . . входят таким образом в область литературы“».¹³

Выражения «принадлежат к словесности» и «входят в область литературы» или сходные с ними встречаются и у Пушкина (сочинения, «не входящие в область чистой литературы») ¹⁴ и у Гоголя: «тогда писанья его будут принадлежать к области науки, или же. . . его произведение принадлежит области поэтической» (VIII, 470); журнальная литература «обращает и пускает в ход все выходящее в области наук и литературы, она «увлекает в свою область ^{9/10} . . . делающихся принадлежностью

¹¹ В «Современнике» напечатано: «реэстр» (стр. 297); то же в 10-м издании сочинений Н. В. Гоголя, подготовленном Н. С. Тихонравовым (т. V, стр. 522 и 663); в советском же издании, очевидно по ошибке, напечатано «реэстр» (VIII, 191 и 565). Но Плюшкин употребляет слово «реэстрик»: «Да, ведь вам нужен реэстрик всех этих тунейдцев?» (VI, 125); Чичиков приказчику Манилова: «. . . сделай подробный реэстрик всех поименно» (VI, 33).

¹² Н. Л е р п е р. Из истории журнальной деятельности Пушкина, стр. 67.

¹³ В. Г. Б е р е з и н а. Из истории «Современника» Пушкина, стр. 312.

¹⁴ П у ш к и н, Полное собрание сочинений, т. XI, стр. 109.

литературы» (VIII, 515, 516). Но обратимся к смысловому содержанию обеих заметок.

Речь идет об «киных книгах», не относящихся к художественной литературе. Автор заключительной заметки считает, что такие книги каким-то образом («будучи сложены в общий итог») «входят. . . в область литературы».¹⁵ Пушкин же в заметке «Обстоятельства не позволили издателю» заявляет, что эти книги «не входят в область литературы».¹⁶ Странно, что ни Н. О. Лернер, ни В. Г. Березина не заметили здесь смыслового различия, противоречия.

О сходстве содержания заметки с отдельными высказываниями Гоголя (в статье «О движении журнальной литературы») уже говорилось в прежних исследованиях: и там и здесь речь идет о преобладании в современной литературе романа и повести над прозой и об их глубоком ничтожестве (ср.: «Распространилось в большой степени чтение романов, холодных, скучных повестей, и оказалось очень явно всеобщее равнодушие к поэзии»; VIII, 172), о том, что их непрерывное появление в свет свидетельствует о всеобщей потребности в них публики (ср.: «в это время была заметна всеобщая потребность умственной пищи, и значительно возросло число читающих»; VIII, 157; журналы не занялись вопросами: «отчего у нас в большом ходу водяные романы и повести?», «на какой степени образования стоит русская публика» и т. д.; VIII, 172). Уже отмечалось, что Гоголь, автор восьми или десяти¹⁷ из двенадцати аннотаций, прочитавший если не все, то значительную часть остальных 48 книг (он написал аннотации еще на 18 книг, но они не были напечатаны в «Современнике»), имел бы право сказать: «О большей части их (книг, — Е. Р.) мы ничего не говорили, потому что о них решительно ничего нельзя сказать» (VIII, 498). Эта оценка книг так же резка, как и оценка журнальной литературы. Заключительная заметка служит как бы дополнением к статье Гоголя, помещенной в том же номере журнала.

В заключение остановимся еще на двух аргументах Н. О. Лернера, оба они не стилистического характера.

Первый аргумент. Слова «журнал наш» мог употребить только издатель журнала — Пушкин. Но такие же слова писал Гоголь в рецензии на книгу «Основание Москвы. . .» (также предназначенной для первого тома «Современника», но не напечатанной в нем): «незачем наполнять листок нашего журнала плохим. . .» (VIII, 203). Гоголь был близким к редакции человеком и мог писать от имени редакции: «журнал наш». Другое дело слова «в моем журнале» («Статья О движении журнальной литературы напечатана в моем журнале. . .»)¹⁸ — их мог сказать только Пушкин (так же как и слова «своего журнала», сказанные от имени издателя: «Издатель „Современника“ не печатал никакой программы своего журнала. . .»)¹⁹.

Второй аргумент. Пушкин вряд ли позволил бы Гоголю «высказать столь решительное и общее мнение, налагающее серьезную ответственность на журнал».²⁰ Но ведь Пушкин «позволил» Гоголю выступить со статьей «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году», содержащей не менее «решительное» мнение и налагавшей на журнал не менее «серьезную ответственность». Неужели заключительная заметка в отделе «Новые книги» — более серьезное и решительное выступление, чем статья «О движении журнальной литературы»?

В период, когда готовился к печати первый том «Современника», Гоголь был его ближайшим сотрудником, на которого Пушкин вполне полагался. Отголоском этого доверия является письмо Пушкина к жене от 11 мая 1836 года (когда шла уже подготовка ко второму тому журнала): «Ты пишешь о статье *Гольцовской*. Что такое? Кольцовской или Гоголевской? — Гоголя печатать, а Кольцова рассмотреть».²¹

Итак, на вопрос, поставленный в 1911 году Н. О. Лернером, нужно ответить так: автором заключительной заметки бесспорно не был Пушкин, им, вероятнее всего, был Гоголь.

¹⁵ Возможно, что автор заключительной заметки как-то различал понятия «словесность» и «литература» (не принадлежат к словесности, но входят в область литературы). У Пушкина нет строгого различия этих понятий (Словарь языка Пушкина, II, 489—490 и IV, 185—186). Гоголь в 40-х годах (в «Учебной книге словесности для русского юношества»), кажется, также не делал строгого различия (VIII, 470—471).

¹⁶ П у ш к и н, Полное собрание сочинений, т. XII, стр. 184.

¹⁷ Хотя две маленькие аннотации относятся к отделу *dubia*, они почти бесспорно принадлежат Гоголю.

¹⁸ П у ш к и н, Полное собрание сочинений, т. XII, стр. 98.

¹⁹ Там же, стр. 183.

²⁰ Н. Л е р н е р. Из истории журнальной деятельности Пушкина, стр. 67.

²¹ П у ш к и н, Полное собрание сочинений, т. XVI, стр. 114.

ЗАМЕТКИ О ПУШКИНЕ

Кто «вещий» в «Песни о вещем Олеге»

Судя по названию «Песни», казалось бы, ясно: вещий — Олег. Но по всему содержанию «Песни», по ее идее Олег совсем не вещий. Вспомним, как развивается действие. Князь на «верном коне» едет с дружиной и встречает кудесника. Контраст горделивого князя и смиренного кудесника намечается сразу: князь окружен дружинниками, кудесник одинок; князь — на коне, кудесник идет пешком: пеший конному не товарищ. Князь обращается к кудеснику с вопросом о своей грядущей судьбе:

Открой мне всю правду, не бойся меня:
В награду любого возьмешь ты коня.

Кудесник с достоинством отвечает:

Волхвы не боятся могучих владык,

(это — на слова князя «не бойся меня»)

А княжеский дар им не нужен. . .

(это — на обещание награды).

Но кудесник в своем ответе не только отстаивает свое личное (и в своем лице — всех волхвов) достоинство, он еще расхваливает отменные качества княжеского коня. И это не спроста. Ведь князь обещает кудеснику любого коня, значит и того, на котором он едет. Однако напрасно князь так самонадеянно полагает, что судьба коня всецело в его власти. По мнению кудесника — наоборот, судьба князя сама в зависимости от этого коня:

. . .примешь ты смерть от коня своего.

Князь не очень доверяет странному предсказанию («Олег усмехнулся»), но все же с коня слезает и больше на нем не ездит.

Проходит много лет. Князь вспоминает своего коня и, узнав о его смерти, называет кудесника лживым и безумным, сожалеет, что не презрел предсказания, и хочет увидеть хоть кости коня. Прибыв на холм, где еще сохранился череп коня, князь скорбит о своем коне и сожалеет, что этот конь не будет заклан на его погребении:

На тризне, уже недалекой,
Не ты под секирой ковыль обагришь
И жаркою кровью мой прах напоишь!

Да, случилось как раз обратное: не кровь коня обагрила прах Олега, а наоборот, ужаленный змеей Олег умер над трупом коня.

Кто же оказался вещим: князь ли, который таковым слыл по льстивой молве, или кудесник? Конечно, кудесник, и в свете оправдавшегося его предсказания приобретает особенное значение его похвала волхвам

Правдив и свободен их *вещий* язык.

И этот эпитет «вещий», примененный в «Песни о вещем Олеге» не к князю, а кудеснику, вскрывает, я полагаю, основную идею пушкинской баллады.

Напомним, что эпитет «вещий» у Пушкина на всем протяжении его творчества всегда связан с поэтами и провидцами: «вещим» назван глас Фонвизина (I, 164),¹ «вещи» зеницы у пушкинского «пророка» (III, 30), дважды назван «вещим» «духов властелин», предсказывающий Руслану его судьбу (IV, 79, 80), дважды назван «вещим» легендарный поэт Баян (IV, 8, 73) и, наконец, «вещим» назван «пигит» (III, 46).

В пушкинском духе и стиле, следовательно, и то, что он и в «Песни о вещем Олеге» зовется князя им незаслуженное прозвище («вещий»), как бы лишает его звания и наделяет этим эпитетом волхвов: «Правдив и свободен их *вещий* язык». Именно их, только их.

Если же перевести это состязание между кудесником и князем с языка древней летописи на язык истории, то пушкинская баллада предстанет как поэтическое изображение конфликта между «властителем дум» и властителем государства, между поэтом и царем, любим поэтом и любим царем или, в частности, между Пушкиным и Романовым. И когда Пушкин, обращаясь к поэту, говорит ему: «Ты царь» (III, 223), а о своем «Памятнике», отвергнув традиционное (от Горация до Державина) сравнение с пирамидами, утверждает, что он выше «Александрийского столпа», то

¹ Все ссылки даются на издание: П у ш к и н, Полное собрание сочинений, тт. I—XVI, Изд. АН СССР, 1937—1949.

мы, зная любовь Пушкина к обыгрыванию имен, настораживаемся и склонны усмотреть здесь намек и на собственное имя поэта, и на имя того, кому здесь поэт себя противопоставляет. Иными словами, Пушкин, в справедливом сознании своих заслуг, здесь указывает, что он, Александр Сергеевич, выше Александра Павловича, что по суду истории, да отчасти уже и современников,² он, Пушкин, — Александр Первый: первый — в самом высшем и всеобъемлющем смысле этого слова. А ведь это то самое, о чем говорит и «Песнь о вещем Олеге», — что *вещий* не князь, а кудесник.

В заключение отметим, что Б. В. Томашевский, обычно очень убедительно комментирующий произведения Пушкина, значения этой пушкинской баллады, по-моему, недооценил. Он пишет: «Почти никогда Пушкин не обращается к истории вне ее связи с современностью, а „Песнь о вещем Олеге“ кажется какой-то картинкой, никак с прочим творчеством Пушкина не связанной».³

Это не так. Во-первых, «Песнь о вещем Олеге» — одно из совершеннейших произведений Пушкина, а не «какая-то картинка»; во-вторых, «Песнь» совершенно не изолирована от всего творчества Пушкина, а органически связана со многими его произведениями («Поэт», «Поэту», «Эхо», «Памятник» и др.), в которых отразились глубокие раздумья о месте поэта в обществе и государстве.

Топол и тополь

«Разве не странно, например, — пишет Л. Успенский, — что слово „тополь“ для молодого Пушкина являлось существительным мужского рода и выговаривалось, как „топол“, а позднее превратилось в „тополь“ и перешло в женский род: „Здесь вижу с тополom сплелась младая ива“, — писал он в 1814 году, а в 1828 году рассказывал о том, как „хмель литовских берегов, немецкой тополью плененный, через реку меж тростников переправлялся дерзновенный. . .“⁴

«Разве не странно. . .»? Нет, не странно, а вполне последовательно. В обоих приведенных примерах Пушкин, сочетая деревья, находчиво использовал разность их грамматических родов: там, где «ива» (женского рода), с ней сплетается «топол» (мужского рода), а где «хмель» (мужского рода), там он «тополью» (женского рода) пленен и (уподобление в эротическом аспекте продолжается) через реку переправляется и «обнимает друга».

Именно по этой и ни по какой другой причине у Пушкина соответственно контексту «тополь» то мужского, то женского рода.⁵ Это словопотребление было для Пушкина еще облегчено благодаря тому, что «тополь» искони был женского рода. Так, в рукописном сборнике нравоучительных слов Иоанна Златоуста (сборник XII века, напечатан в 1878 году) мы находим выражение «под дубием и тополию». Да и в XIX веке, в пушкинское же время, «тополь» употреблялся и в женском роде, как например у Лермонтова:

За тополью высокою
Я вижу там окно. . .

(«Свидание»)

Полагаю, что и в поэме «Полтава», где сравниваются Мария Кочубей и тополь («Как тополь киевских высот, Она стройна. . .»), тополь тоже рода женского: это следует не только из того, что не во вкусе и стиле Пушкина сравнивать лицо женского рода с деревом мужского, но подтверждается еще и следующими соображениями.

Один из кишиневских знакомцев Пушкина И. П. Липравди сообщает, что у Пушкина был уже законченный рассказ на сюжет молдавского предания «Дафна и Дабижа». Рассказ этот до нас не дошел, но его содержание нам известно из напечатанной в 1838 году в «Сыне отечества» (за подписью Болеслава Хиждеу) молдавской легенды «Дабижа», в которой есть следующие строки: «Богат и велик господарь Истрат Дабижа: но он богат не золотом венгерским и не серебром яшским. . . а богат дочерью Домницею Дафною. . . И прекрасна была дочь его Домница Дафна. прекраснее брындуши, развевающейся ранней весною. . . Стан ее был так строен. . . как византийская тополь, возвышающаяся над берегами Днестра».⁶

² В письме к Рылееву Пушкин, разумея под «нашим приятелем» Александра I, пишет: «. . . загляни в журналы, в течение 6-ти лет посмотри, сколько раз упоминали обо мне, сколько раз меня хвалили поделом и понапрасно, — а об нашем приятеле ни гугу, как будто на свете его не было» (XIII, 219).

³ Б. Томашевский. Пушкин, кн. II. Изд. АН СССР, М.—Л., 1961. стр. 171.

⁴ Л. Успенский. Слово о словах. Изд. «Молодая гвардия», 1957, стр. 210.

⁵ Так же, как у Пушкина, и в стихотворении Гейне о двух влекущихся друг к другу деревьях одно из них мужского рода, другое — женского. Лермонтов же в переводе этого стихотворения, взяв оба дерева (сосну и пальму) женского рода, этим умалил и идею и поэтичность подлинника. В тютчевском переводе этого стихотворения («С чужой стороны. Из Гейне») сохранена полярность грамматических родов в наименованиях деревьев: кедр и пальма.

⁶ «Сын отечества и Северный архив», 1838, т. I, февраль, отд. I, стр. 232.

Приводя эту молдавскую легенду, Б. Томашевский указывает, что нет «никакого сомнения, что рассказ Хиждеу передает то самое предание, которое положил в основу своего рассказа и Пушкин», и что «если Б. Хиждеу точно воспроизводит предание, то можно полагать, что в начальной части „Полтавы“ Пушкин воспользовался образным зачином молдавской повести».⁷

Это действительно так. Начальные строки «Полтавы»

Богат и славен Кочубей.

Но Кочубей богат и горд
 Не долгогривыми конями,
 Не златом, данью крымских орд,
 Не родовыми хуторами,
 Прекрасной дочерью своей
 Гордится старый Кочубей

чень близки своими отрицательными сравнениями и перечислениями зачину молдавского предания. Очень близко и описание красоты Дафны из молдавского предания и Марии из поэмы Пушкина:

Она свежа, как внешний цвет,
 Как тополь киевских высот
 Она стройна.

В обоих случаях красота дев сравнивается с внешним цветом, в обоих случаях стройность их станов уподобляется тополям, растущим на высотах. Но в молдавском предании «тополь», с которой сравнивается Дафна, женского рода («византийская тополь»); полагаю, что такова и «тополь» в «Полтаве».⁸

Пушкинские реминисценции из Крылова

Когда помилует нас бог,
 Когда не буду я повешен,
 То буду я у ваших ног. . .

(III, 150)

Но предаю себя проклятью,
 Когда я знаю. . .

(II, 446)

Когда Борис хитрить не перестанет,
 Давай народ искусно волновать. . .

(VII, 8)

Дай ответ,
 Когда не хочешь пытки новой. . .

(V, 42)

Во всех этих (и множестве подобных) примерах слово «когда» употреблено не во временном, а в условном смысле, означает — «если».⁹ В этом же значении употреблено слово «когда» и в начале «Евгения Онегина»:

Мой дядя самых честных правил,
 Когда не в шутку занемог. . .

Именно это значение слова «когда» позволяет по-новому осмыслить весь стих: мой дядя честен, *если* он не в шутку, а всерьез занемог. Сразу, уже с первых слов Онегина, мы в этом выражении узнаем язык «молодого повесы». Но этот же язык «повесы»

⁷ Б. Томашевский. Пушкин, кн. I. Изд. АН СССР, М.—Л., 1956, стр. 468 и прим. 120. См. также: Г. Ф. Богач. Молдавские предания, записанные Пушкиным. В кн.: Пушкин. Исследования и материалы. Труды Третьей Всесоюзной пушкинской конференции. Изд. АН СССР, М.—Л., 1953, стр. 213—240.

⁸ Так поступает Пушкин и в других сходных случаях. В стихотворении «Поэт идет: открыты вежды» (в «Египетских ночах») мы читаем: «. . .месяц любит ночи мглу» (месяц — мужского рода, мгла — женского).

⁹ По «Словарю языка Пушкина» такое словоупотребление встречается у Пушкина 101 раз.

сказывается не только во втором, но и в первом стихе. В басне Крылова «Осел и мужик» имеется стих:

Осел был самых честных правил. . .

Онегин как бы цитирует этот стих, но заменяет в нем слово «осел» словами «мой дядя», показывая, что «осел» и «дядя» для него равнозначны.¹⁰

Подобные вариации крыловских стихов практикует, но уже без всяких шуток, и сам Пушкин.

У Крылова:

На берег выброшен кипящую волной. . .

(«Пловец и море»)

У Пушкина:

На берег выброшен грозою. . .

(«Арион»)

У Крылова:

Куда я беден, боже мой!
Нуждаюсь во всем; к *тому ж* жена и дети. . .

(«Крестьянин и смерть»)

У Пушкина:

Я бедный человек; к *тому ж* жена и дети. . .

(«Послание цензору»)

В последнем стихе Пушкин сохранил не только, и в той же последовательности, крыловские «беден» и «жена и дети», но и очень остроумный звуковой сдвиг: стоящие рядом «тому» и «ж» звучат как «муж», что очень уместно: где жена и дети, там и муж. . .

Этот же звуковой сдвиг Пушкин повторяет в «Графе Нулине», используя его как составную рифму и мнимый читателю «подсказ»:

Но кто же более всего
С Натальей Павловной смеялся?
Не угадать вам. Почему *ж*?
Муж? — Как не так! совсем не *муж*.

Не без влияния крыловских стихов

. . . и я его (льва, — М. А.) лягнул:
Пускай *ослиные копыта* знает!

(«Лисица и осел»)

и стихи Пушкина:

Что геральдического *льва*
Демократическим копытом
Теперь *лягает* и *осел*. . .
(«Езгерский»)

Возможно, что и эпитет «хрупкий» к «снегу» у Пушкина также из крыловского арсенала. Слово «хрупкий» на всем протяжении сочинений Пушкина (а также и его писем) встречается только один раз, в описании сна Татьяны:

То в хрупком снеге. . .

и в том же сочетании, как у Крылова

По снегу хрупкому. . .

(«Мот и ласточка»)

Число подобных переключений между крыловскими и пушкинскими стихами можно было бы значительно увеличить, но мы укажем только еще на один пример,

¹⁰ Об этом см. в «Комментарии к роману А. С. Пушкина „Евгений Онегин“» Бродского (М., 1932, стр. 7). Ср. у Гоголя — генерал Бетрищев говорит Чичикову о его дяде:

„Экой осел! Ты, братец, не сердись. . . Хоть он тебе дядя, а ведь он осел“.

„Осел, ваше превосходительство, хоть и родственник и тяжело сознаваться в этом, но что ж делать?“» (Н. В. Гоголь, Полное собрание сочинений, т. VII, Изд. АН СССР, 1951, стр. 45).

ватели, как В. Евгеньев-Максимов, В. Базанов, Б. Эйхенбаум и Л. Лотман,² считают повесть Григоровича актом классового нападения, причем последние два автора высказывают предположение, что «Школа гостеприимства» появилась, «очевидно, с ведома и одобрения Дружинина».³

Внимательное рассмотрение источников, связанных с возникновением повести, позволяет сделать вывод, что Дружинин был не только идейным отцом пасквиля Григоровича, но и дал ему вторичную жизнь на любительской сцене.

Как известно, в мае 1855 года связанные старой дружбой Боткин, Григорович и Дружинин съехались на отдых в имении Тургенева — Лутовинове. Здесь в непринужденной дружеской атмосфере родилась веселая комедия «Школа гостеприимства».

Незамысловатая пьеса напоминала «Коляску» Гоголя. Помещик, склонный похвастаться, всячески расписывает достоинства своего имения и приглашает знакомых в гости. Когда друзья приезжают, то оказывается, что дом полуразвален, а для встречи ничего не приготовлено. Хозяин в ужасе убегает, а гости продолжают прибывать.

В персонажах фарса, разыгранного авторами на импровизированной сцене, можно было узреть их самих, а также И. И. Панаева, Н. А. Некрасова и других общих знакомых.

Вряд ли бы эта безобидная шутка получила дальнейший ход, если б в дело не вмешался Дружинин. Именно он, указывает Григорович в «Литературных воспоминаниях», сберег рукопись пьесы и навел писателя на мысль «от нечего делать» придать ей форму повести и напечатать.⁴

Григорович действительно принялся за работу, но в его первоначальный замысел вовсе не входили выпады против каких-либо личностей. Это доказывает приписка Григоровича к письму Дружинина, адресованному Тургеневу. Григорович писал: «Что до меня касается, добрейший друг, Иван Сергеевич, я весь погружен в комбинации, имеющие предметом переделку нашей классической комедии, Школа гостеприимства, — в повесть для Библиотеки для чтения. *Звание литератора и актера конечно исчезнет*».⁵

Пока Григорович писал «Школу гостеприимства», Дружинин разразился злобным пасквилем на Чернышевского, в котором ставил рядом Булгарина (под именем Евсея Барнаулова) и писателя, «большого печенкой», т. е. Чернышевского.

В том, что именно Дружинин подсказал Григоровичу мысль написать карикатуру на Чернышевского, убеждает весь дальнейший ход событий. Необходимо помнить, что пылкий, увлекающийся Григорович испытывал на себе влияние Дружинина. Влияние это было сильным и давним. До какой степени оно доходило, видно, например, из повести Григоровича «Неудавшаяся жизнь» (1850), в которой от лица художника Андреева почти в точности воспроизводились дружининские взгляды на роль искусства. Григорович не только повторял мысли из писем «Иногороднего подписчика», но даже оперировал аналогичными терминами (призывы к «спокойствию» у Дружинина и прославление полотен, отображающих «покой» у Григоровича).

Мысль о постороннем влиянии в «Школе гостеприимства» напрашивается также в связи с тем обстоятельством, что карикатурный портрет Чернышевского, которого Григорович неоднократно видел в редакции «Современника», воссоздан весьма тщательно, а об убежденной критике (в политический полемике Григорович никогда не участвовал и даже был склонен думать, что «политика, с этой стороны, богословская философия, с другой, — положительно обокрали русскую литературу»)⁶ говорится мельком, как будто с чужих слов.

Повесть встретила резкую критику «Отечественных записок» и «Санкт-Петербургских ведомостей». Только Некрасов в «Современнике» отозвался о «Школе гостеприимства» со сдержанной похвалой (на этом настоял Чернышевский, не желавший, чтобы ценный сотрудник отошел от журнала), но тут же поставил вопрос о том, «в какой степени можно вносить свои антипатии в литературные произведения».⁷

Резонанс, произведенный повестью, был для Григоровича крайне неприятен. В ноябре 1855 года он писал Некрасову: «Удивляюсь и радуюсь вместе с тем, что Вам не противна „Школа Гостеприимства“, я даже просил Панаева не упоминать о ней, до того казалась она мне мерзкою; спросите у Дружинина, как я за нее пугался и как в ней сомневался».⁸

² В. Евгеньев-Максимов. «Современник» при Чернышевском и Добролюбова. ГИХЛ, Л., 1936, стр. 36; В. Базанов. Из литературной полемики 60-х годов. Петрозаводск, 1941, стр. 38; История русской литературы, т. VII. Изд. АН СССР, М.—Л., 1955, стр. 614.

³ Б. Эйхенбаум. Лев Толстой, кн. I. Л., 1928, стр. 202.

⁴ Д. В. Григорович, Полное собрание сочинений в двенадцати томах, т. XII, СПб., 1896, стр. 324.

⁵ Тургенев и круг «Современника». М.—Л., 1930, стр. 179 (курсив наш, — В. М.).

⁶ Письма русских писателей к А. С. Суворину. Л., 1927, стр. 35—36.

⁷ «Современник», 1855, т. LIII, № 10, отд. V, стр. 166.

⁸ Некрасовский сборник, [1918], стр. 103.

Чернышевский не обратил внимания на пасквиль. Сознание своей правоты и силы позволяло ему игнорировать подобные выпады. Характерно, что в письме из Петропавловской крепости от 20 ноября 1862 года, отводя вымышленные царской охранкой обвинения, он вспомнил и повесть Григоровича, где, как он писал, «я... выведен под именем Чернышевского».⁹ Забыть свое прозвище или пародию мог только человек, совершенно не задетый ими.

Спокойствие Чернышевского действовало и на его противников. Григорович, увидев, что стрела, пущенная им, прошла мимо цели, начинает более внимательно следить за выступлениями Чернышевского и проникаться к нему симпатией. Это заметили даже посторонние лица. Е. Колбасин писал Тургеневу 31 августа 1856 года: «Григорович в восторге от Чернышевского».¹⁰ Сам Григорович в мае 1857 года сообщил И. И. Панаеву: «Пришел я в полное восхищение от статьи Ник^олая Гавриловича о Писемском, или вернее, о статье Дружинина по поводу Писемского. Каждый из нас, в ком сильно сидит известного рода взгляд и направление, вероятно, разделит мое чувство. На днях напишу Чернышевскому, а теперь благодарите его от меня за умную и благородную статью».¹¹ Письмо Григоровича к Некрасову, относящееся к 1860 году, позволяет еще более четко определить отношение писателя к программе «Современника», олицетворением которой был Н. Г. Чернышевский. В нем он прямо говорит о своем горячем сочувствии направлению «Современника».¹²

По мере роста связей Григоровича с «Современником» его приятельские отношения с Дружининым ослабевали, а симпатия к Чернышевскому возрастала. Григорович уже в 1857 году называл Дружинина «старым, потускневшим зеркалом».¹³ Правда, полностью сблизиться с Чернышевским в силу своего половинчатого либерализма Григорович так и не смог, но он стал искренно уважать критика. 29 сентября 1862 года он запрашивал А. П. Милюкова из деревни: «Здесь прошел слух, что Чернышевский взят; правда ли это? Даже не разделяя его убеждений, но любя его как человека, — мне страшно было бы жаль его».¹⁴

Но история со «Школой гостеприимства» на этом не закончилась. Дружинин не терял надежды перессорить своих друзей с Чернышевским. С этой целью им вновь был пущен в ход пресловутый фарс, причем на сей раз он попытался закрепить расхождение Тургенева с Чернышевским. Но ненависть слабо питала дружининскую изобретательность, ибо он снова прибег к оружию, побывавшему в употреблении и не принесшему победы.

Вторично «Школа гостеприимства» увидела свет на любительской сцене в доме петербургского архитектора А. И. Штакеншнейдера в январе 1856 года. Рукопись пьесы для постановки была предоставлена Дружининым. Григорович в «Литературных воспоминаниях» указывал, что Штакеншнейдеры «обратились к Дружинину; тот начал отказывать и, наконец, раздражившись неотвязчивыми просьбами, отдал рукопись».¹⁵

Но это была уже совсем не та пьеса, что создавалась в Лутовинове. Запись в дневнике Е. А. Штакеншнейдер, сделанная вслед за событиями, гласит, что Дружинин, «прехав от нас домой... тотчас же сел и в продолжение ночи написал ее всю вновь, почти на память, потому что и черновой... не было, а были только отрывки».¹⁶ Сам Дружинин, как видно, придавал этому спектаклю серьезное значение; в своем дневнике, где им в основном делались записи не литературного, а личного характера, он отметил 29 января 1856 года: «Утром набрасываю на память „Школу гостеприимства“».¹⁷

В сущности, это была почти новая пьеса, написанная одним Дружининым. Нападки на Чернышевского в ней были не только повторены, но и усилены. В новом варианте пьесы Чернышевский фигурировал под фамилией Брандахлыстова. Брандахлыстов обладал всеми пороками Чернушкина из повести Григоровича и, кроме того, был еще и нечист на руку. Только в неистовой злобе на Чернышевского Дружинин не остановился перед таким грязным выпадом, достойным разве лишь Булгарина, которого незадолго до этого Дружинин сам обличал.

⁹ Н. Г. Чернышевский, Полное собрание сочинений в пятнадцати томах, т. XIV, Гослитиздат, 1949, стр. 462.

¹⁰ Тургенев и круг «Современника», стр. 262.

¹¹ Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР, ф. 93, оп. 4, № 63.

¹² См.: «Литературное наследство», т. 51—52, ч. II, 1949, стр. 227.

¹³ Письмо Л. Н. Толстому (ноябрь 1857 года). «Красная нива», 1928, № 17, стр. 10.

¹⁴ Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР, 10.276

XIV с. 93.

¹⁵ Д. В. Григорович, Полное собрание сочинений в двенадцати томах, т. XII, стр. 267.

¹⁶ Д. В. Григорович. Литературные воспоминания, стр. 456.

¹⁷ ЦГАЛИ, ф. 167, оп. 3, ед. хр. 108, л. 193.

Дружинин рассчитывал, что публика, знакомая со «Школой гостеприимства» по журнальному тексту, разгадает Чернышевского и под фамилией Брандахлыстова, тем более что на спектакле присутствовали Тургенев, Панаев, Греч и другие литераторы и журналисты. Он полагал также, что слух об этом спектакле разойдется по Петербургу и скомпрометирует Чернышевского. Представления Дружинин ждал с нетерпением, он даже не преминул сообщить о нем Боткину: «Вот еще вам новость — нашу „Школу Гостеприимства“ дают на театре у Штакеншнейдера — Михайлов играет Аверира Васильевича, мы же играть отказались, но смотреть будем с наслаждением. . .»¹⁸

Помимо компрометации Чернышевского, Дружинин преследовал и другую цель. Во время спектакля, вызвавшего в публике возмущение, «Дружинин шепнул ему (Тургеневу, — В. М.), что все считают его автором пьесы, и в подтверждение указал на многих лиц, которые приподымались с мест, отыскивая глазами автора».¹⁹

Слух об авторстве Тургенева был пущен несомненно самим Дружининым, ибо это позволяло опорочить Тургенева в глазах Чернышевского и отрезать писателю дорогу к возможному сближению с ним.

Обращает на себя внимание поведение Дружинина во время спектакля. «Вчера у Штакеншнейдер на домашнем театре давали „Школу гостеприимства“, — сообщал Тургенев Боткину, — и она произвела скандал и позор, — половина зрителей с омерзением разбежалась, я спрятался и удрал, а Дружинин стоял среди публики, как утес среди волн. Григорович, который все еще тут витает, совсем не явился. Лучше всего было то, что эту чепуху приписывали мне».²⁰

Хладнокровие Дружинина на сей раз свидетельствует о том, что, памятуя прежние неудачи и продумав возможные варианты реакции зрителей на пьесу, он приготовился и к подобному исходу и поэтому остался спокоен во время скандала.

Таким образом, вторичная попытка Дружинина при помощи пасквиля посорить Григоровича и Тургенева с Чернышевским потерпела неудачу, а Григорович и вовсе не явился на спектакль.

Н. П А В Л Ю К

СТИХОТВОРЕНИЕ ШЕВЧЕНКО В ПЕРЕВОДЕ ШЛИССЕЛЬБУРГСКОГО УЗНИКА

Вопрос о месте и роли поэтического наследия Т. Г. Шевченко в русском освободительном движении 80-х годов прошлого столетия изучен еще недостаточно, хотя за последнее время советское шевченковедение значительно продвинулось в его разработке.¹ Тем большой интерес представляют новые факты, позволяющие полнее представить себе, как проникали стихи великого украинского поэта в революционную среду, чем они привлекали внимание русских читателей и какой отзвук у них находили. Выяснению одного из таких фактов и посвящено настоящее сообщение.

В архиве видного народовольца, впоследствии крупного советского ученого, почетного академика Н. А. Морозова (1854—1946), прошедшего 27 лет своей жизни в Петропавловской и Шлиссельбургской крепостях, хранятся некоторые материалы М. В. Новорусского, товарища Н. А. Морозова по заключению в Шлиссельбурге. Среди них нами обнаружено стихотворение «Из Шевченко», написанное на листке, вырванном, по-видимому, из записной книжки (в правом верхнем углу листка следы авторской пагинации — цифра 10, на обороте зачеркнуто начало шуточного стихотворения). Внизу — карандашная пометка другим почерком: «Новорусс. Перев. из Шевч.». Вот полный текст этого стихотворения:

И З Ш Е В Ч Е Н К О

Уж молодая кровь не греет,
Уж от надежды прежней веет
Суровым ветерком. . . Зима! . .
Сиди один в тюрьме холодной,
Куда ни мысли луч свободный,
Ни счастья не заглянет. . . Тьма,
Мрак непроглядный, безысходный!

Сиди ж, пока надежда та
В душе отчаянье посеет,
Обманет дурня, как мечта,
И думы гордые развеет,
Как ветер листья по степи. . .
И так один в углу сиди. . .
Не жди весны — отрадной доли:

¹⁸ Письма к А. В. Дружинину (1850—1860). «Летописи Государственного литературного музея», кн. IX, 1948, стр. 45.

¹⁹ Д. В. Григорович, Полное собрание сочинений в двенадцати томах, т. XII, стр. 328.

²⁰ В. П. Боткин и И. С. Тургенев. Неизданная переписка. М.—Л., 1930, стр. 79.

¹ См.: Ф. Я. Прийма. Шевченко и русская литература XIX века. Изд. АН СССР, М.—Л., 1961.

Ведь не настанет она боле,
Чтобы твой сад позеленить,
Твою надежду обновить,

И думу вольную на волю
Не выпустит она. . . Сиди
И ничего уже не жди!!!²

Публикуемый текст представляет собой перевод стихотворения Т. Г. Шевченко «Минули літа молодії», написанного в Петербурге осенью 1860 года и впервые напечатанного на украинском языке вскоре после смерти поэта («Основа», 1861, кн. V). Данных для точной датировки перевода нет. Несомненно однако, что М. В. Новорусский выполнил его в годы своего заточения в Шлиссельбургской крепости, к которому он был приговорен за участие в покушении на Александра III 1 марта 1887 года.

Михаил Васильевич Новорусский родился в 1861 году в Новой Руссе Демянского уезда Новгородской губ. в многодетной семье деревенского псаломщика. Девяти лет был отдан в духовное училище в Старой Руссе, затем учился в Новгородской духовной семинарии. Отсюда в 1882 году он был на казенный кошт командирован в Петербургскую духовную академию. Новорусский впоследствии вспоминал в автобиографии: «. . .здесь впервые, живя в общежитии, я познакомился с нелегальной литературой и хранил ее у себя для надобностей небольшого кружка студентов-сочувствующих».³ Тогда же Новорусский стал принимать активное участие в петербургском студенческом движении. В 1885 году он был избран кассиром Новгородского землячества, объединявшего студентов-новгородцев всех высших учебных заведений столицы, помогал в устройстве студенческой столовой и т. д.

Сохранилось любопытное свидетельство современника, характеризующее Новорусского в студенческие годы. Студент Владимир Тихомиров, исключенный из духовной академии за близкое знакомство с Новорусским, в покаянном письме обер-прокурору Синода Победоносцеву признавал: «Сам он необычайно точный и неутомимый труженик, умный, начитанный, простой в обращении. . . За последние годы Новорусский успел выработать из себя человека крайне сдержанного, замкнутого в себе. . .»⁴

По окончании духовной академии в 1886 году Новорусский за отличные успехи был оставлен для подготовки к профессорскому званию и начал работать над диссертацией по истории педагогики и психологии. Познакомившись в петербургском общестуденческом союзе (объединении студенческих землячеств) с Александром Ульяновым, Новорусский стал участником подготавливавшегося покушения на царя. В начале 1887 года он предоставил А. Ульянову помещение, в котором тот и приготовил недостававшее количество динамита. После раскрытия заговора Новорусский был арестован и судился по процессу первомартовцев. Вместе с А. И. Ульяновым, П. Я. Шевыревым, В. Д. Генераловым, П. И. Андреюшкиным, В. С. Осипановым, И. Д. Лукашевичем и другими он был приговорен к смертной казни, в последний момент замененной ему и Лукашевичу пожизненным заключением. Так Новорусский попал в Шлиссельбургскую крепость, где провел около девятнадцати лет.

Из Шлиссельбурга (вместе со всеми оставшимися в живых узниками) Новорусского освободила революция 1905 года. Он сразу же принялся писать воспоминания о Шлиссельбурге, первоначально печатавшиеся в журнале «Былое», а в 1907—1908 годах вышедшие отдельными изданиями на шведском и немецком языках и дважды переизданные на русском языке после Октября. Вскоре Новорусский переехал в Петербург, работал в Высшей вольной школе П. Ф. Лесгафта, заведовал Подвижным музеем Русского технического общества, коллекции для которого он составлял еще в заключении.

После Великой Октябрьской революции и до самой смерти, последовавшей в 1925 году, Новорусский был директором Сельскохозяйственного музея в Ленинграде, принимал деятельное участие в работе Общества бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев. Крупный специалист музейного дела, талантливый популяризатор научных знаний, блестящий лектор и одаренный литератор, он оставил после себя немало интересных научно-популярных педагогических, мемуарных трудов.

Шлиссельбургская крепость в середине 80-х годов отличалась особенно суровым режимом, превратившим ее в подлинное «царство смерти». Самым страшным бичом в Шлиссельбурге тех лет была строжайшая изоляция. Наглухо замурованные за стенами «государственной тюрьмы» на безлюдном острове, узники Шлиссельбурга после бурного революционного водоворота вдруг оказались совершенно отрезанными не только от внешнего мира, но и друг от друга. Естественно, что вся их энергия, в первую очередь, обратилась на борьбу за право общения между собой.

К тому же люди преимущественно высокообразованные и одаренные, они очень тяжело переживали отсутствие каких бы то ни было эмоциональных впечатлений. В неопубликованном отрывке воспоминаний М. В. Новорусского читаем: «Всякая беллетристика, как в прозе, так и в стихах, тщательно изгонялась в это время из нашей библиотеки. И люди, привыкшие иногда жить воображением, жаждавшие красивых образов и красивых звуков, не находили здесь ни малейшего удовлетворения.

² Архив АН СССР (Московское отделение), ф. 543, оп. 7, № 3.

³ ЦГАОР, ф. 1733, оп. 2, № 2, л. 1.

⁴ Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина, ф. 230, картон 4396, № 42, л. 2—2 об.

Быть может, поэтому мы напрягали свою фантазию и старались даже обыденные мысли и фразы выразить в стихах. Быть может, чувства, волновавшие нас тогда, не находя себе исхода, отличались особой повышенностью и для своего выражения нуждались в не совсем обычной форме».⁵

Эта потребность настойчиво заявляла о себе, невзирая на все стеснения, и при первой же возможности нашла себе выход. Когда в 1887 году узникам разрешили пользоваться карандашом и бумагой и стали меньше преследовать за перестукивание, в тюрьме началось всеобщее увлечение стихотворством. Так возникла «шлиссельбургская литература» — одна из малоизученных страниц художественного творчества русских революционеров. Не ставя здесь себе целью сколько-нибудь полное ее освещение, остановимся лишь на некоторых общих моментах, имеющих отношение к публикуемому тексту.

Упоминание о литературном творчестве заключенных можно найти едва ли не во всех мемуарах бывших шлиссельбуржцев. В записках В. Н. Фигнер «Когда часы жизни остановились» читаем, например, об интересующем нас периоде: «... в нашей жизни открылась целая полоса поэтического творчества: стихи посыпались со всех сторон... Писали в героическом тоне, писали в тоне элегическом, кто во что горазд. Главной темой были воспоминания, они наиболее отвечали лирическому настроению, так свойственному первым годам заключения».

О качестве стихотворений я говорить не буду, несомненно одно — писание стихов облегчало тогда нашу жизнь, давая исход накопившемуся чувству, с другой стороны, взаимный обмен ими вносил некоторое разнообразие в одиночество, и это давало известное удовлетворение, а иногда и приносило большую радость...»⁶

Обращает на себя внимание подчеркнутая мемуаристкой двойная функция «шлиссельбургской литературы». Даже создаваемая в столь специфических условиях, она все же оставалась литературой в истинном смысле этого слова и не только давала самим авторам возможность излить свои чувства, но и играла в крепости важную «коммуникативную» роль, была рассчитана на своего собственного слушателя, а затем и читателя.

Как указывает М. В. Новорусский в предисловии к своим шлиссельбургским мемуарам, даже не записки и дневники, а именно те стихотворения, которые умел составить почти каждый из заключенных, могли бы служить «наилучшим изображением наших настроений... Тюрьма, как известно, делает поэтом! Эти стихотворения не отличаются особыми поэтическими достоинствами. Но собранные вместе, они имели бы для бытописателя большое значение, как живой памятник душевных переживаний, сохранившийся от тех самых дней...»⁷

Поэзия была преобладающим, но не единственным родом литературного творчества заключенных Шлиссельбурга. Писали они и прозаические этюды, рассказы, повести и даже романы, некоторые пытались вести дневники, другие, как например Н. А. Морозов, ухитрялись создавать в заключении капитальнейшие труды в области математики, физики, химии, астрономии и других наук. Одно время узникам Шлиссельбурга удавалось даже выпускать нечто наподобие рукописных журнальчиков-сборников, которые перебрасывались из одной загородки для прогулок в другую, имели собственное «направление» и «автору», а иногда и вели друг с другом литературную полемику.⁸ Словом, несмотря на то, что большинство упомянутых здесь произведений не сохранилось, у нас есть все основания говорить о довольно оживленной «литературной деятельности» в Шлиссельбурге.

Одним из активнейших участников этой деятельности был М. В. Новорусский. Об этом пишет и он сам: «Даже я, никогда не умевший связать и пары строк в рифму, теперь обрел в себе поэтический дар и рифмовал не хуже других».⁹ Это подтверждают и его товарищи по Шлиссельбургу. В мемуарах В. Н. Фигнер есть упоминание о том, что за несколько дней до своего освобождения из крепости она сожгла целую кучу рукописей (своих и чужих), опасаясь, как бы они не попали в руки жандармов. Среди сожженного были также «записки и стихотворения Новорусского».¹⁰ М. И. Фроленко в некрологе, посвященном Новорусскому, вспоминал: «Когда у нас завелся писанный журнальчик, Новорусский сделался непрременным его сотрудником».¹¹ В сборнике «Под сводами», составленном Н. А. Морозовым после революции 1905 года из немногих сохранившихся литературных произведений шлиссельбуржцев, опубли-

⁵ М. В. Новорусский. Шлиссельбург. Картины и настроения. См.: ЦГАОР, ф. 1733, оп. 2, № 1, лл. 6—7.

⁶ Вера Фигнер, Полное собрание сочинений в семи томах, т. II, изд. 2-е, М., 1932, стр. 54—55.

⁷ Михаил Новорусский. Записки шлиссельбуржца. 1887—1905. М., 1933, стр. 22.

⁸ В. С. Панкратов. Жизнь в Шлиссельбургской крепости. Пгр., 1922, стр. 46—50.

⁹ Михаил Новорусский. Записки шлиссельбуржца, стр. 243.

¹⁰ Вера Фигнер, Полное собрание сочинений в семи томах, т. II, стр. 242.

¹¹ М. Фроленко. Михаил Васильевич Новорусский. «Каторга и ссылка», 1925, № 7, стр. 247.

кованы отрывки из дневника М. В. Новорусского за 1887 год «В абсолютном одиночестве», а также два его стихотворения: «В. Н. Фигнер» (поздравление ко дню рождения, датированное 17 октября 1889 года) и «Осенью 1893 года» («Как скучно жить! Как глупо жить!»).

Новорусским несомненно были написаны в Шлиссельбурге и другие произведения. Большая часть их утрачена — об этом, кроме сказанного выше, свидетельствует и признание самого Новорусского. Вспоминая о проникших в тюрьму слухах о возможной амнистии в связи с одним из царских манифестов, он писал: «Надежды и увлечения тогда были так заразительны, что когда многие наши „литераторы“ стали подвергать сожжению под плитой плоды своих дум, сжег и я несколько рукописей».¹² Таким образом, многое безвозвратно погибло, однако в ходе дальнейших разысканий, как подтверждают и сохранившиеся в архиве Н. А. Морозова бумаги М. В. Новорусского, еще могут быть обнаружены неизвестные нам литературные произведения шлиссельбуржцев.

Помимо оригинального творчества, шлиссельбургские узники занимались и переводами. Некоторые сведения об этом сохранились в воспоминаниях М. Ю. Апенбреннера «Шлиссельбургская тюрьма за 20 лет, с 1884 по 1904 г.». Примечательно, что это были не только переводы научной литературы из тюремной библиотеки, к которым прибегали «и для практики, и для того, чтобы познакомиться товарищей, не читавших на иностранных языках, с интересными книгами или статьями». По словам М. Ю. Апенбреннера, «очень хорошие переводы на прекрасный русский язык, с немецкого и английского» были сделаны В. Н. Фигнер. В Шлиссельбурге были переведены произведения Киплинга, три драматических хроники Шекспира, первый том «Ярмарки тщеславия» Теккерея. Появлялись в крепости и поэтические переводы. Так, «Полливанов перевел несколько стихотворений своего любимого поэта Аккермана».¹³

Можно не сомневаться, что к переводу обращались также и другие шлиссельбургские литераторы: тяга к творчеству, как мы видели, была очень велика, тюремная же действительность никакой пищи художественному воображению не давала; поневоле приходилось обращаться к запасам собственной памяти, хранившей наряду с воспоминаниями о воле и стихи любимых поэтов. О том, насколько серьезно и требовательно относились шлиссельбуржцы к этому виду творчества, говорит любопытное признание Н. А. Морозова в предисловии к первому полному изданию его стихотворений: «... прелестные стихотворения Стивенсона... я часто повторял про себя во время заточения в Шлиссельбургской крепости и не рещался перевести, чтобы не испортить».¹⁴

Факт обращения М. В. Новорусского к стихотворению Шевченко представляется нам не случайным. Популярность украинского поэта среди русской революционной молодежи 80-х годов прошлого столетия несомненно была большей, чем это иногда кажется на первый взгляд. В частности, стихи Шевченко были, по-видимому, достаточно хорошо известны в том кругу, из которого вышли участники покушения 1 марта 1887 года во главе с А. И. Ульяновым. Как недавно сообщалось в печати, среди не публиковавшихся прежде документов обнаружено письмо без подписи, написанное, очевидно, Р. А. Шмидовой и свидетельствующее, между прочим, «о большом интересе, который проявили брат и сестра Ульяновы к украинской литературе».¹⁵

Весьма примечательно также, что, будучи привлеченной в качестве обвиняемой по процессу первомайцев, Р. А. Шмидова на вопрос о ее знакомстве со схваченным на Невском проспекте с бомбой в руках Н. И. Андреюшкиным отвечала: «... так как он очень хорошо читает по-малороссийски, то я раз приглашала его к себе, чтобы он почитал Шевченко; я очень любила слушать». В ходе дальнейшего допроса выяснилось, что на этих чтениях, происходивших в комнате Шмидовой, присутствовал и другой участник покушения — живший в той же квартире О. М. Говорухин — и что при этом «говорили о том, что читали».¹⁶ Даже если усматривать в этом показании лишь вполне естественное в данной ситуации стремление обвиняемой скрыть истинный характер предшествовавших покушению сходов, нельзя не обратить внимания на то, каким образом она это делала: по-видимому, ссылка на интерес студентов к Шевченко должна была в глазах суда выглядеть достаточно убедительной.

Вероятнее всего именно в среде революционного петербургского студенчества впервые приобщился к шевченковской поэзии и новгородец Новорусский. Еще на воле познакомился с творчеством Шевченко и многие другие узники Шлиссельбурга. Некоторые из них родились и выросли на Украине или служили там, проводили революционную работу. Назовем содержащихся в Шлиссельбурге одновременно с Новорусским: М. Ф. Фроленко — участника так называемого «Чигиринского дела», характеризующегося, между прочим, широким использованием политической поэзии Шев-

¹² Михаил Новорусский. Записки шлиссельбуржца, стр. 130.

¹³ М. Ю. Апенбреннер. Военная организация Народной Воли и другие воспоминания. М., 1924, стр. 130—131.

¹⁴ Николай Морозов. Звездные песни, кн. I. «Задруга», М., 1920, стр. II.

¹⁵ Григорий Хайт. Штрихи пламенной жизни. «Огонек», 1962, № 21, стр. 8.

¹⁶ Первое марта 1887 г. Дело П. Шевырева, А. Ульянова и др. М.—Л., 1927, стр. 143.

ченко для массовой революционной агитации; П. Л. Антонова, жившего в Николаеве, Полтаве, Харькове; П. Д. Похитонова, жившего в Миргороде и Киеве; В. Г. Иванова — студента Киевского университета. Трудно допустить, чтобы все они в той или иной степени не были знакомы с творчеством Шевченко. Весьма примечательно, например, что уже упоминавшийся выше шлиссельбуржец М. Ю. Апенбреннер, революционная деятельность которого также была связана с Николаевом и Одессой, в своих воспоминаниях о 60—70-х годах ставил развитие оппозиционных настроений в офицерской среде в определенную связь с бесцензурной поэзией Шевченко.¹⁷

Одним словом, имя Шевченко было далеко не чуждо узникам Шлиссельбурга. Даже находясь в крепости, кто-то из шлиссельбуржцев продолжал проявлять интерес к украинскому языку и литературе. Как видно из «Каталога книг в тюремной библиотеке Шлиссельбургской крепости», в этой библиотеке был и первый выпедший в России «Опыт русско-украинского словаря» М. Левченко (1874), и знаменитая «Энеида» и «Наташка Полтавка» И. Котляревского, и какой-то (не идентифицированный нами) «Малороссийский сборник поэзии».¹⁸

Жила в стенах Шлиссельбурга и украинская песня «Ой, не горазд запорожці».¹⁹ Есть достаточные основания рассматривать перевод М. В. Новорусского не как единичный и случайный факт, а как отражение вполне определенного интереса шлиссельбуржцев к творчеству украинского поэта. Сохранился и еще один документ, свидетельствующий об этом интересе, но до сих пор не привлекавший внимания исследователей.

Среди заключенных был уроженец Украины В. П. Конашевич, осужденный за участие в убийстве инспектора государственной полиции Судейкина. Молодой и физически очень крепкий, он особенно тяжело переносил одиночное заключение. В Шлиссельбург, куда его перевели из Петропавловской крепости (кстати, почти одновременно с Новорусским), он попал уже душевнобольным. Здесь заболевание прогрессировало, Конашевич счел себя потомком украинского гетмана Конашевича-Сагайдачного, великим изобретателем и непрерывно писал безумные доклады о своих открытиях. В редкие же минуты просветления, начиная осознавать, в какую бездну затягивает его болезнь, он пытался искать спасения от надвигающегося на него помешательства. В одну из таких минут и было написано следующее прошение Конашевича: «Хотя по милости бога я и приспособляюсь кое-как к моей неволе, учусь терпению, но лишение все-таки отзывается на мне и моих занятиях; несмотря на года, я не могу забыть ни родины, ни родных; среди моих мыслей все тянет туда. Мне кажется, что я нашел средство скрасить несколько тюремную жизнь и занятия. Если бы ваше превосходительство соблаговолили прислать мне Шевченко и малороссийский словарь, такие занятия родной поэзией и языком наверно принесли бы мне облегчение. Конечно, здесь много прибавило бы лучшего, если бы отпустили при этом побольше на нашу тюремную пищу, но я полагаюсь в этом на память о нас вашего превосходительства и нижайше прошу о „Кобзаре“ и словаре».²⁰

Конашевич вряд ли получил просимые книги, но уже само стремление больного узника найти моральную опору в стихах родного для него поэта весьма примечательно. Публикуемый перевод М. В. Новорусского является ярким свидетельством того, какой отзвук находили некоторые стихи Шевченко среди шлиссельбургских заключенных. Нетрудно понять, чем именно привлекло переводчика стихотворение «Минули літа молодії». Проникнутое предчувствием смертельно больного поэта, что ему уже не пережить надвигающейся зимы (Шевченко умер на самом пороге весны 1861 года), это стихотворение отразило неизбывную тоску личной неустроенности и одиночества, так обострившуюся в Шевченко на склоне лет, с большой художественной силой воплотило горестные раздумья человека, уже знающего, что ему не суждено увидеть торжество своих идеалов.

Минули літа молодії,
Холодним вітром од надії
Уже повіяло. Зима!
Сиди один в холодній хаті,
Нема з ким тихо розмовляти,
Ані порадитись. Нема
Анікогісінько. — Нема!
Сиди ж один, поки надія
Одурить дурня, осміє...
Морозом очі окує,

А думи гордії розвіє,
Як ту свіжину по степу!
Сиди ж один собі в кутку,
Не жди весни — святої долі!
Вона не зійде вже ніколи
Садочок твій позеленить,
Твою надію оновить!
І думу вольвую на волю
Не прийде випустить... Сиди
І нічокогісінько не жди!...²¹

¹⁷ М. Ю. Апенбреннер. Военная организация Народной Воли и другие воспоминания, стр. 45—46.

¹⁸ ЦГАОР, ф. 1773, оп. 1, № 5, лл. 58—59.

¹⁹ В. С. Панкратов. Жизнь в Шлиссельбургской крепости, стр. 79.

²⁰ Цит. по кн.: Е. Е. Колосов. Государева тюрьма — Шлиссельбург. Изд. 2-е, М., 1930, стр. 122.

²¹ Тарас Шевченко, Повне зібрання творів в десяти томах, т. II, Вид. АН УРСР, Київ, 1953, стр. 354.

И общая тональность этого стихотворения, и отдельные его мотивы оказались удивительно созвучными настроениям пожизненно замурованных в одиночках Шлиссельбурга узников. Сохранившиеся воспоминания и письма тех лет позволяют установить это с документальной точностью, проследив, таким образом, самую психологию восприятия шевченковского стихотворения заключенным революционером.

Возьмем, например, один из ведущих образов, положенный поэтом в основу той антитезы, на которой построено все стихотворение: «Зима!» Образ зимы — один из распространеннейших в художественных произведениях шлиссельбуржцев. И это не просто календарная реалья. Когда пытаешься восстановить в памяти проведенные в Шлиссельбурге годы, писал впоследствии М. В. Новорусский, «воображение рисует одну безрадостную, унылую зимнюю равнину, где глубокий снег сгладил все очертания и где пыливый глаз тщетно ищет, на чем бы он мог остановиться и отдохнуть на минутку от томительного однообразия. Самый снег здесь не пустая метафора. Жизнь была как бы заморожена, к тому же в нашей зиме не было ни малейших художественных прикрас. Потому она была не просто безрадостна: в первые годы она была почти мучительна».²²

Подобную же образную ассоциацию встречаем и в письме В. Н. Фигнер к П. Ф. Якубовичу, опубликованном в качестве предисловия к первому изданию ее шлиссельбургских стихотворений (1906). Годы заключения также видятся ей как «бесконечная снежная пелена, когда все застыло, все успокоилось, и началось существование „без настроения“; без острого страдания, без мук от сознания своих сил и своего бессилия, когда думалось, что уже „свершилась судьба“, и единственный исход — смерть, естественная, спокойная...»²³

У Шевченко символизирующий умпание образ зимы, конкретизированный в целом ряде художественных деталей («холодным вітром», «в холодній хаті», «морозом... окуе», «як ту *снижину*»), противопоставлен всевозрождающей весне. Сохранив в своем переводе эту центральную антитезу (зима — весна), Новорусский переосмысливает все стихотворение по-своему, применительно к условиям, в которых создавался перевод. «Минули літа молодії», — горестно восклицает Шевченко на склоне лет.

Уж молодая кровь не греет,
Уж от надежды прежней веет
Суровым ветерком... Зима!...

начинает свой перевод Новорусский, двадцати шести лет попавший в одиночку Шлиссельбурга. Из всех двойных и тройных повторов, к которым так часто прибегает Шевченко в этом стихотворении, переводчик сохраняет лишь повторы «сиди один» и «не жди». При этом ключевому слову «сиди» он придает более конкретный смысл: «в тюрьме холодной».²⁴

Соответственно меняется содержание и следующих строк. Мотивы личного одиночества, семейной неустроенности, тоски по близкому другу («Нема з ким тихо розмовляти, Ані порадитись...») оказались совершенно опущенными в переводе. Их место заняли иные, более соответствовавшие душевному настроению узника медитации:

Сиди один в тюрьме холодной,
Куда ни мысли луч свободный,
Ни счастья не заглянет... Тьма,
Мрак непроглядный, безысходный!

Интересно, что и в этом своем отступлении от переводимого текста Новорусский прибегает к тому же приему контрастного противопоставления (*тьма, мрак — луч мысли, счастья*), который так широко использован в оригинале. Однако весь характер образности здесь заметно меняется. Так, например, авторская антитеза «як ту *снижину* по *степу*» показалась переводчику слишком смелой, и он заменил ее менее выразительным «как ветер листья по степи». Зато в точности сохранено упоминание о «думах гордых», которое не только по смыслу, но и по стилю было Новорусскому более близким. Во всем этом несомненно отражались не только тогдашние настроения переводчика, но и его литературные вкусы, сказывалось влияние традиционной для русской поэзии тех лет образности, заметно отличавшейся от поэтики Шевченко.

²² Михаил Новорусский. Записки шлиссельбуржца, стр. 19.

²³ Вера Фигнер, Полное собрание сочинений в семи томах, т. IV, стр. 242.

²⁴ Примечательно, что подобное же истолкование этой шевченковской строке давал и другой политический узник царизма — погибший в ссылке украинский поэт П. А. Грабовский. В письме из Сибири Б. Д. Гриченко от 31 марта 1898 года он признавался: «Можно бы вырваться отсюда, написавши прошение на тему „грех юности моея и неведения моего не помяни“, но такого прошения я не могу написать и никогда не напишу. Значит — сиди „і нічогосінько не жди!“» (Павло Грабовський, Зібрання творів у трьох томах, т. III, Вид. АН УРСР, Київ, 1960, стр. 275).

Несмотря даже на то, что анализируемое стихотворение является не оригинальным, его вполне можно принять за своеобразную страничку тюремного дневника Новорусского тех лет. Недаром впоследствии Новорусский признавал: «... Г. А. Гершуни (кстати, попавший в Шлиссельбург лишь в 1904 году, на целых два десятилетия позже первых народовольцев, — Н. П.),... как только познакомился с нашей музой, обозвал всех наших поэтов нытиками. Правильно это или нет, но наши стихотворения остаются все-таки *единственно точными записями* (курсив наш, — Н. П.), которые сохранились от того времени и набрасывались большею частью в минуты наиболее сильного наплыва угнетавших нас чувствований».²⁵

Насколько точными были эти поэтические записи, позволяет судить анализируемый перевод. Среди документальных материалов Новорусского и других шлиссельбуржцев можно найти параллели едва ли не к каждой из следующих (заключительных) строк:

И так один в углу сиди . . .	Твою надежду обновить,
Не жди весны — отрадной доли:	И думу вольную на волю
Ведь не настанет она боле,	Не выпустит она. . . Сиди
Чтобы твой сад позеленить,	И ничего уже не жди! ! !

Сколько упоминаний о вдруг возникавших и затем, казалось, навсегда и бесспорно утраченных надеждах на освобождение рассеяно в шлиссельбургских мемуарах! А как угнетало узников сознание того, что они наглухо погребены в казематах Шлиссельбурга, за стены которого целыми десятилетиями не проникало ни малейшего слуха о заключенных, лишенных даже собственного имени и содержавшихся под номерами. Вот размышления самого Новорусского о беспечности всяких заведений в тюрьме, относящиеся к раннему, более строгому периоду заключения, когда в Шлиссельбурге были запрещены какие бы то ни было сношения с волей: «Ведь ни одна твоя разумная мысль не выскользнет отсюда! Ни одно твое изделие не минует жандармских рук! Все будет конфисковано и отобрано, каким бы путем ты ни старался выпустить отсюда маленькую частицу своего „я“».²⁶ Поистине «и думу вольную на волю не выпустит. . .!» Мало в конечном счете изменились подобные настроения и тогда, когда в тюремном режиме был сделан ряд послаблений, в частности разрешено было (после 19 лет заточения!) писать родным по два письма в год. Вот отрывок из неопубликованного письма Новорусского от 5 октября 1897 года: «Месяцы и годы у меня проходят без всяких почти перемен и так похожи друг на друга, что пиши письмо хоть 2 июля, хоть 2 августа или сентября, скажешь в нем то же самое: жив, здоров, живу себе, слава богу, без горя и радостей, без скуки и печалей, без житейских хлопот и без полезного дела, без мысли о прошлом и без надежды в будущем».²⁷

Разве это не те же слова, которыми оканчивается переведенное Новорусским стихотворение Шевченко: «Сиди И ничего уже не жди! !!»?

Заметим, что не только те чувства, которыми исполнены приведенные выше строки, точно воспроизводят подлинные настроения заключенных Шлиссельбурга, но даже имеющееся там упоминание о саде, весенний расцвет которого, быть может, больше не суждено увидеть, воспринимается как реальная подробность именно шлиссельбургского тюремного быта. (Как известно, после долгой борьбы узникам крепости разрешено было развести собственные огороды в крохотных клетушках, с годами превратившиеся в настоящие садики). Так в анализируемом переводе для нас открывается все больше и больше точек соприкосновения с той конкретной действительностью, в которой он возник.

Вместе с тем было бы глубоко ошибочным только на основании такого анализа делать обобщающие выводы о настроениях заключенных в Шлиссельбурге революционеров и о влиянии стихов Шевченко на эти настроения. Многолетнее заключение в Шлиссельбурге разные люди переносили по-разному, однако именно М. В. Новорусский, по совершенно единодушному свидетельству всех мемуаристов, был одним из самых выдержанных и уравновешенных заключенных. Его меньше всего можно было бы обвинить в пессимизме и слабодушии. Более того, между двумя друзьями по шлиссельбургскому заточению — Морозовым и Новорусским — уже в советское время даже возникла полемика по поводу того, что Новорусский в своих мемуарах, увлекшись описаниями всяческих хозяйственных затей и ухищрений, слишком смягчил общую картину заключения в Шлиссельбурге, где люди гибли десятками, а многие из оставшихся в живых мечтали о каторге как о недостижимом благе.²⁸

Как же согласовать с этим всем обращение Новорусского к одному из самых печальных стихотворений Шевченко? Лучший ответ на этот вопрос дает сам переводчик. «У нас, — писал он, — не могло быть постоянным и сознание безнадежности

²⁵ Михаил Новорусский. Записки шлиссельбуржца, стр. 75.

²⁶ М. В. Новорусский. Шлиссельбург. Картины и настроения. См.: ЦГАОР, ф. 1733, оп. 2, № 1, л. 13.

²⁷ Архив АН СССР (Московское отделение), ф. 543, оп. 7, № 17.

²⁸ См.: М. Н. Гернет. История царской тюрьмы в пяти томах, т. III. Изд. 3-е, Госюриздат, М., 1961, стр. 268.

и состояние отчаяния. . . Надежда была смутная, неуверенная, непостоянная и колеблющаяся, но она была. . . Соответственно этому двойному влиянию, т. е. субъективному протесту против безнадежности и объективному отрицанию всяких надежд, колебалось и наше внутреннее настроение.

Преобладал, конечно, повышенный и оптимистический тон. Но в него повелительно вторгались диссонансом нередкие ноты грусти, уныния и общей подавленности, при которой все представлялось в мрачном и безутешном виде. Затем „полоса“ эта, как туча, проходила, и вновь на душе светило солнце, вновь торжествовали живые силы организма и вновь мерцали надежды. . .»²⁹ Воспоминанием об одной из таких «мрачных полос» и осталось переведенное Новорусским стихотворение Шевченко.

К сожалению, пока не удалось обнаружить данных, позволяющих более или менее точно установить конкретные обстоятельства появления этого перевода. Прежде всего трудно определить, каким текстом воспользовался Новорусский в качестве оригинала. Не владея украинским языком в совершенстве, он вряд ли мог перевести стихотворение по памяти; к тому же перевод, несмотря на отмеченные выше отклонения, в целом довольно близок к тексту подлинника.

Не представляется возможной и точная датировка перевода, однако вероятнее всего, что он выполнен в первые годы пребывания Новорусского в Шлиссельбурге. В пользу такого предположения говорит одно обстоятельство. Как упомянуто в начале статьи, в архиве Н. А. Морозова перевод хранится в записи на листке, вырванном из небольшой тетради или записной книжки. На обороте листка — начало шуточного стихотворения, содержание которого подтверждает, что оно написано в самом начале заключения Новорусского.³⁰

Хранящийся в архиве Н. А. Морозова листок представляет собой скорее всего не подлинную шлиссельбургскую, а позднейшую записку. Однако и в этом случае сам факт близкого соседства оригинального и переводного стихотворений Новорусского позволяет, как нам кажется, допустить, что написаны они были если не одновременно, то вскоре одно после другого. Поскольку же оригинальное стихотворение можно датировать довольно точно, следует предположить, что интересующий нас перевод был выполнен в Шлиссельбургской крепости где-то около 1888 года.

М. В. Новорусский был не первым переводчиком стихотворения «Минули літа молодії» на русский язык. В 70—80-х годах было напечатано четыре перевода, выполненных различными авторами, и в каждом из этих переводов стихотворение звучало по-разному. Ближе всего к подлиннику оказался перевод поэта-демократа Н. Л. Пушкарева.³¹ Интересно, что в этом переводе как бы предугадано те перосмысление шевченковских строк, с которым мы встретились у Новорусского («угрюмо небо, как тюрьма», «сиди, как будто на цепи», — переводит Пушкарев).

Перевод М. В. Новорусского особенно ценен для нас тем, что позволяет проникнуть в психологию восприятия шевченковских образов русскими читателями. Интерес к Шевченко среди узников Шлиссельбургской крепости открывает еще одну сторону в отношении русских революционеров конца прошлого столетия к творчеству великого украинского поэта.

²⁹ Михаил Новорусский. Записки шлиссельбуржца, стр. 260—261.

³⁰ Вот сохранившийся текст этого стихотворения.

Л—У

Ах, зачем я искусился
Какофоном в час лихой,
В эту бездну погрузился
С бородой и головой!
Злая Парка подтолкнула
Коменданта в этот час
К нам прийти, а мне шепнула

Осмеять его как раз.
Давши волю вдохновенью,
Я начальство пробирал,
После долгого говенья
Языку я волю дал
И не знал я в увлеченье,
Что у камеры моей. . .

На этом текст обрывается. Описанный здесь случай — одна из характерных черточек шлиссельбургского быта. «При Новорусском, — вспоминал М. Ф. Фроленко, — у нас ухитрились переговариваться через отводные трубы, из параша-стульчака. Но это кончилось лишь тем, что в трубах сделано было какое-то приспособление, которое задерживало воду и лишало нас возможности переговариваться» (М. Фроленко. М. В. Новорусский. «Каторга и ссылка», 1925, № 7, стр. 247—248. Ср. также: М. Н. Гернет. История царской тюрьмы, т. III, стр. 226). Придуманый взамен преследовавшегося перестукивания, этот способ переговоров получил название «какофона». Сохранилось большое стихотворение Г. А. Лопатина, с шуточной торжественностью воспевающее в гекзаметрах «вновь открывшийся клуб какофонный» (см.: Е. Е. Колосов. Государева тюрьма — Шлиссельбург, стр. 118—119).

Откликом на эти гекзаметры, по-видимому, и являются приведенные стихи Новорусского (в таком случае их заглавие можно расшифровать: «Лопатину»).

³¹ «Московское обозрение», 1877, № 14, стр. 322.

Использование поэзии Шевченко в целях массовой революционной пропаганды общеизвестно. Как видим, обращались к его стихам и в трудные минуты одиночного заключения, находя в них и созвучие горестным тюремным раздумьям, и необходимую теплоту и человечность. И в этом — еще одно свидетельство глубокого и органического проникновения поэзии Шевченко в русскую читательскую среду.

А. Б А Т Ю Т О

ТУРГЕНЕВ И ПАСКАЛЬ

Одной из важнейших особенностей современной Тургеневу критики на роман «Отцы и дети» была сразу же выдвинутая в ней и на протяжении ряда лет горячо обсуждавшаяся проблема о природе и значении нигилизма Базарова. Решения этой проблемы, предлагавшиеся в многочисленных критических выступлениях, отличались, как известно, большим разнообразием и носили подчас взаимоисключающий характер. Достаточно указать на прямо противоположную трактовку нигилизма Базарова в журналах «Современник» и «Русское слово». Критик «Современника» Антонович увидел в романе клевету на молодое поколение, а в нигилизме Базарова — огульное, бесчеловечно-циническое отрицание, которое он считал логическим следствием исключительно тенденциозных намерений автора. Напротив, Писарев указывал на правдивое отражение в романе лучших типических черт разночинной демократии 60-х годов. Несмотря на большую работу по изучению романов Тургенева, проделанную за последние десятилетия, спор о природе и значении базаровского нигилизма, под которым в прошлом веке так и не была подведена итоговая черта, время от времени возникает и в наши дни. Это показывает, что многие важные вопросы из истории замысла и создания романа все еще недостаточно четко разработаны и освещены. Иначе они не порождали бы споров. Вместе с тем в работах об «Отцах и детях» с течением времени все явственнее ощущается нехватка свежей аргументации, опирающейся на новые, ранее неизвестные факты, что, в свою очередь, порождает, в сущности, беспомощные ссылки на так называемые противоречия в отношении Тургенева к Базарову.

Разумеется, в отношении Тургенева к Базарову как представителю передовой разночинно-демократической интеллигенции 60-х годов были серьезные противоречия. И все же о них говорится и пишется чрезмерно много и, к сожалению, слишком общо, что, конечно, не может не вызывать законной досады у читателя. Тургенев был гораздо тверже, постояннее и систематичнее в своих убеждениях и вкусах, чем принято считать. Приступая к созданию «Отцов и детей», Тургенев в конце концов отдавал себе ясный отчет в том, что, как и во имя чего он намерен осуществить.

Творчество Тургенева теснейшим и конкретнейшим образом связано с общественно-политической жизнью своего времени, с культурой XIX века вообще, с культурно-историческим наследием предшествующих веков. В результате углубленного изучения произведений писателя на этом фоне, благодаря настойчивому проникновению в его творческую лабораторию в понимании художественного наследия и писательской манеры Тургенева остается все меньше «белых пятен». И все же они еще есть.

Задачей настоящей статьи является раскрытие генезиса некоторых неясных или спорных сторон нигилизма Базарова в свете философских штудий и интересов Тургенева, еще не привлекавших внимание исследователей при изучении истории создания романа «Отцы и дети» и некоторых других произведений писателя — таких, как «Поездка в Полесье», «Призраки», «Довольно», отдельные стихотворения в прозе. Решение этой основной задачи внесет, как нам кажется, большую определенность в сложившиеся к настоящему времени представления о том, каково было истинное отношение автора к своему главному герою.

Герцен в первом отзыве о романе «Отцы и дети» обронил знаменательную фразу: «Requiem на конце — с дальним апрошем к бессмертию души — хорош, но опасен, ты эдак не дай стрелка в мистицизм».¹ Герцен имел в виду поэтические заключительные строки эпилога, в котором говорится о могиле Базарова и его безутешных стариках-родителях: «Неужели их молитвы, их слезы бесплодны? Неужели любовь, святая, преданная любовь не всесильна? О, нет! Какое бы страстное, грешное, бунтующее сердце ни скрылось в могиле, цветы, растущие на ней, безмятежно глядят на нас своими невинными глазами; не об одном вечном спокойствии говорят нам они, о том великом спокойствии „равнодушной“ природы; они говорят также о вечном примирении и о жизни бесконечной. . .»

¹ А. И. Герцен, Собрание сочинений в тридцати томах, т. XXXVII, кн. I, Изд. АН СССР, М., 1963, стр. 217.

Тургенев живо откликнулся на это замечание Герцена. «В мистицизм я не ударился и не ударюсь», — писал он в ответном письме. Однако здесь же, в некотором противоречии с первым категорическим утверждением, он продолжал: «... в отношении к богу я придерживаюсь мнения Фауста:

Wer darf ihn nennen,
Und wer bekennen:
Ich glaub'ihn!
Wer empfinden
Und sich unterwinden
Zu sagen: Ich glaub'ihn nicht!²

Впрочем — это чувство во мне никогда не было тайной для тебя».³

Это разъяснение Тургенева туманно. Поскольку он не решается сказать ни «не верю», ни «верю», его отношение к вопросу о существовании бога остается неопределенным. В комментариях к этому месту гетевского «Фауста» отмечается, что беседа Фауста с Маргаритой о религии носит на себе явно автобиографические черты. Отношением Гете к христианской религии интересовались многие его друзья. В записках Кестнера мы читаем: «Он никогда не ходит в церковь и на исповедь... уважает христианскую мораль, но не в церковном ее понимании».⁴ Комментарий, как видим, подтверждает, в сущности, атеистический характер высказывания Фауста. Тургенев, разумеется, хорошо знал биографию Гете, однако вряд ли можно утверждать, что, желая подчеркнуть свое отрицательное отношение к мистицизму, он намекал в письме к Герцену именно на автобиографизм беседы Фауста с Маргаритой. Ответ Тургенева Герцену как-то неясен.

Позднее Тургенев более определенно заявлял о своем безоговорочно отрицательном отношении ко всяческому мистицизму. Так, например, в письме к М. В. Авдееву (13/25 января 1870 года), возражая против попыток адресата и других читателей увидеть мистическое начало в «Сгранной истории», «Истории лейтенанта Ергунова» и «Призраках», Тургенев писал: «...меня исключительно интересует одно: физиономия жизни и правдивая ее передача; а к мистицизму во всех его формах я совершенно равнодушен...»⁵ В унисон этому заявлению звучит высказывание Тургенева в письме к М. А. Милютиной (22 или 23 февраля ст. ст. 1875 года): «Я преимущественно реалист — и более всего интересуюсь живою правдою людской физиономии; ко всему сверхъестественному отношусь равнодушно, ни в какие абсолюты и системы не верю, люблю больше всего свободу... Все человеческое мне дорого».⁶

Каково бы ни было отношение Тургенева к мистицизму в первом цитированном письме, все же нельзя не принять во внимание полусутоливое, полусерьезное предостережение Герцена. Ведь в эпилоге был и остался мотив «о вечном примирении и о жизни бесконечной», а рядом с ним тесно соседствует и гармонически согласуется мотив о «грешном, бунтующем сердце» Базарова, которому это «примирение» и «жизнь бесконечная» как бы обещаны. Тургенев категорически отвергает мистическое начало в эпилоге, но в таком случае чем же другим объясняется появление в нем этих мотивов? На этот вопрос трудно ответить сразу, так как он одновременно влечет за собою целый ряд других вопросов, также требующих ответа.

В эпилоге романа нет мистики, но это не означает, что он не имеет прямого отношения к религиозным проблемам. Для того чтобы во всем этом разобраться, необходимо внести ясность прежде всего в тургеневскую трактовку атеизма Базарова.

В статье М. К. Азадовского «Об одном сюжетном совпадении («Смерть атеиста» в романе Омулевского и у Ипполита Тэна)» есть такие строки: «Раскаившийся или примирившийся с „небом“ перед смертью атеист — одна из популярнейших тем и не только у представителей реакционного крыла (литературы, — А. Б.). Социально-классовые позиции художника сказываются в изображении этого момента с наиболее резкой и выпуклой отчетливостью. Так, чрезвычайно характерна для Тургенева та примиренческая позиция, которую занимает в его романе Базаров...»⁷

² Буквальный перевод:

Кто решится его назвать
Или сказать: «Я верю в него»,
Кто воспримет его своим чувством
Или осмелится сказать:
«Я в него не верю»?

³ И. С. Тургенев, Полное собрание сочинений и писем в двадцати восьми томах, Письма, т. IV, Изд. АН СССР, М.—Л., 1962, стр. 383 (далее ссылки на это издание приводятся в тексте).

⁴ Гете, Собрание сочинений в тринадцати томах, т. V, Гослитиздат, М., 1947, стр. 567.

⁵ И. С. Тургенев, Собрание сочинений в двенадцати томах, т. XII, Гослитиздат, М., 1958, стр. 427.

⁶ «Русская старина», т. 41, 1884, стр. 193.

⁷ Академия наук СССР, сб. XLV. Изд. АН СССР, М.—Л., 1935, стр. 589.

Мнение М. К. Азадовского, основанное на согласии Базарова принять перед смертью услуги священника, на описании религиозного обряда над ним и, по всей вероятности, на все тех же мотивах примирения и жизни бесконечной, которые показались подозрительными Герцену, еще раз свидетельствует о том, что разъяснения Тургенева о его отношении к мистицизму вообще и, в частности, в «Отцах и детях», нуждаются в какой-то дополнительной аргументации, исключающей возможность появления различных точек зрения на этот счет. Дело в том, что оценка последних глав романа и его эпилога, данная в статье М. К. Азадовского (а отчасти и в цитированном письме Герцена), противоречит суждениям многих современников Тургенева. «Умереть так, как умер Базаров, — писал Писарев, — все равно, что сделать великий подвиг. . .»⁸ Разумеется, атеист Писарев не сказал бы этих слов, если бы он хоть на минуту мог предположить, что в конце романа Тургенева речь идет о примирении героя с богом.

Другой крупный представитель демократического лагеря, Н. В. Шелгунов, высказал свое мнение по этому вопросу (в статье «Люди сороковых и шестидесятых годов») в недумственно конкретной форме: «г. Тургеневу ничего не стоило заставить Базарова перед смертью причаститься, однако он этого не сделал».⁹ В журнале «Сын отечества» о Базарове также говорилось, что он «умер, поразив отца с матерью двойной скорбью. Несмотря на все увещания отца, он не исполнил христианского долга».¹⁰ Находя прикровенно атеистический элемент в описаниях последних часов жизни Базарова и прозрачно намекая на это обстоятельство, критик «Сына отечества» писал: «Наконец, нам странно и то: зачем романтисту нужно было выставить Базарова причащающимся или не причащающимся? Знаете ли, этот вопрос как-то щекотлив и . . . не ловок».¹¹ Нетрудно догадаться, что этот вопрос щекотлив и неловок для критика по цензурным соображениям. Отношения героя романа к религии он касается лишь вскользь, боясь скомпрометировать автора.

Можно было бы привести и другие, не менее характерные свидетельства в пользу последовательного до конца атеизма Базарова (например, из книги М. А. Авдеева «Наше общество в героях и героинях литературы» (СПб., 1874), а также из статей критиков, питавших вражду к демократии и потому с особенным рвением изощрявшихся в нападках на Базарова по этому поводу), но лучше всего, конечно, обратиться за доказательствами к самому роману.

Скупыми, но отчетливыми штрихами, с помощью беглых реплик и намеков Тургенев обрисовывает цельный образ атеиста, в закоренелом равнодушии которого к религии сомневаться не приходится.

Со своими родителями Базаров находится в состоянии мирного, если можно так выразиться, конфликта на почве различного отношения к религии. Василий Иванович и его жена терпеливо и робко переносят неверие сына, а тот нередко подтрунивает над религиозными предрассудками родителей. В гл. XX, «прощаясь с матерью, он поцеловал ее в лоб, — а она обняла его и за спиной, украдкой, его благословила трижды». В следующей главе отец просит у сына извинения за то, что тайком отслужили молебен по случаю его приезда. В той же главе священник «первый поспешил позвать руку Аркадию и Базарову, как бы понимая заранее, что они не нуждаются в его благословении». В гл. XXVII суеверная Арина Власьева хочет надеть сыну «ладонку на шею» и тут же сокрушается: «. . . да ведь он не позволит». Там же, узнав, что отец ходил к заутрене, Базаров, грубовато острит: «Ну, это дело девятое!» Когда Базаров убеждается в неизбежности смертельного исхода своей болезни, в его советах отцу, совершенно потерявшему голову от горя, продолжает звучать явная издевка над религиозией, хладнокровно-презрительная насмешка над «всемогуществом» бога. «Вы оба с матерью должны теперь воспользоваться тем, что в вас религия сильна, — замечает он, — вот вам случай поставить ее на пробу». И далее, в том же духе: «Ну, коли христианство не помогает, будь философом, стойком, что ли!» И, наконец, о той сцене, которая подала повод для процитированного выше заключения из статьи М. К. Азадовского. Сцену эту, ввиду ее особой важности, приводим почти полностью. Отец просит Базарова причаститься перед смертью: «. . . утешь нас с матерью, исполни долг христианина! . . . ведь навек, Евгений. . . ты подумай, каково-то. . . по лицу его сына, хотя он и продолжал лежать с закрытыми глазами, проползло что-то странное.

— Я не отказываюсь, если это может вас утешить, — промолвил он наконец: — но мне кажется, слепить еще не к чему. Ты сам говоришь, что мне лучше.

— Лучше, Евгений, лучше; но кто знает, ведь это все в божьей воле, а исполнивши долг. . .

— Нет, я подожду. . . А если мы с тобой ошиблись, что ж! ведь и беспамятных причащают.

— Помилуй, Евгений. . .

⁸ Д. И. Писарев, Избранные сочинения в двух томах, т. I, Гослитиздат. [1934], стр. 257.

⁹ «Дело», 1869, ноябрь, отдел «Современное обозрение», стр. 49.

¹⁰ «Сын отечества», 1862, № XIII, 1 апреля, стр. 307.

¹¹ Там же, № XIV, 8 апреля, стр. 336.

— Я подожду. А теперь я хочу спать».

О капитуляции Базарова перед религией и речи быть не может. Скорее наоборот. Базаров поступил в данном случае как человек твердый и в то же время деликатный, умеющий, когда это необходимо, отнестись с чутким пониманием к вере другого человека, если за ней скрывается не эгоистическое чувство. Только поэтому в разговоре с отцом он не отказывается резко и безоговорочно от церковного причастия. Но он все-таки отказывается, и вся история кончается тем, что традиционный религиозный обряд совершается над ним помимо его воли, когда он находится в бессознательном состоянии.

Согласие с мыслью о примирении Базарова с «небом» равносильно игнорированию глубинных истоков авторского замысла, построения и осмысления этого характера в свете его отношения к религии. Разночинная демократия 60-х годов в массе своей отличалась подчеркнутым отсутствием религиозности. Атеизм был для нее одной из форм отрицания существующего строя, и Тургенев, как художник-реалист, конечно, учитывал это обстоятельство при создании образа Базарова. Впрочем, рассматривать замысел этого образа как только результат какой-то суммы наблюдений и художественных выводов, связанных исключительно с действительностью 60-х годов, было бы не совсем верно. На замысле образа Базарова не мог не отразиться тот поистине огромный запас общей культуры и знаний, который был накоплен Тургеневым к этому времени. Этот «побочный» источник замысла почти не изучен, между тем в данном случае он приобретает особенно важное значение.

Можно утверждать, что образ Базарова-атеиста создавался под известным влиянием философских концепций Б. Паскаля, замечательного французского математика, физика и философа XVII века, человека разносторонне и щедро одаренного, обладавшего к тому же незаурядным литературным дарованием, автора «Писем к провинциалу» и всемирно известных «Мыслей».

Тургеневу были родственны по духу подкупающе искренние, глубокие и печальные философские размышления Паскаля о человеке, о краткости, мгновенности его бытия по сравнению с «вечностью», о месте и положении человека — ничтожно малой величины, «атома» — в безгранично огромной вселенной. Другая сторона философии Паскаля, получившая преимущественное развитие во второй половине его жизни, проникнутая смирением перед богом и типичными для верующего упованиями на загробную жизнь, никогда не вызывала у Тургенева сочувствия. Это двойное отношение к философии Паскаля четко определилось у Тургенева еще в 40-е годы и нашло затем отражение в его творчестве, особенно — в романе «Отцы и дети».

30 апреля 1848 года Тургенев писал Полине Виардо: «Жизнь — эта красноватая искорка в мрачном и немом океане Вечности, — это единственное мгновение, которое вам принадлежит и т. д. и т. д., это все избито, а между тем это верно. . . Что я делал вчера, в субботу? Я читал книгу, о которой часто отзывался с большой похвалой, каюсь, не зная ее. „Провинциальные письма“ Паскаля. Это вещь прекрасная во всех отношениях. Здравый смысл, красноречие, комическая жилка — все здесь есть. А между тем это произведение раба, раба католицизма. . .» (I, 458).

Не все, о чем здесь говорится, целиком относится к «Провинциальным письмам». Настроение, окрашивающее начало отзвука о Паскале, навяно знаменитыми «Pensées», к которым впоследствии Тургенев обращается неоднократно. Так, например, 30 марта/11 апреля 1864 года Тургенев писал Фету: «. . . не следует двум приятелям жить в одно и то же время на земном шаре и не подавать друг другу хоть изредка руку. Вы только обратите внимание на следующий рисунок:

вечность а вечность. . .

Точка *a* представляет то кратчайшее мгновение — *ce raccourci d'atome*, как говорит Паскаль — в течение которого мы живем; — еще мгновение — и поглотит нас навсегда немая глубина нихтзейн'а. . . Как же не воспользоваться этой точкой?» (V, 245—246). Паскалева точка в данном случае — это все та же, затерянная в необъятных просторах вселенной, «красноватая искорка» человеческой жизни, о которой, и восхищаясь Паскалем и осуждая его, Тургенев писал П. Виардо.

В «Отцах и детях» имя Паскаля не упоминается, но некоторые поступки, настроения и высказывания Базарова ведут прямым путем к его философии как своему источнику и первопричине. Это относится прежде всего к размышлениям Базарова в гл. XXI, существо и форма выражения которых настолько близки «Мыслям» Паскаля, что невольно возникает предположение о прикровенном цитировании этой книги в романе. В самом деле:

П а с к а л ь

«Я вижу эти ужасающие пространства вселенной, которые заключают меня в себе, я чувствую себя привязанным к одному уголку этого обширного мира, не зная, почему я помещен именно в этом, а не другом месте, почему то короткое время, которое дано мне жить,

Т у р г е н е в

«Узенькое местечко, которое я занимаю, до того крохотно в сравнении с остальным пространством, где меня нет и где дела до меня нет; и часть времени, которую мне удастся прожить, так ничтожна перед вечностью, где меня не было и не будет. . . А в этом

назначено мне именно в этом, а не другом пункте целой вечности, которая мне предшествовала и которая за мною следует. Я вижу со всех сторон только бесконечности, которые заключают меня в себе как атом; я как тень, которая продолжается только момент и никогда не возвращается. Все, что я сознаю, это только то, что я должен скоро умереть. . . »¹²

атоме, в этой математической точке, кровь обращается, мозг работает, чего-то хочет тоже. . . Что за безобразия! Что за пустяки!»

Этим размышлениям Базарова придается трагически-бунтарская тональность, усиливающаяся по мере приближения романа к концу. Ими усугубляется скепсис Базарова, граничащий с отказом от активной общественно-политической деятельности. Ими в какой-то степени predeterminedены также и его безотрадные раздумья о своей ненужности для России — несмотря на очевидную зависимость этих раздумий от таких конкретных социально-исторических обстоятельств, как неподготовленность народа к революции, как равнодушие темной крестьянской массы к целям и задачам разночинно-демократической пропаганды. Отсюда сомнение Базарова в перспективности всех своих начинаний. Дело не столько в том, что Филипп или Сидор, возможно, не скажут ему спасибо за отвоёванную для них «белую избу», сколько в том, что сознание неотвратимости смерти обесмысливает, по убеждению Базарова, даже успешные социальные преобразования. Базаров не боится смерти, но мысль о ней для него — это тупик, из которого нет выхода. «Ну, будет он, — говорит Базаров о мужике, — жить в белой избе, а из меня лопух расти будет; — ну, а дальше?» В конце концов настроение Базарова облекается в формулу, характерную сочетанием мужества и безнадежности: «Старая штука смерть, а каждому внове».

Благодаря философии Паскаля конкретно-историческое начало в мировоззрении Базарова, тесно связанное с русской действительностью 60-х годов, органически переплетается с началом общечеловеческим, с «вечными» проблемами жизни и смерти, неизбежными для людей во все времена человеческой истории. Недаром Аркадий, выслушав эту маленькую, но многозначительную исповедь Базарова, замечает: «. . . то, что ты говоришь, применяется вообще ко всем людям. . . » Тургенев еще в 1848 году, подчеркивая живучесть, извечную актуальность этих проблем, писал: «это все избито, а между тем это верно».

Иногда следы влияния идей Паскаля на строй базаровской мысли обнаруживаются в самых неожиданных местах, там, где, казалось бы, герою вовсе не до философии, например после неудачного объяснения с Одинойцовой. По дороге в отцовскую деревеньку Базаров говорит с раздражением Аркадию: «Черт знает, что за вздор! Каждый человек на ниточке висит, бедна ежеминутно под ним разверзнуться может, а он еще сам придумывает себе всякие неприятности, портит свою жизнь». Несмотря на снижено бытовое, грубоватое звучание этой сентенции, она переключается с философским положением Паскаля о человеке и двух бесконечностях. «Кто рассмотрит себя с этой точки зрения, — писал Паскаль, — тот ужаснется самого себя; он увидит, что только материальная оболочка, которую дала ему природа, поддерживает его в тысячах положений между двумя пропастями, между бесконечностью и отсутствием бытия. . . » («Мысли», стр. 38; ср. с французским оригиналом, стр. 7, 8).

С проблемой «человек и вечность», «человек и вселенная» тесно связаны в философии Паскаля размышления о человеческом ничтожестве. Такая же картина наблюдается и в творчестве Тургенева. Очень характерно в этом отношении начало рассказа «Поездка в Полесье»: «. . . проникает в сердце людское сознание нашей ничтожности. Трудно человеку, существу единого дня, вчера рожденному и уже сегодня обреченному смерти, трудно ему выносить холодный, безучастно устремленный на него взгляд вечной Изиды. . . вся душа его никнет и замирает; он чувствует, что последний из его братьев может исчезнуть с лица земли — и ни одна игла не дрогнет на этих ветвях; он чувствует свое одиночество, свою слабость, свою случайность — и с торопливым, тайным испугом обращается он к мелким заботам и трудам жизни; ему легче в этом мире, им самим созданном, здесь он дома, здесь он смеет еще верить в свое значение и в свою силу».

Одна из особенностей «Поездки в Полесье» — развернутая характеристика переживаний героя в условиях отрешенности от забот и развлечений внешнего мира, в уединении. Именно эти условия вызывают у героя сосредоточенное ощущение близости смерти, порождают мысль о равнодушном могуществе и безучастии природы

¹² Блез Паскаль. Мысли. С предисловием Прево-Парадоля. Перевод П. Д. Первова. СПб., 1888, стр. 32. Перевод П. Д. Первова очень точен. Ср. с французским оригиналом: *Pensées de Pascal publiées dans leur texte authentique avec un commentaire suivi et une étude littéraire par Ernest Havet. Paris, 1852, p. 136.* В дальнейшем все цитаты из Паскаля даются в этом переводе, предварительно сверяемом, в каждом конкретном случае, с французским оригиналом. Ссылки на русский перевод приводятся в тексте сокращенно: «Мысли».

к своему «случайному» и «ничтожному» созданию — человеку. Важно отметить, что в философии Паскаля возникновение у человека мыслей о собственном ничтожестве мотивировано теми же причинами. Он говорит о том, что «людей с детства обременяют заботою об их счастье. . . им дают обязанности и дела, которые мучат их целый день с рассвета. . . стоит отнять у них все эти заботы: тогда они увидели бы себя, задумались бы над тем, что они такое, откуда пришли и куда пойдут. . .» («Мысли», стр. 68). Стоит человеку надолго остаться в одиночестве, и он неизбежно начинает размышлять о своем «несчастном природном положении»: «. . . мы слабы и смертны, мы столь жалки, что ничто не может нас утешить, когда мы станем ближе вдумываться в наше положение» («Мысли», стр. 69). «Отсюда происходит, — замечает Паскаль, — что люди так любят шум и движение; отсюда происходит, что тюрьма служит таким ужасным наказанием; отсюда происходит, что прелесть уединения для них служит непостижимою вещью» («Мысли», стр. 70). Выход из этого печального состояния тот же, что и у тургеневского героя, — бегство в сутолоку повседневной жизни, «которая нас отвращает от мысли о нашем несчастном положении и развлекает нас» («Мысли», стр. 70).

Когда роман «Отцы и дети» появился в печати, либеральный критик «Отечественных записок» в статье «Принципы и ощущения» писал с негодованием: «. . . жить с людьми нельзя без принципов. . . Как же жить? Для этого нужно их любить, а не презирать, как ничтожество, которое смердит; нужно уважать людей, а не отрицать их». ¹³ Определяя таким образом поведение Базарова, критик полагал, что он раскрывает подлинную точку зрения Тургенева на это лицо. В действительности дело обстоит совсем иначе. После слов: «Что за безобразие! Что за пустяки!», заключающих рассуждение о вечности и краткости человеческого бытия. Базаров говорит: «Я хотел сказать, что они вот, мой родители то есть, заняты и не беспокоятся о собственном ничтожестве, оно им не смердит. . . а я. . . я чувствую только скуку да злость». На самом деле здесь речь идет не о презрении к людям, а о мятежных настроениях самобытно мыслящей индивидуальности, протестующей против стихийных законов природы. Перед лицом этих законов она сознает себя то песчинкой, то атомом, то червячком полураздавленным», но не желает примириться с таким горьким уделом. Тургенев относится с сочувственным пониманием к этому свойству базаровского характера, потому что многое из того, о чем думает Базаров, ему по-настоящему близко. Так, в одном из писем к Ламберт (1862) Тургенев говорит следующее: «Не страшно мне смотреть вперед — только сознаю я совершение каких-то вечных, неизменных, но глухих и немых законов над собою — и маленький писк моего сознания так же мало тут значит, как если б я вздумал лепетать: „я, я, я“. . . на берегу невозвратно текущего океана. Муха еще жужжит — а через мгновенье — тридцать, сорок лет тоже мгновенье — она уже жужжать не будет — а зажужжит — та же муха, только с другим носом — и так во веки веков. Брызги и пена реки времен!» (V, стр. 70).

Тема о человеческом ничтожестве разрабатывается в «Мыслях» Паскаля в различных аспектах, и для выяснения отношения Тургенева к Базарову очень важное значение имеет учет всей совокупности суждений Паскаля по этому вопросу. Паскаль подчеркивал не только слабость, но и силу человека перед лицом природы, что нашло выражение в его крылатом афоризме: человек — это мыслящий тростник. В ряде мест своей книги размышления человека о собственном ничтожестве Паскаль ставит в прямую зависимость от развития в нем мыслительной способности, разума. Чем выше эта способность, тем неизбежнее подобные размышления. «Главное величие человека заключается в том, что он сознает себя ничтожным, — пишет Паскаль. — Дерево не сознает себя ничтожным. Сознать себя ничтожным значит быть ничтожным; но, с другой стороны, сознавать, что я ничтожен, значит быть великим. Сознание этого самого ничтожества и доказывает величие. Это ничтожество владыки, ничтожество короля, лишившегося власти» («Мысли», стр. 45). А вот что писал о человеке Тургенев (в отрывке «Довольно»): «Ему одному дано „творить“. . . но странно и страшно вымолвить: мы творцы. . . на час. . . В этом наше преимущество — и наше проклятие: каждый из этих „творцов“ сам по себе, именно он, не кто другой, именно это я, словно создан с преднамерением, с предначертанием; каждый более или менее смутно понимает свое значение, чувствует, что он сродни чему-то высшему, вечному — и живет, должен жить в мгновеньи для мгновенья. . . Величайшие из нас — именно те, которые глубже всех других сознают это коренное противоречие. . .» Это заключение Тургенева можно считать философским комментарием и обоснованием поведения Базарова, зачастую проникнутого тем же настроением.

Итак, базаровские размышления о жизни и смерти, о вечности и человеческом ничтожестве близки авторским раздумьям, а через автора — мыслям Паскаля. По мнению Паскаля, мысли о собственном ничтожестве — признак величия человека, по мнению Тургенева — тоже, ибо людей, проявляющих особую склонность к такой рефлексии, обостренно чутко реагирующих на «коренное противоречие» между человеком и природой, раскрываемое в «Отцах и детях» и в «Довольно», писатель считает «величайшими из нас». В этом одна из существенных основ замысла и разра-

¹³ «Отечественные записки», 1862, март, отдел «Современная хроника», статья «Принципы и ощущения», стр. 119.

ботки характера Базарова. Таким образом, в данном случае подтверждаются и в известной мере конкретизируются многочисленные заявления автора о своем герое как личности, выходящей далеко за пределы обычной человеческой положительной нормы.

В 1862 году, получив от Достоевского отзыв об «Отцах и детях», к сожалению, не сохранившийся, Тургенев писал ему: «Вы до того полно и тонко схватили то, что я хотел выразить Базаровым, что я только руки расставлял от изумления — и удовольствия. Точно Вы в душу мне вошли и почувствовали даже — то, что я не счит нужным вымолвить» (IV, 358). Не потому ли Тургенев так восторженно встретил отзыв Достоевского, что в нем была угадана именно эта особенность замысла характера Базарова? Разумеется, утверждать это категорически нет никакой возможности, но в принципе такое предположение не лишено оснований. Дело в том, что в позднейших высказываниях Достоевского, по-видимому не противоречащих его первоначальному впечатлению о романе, выраженному в не дошедшем до нас письме, есть такие строки о Тургеневе и его герое: «Ну, и досталось же ему за Базарова, беспокойного и тоскующего Базарова (признак великого сердца), несмотря на весь его нигилизм».¹⁴ Как видим, Базаров велик и по мнению Достоевского. Признаки его величия, указываемые Достоевским, — тоска и беспокойство, — это, конечно, следствие глубокой неудовлетворенности неустроенностью и несовершенством окружающей действительности, следствие разлада с нею. Но только ли? Не исключено, что Достоевский понимал неудовлетворенность Базарова так же широко, как и Тургенев, подразумеваемая под нею отношение героя и к обществу и к природе.

Вывод о величии Базарова, возникающий при сопоставлении некоторых идей романа с философией Паскаля, очень важен, но он не единственный и даже не самый значительный.

В своих «Pensées» Паскаль часто обращается к теме «вечность и человек», однако далеко не случайно рассуждения Базарова на эту тему в гл. XXI романа поразительно близки тем страницам книги Паскаля, на которых аналогичные мысли высказываются не от лица автора, а вкладываются в уста атеиста, утрачивающего, вследствие неверия в бога, интерес ко всем мировым ценностям и цинически отрицающего смысл человеческого бытия. Паскаль мучительно искал утешения в вере и на этом пути он, естественно, не мог не заявить о своем неприятии атеизма. За приведенным выше рассуждением атеиста в «Pensées» следует авторская ремарка: «...кто не пришел бы в ужас, увидевши себя солидарным в чувствах с такими презренными людьми?» И далее: «...ничто не указывает больше на испорченность сердца, как нежелание убедиться в непреложности обещания вечности...» («Мысли», стр. 35). Таких ремарок в книге Паскаля много; зачастую они облекаются в подчеркнuto дидактическую, нравоучительную форму, например: «Я также не вечен и не бесконечен; но я хорошо вижу, что в природе есть существо необходимое, вечное и бесконечное» («Мысли», стр. 49). Жизнь человеческая, по Паскалю, трагична, и единственное утешение в ней для верующего — неустанное обращение к религии, а для атеиста — примирение с богом. Паскаль недвусмысленно указывает на этот выход в своей книге: «Без Иисуса Христа человек по необходимости был бы в пороке и ничтожестве; с Иисусом Христом человек изъят из порока и ничтожества... Вне его есть только порок, ничтожество, заблуждения, мрак, смерть, отчаяние» («Мысли», стр. 191).

Так глубокие размышления Паскаля о человеке, его назначении и месте в природе обернулись в конце концов капитуляцией перед религией. Страстный и беспощадный обличитель иезуитов в «Провинциальных письмах», Паскаль все-таки склоняется перед церковью не только в этом произведении, но и в «Pensées». Как отмечено выше, именно за это Тургенев в 40-е годы назвал Паскаля «рабом католицизма». В сущности, то же самое, только в еще более резкой форме, Тургенев сказал о Паскале и на склоне лет. В неопубликованном письме к П. В. Анненкову от 22 ноября /4 декабря 1877 года (см. приписку Тургенева к этому письму, датированную следующим днем), делаясь своими впечатлениями от жизни во Франции, Тургенев отмечал с очевидным сарказмом: «Традиции иезуитов и традиции империи слились в одно прекрасное целое. Можно им сказать, как некогда Pascal: *Mentiris impudentissime!* — Но тот же Pascal потом целовал у иезуитов ручку».¹⁵

В противоположность Паскалю Тургенев не судит своего отрицателя Базарова за нигилизм в вопросах веры, не пытается спасти его от «мрака и отчания», порождаемых якобы атеизмом. Больше того. Концепция образа Базарова объективно направлена против конечных религиозных выводов философии Паскаля. Так, например, Паскаль вопрошал осуждающе: «Неужели это мужество, если умирающий человек станет, среди слабости и агонии, вооружаться против бога, всемогущего и вечного?» («Мысли», стр. 223). Спенами смерти Базарова Тургенев отвечает на этот вопрос утвердительно: да, мужество, и незаурядное. Базаров знает, что со смертью перед ним наглухо и навсегда захлопывается дверь в живой мир. Пытаясь представить себе смерть, он

¹⁴ Ф. М. Достоевский, Собрание сочинений в десяти томах, т. IV, Гослитиздат, М., 1956, стр. 79.

¹⁵ ЦГАЛИ, ф. 7, оп. 1, ед. хр. 30, л. 155.

видит «какое-то пятно. . . и больше ничего» и — не только не обращается в страхе и смятении к богу, этой последней надежде верующих, но смеется над ним («Ну, коли христианство не помогает» и т. п.).

Объективно полемичен по отношению к философии Паскаля и эпилог «Отцов и детей». Паскаль призывает атеистов к примирению с богом. И на могиле, в которой скрылось «страстное, грешное, бунтующее сердце» атеиста Базарова, цветы говорят о «вечном примирении», но это примирение не с богом, а с «равнодушной» природой, которую Базаров, как и Тургенев, несмотря на протест против ее жестоких в своей неизменности законов, все-таки любит большой и настоящей земной любовью. Природа всесильна и вечна, но чувства и мысли, волновавшие Базарова, тоже вечны. Свойственные, по мнению Тургенева, всему роду человеческому в прошлом, настоящем и будущем, они постоянно возрождаются в новых индивидуальностях, в новых поколениях, приходящих на смену ушедшим. Поэтому закономерно появление в эпилоге романа столь любимого Тургеневым пушкинского определения природы — «равнодушная». Заимствованное из стихотворения Пушкина «Брожу ли я вдоль улиц шумных», оно как бы лишний раз подчеркивает пантеистический, а не мистический характер эпилога.

Таково значение и происхождение мотивов «вечного примирения» и «жизни бесконечной» в эпилоге романа «Отцы и дети».

Сцены смерти Базарова и эпилог романа возникали в творческом сознании писателя под сложным воздействием философских построений Паскаля. Если композиция этих сцен в целом идейно противостоит философии Паскаля, то некоторые элементы ее, подобно фрагментам из предшествующих глав, также воспринимаются как образное воплощение отдельных близких Тургеневу мыслей философа. В том, что Базаров умирает, сказывается неверие Тургенева в успех революционного дела, однако на том, как умирает Базаров, лежит отпечаток иных особенностей мировоззрения писателя, вовсе не обязательно связанных с его конкретными политическими убеждениями.

Трудно отрицать суровое благородство и красоту смерти Базарова. Она возвышенна, потому что герой умирает с достоинством. Она неотвратима, как рок, и Базаров знает об этом. Благодаря этому конец романа напоминает финалы античных трагедий, увенчивающие, как правило, свершение великих событий или столкновение грандиозных страстей. Вместе с тем смерть героя неожиданна, случайна до нелепости и происходит от обидно ничтожной причины. Базаров умирает не на баррикаде, как Рудин, не на пути к свершению великих подвигов во имя освобождения родины, как Инсаров, не в борьбе с непреодолимыми жизненными препятствиями и даже не на дуэли, хотя она и есть в романе. Пореза пальца оказывается вполне достаточно, чтобы почти молниеносно сокрушить, превращая в ничто, человека большого ума и воли, стойкого и сильного. В таком контрастном сочетании противоречивых деталей и положений, создающих, однако, стройное и единое впечатление, чувствуется присутствие какой-то особой руководящей идеи. Она состоит в том, что в романе смерть конкретного разночинца Базарова изображается как смерть человека вообще, жизнь которого ежеминутно находится во власти неосознанных капризов всемогущей стихии.

Изображение смерти Базарова имеет несомненно общие черты с философской концепцией смерти человека в «Pensées» Паскаля. «Незачем целой вселенной ополчаться, чтобы его раздавить, — говорит Паскаль о человеке. — Пара, капли воды достаточно, чтобы его умертвить. Но если бы даже вселенная раздавила его, человек был бы еще более благороден, чем то, что его убивает; потому что он знает, что он умирает; а вселенная ничего не знает о том преимуществе, которое она имеет над ним» («Мысли», стр. 47).

Мистическое начало, окрашивающее конечные философские выводы Паскаля, всегда было чуждо Тургеневу, но после завершения романа «Отцы и дети» писатель заметно меньше ценит и ту сторону философии Паскаля, которая привлекала его в предшествующий период. Паскаль нашел утешение в религии. Тургенева, естественно, такой способ решения важной для него проблемы человеческого бытия удовлетворить не мог и должен был казаться ему по меньшей мере наивным. Тема о человеке и вечности получает развернутую образно-философскую трактовку и обоснование в «Довольно», свидетельствуя о дальнейшем развитии и углублении трагических настроений писателя. По сравнению с «Отцами и детьми» в «Довольно» ощущается уже неудовлетворенность Тургенева паскалевской аргументацией в пользу величия человека, сознающего свое ничтожество перед природой. В соответствии с этим приведенный выше отрывок, в котором «величайшими из нас» называются люди, наиболее глубоко постигающие «коренное противоречие» между человеком и природой, Тургенев заканчивает горьким вопросом: «. . . но в таком случае — спрашивается — уместны ли слова: величайший, великий?» Упомянув в «Довольно» о достоинстве «сознания собственного ничтожества. . . на которое намекает Паскаль. . . называя человека мыслящим тростником», Тургенев заключает: «Слабое достоинство! Печальное утешение!» — и обращается к Шекспиру, в трагических образах которого больше созвучия своим философским настроениям. В противовес Паскалю приводятся строки из трагедии «Макбет»: «Наша жизнь — одна бродячая тень; жалкий актер, который рисуется и кичится какой-нибудь час на сцене — а там пропадает без вести; сказка, расска-

занная безумцем, полная звуков и ярости — и не имеющая никакого смысла». Зато усиленное звучание получают в «Довольно» суждения Тургенева о человеке и природе, соответствующие мыслям Паскаля о человеческом ничтожестве, порождаемым сознанием «нашего несчастного природного положения», ощущением слабости, жалости и эфемерности человеческого бытия. Это находит выражение и в повести «Призраки», в конце которой рассказчик неожиданно спрашивает: «И зачем я так мучительно содрогаюсь при одной мысли о ничтожестве?» Наибольшую отчетливость подобные мысли Тургенева приобретают в «Senilia», особенно в стихотворении «Разговор двух гор».

Тургенев хорошо знал философию XIX и предшествующих веков, включая и античную эпоху. В начале 40-х годов, в Берлинском университете, он прилежно штудирует идеалистическую философию Гегеля. Несколько позднее, познакомившись с сочинениями материалиста Фейербаха, он дает им, в особенности книге «Сущность христианства», восторженную оценку. Тургенев был превосходно осведомлен в учениях французских просветителей и утопистов XVIII века, являлся ближайшим свидетелем становления и развития философии русской революционной демократии и Герцена, изучал взгляды вульгарных материалистов, западноевропейских и русских, увлекаясь одновременно пессимистической философией Шопенгауэра, следы которой особенно заметны в отрывке «Довольно», и т. д. и т. д. Таким образом, интерес к философии Паскаля не был для него чем-то избирательным, всеобъемлющим, исключающим внимание к философии многих других выдающихся мыслителей. Тем не менее на протяжении целых десятилетий мировоззрение писателя ощутимо соприкасается с философией Паскаля, то усваивая из нее очень близкие для себя черты, получающие затем развитие и отражение в творчестве, то активно отвергая несродное и чуждое. Философия Паскаля несомненно способствовала кристаллизации и отшлифовке убеждений Тургенева, связанных с его подходом к проблеме «человек и природа». Сущностью этих убеждений Тургенев, по всей вероятности, во многом обязан, наряду с Паскалем, целому ряду великих мыслителей, философов и художников разных исторических эпох. Тургенев как бы сам дает понять это, подчеркивая в письме к П. Виардо, что основное достоинство некоторых мыслей Паскаля состоит не в новизне, а в их верности. Однако, если иметь в виду конкретную форму выражения этих убеждений, здесь приоритет Паскаля в преимущественном воздействии на Тургенева вряд ли может быть оспорен или поставлен под сомнение. Очевидно Тургеневу-художнику, кроме искренности и непосредственности, импонировали афористичность, образность философской мысли Паскаля, обладавшего, как отмечено выше, несомненным литературным дарованием.

В этом отношении Тургенев не был исключением в русской литературе. Аналогичное влияние Паскаля заметно также и в строгой философской лирике Тютчева, которую Тургенев, как известно, ценил очень высоко. Центральный философский образ Паскаля — человек — мыслящий тростник — является определяющим в стихотворении Тютчева «Певучесть есть в морских волнах», проникнутом, как и многие страницы произведений Тургенева, ощущением разлада человека с природой:

Откуда, как разлад возник?
И отчего же в общем хоре
Душа не то поет, что море,
И ропщет мыслящий тростник?

Связь настроений Базарова с философией природы и человеческого общества, характерной для Тургенева и отчасти для Паскаля, придавала этому герою качества, на первый взгляд, вовсе не типичные для демократии 60-х годов. Действительно, в известной мере она вносила какой-то диссонанс в подчеркнутую трезвые, проникнутые духом реализма речи Базарова. Однако эта связь не была следствием лишь субъективного настроения автора. Сближая взгляды позитивиста Базарова с «Мыслями» Паскаля, Тургенев, очевидно, учитывал, что на характер философии последнего значительное влияние оказывали его специальные занятия точными науками — физикой и математикой. Так, например, утверждение Паскаля о неспособности разума к полному познанию вещей основано на формах математического мышления, является, в сущности, его производным. Вселенная бесконечна, следовательно, непостижима разумом как целое, имеющее какие-то определенные границы. С другой стороны, каждая мельчайшая частица мира, включая атом, до бесконечности делима; следовательно, так же как и вселенная, она никогда не может быть познана разумом до конца. В связи в этом Паскаль говорит о человеке: «... он одинаково неспособен видеть то ничто, из которого он извлечен, и то бесконечное, в котором он поглощен. Что же ему остается делать, как не замечать кое-какие внешние признаки середины вещей, если он навеки лишен надежды знать их начало и конец?» («Мысли», стр. 38—39).

Таким образом, скептическое отношение Паскаля к возможностям разума высказывается им с материалистической позиции, опирающейся на данные науки. В принципиально аналогичном положении оказывается и Базаров, и притом, конечно, не случайно в гл. XXI, имеющей, как отмечено выше, и без того немало общего с философией Паскаля. Базаров здесь также не склонен всецело полагаться на разум и мотивирует свое недоверие к нему с помощью естественности: «... я придерживаюсь отри-

цательного направления — в силу ощущения. Мне приятно отрицать, мой мозг так устроен — и баста! Отчего мне нравится химия? Отчего ты любишь яблоки? — тоже в силу ощущения. Это все едино. Глубже этого люди никогда не проникнут.

Базаров слепо верит в естествознание и возникшее на его основе вульгарно-материалистическое понимание мира. С другой стороны, чувствуется, что это последнее его удовлетворить не может, что оно уже теперь кажется ему несовершенным и заслуживающим критики. По поводу собственного вульгарно-материалистического сведения честности к ощущению он тут же заявляет: «А? что? Не по вкусу?». Нет, брат! Решился все косить — валяй и себя по ногам!..» По-видимому, неспроста Базаров несколько ранее советовал Кирсанову почитать брошюру Бюхнера лишь «на первый случай», а Тургенев по этому поводу говорил, что Базаров рекомендует «Stoff und Kraft» «как популярную, т. е. пустую книгу» (IV, 379).

Правильное понимание связи настроений разночинца Базарова с философией Паскаля позволяет снять с него многие обвинения в цинизме и беспринципности, выдвигавшиеся, как известно, не только критикой, враждебной демократическому направлению. Оно позволяет точнее определить особенности замысла романа, свидетельствующие о том, как глубоко Тургенев сроднился с избранным им типом, как гуманно и неподдельно велико было его сочувствие к интимно-человеческим переживаниям Базарова и как широко был им задуман этот трагический образ.

Ф. КУТИЩЕВ

НЕКОТОРЫЕ КОММЕНТАРИИ К РОМАНУ И. С. ТУРГЕНЕВА «НОВЬ»

В тургеневедении почти бесспорным является мнение о том, что Тургенев никогда в своих произведениях не отступает от точной хронологии. Однако это не совсем так. В «Дыме», например, Суханчикова настаивает на заведении швейных мастерских, хотя известно, что эта идея широко распространялась лишь после выхода в свет романа Н. Г. Чернышевского «Что делать?», т. е. позже событий, описываемых в «Дыме».

Действие романа «Новь» начинается в 1868 году и завершается зимой 1870 года. Но если мы внимательно прочитаем роман, то увидим, что ряд фактов, о которых упоминается в произведении, относится к более позднему времени. Так, брошюры («Сказка о четырех братьях» и другие), с которыми Нежданов идет «в народ», распространялись в середине 70-х годов. Кроме того, именно в это время молодежь шла в народ, «обязательно надев армяк, сарафан, простые сапоги, даже лапти»¹ Нежданов переодевался в армяк и простые сапоги.

Маркелов, вспоминая момент, когда его связали крестьяне, думает: «Надо было просто скомандовать, а если бы кто препятствовать стал или упираться, — пулю ему в лоб! тут разбирать нечего. Кто не с нами, тот права жить не имеет. . . убивают же шпионов, как собак, хуже чем собак!»² О расправе над шпионами и предателями в народнической периодике стали писать только с середины 70-х годов. В январско-февральском номере «Набата» за 1876 год была напечатана заметка «Смерть предателей!». С этого времени в «Набате» систематически печатаются фамилии предателей, приводятся факты расправы (иногда довольно жестокой) над ними. Вот поэтому-то Паклин с отчаянием думал: «И зачем я совался туда, куда мне ни к коже, ни к роже?.. Не мог сидеть смиренно на своей лавочке! А теперь они говорят и, пожалуй, напишут: некто г-н Паклин все рассказал, выдал их. . . своих друзей выдал врагам!» (стр. 455).

Марьяна несколько раз с восхищением повторяет слово «опробротиться», произнесенное крестьянкой Татьяной. Это слово в народническом контексте впервые встречается употребляться в середине 70-х годов (в журнале «Вперед»).

Приведу еще один пример хронологической неточности. Нежданов писал своему другу Силину: «Читал ли ты в „Вестнике Европы“ статью о последних самозванцах в Оренбургской губернии? В тридцать четвертом году это происходило, брат! Журнал я этот не люблю, и автор—консерватор; но вещь интересная и может навести на мысли. . .» (стр. 246). Здесь две неточности: происходило это не в 1834, а в 1843 году. Статья Н. Середы, о которой говорит Нежданов, называется «Позднейшие волнения в Оренбургском крае» и имеет подзаголовок «Бунт государственных крестьян Челябинского уезда в 1843 году». Но о самозванцах в ней ничего не говорится. О самозванце рассказывается во второй части этой статьи, напечатанной с подзаголовком «Самозванец 1845-го года» в августовском номере журнала за 1868 год. Нежданов же со-

¹ М. Ф. Фроленко. Записки семидесятника. [М.], 1927, стр. 110.

² И. С. Тургенев, Собрание сочинений, т. IV, Гослитиздат, М., 1954, стр. 448. Далее ссылки в тексте.

общал об этом в мае. Составитель примечаний к 4-му тому цитированного собрания сочинений ошибочно утверждает, что «о самозванцах в статье Н. А. Ссреды вовсе не упоминается» (стр. 517).

Спор Маркелова с Соломиным перекликается с полемикой между П. Лавровым и П. Ткачевым, начавшейся в 1874 году.

Обращение Нежданова с революционным призывом к мужикам, стоявшим у мирского хлебного амбара, напоминает один из эпизодов ранней пропагандистской деятельности С. Степняка-Кравчинского. П. Кропоткин в «Записках революционера» пишет, что Кравчинский «с большим юмором рассказывал эпизод из своего раннего хождения в народ. „Раз, — рассказывал он, — идем мы с товарищем по дороге. Нагоняет нас мужик на дровнях. Я стал толковать ему, что податей платить не следует, — что чиновники грабят народ и что по Писанию выходит, что надо бунтовать. Мужик стегнул коня, но и мы прибавили шагу. Он погнался лошадей трусцой; но и мы побежали вслед, и все время я продолжал ему втолковывать насчет податей и бунта. Наконец, мужик пустил коня вскачь; но лошаденка была дрянная, так что мы не отставали от саней и пропагандировали крестьянина, куда совсем перехватило дыхание“».³

Делясь впечатлениями о «хождении в народ», Нежданов говорит: «... все, решительно все люди, с которыми я разговаривал, недовольны; и никому не хочется даже знать, как пособить этому недовольству!» (стр. 402). Эти выводы почти дословно совпадают с теми, к которым пришла в начале 70-х годов Брешковская: парод «буквально *везде*, где мне приходилось говорить с ним, жаловался на увеличивающуюся бедность и дороговизну, на непосильные поборы, на самое нахальное притеснение со стороны начальства. Начальство и господа виновны в бедственном положении народа, в этом каждый мужик уверен непоколебимо; но как избавиться от этих бичей, даже возможно ли избавиться, — вопросы не только не решенные, но почти нигде не подняты»⁴

Таким образом, автор «Нови» уловил и выразил те тенденции народничества, которые особенно ярко проявились в середине 70-х годов.

Наконец, совсем частное замечание. Колломейцев, посетив народную школу, спросил учеников, что означает слово «пифик» в стихе: «И пифик слабоум, списатель зверских лиц!» (стр. 249). В романе указывается, что этот стих принадлежит Хемницеру. Но у Хемницера такого стиха нет. Это известно комментаторам романа (стр. 517). Однако до сих пор не отмечалось, что Колломейцев цитирует басню Фонвизина «Лисица-кознодей».

НЕИЗДАННОЕ ПИСЬМО Н. Г. ПОМЯЛОВСКОГО

(ПУБЛИКАЦИЯ Н. БЕЛЬЧИКОВА)

В Институте русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР хранится неопубликованное письмо известного писателя-шестидесятника Николая Герасимовича Помяловского, адресованное к его современнику Александру Николаевичу Пышину, профессору, историку литературы и одному из редакторов «Современника».

Это письмо, текст которого печатается ниже, имеет близкое отношение к опубликованному ранее письму Н. Г. Помяловского к А. Н. Пышину от 16 сентября 1863 года. Сличение текстов убеждает в том, что оставшееся неопубликованным письмо является первоначальным, предварительным вариантом по отношению к напечатанному. Однако в неопубликованном письме имеются некоторые ценные подробности, каких нет в опубликованном. Здесь есть новые сведения об исчезнувшем и пока не найденном романе Помяловского «Каникулы». Здесь точно указывается, каково содержание первой главы, какие замыслы больной Помяловский связывал с этой повестью.¹

³ П. Кропоткин. Записки революционера. Лондон—СПб., [1906], стр. 268.

⁴ Цитирую по книге П. Л. Лаврова «Народники-пропагандисты 1873—78 годов» (СПб., 1907, стр. 213).

¹ И. Г. Ямпольский, публикуя письмо Помяловского к А. Н. Пышину от 16 сентября 1863 года в редактированном им «Полном собрании сочинений писателя» в 2-х томах («Academia», М.—Л., 1935), высказал в комментарии мысль о «недошедшем до нас письме Помяловского», в котором последний писал о замысле романа «Каникулы», или «Гражданский брак». «... Иначе, — говорит И. Г. Ямпольский, — трудно понять посвященный ему (т. е. будущему роману «Каникулы», — Н. Б.) абзац в ответном письме Пыпина» (т. II, стр. 360; на стр. 361—362 напечатано и письмо А. Н. Пыпина, где он говорит о «Каникулах»).

В публикуемом письме содержится ценное признание Помяловского в близости к идеям революционной демократии, которые пропагандировались в «Современнике» в статьях Чернышевского и Добролюбова и в «Русском слове», где выступал Писарев. Писатель отдает полный отчет в своей болезни, осознает ее предосудительность и в то же время свое бессилие в борьбе с этим недугом.

Причины непонятной для постороннего наблюдателя болезни несомненно коренились в общественной жизни того времени. Разгул правительственной реакции со второй половины 1863 года тяжело отозвался на писателе. Его охватило отчаяние и мучительная ненависть к мракобесам: «Проклятые!.. Как я вас ненавижу!.. Вы отравили всю жизнь мою, вы разбили лучшие мои надежды».²

Несколько раз Помяловский покушался на самоубийство, стал много пить. Неудачная любовь, на которую он намекает в конце письма, обострила настроение грусти и отчаяния. Он впал в тягостную болезнь — пьянство.

Письмо подкупает искренностью, задумчивостью тона. Демократ Помяловский переживал глубокую драму, мало задумываясь над ее причинами, но нам, потомкам, она предстает в отчетливо мрачном очертании.

Добрейший Александр Николаевич!

Я наглушил своими к Вам письмами. Дело в том, что я долго и много пил и дошел почти до пятой в своей жизни белой горячки. При делириуме, трементальном состоянии, при развитии особенной чувствительности кожи, при постоянных приливах крови к голове я часто теперь делаю глупости, образчиками которых могут служить мои два последних письма к Вам. Повторяю: я много пил и долго пил; только моя счастливо устроенная натура могла вынести то непомерное пьянство, которое совершалось со мною в последние два месяца. Я постоянно пил, но в последние две недели я с двумя пьяницами распил две бутылки джину, бутылку хересу и ведро водки, да полуштоф водки в течении трех дней, после чего опалела моя магдалина!.. При хроническом алкоголизме, как, может быть, известно Вам, для алкоголиста все представляется в мрачном цвете. Так случилось и со мною. Побывав в пятницу в редакции, я вообразил, что и Вы, и Салтыков, и Антонович, и Головачев — все смотрели на меня с глубочайшим презрением и отвращением, несмотря на то, что в рассказе о С<условой> я не отступил от правды ни на полдюйма. Под влиянием алкоголизма мне тошно стало. Я еще запил. На основании этих данных и объясняйте смысл моих к Вам писем. Романа³ я не сжег и не разорвал — домашние не допустили до этого. Пишу и это письмо все-таки отравленный алкоголем, но в полном сознании. Извините меня.

Студенты, добрый народ, сказали мне: «Вы обязаны работать, и потому мы, чередуясь при вас, не дадим вам ни одной рюмки водки. . . относительно водки вы лишены прав своей воли. . . Станете противоречить, мы стащим вас к Балинскому (психиатру м<едицинской> академии)». — Я понять не могу, что за причина моего пьянства. Я изучал его, знаю весь процесс и все перипетии этой подлости, но остановиться не могу. С лучшими докторами советывался, и ничего поделать не мог. Говорят, что от запоя есть еще средства, но от пьянства не существует их. Что мне делать?.. Что предпринять? Коли бы не скверный мой порок, кажется, я и работал и доволен был бы собою. А теперь, кроме разной, разъедающей душу гадости, ничего нет при мне. . . что мне делать?.. Не презирайте меня. . . Я болен — и только, но, несмотря на то, я исполню свои обязательства к «Современнику», единственно уважаемому мною журналу, да еще к «Р<усскому> слову». Вот уже пять лет я объясняю себе свое поведение — и объяснить его не могу. . . С чего я пью? с какой стати пью?.. Была причина, пять лет назад зародившаяся (не скажу какая), но она теперь не существует у меня — выдохлась. Мне кажется, все, что я успел и сумел узнать по этому делу, Вы прочитаете в имеющейся быть отпечатанной у Вас повести «Каникулы», где первая глава будет носить название: «Alcoholismus chronicus». . . Извините меня за мое сумасшествие, — да, за сумасшествие. Вы обязаны извинить меня. . . да, и делать-то больше нечего, как извинить Вам, как извинять меня.

Вполне преданный Вам
Помяловский

Р. Докажите, что не презираете меня: зайдите ко мне.

Р. 150 р.-то мне все-таки надо: меня преследуют кредиторы разного рода.

Н. П.

² Н. А. Благовещенский. Николай Александрович Помяловский (биографический очерк). В кн.: Н. Г. Помяловский, Полное собрание сочинений, т. I, стр. XLII.

³ Речь идет о написанной части романа «Брат и сестра» (1862).

Ф. КУЗНЕЦОВ

Г. Е. БЛАГОСВЕТЛОВ И «ОХРАНИТЕЛИ»

1

Борьба Благосветлова за печатную трибуну для сил революционной демократии — одна из красочных страниц в истории русской литературы и журналистики.

Архивы и переписка Благосветлова хранят обширный и пока почти неисследованный материал об изнуряющих цензурных тяготах, о том, как противостоял Благосветлов непрекращающимся попыткам задуть журнал.

В моей работе «„Журнальный эксплуататор“ или революционный демократ?» («Русская литература», 1960, № 3) были приведены частично архивные свидетельства о том, в каких тяжелых условиях начинал Благосветлов редактировать «Русское слово», переданное ему графом Куселевым-Безбородко в 1862 году. Не получив официального разрешения на редактирование журнала, Благосветлов едва не оказался под судом за самовольное его издание. Лишь «недостаток судебного законодательства» (дело в том, что он нигде не называл себя редактором, а официального разрешения на передачу издательских прав по закону не требовалось) помешал отдать Благосветлова под суд.

Сохранив за Благосветловым до поры до времени право издавать журнал, правительство стало душить его цензурой. Положение усугублялось тем, что цензурное ведомство в 1863 году было передано из Министерства просвещения в ведение Министерства внутренних дел, в руки Валуева.

В целях контроля за деятельностью цензоров периодических изданий был учрежден специальный Совет министра внутренних дел по делам книгопечатания во главе с товарищем министра Тройницким, куда входили, помимо членов, председатели столичных цензурных комитетов и директор департамента исполнительной полиции, раньше к делам цензуры не имевший отношения. 11 церберов — 5 членов Совета по делам книгопечатания и 6 чиновников особых поручений по делам книгопечатания — изучали каждое периодическое издание Петербурга и Москвы, проверяя, насколько добросовестно выполняют свои обязанности чиновники цензурных комитетов. Результатом этого было, как писал в ту пору И. С. Аксаков, настоящее «неистовство цензуры». «Никогда цензура не доходила до такого безумия, как теперь, при Валуеве. Она получила характер чисто инквизиционный»,¹ — жаловался он в письме от 27 февраля 1863 года Н. П. Гилярову-Платонову.

Это объективное свидетельство можно дополнить словами самого Валуева, который в декабре 1865 года, в докладе царю, заявил, что все эти годы он «сознательно был так сказать чиновником особых поручений князя Долгорукого» и что он называет свой четырехлетний труд «умственно-арестантским».²

Если даже с точки зрения редакторов славянофильских изданий цензура в эпоху Валуева получила характер «чисто инквизиционный», то можно судить, каковы были цензурные условия для журналов демократических, особенно тех, которые только что возобновили свою деятельность после восьмимесячного молчания.

К сожалению, не сохранились редакционные архивы «Современника» и «Русского слова». Мы не имеем в руках корректур запрещенных и «отредактированных» в цензуре статей, за исключением двух, обнаруженных нами в фондах Центрального государственного исторического архива в Ленинграде.³ Но и того, что сохранилось в архивах цензурных учреждений, в письмах и воспоминаниях сотрудников, достаточно, чтобы представить все колоссальные трудности ведения журнала «Русское слово» в пореформенных условиях.

Первым и главным врагом издания был цензор, который непосредственно цензуровал журнал. За три последних года существования «Русского слова» сменилось пять таких цензоров. Это уже само по себе составляло большое неудобство для редакции и сотрудников, так как, писал Шелгунов, «у каждого цензора свой царь в голове и каждый черкает по своему усмотрению. . . один пропускает то, что другой зачеркивает. Вот тут и пиши, как знаешь».⁴ С января по сентябрь 1863 года журнал цензуровал Капнист, с октября по декабрь 1863 года — де-Роберти, с января 1864 до сентября 1865 года — цензор Ленц и, наконец, с конца ноября и до закрытия — Скуратов. Основную работу по цензурованию (почти два года из трех) вел Еленев, «господин с очень мягкими, цивилизованными манерами, с дипломатической речью, но вместе с тем с пером несокрушимой, римской твердости»,⁵ как характеризовал его

¹ Иван Сергеевич Аксаков в его письмах, ч. II, т. IV, СПб., 1896, стр. 270.

² ЦГИАЛ, ф. Валуева, № 908, ед. хр. 1, т. II, лл. 183 об., 185. Ср.: Дневник П. А. Валуева, т. II. Изд. АН СССР, М., 1961, стр. 83, 84.

³ «Представители немецкого свиста Берне и Гейне» В. Зайцева и «Домашняя летопись» («Русское слово», 1863, кн. 2).

⁴ Л. П. Шелгунов а. Из далекого прошлого. СПб., 1901, стр. 146.

⁵ Там же, стр. 151.

Шелгунов. Это был наиболее квалифицированный и безжалостный цензор в комитете. Впоследствии он с гордостью писал о себе: «У нас когда-то (во времена Чернышевских и Писаревых) было 8 цензоров, а всю ответственную работу несли только двое, Все-лаго и я».⁶

О «качестве» его работы можно судить хотя бы по следующему факту. В течение 1864 года им было представлено на рассмотрение С.-Петербургского цензурного комитета 17 корректур журнала «Русское слово», из них 13 по его представлению запрещены полностью, 4 — запрещены частично.⁷ В числе запрещенных материалов — 3 «Домашних летописи», ряд статей для «Библиографического листка», отдел «Политика», первый вариант статьи Писарева «Реалисты» и т. д. Факты эти показывают, что в 1864 году не выходило ни одной книжки журнала, в которой бы не запрещалась цензурным комитетом хотя бы одна статья, причем это лишь те случаи, которые зарегистрированы в журнале заседаний комитета. На заседание же комитета цензоры выносили только те статьи, относительно которых были какие-то колебания. А сколько статей было изуродовано и запрещено цензорами без консультации с комитетом! Об этом можно судить хотя бы по переписке Шелгунова с женой; письма Шелгунова полны жалобами на цензурные преследования. В одном из писем он сообщает, например, что в 1864 году им напечатано в «Русском слове» на 1850 рублей. «Но цензура, — пишет он, — вычеркнула по крайней мере на 400 рублей».⁸

Таким образом, из всего написанного Шелгуновым для журнала в 1864 году цензурой вычеркнута почти четвертая часть! А между тем в описи заседаний С.-Петербургского цензурного комитета за 1864 год мы не находим ни одного упоминания о том, что хотя бы одна статья Шелгунова была предметом обсуждения комитета. Они уродовались непосредственно цензором журнала. Отнюдь не случайностью объясняется тот факт, что в обширной ведомости «упущений по цензуре», совершенных цензорами за период 1862—июнь 1865 годов (ведомость была составлена чиновниками цензурного комитета), по «Русскому слову» за эти три года не зарегистрировано ни одного «упущения».⁹ Наоборот, в цензурных документах этой поры систематически подчеркиваются огромные заслуги С.-Петербургской цензуры в борьбе с журналами неблагонадежного направления («Современником», «Русским словом» и «Искрой»).

2

Для характеристики направления «Русского слова» и условий его существования большое значение имеют такие документы, как отчеты созданного в 1862 году специального Совета министра внутренних дел по делам книгопечатания: «Общий характер периодической литературы в текущем году», «Отличительные черты наиболее распространенных периодических изданий» (составлены Еленевым) и «О направлении и содержании главных периодических изданий в 1863 году». В этих основополагающих для царской цензуры документах журналы «Русское слово» и «Современник» (а они идут, как правило, вместе) получили исчерпывающую характеристику.

«„Современник“ и „Русское слово“, — говорится в отчете, — принадлежат к одному литературному направлению, главные черты которого суть: оппозиция правительству, крайность политических и нравственных мнений, социально-демократические стремления, наконец, религиозное отрицание и материализм».¹⁰

В отчете «Общий характер периодической литературы в текущем году» Еленев отмечает широкое распространение «и в обществе, и в литературе безверия и материализма. . . Направление это растет с ужасающей силою и заслуживает серьезного внимания правительства. В последнее время наше общество с особенной жадностью устремилось на сочинения по естественным наукам, но не с тем, чтобы изучать в них положительные выводы строгой науки, а чтобы искать отрицания всему тому, что составляет другую, выше науки стоящую область, область веры.

Нельзя при этом не заметить, что отсутствие нравственно-религиозных убеждений в нашем обществе, его чисто формальное отношение к религии составляют одну из существеннейших причин и его шаткости в политических понятиях, его неспособности жить своим умом и его склонности увлекаться самыми крайними социальными учениями: ибо несомненно, что только одна религия дает окончательный склад убеждениям человека. . .»¹¹

⁶ Рукописный отдел Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Архив Шаховского, к. 5, Ф. П. Еленев, письмо к кн. Н. В. Шаховскому от 24 января 1898 года.

⁷ ЦГИАЛ, Описание журнала заседаний СПб. цензурного комитета, ф. 777, оп. 7, ед. хр. 73.

⁸ Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР, Н. В. Шелгунов, письма к Л. П. Шелгуновой, 21203 СХ VI б 2, л. 95 об.

⁹ ЦГИАЛ, ф. 777, оп. 2, д. 51, 1865 г.

¹⁰ См.: С. С. К о п к и н. Журнал «Русское слово» и цензура в 1863—1866 годы. «Ученые записки Стерлитамакского государственного педагогического института», 1962, вып. VIII, стр. 233—234.

¹¹ ЦГИАЛ, ф. 774, оп. 1, ед. хр. 12, лл. 117—118, 123.

Как видите, нельзя отказать цензурным церберам тех времен в большой проницательности, в отличном понимании целей и задач, которые ставила перед собой революционно-демократическая журналистика 60-х годов. С тем большим рвением преследовали они «Русское слово» и «Современник», вычитывая порой коммунистические и революционные идеи и там, где их фактически даже не было. Тем большие старания затрачивались на то, чтобы задуть каждую светлую мысль, любую попытку провести неугодные самодержавию идеи на журнальные страницы. О том, с каким тщанием цензуровалось «Русское слово», можно судить хотя бы по описям журнала заседаний С.-Петербургского цензурного комитета за 1863—1864 годы (сами журналы, к сожалению, обнаружить пока не удалось).

Вот опись заседаний комитета за вторую половину 1863 года:

«13 7 63 г. С л у ш а л и: 1. . . Г. М. Штюмера о статье для журнала „Русское слово“ под заглавием „Домашняя летопись“, рассуждающей о тех военных средствах, которыми может располагать Россия для того, чтобы дать отпор европейским державам в случае вмешательства в дела польские.»

О п р е д е л е н о: не позволять к печати этой статьи как ослабляющей патриотические настроения и несогласной с современными политическими обстоятельствами.

С л у ш а л и: . . . О статье для журнала „Русское слово“ под заглавием „Дневник темного человека“, заключающей в себе разбор литературных и общественных явлений в сатирическом тоне.

О п р е д е л е н о: дозволить с исключением мест, указанных цензором. . .

14 августа. С л у ш а л и: . . . Повесть под заглавием „На подсеке“, в которой изображены антагонизм между крестьянами и помещиками в ущерб дворянскому сословию, спор о лугах, кулденных крестьянами, восстание крестьян и их усмирение.

О п р е д е л е н о: запретить.

23 ноября. С л у ш а л и: Статья Писарева под заглавием „Новые типы“, заключающая в себе развитие основных идей романа Чернышевского „Что делать“.

О п р е д е л е н о: . . . запретить к печатанию.¹²

Опись журнала заседаний цензурного комитета за 1864 год свидетельствует, что с января по ноябрь было запрещено полностью или частично семнадцать статей «Русского слова». В частности, в описи за 1864 год мы читаем: «14 октября: „Реалисты“ — не позволять».¹³ Как же случилось, что статья эта все-таки попала в журнал, хотя и претерпела, по словам Писарева, «нечто вроде геологического переворота»? Ответ на этот вопрос содержится в письмах Писарева с.-петербургскому генерал-губернатору кн. Суворову и некой мадам Эттингер, хранящихся в Пушкинском доме и посвященных цензурным мытарствам статьи «Реалисты». Писарев решил обратиться к кн. Суворову в поисках защиты от свирепостей цензуры.

«Цензура меня преследует с ожесточением, которое не имеет ни границ, ни примеров во всей истории нашей литературы. . . — пишет он Суворову. — Я написал статью, которую назвал „Реалисты“. Я посвятил ее своей матери и подписал своим именем. Мне изменили заголовок моей рукописи, изъяли посвящение и вычеркнули мою подпись. Хотели даже запретить всю статью и, конечно, сделали бы это, если бы моя бедная мать трижды не отправлялась ходатайствовать к председателю цензурного комитета.

Этот господин (он зовется Турунов) сказал моей матери: „В сочинениях Вашего сына мы всегда читаем между строками“. Когда я говорю — наука, цензор читает — атеизм; когда я нападаю на предрассудки, он уверен, что я восстаю против религии; когда я насмехаюсь над чувствительностью, говорят, что я отвергаю брак. Из меня хотят сделать воплощение дьявола только потому, что я не в состоянии защитить себя от их клеветы. Согласитесь, князь, что читая „между строками“, могут вычитать все, что захотят. Таким способом можно обнаружить идеи, достойные порицания, даже в „Верую“ и „Отче наш“.

Б. Козьмин, опубликовавший это письмо в журнале «Каторга и ссылка»,¹⁴ не отметил, что оно не было передано кн. Суворову. Писарев вручил его матери вместе с письмом к мадам Эттингер (по-видимому, жене придворного врача Ф. Эттингера, являвшегося, по всей вероятности, и личным врачом кн. Суворова). Так как это письмо Писарева неизвестно и никогда не публиковалось, привожу его полностью:

«Мадам! Я Вас никогда не видал, а между тем Вы мне сделали много добра. Письмо, которое я осмеливаюсь Вам адресовать, не сомневаюсь, послужит неопровер-

¹² Там же, ф. 777, оп. 27, ед. хр. 52, лл. 114 об., 117 об., 122, 160, 281. Свидетельство о том, что написанная в 1863 году и пропавшая статья Писарева о «Что делать?», называвшаяся «Мысли о русском романе», была представлена в цензуру под названием «Новые типы», очень важно. Оно помогает установить тот факт, что пропавшая статья о романе Чернышевского была по меньшей мере вариантом статьи «Новый тип» (октябрь 1865 года). См.: Ф. К у з н е ц о в. История пропавшей статьи Писарева. «Новый мир», 1957, № 1, стр. 304).

¹³ ЦГИАЛ, ф. 777, оп. 27, ед. хр. 73, л. 44 об.

¹⁴ «Каторга и ссылка», 1930, № 2/63, стр. 106—110 (письмо Писарева дается нами в новом переводе).

жимым доказательством глубочайшего уважения и горячей благодарности, какие я Вам приношу. Во-первых, я пишу Вам это письмо тайно, на страничке, вырванной из книги, обманув моих начальников. Этим кусочком бумаги Вы можете меня погубить, а между тем я Вам доверяюсь без малейшего сомнения. Во-вторых, я пишу Вам это письмо, чтобы просить у Вас совета, в котором Вы мне не откажете и которому я точнейшим образом последую.

Цензура меня душит. Моя мать расскажет Вам подробности. Мое положение невыносимо. Если бы я был свободен, я нашел бы способы поговорить с министром внутренних дел и сообщить ему обо всех тех беспорядках, какие позорят цензуру. Теперь у меня лишь одна опора: князь Суворов, который как генерал-губернатор является моим прямым начальством. Дайте мне добрый совет, мадам: как мне обратиться к князю. Должен ли я писать ему официально, при посредничестве коменданта, что мне совсем не нравится. Или лучше, не сможете ли Вы передать князю письмо, которое моя мать Вам доставит? И, наконец, если Вы думаете, что эта попытка с моей стороны будет бесплодной, — скажите мне это; я слепо доверяюсь Вам, скрепя руки и перестрадаю все, как страдал до настоящего времени.

Но подумайте только, мадам, какой это позор; вся русская пресса, общественное мнение находится под сапогом такого низкого человека, как Катков. Он клеветает на честных людей, а никто не открывает и рта. О, мадам, если Вы можете что-либо сделать, чтобы способствовать благоденствию нашей несчастной литературы, сделайте, все, что в Ваших силах. Я Вас слишком уважаю, чтобы хоть на мгновение в этом усомниться.

Я ожидаю Ваших приказаний, мадам.

Имею честь оставаться Вашим очень скромным и очень покорным слугой.

Д. Писарев

8 ноября 1864 г.

После письма к кн. Суворову, написанного по-французски и переписанного рукой матери, сделана ею приписка: «Это письмо не было доставлено кн. Суворову, так как оно было писано секретно — на обертке с журнала французского: я боялась, чтобы не было дурных результатов для лиц, живущих в крепости, а главное, для заключенных, чтобы не прибавили еще более строгости в присмотре за каждым движением, за каждым листком бумаги. Митя не требовал потом, чтобы непременно доставить — успокоился, — статья была напечатана с огромными пропусками, но все-таки была напечатана, и была возможность писать, а то бы могли отнять и это — и потому письмо осталось у меня в руках.

Письмо к мадам Эттингер тоже не было доставлено по той же причине».¹⁵

Таков один из эпизодов борьбы публицистов «Русского слова» с неистовством цензуры.

О том, насколько упорно редакция «Русского слова» проводила принципиально важные для нее материалы на страницы журнала, свидетельствует цензурная история второй статьи Шелгунова «Рабочие ассоциации». Статья эта была запрещена цензурой в марте 1865 года. 29 мая 1865 года редактор журнала Благовещенский обращается в цензурный комитет с прошением вторично рассмотреть ее, так как статья выправлена, тон ее «самый спокойный и цель ее состоит в разъяснении экономического вопроса со стороны чисто научной».¹⁶

Цензор Еленев дает следующее заключение: «В статье этой возвеличивается пролетариат и прославляются теории социалистов и коммунистов. Обо всех правительствах консервативных и противившихся революционным движениям пролетариата говорится в весьма резких выражениях, как об отсталых и угнетательских. Будущность Европы принадлежит пролетариату. Излагаются учения Бабефа, Овена, Фурье, Сен-Симона, но не в смысле здоровой критики, а с чувством благоговейного поклонения. Статья написана тоном резким и наполнена неприличными выходками».¹⁷

Член Совета по делам книгопечатания Никитенко присоединяется к мнению Еленева: «... статья „Рабочие ассоциации“ заключает в себе изложение социалистических и коммунистических учений, и если бы это изложение ограничивалось развитием их как философской теории или как факты в истории человеческих обществ и умозрений, тогда, конечно, не было бы со стороны цензуры возражений дозволить статью к напечатанию. . . Но означенная статья есть не что иное, как род апофеозы коммунизма и социализма, стремления их она возводит в сан абсолютных истин человеческого рода и, представляя их в популярной форме, явно имеет в виду не простой анализ, а распространение их и пропаганду». Никитенко считает правильным запрещение статьи, «тем более, что ей назначено место в журнале, преимущественно рас-

¹⁵ Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР, разряд I, оп. 22, ед. хр. 39, лл. 35, 35 об., 36.

¹⁶ ЦГИАЛ, ф. 774, оп. 1, д. 40, л. 1.

¹⁷ См.: С. С. К о н к и н. Журнал «Русское слово» и цензура в 1863—1866 годы, стр. 238.

пространном между молодыми людьми и которого направление никак нельзя назвать безукоризненным в общественном и нравственном отношениях».¹⁸

Статья запрещена цензурой вторично. Это не останавливает редакцию: воспользовавшись отменой предварительной цензуры, журнал в ноябре 1865 года все-таки печатает эту статью и именно из-за нее прежде всего получает второе предостережение.

Значительный интерес для характеристики цензурных условий существования журнала и направления его имеют доклады цензоров С.-Петербургского комитета, а также доклады члена Совета МВД по делам книгопечатания Пржедлавского, контролировавшего уже вышедшие книжки «Русского слова».

Пржедлавский обратил внимание на ряд выступлений журнала,¹⁹ в частности на очерки «Московские норы и труппы» Воронова, «Ночь» Успенского, на статью «Прошедшее и будущее европейской цивилизации» Шелгунова, на некоторые повести и романы, являющиеся, по его словам, апологией «так называемого ниглизма, . . . иначе доктрины „новых людей“».²⁰

В течение всего периода 1861—1865 годов журнал «Русское слово» выходил под неусыпным надзором умственной полиции. Но тяжелое положение журнала особенно усугубилось после того, как с сентября 1865 года вступил в силу новый закон о цензуре, который получил наименование «закона 6 апреля». По этому закону ответственность за нарушение цензурных ограничений, которую раньше делили редактор и цензор, возлагалась теперь исключительно на редакторов и издателей. В «конфиденциальной инструкции» цензорам столичных цензурных комитетов от 28 августа 1865 года министр внутренних дел Валуев так именно и раскрывал смысл нового закона. При предварительной цензуре, указывал он, «ответственными лицами считаются цензоры, в лице же их и само правительство, а издатели, редакторы и сочинители, огражденные цензорским разрешением, остаются вне всякого преследования. Это обстоятельство послужило исходною точкою для последовавшего ныне освобождения некоторых изданий от цензуры, с ответственности за оные издателей, редакторов и авторов».²¹

По «закону 6 апреля» министру внутренних дел представлялось право при нарушении изданием цензурных ограничений выносить журналу три предостережения, приостанавливая издание по суду вместе с третьим предостережением на срок до 6 месяцев или закрывая его вовсе. Закон этот предоставлял цензуре весьма широкие возможности для борьбы с демократической журналистикой.

Сразу после введения в силу «закона 6 апреля» цензура начала буквально душиТЬ журнал «Русское слово». За октябрьскую книжку 1865 года журнал получил первое предостережение, за ноябрьскую — второе, за декабрьскую — третье с одновременным приостановлением журнала на 5 месяцев.

Первое предостережение было получено за статьи «Новый тип» Д. Писарева, «О капитале» Н. Соколова и «Библиографический листок», поражающие «крайними социалистическими или материалистическими идеями».

Первая из них — «Новый тип» — «заключает в себе длинный панегирик роману Чернышевского».²² Докладывал цензор Скуратов председателю С.-Петербургского цензурного комитета Петрову.

Прошло две недели после объявления журналу первого предостережения, и в Главное управление по делам печати направляется новая докладная записка, посвященная ноябрьской книжке журнала «Русское слово», преимущественно статьям «Исторические идеи Огюста Конта» Писарева и «Рабочие ассоциации» Шелгунова.

Чем же заслужили внимание цензуры названные статьи? В статье Писарева отрицается «божественное происхождение христианства», доказываются «бессилие христианского учения». Более того, по мнению Писарева, сообщает цензор, «сильных может удержать от посягательства на личность и собственность слабых единственно страх встретить опасный отпор; а для этого нужно, чтобы слабые умели защищать себя коллективною силою масс, в доказательство чего он описывает восстание крестьян в средних веках вследствие пропаганды плотника Дюрана».²³

«В статье „Рабочие ассоциации“ Шелгунова представляется очерк коммунистических и социалистических идей Фурье и Сен-Симона. В этом очерке всего более достойно замечания то, что автор опередил этих пресловутых утопистов в их намерениях

¹⁸ ЦГИАЛ, ф. 774, оп. 1, д. 1, л. 135.

¹⁹ Подробнее об этом см.: С. С. К о н к и н. Журнал «Русское слово» и цензура в 1863—1866 годы. Цензурной истории «Русского слова» касаются также работы В. Евгеньева-Максимова — «И. А. Гончаров, как член Совета Главного управления по делам печати» («Голос минувшего», 1916, № 11) и «Д. И. Писарев и охранители» (там же, 1919, № 1—4), Н. Ковалева — «Д. И. Писарев и царская цензура» («Красный архив», 1940, № 6).

²⁰ ЦГИАЛ, ф. 774, оп. 1, ед. хр. 2, лл. 78—81.

²¹ Материалы, собранные особою комиссией. . . 1869 года для пересмотра действующих постановлений о цензуре и печати, ч. II. СПб., 1870, стр. 179.

²² ЦГИАЛ, ф. 776, оп. 3, ед. хр. 161, лл. 22—25.

²³ См.: С. С. К о н к и н. Журнал «Русское слово» и цензура в 1863—1866 годы, стр. 245.

и осуждает те начала действительной жизни и существующего общественного порядка, которых даже они не решились затронуть. . . автор превзошел Фурье в коммунизме и фурьеристов в революционном направлении, *мирные Демократы*, очевидно, не удовлетворяют требованиям и целям „Русского слова“.²⁴

Естественно, за ноябрьский номер журнал получил второе предостережение. А через месяц, 10 февраля 1866 года, председатель С.-Петербургского цензурного комитета Петров направил в Главное управление по делам печати новую докладную записку: «Декабрьская книга „Русское слово“ как по тону, так и по содержанию не представляет тех явных и резких нарушений постановлений о печати, вследствие которых этот журнал подвергся сделанным ему двум вполне заслуженным предостережениям. . . Но хотя его пропаганда сделалась скромнее и осмотрительнее, дух и направление ее мало изменилось к лучшему».²⁵ Автор записки приводил выдержки из статей «Честные мошенники» Шелгунова, «Библиографический листок» Ткачева, в которых проявилось «прежнее отрицание нравственности, юридических и имущественных начал».

Полагая, что этих фактов недостаточно для третьего предостережения, цензор журнала Скуратов, не дожидаясь решения по декабрьской книжке, шлет через шесть дней, 16 февраля 1866 года, очередной донос: «Так как декабрьская книжка „Русского слова“ выпущена лишь в конце января и теперь еще находится в рассмотрении Главного управления, а между тем вышел уже и № 1 этого журнала за текущий 1866 год, . . . то дабы представить Главному управлению возможность совокупного осуждения, честь имею представить Вашему превосходительству о замеченном мною при поспешном прочтении означенного последнего номера.

Повесть „Засоренные дороги“ А. Михайлова, роман „Перед рассветом“ Благовещенского и стихотворение „Боярин“ Кроля составляют набор статей, в которых заметно стремление возбудить ненависть и презрение к высшим классам общества и рисовать в преувеличенном виде их нравственную испорченность, угнетения и насилия, которые испытывал от них народ».²⁶

Однако цензор Скуратов спешил напрасно. В тот же день, 16 февраля 1866 года, когда он направил свою очередную записку Петрову, Валуев уже издал свое третье распоряжение по «Русскому слову»:

«РАСПОРЯЖЕНИЕ г. МИНИСТРА ВНУТР. ДЕЛ

16 февраля 1866 г.

Принимая во внимание:

что в журнале „Русское слово“ (№ 12 за 1865 г. и № 1 за 1866 г.) роман „Воспоминания пролетария“ . . . заключает в себе рассказ о перевороте, происшедшем в 1848 г. в Париже, направленный к оправданию революционных движений народных масс, статьи „Производительные силы Европы“ (стр. 244, 249 и 262), „Засоренные дороги“ А. Михайлова (стр. 3 и 4), „Перед рассветом“ Н. Благовещенского (стр. 102 и 113) и „Библиографический листок“ (стр. 15, 16 и 19) заключают в себе враждебное сопоставление неимущественных классов общества с собственниками и распространение социалистических понятий; а статья „Честные мошенники“ Н. Шелгунова (стр. 8 и 9) придает воровству значение „труда“ и свойства неизбежных последствий нынешних условий гражданского быта общества;

что в означенных статьях продолжает обнаруживаться вредное направление помянутого журнала, подлежащее действию административных взысканий по силе ст. поименного высочайшего указа, данного правительственному сенату в 6 день апреля 1865 года, и вызвавшее уже два предостережения;

министр внутр. дел на основании ст. 29, 31 и 33 высочайше утвержденного 6 апреля 1865 года мнения Государственного Совета и согласно заключению Совета Главного управления по делам печати определяет: объявить *третье* предостережение журналу „Русское слово“ в лице издателя кандидата прав Григория Благовещенского и редактора, окончившего курс в С.-Петербургской духовной семинарии Николая Благовещенского, и приостановить продолжение означенного повременного издания на пять месяцев».²⁷

Журнал «Русское слово» фактически прекратил свое существование. Единственной формой протеста против этого беззакония, доступной Благовещенлову, было его многозначительное прошение в Главное управление по делам печати: «. . . положение 6 апреля (30 ст. гл. II) ясно говорит, что издание, обеспеченное залогом, может быть прекращено только по распоряжению высшей судебной инстанции, а именно 1-го департамента Правительствующего Сената. „Русское же слово“ суду не подвергалось и

²⁴ ЦГИАЛ, ф. 776, оп. 3, ед. хр. 161, л. 28. См. также: С. С. К о н к и н. Журнал «Русское слово» и цензура в 1863—1866 годы, стр. 246.

²⁵ ЦГИАЛ, ф. 776, оп. 3, ед. хр. 161, л. 37.

²⁶ Там же, лл. 40—41.

²⁷ ЦГИАЛ, ф. 776, оп. 3, ед. хр. 161, л. 42—42 об. См. также: С. С. К о н к и н. Журнал «Русское слово» и цензура в 1863—1866 годы, стр. 252—253.

закрывается по особому распоряжению, выходящему из границ „Законоположения 6-го апреля“. На этом основании он просит вернуть залог не через год, а сразу после закрытия, — «раз закон нарушен в основном, то он утратил силу и в частности».²⁸

Таковы факты трагедии, развернувшейся сразу после введения в силу «закона 6 апреля».

3

Надо отдать должное Благовестлову: сразу после первого предостережения, когда стало очевидно, что дни «Русского слова» сочтены, он с необыкновенной энергией и изобретательностью начал искать пути, чтобы в иных формах продолжать начатое дело, не изменяя принципам и основаниям его. Если систематизировать материалы архивов, можно проследить три направления, точнее — три этапа этой борьбы.

Как только возникла реальная угроза приостановления журнала, Благовестлов решает организовать на базе типографии и редакции «Русского слова» издательство и книжную лавку для распространения литературы определенного направления.

Книжные лавки и издательства, а также книжные читальни, создаваемые, как правило, демократически настроенными людьми, — интересная форма проведения в общество передовых идей, широко применявшаяся в условиях 60-х годов. В период революционной ситуации они росли, как грибы. Революционеры, непосредственно связанные с «Землей и волей», шли в книжные лавки и читальни, чтобы распространять демократическую литературу. Известен, например, книжный магазин Серно-Соловьевича, являвшийся чем-то вроде легального филиала «Земли и воли».

Недаром вскоре после карказовского выстрела тайная полиция особо отмечала тот факт, что ею были обнаружены в столицах некоторые отдельные тайные деятели, которые под ширмой литературных занятий были руководителями разных социалистических изданий, переводов, учебников для народа и иных книг в видах распространения социалистического учения. Они также были участниками в составлении разных обществ, читален, артелей, бесплатных школ и иных учреждений, имевших целью, под видом благотворения, соединять и направлять в социалистическом и противоправительственном направлении мысли молодого поколения».²⁹ В документе назывались Лавров, Путьга и Рождественский, авторы «устава издательской артели, не разрешенной правительством, но приведенной в исполнение»; Константинов и «сумышленник его, бывший студент Лиев, недавно еще открывший книжный магазин на Васильевском острове»; Аюклев, «у которого был общий с известным по нигилистическому направлению. . . губернским секретарем кн. Голопушным книжный магазин с читальней при нем»; бывший редактор журнала «Русское слово» Благовестлов; Евгений Печаткин, «давно известный своей политической неблагонадежностью, имевший большой книжный магазин и переплетную артель», и др.

Редакция «Русского слова» решает открыть такую книжную лавку осенью 1865 года, когда стало очевидным, насколько опасен для передовой журналистики «закон 6 апреля». Однако это намерение журнала немедленно встретило самое жестокое сопротивление со стороны цензуры. И не только цензуры.

В день публикации в газете «Голос» объявления об открытии при главной конторе «Русского слова» книжного магазина, в котором говорилось, что «выписка книг по естественным, медицинским, историческим и экономическим наукам преимущественно перед другими отраслями будет удовлетворяться нашим магазином», и сообщалось о льготах «г. студентам и воспитанникам всех других учебных заведений», старшему инспектору для надзора за типографиями полетел из цензуры запрос:

«1. На основании какого разрешения открыты вышеозначенные книжный магазин и главная контора?»

2. Какого рода продажа книг и комиссионерская деятельность и кем разрешена этим заведениям?»

3. В каком вообще положении находятся эти заведения и какие произведения печати находятся как в магазине, так и в состоящем при оном складе?»³⁰

В результате следствия выяснилось, что магазина самого еще нет, а идет лишь подготовка к открытию его и что разрешение о том редакция будет испрашивать в скором будущем.

Благовестлов решил просить разрешения на открытие книжного магазина через подставное лицо. 3 декабря 1865 года некий «купец», а в действительности сотрудник журнала «Русское слово» Д. И. Стахеев направил в адрес с.-петербургского генерал-губернатора кн. Суворова прошение «открыть книжный магазин под фирмой „Книжный магазин при главной конторе «Русского слова»“ . . . Ответственным лицом по магазину имею честь представить управляющего главной конторой „Русского слова“

²⁸ ЦГИАЛ, ф. 776, л. 55 об.

²⁹ Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина, 10532, ед. хр. 3, лл. 1—2.

³⁰ ЦГИАЛ, ф. 776, оп. 3, ед. хр. 162, Дело об открытии. . . книжного магазина. . . «Русского слова», л. 1 об.

Ю. А. Луканина».³¹ Но так как министр внутренних дел, уведомленный об открытии магазина, в специальном отношении к кн. Суворову просил генерал-губернатора обратить «особое внимание в случае поступления ходатайства об открытии книжного магазина редактора журнала Благосветлова»,³² то Суворов, не решаясь самостоятельно дать ответ Стахееву, представил копию его запроса министру внутренних дел. После умышленной двухмесячной волокиты Валуев дал отрицательный ответ. К ответу было приложено конфиденциальное письмо Валуева кн. Суворову, в котором он более подробно раскрывал причину отказа: «... характер изданий, принадлежащих самой редакции „Русского слова“, нельзя признать благонамеренным и притом в случае продолжения этим журналом неодобрительного направления и закрытия его было бы неудобно предоставлять распространение напечатанных в оном статей отдельными изданиями через книжный магазин, открываемый с этой целью».³³

Письмо это примечательно ничем не замаскированной уверенностью министра в том, что дни «Русского слова» сочтены. Валуев налагает запрет на открытие книжного магазина потому, что, с его точки зрения, он задуман ради того, чтобы в иной форме продолжить существование «Русского слова».

Каково же было удивление Валуева, когда в № 61 «Московских ведомостей» в марте 1866 года было опубликовано объявление о том, что «на днях выйдет и поступит в продажу „Луч“ и что подписка на него «принимается при книжном магазине гл. конторы „Русского слова“». Старшему инспектору типографий и книжной торговли генерал-майору Чебыкину было поручено немедленно расследовать обстоятельства, при которых этот магазин все-таки начал функционировать. В результате расследования обнаружилось, что после того, как в открытии магазина Стахеев было отказано, Благосветлов подобрал для этой цели другое лицо — некоего Зубовского, по ходатайству которого с.-петербургский генерал-губернатор Суворов и разрешил открыть магазин, не поставив об этом в известность Валуева. Валуев тут же направляет Суворову раздраженное письмо, в котором обвиняет генерал-губернатора, что тот «препятствует проведению в действие мер против распространения предосудительных и вредных, особенно для учащегося юношества, сочинений».³⁴

Понимая, что закрыть только что открытый с разрешения генерал-губернатора магазин трудно, Валуев дает указание задушить книжный магазин «Русского слова» иным путем. Он приказывает старшему инспектору типографий и книжной торговли генерал-майору Чебыкину «принять книжный магазин при главной конторе „Русского слова“ в число заведений, подлежащих его непосредственному наблюдению».³⁵

Что означало это «наблюдение», видно из записки управляющего магазина Ю. Луканина, адресованной им 27 августа 1866 года Валуеву. Ю. Луканин пишет, что Главное управление по делам печати безжалостно преследовало магазин при конторе «Русского слова»: «Предписавши генерал-майору Чебыкину самым строжайшим образом следить за магазином, оно в то же время заставило его в продолжении всего двух месяцев сделать в магазине четыре осмотра, для которых магазин не подал ни малейшего повода. . . Затем, когда Гл. упр. по делам печати увидело, что магазин ведется на строго законных основаниях и что с этой стороны нельзя придираться к нему, оно стало действовать ко вреду Зубовского через его непосредственное начальство, перед которым Зубовский был намеренно выставлен человеком неблагонадежным. Вследствие всего этого Зубовский был вынужден не только закрыть магазин, но и выйти в отставку».³⁶ Луканин сообщает, что он якобы порвал всякие отношения с «Русским словом» и просит министра разрешить вновь открыть магазин — на этот раз уже на его имя. Однако и этот маневр не помог.

Более подробно судьбу магазина «Русского слова» раскрывает докладная записка Валуеву Фукса, члена Главного управления по делам печати: «Содержатель книжного магазина при конторе „Русского слова“ Зубовский, убоившись, вероятно, неприятных для себя последствий по собранным сведениям о неправомерности его показаний насчет отлучек из СПб., равно о связи его заведения. . . с конторою редакции, а, может быть, и по настоянию своего начальства (он оказался старшим делопроизводителем здешнего губернского правления), подал сегодня заявление старшему инспектору о прекращении открытой им торговли книгами. . .»

Таким образом, этот магазин, согласно видам администрации, закрывается сам собою, без каких-либо экстралегальных мер. . . Затем, от личного благоусмотрения Вашего превосходительства зависит обратить внимание надлежащего начальства на Зубовского, открывшего книжную торговлю без ведома и разрешения начальства».

Виза Валуева: «Г. Зубовскому вице-губернатором приказано подать в отставку, что им исполнено. Прошу мне разъяснить. . . — отчего так долго искали Зубовского?»³⁷

³¹ Там же, л. 15.

³² Там же, л. 14 об.

³³ Там же, лл. 32 об.—33.

³⁴ Там же, л. 50 об.

³⁵ Там же, л. 51—51 об.

³⁶ Там же, лл. 75—78.

³⁷ Там же, л. 69.

Для того чтобы стал более понятен страх старшего делопроизводителя губернского правления Зубовского, который в мае 1866 года сам подал заявление о прекращении торговли книгами под вывеской «Русского слова», напомним, что апрель—май 1866 года были месяцами террора, начавшегося после выстрела Каракозова. 14 апреля 1866 года был арестован Благовестлов. 28 апреля — Зайцев. 3 июня 1866 года были запрещены правительством «Современник» и так и не возобновившийся с января 1866 года журнал «Русское слово».

И тем не менее в этих отчаянных для демократии условиях Благовестлов продолжает борьбу за печатную трибуну, добываясь через Ю. Луканина возобновления книгоиздательства и книготорговли.

4

Параллельно редакция «Русского слова» ведет с царской цензурой и Третьим отделением еще одну опасную игру. После приостановления журнала в январе 1866 года на 5 месяцев она решает обойти постановление правительства и выдать подписчикам эти запрещенные четыре номера «Русского слова» иным, обходным путем.

Мало кому известно, что подготовленные к печати в первой половине 1866 года редакцией «Русского слова» два тома сборника «Луч» — не что иное, как сдвоенные номера «Русского слова», только под другим названием. А между тем редакция умудрилась даже сообщить об этом своим читателям.

В газете «Голос» (№ 55 за 1866 год) сразу после приостановления журнала было помещено специальное объявление редакции «Русского слова», которая обещала читателям «по истечении запретного срока» употребить все зависящие от нее средства, чтобы, не изменяя прежней программе, обеспечить существование «Русского слова» на будущее время. «Создавая всю невыгоду вынужденного молчания не только по отношению к самим себе, но и по отношению к своим подписчикам, — говорилось в объявлении, — мы считаем долгом уверить их, что они будут удовлетворены вполне и не останутся без чтения. О подробностях удовлетворения будет объявлено на днях».

И действительно, 31 марта 1866 года в газете «С.-Петербургские ведомости» было напечатано объявление о том, что «при главной конторе „Русского слова“ вышел и продается „Луч“, учено-литературный сборник, том первый», сообщалось содержание сборника, который был составлен из произведений сотрудников «Русского слова», и подчеркивалось: «Для подписчиков „Русского слова“ на 1866 год этот сборник выдается бесплатно, взамен приостановленных книжек журнала».

Тут же редакция «Русского слова» сообщала читателям: «Удовлетворение гг. подписчиков „Русского слова“, после приостановления этого журнала на пять месяцев, было первою и главною необходимостью редакци. Лучшим способом для удовлетворения она признала выдать им вышеозначенный сборник взамен приостановленного журнала. Оба тома „Луча“ составят более 100 печатных листов, что будет равняться чтырем месячным книжкам „Русского слова“. Второй том „Луча“ выйдет в начале будущего мая. Затем в половине июля будет выдана седьмая книжка „Русского слова“, а в конце того же месца восьмая; остальные же чтыре — в определенные сроки, так что к концу года, согласно программе журнала, „Русское слово“ вместе с „Лучом“ составит не менее 340 печатных листов».

Таким образом, от карательной меры правительства, приостановившего журнал, серьезно не пострадали ни редакция, ни подписчики. Но, к сожалению, газету «С.-Петербургские ведомости» читали не только подписчики «Русского слова», но и цензоры.

Первый том сборника «Луч» был представлен в цензуру 22 марта 1866 года. В тот же день чтырем (!) цензорам было поручено просмотреть эту книгу и на другой же день, 23 марта, на заседании комитета доложить свое мнение. Каждый из цензоров в результате анализа материалов с сожалением констатировал, что «статьи не представляют прямого повода к судебному преследованию книги», что «они не могут дать суду достаточных поводов к обвинению», но все цензоры сходились в одном: «Луч» — это не что иное, как очередная книжка журнала «Русское слово». Цензор Еленев так прямо и писал: «... во всех... статьях есть отдельные места и выражения, представляющие довольно крупные черты того направления, которым всегда отличался журнал „Русское слово“, временно преобразованный теперь в сборник „Луч“».³⁸

4 апреля 1866 года председатель С.-Петербургского цензурного комитета А. Петров направил в Главное управление по делам печати подробную докладную записку, в которой изложил доклады всех чтырех цензоров на заседании 23 марта о первом томе сборника «Луч». Выводы ее были следующими:

«1. Редакция „Русского слова“ после приостановки этого журнала объявила своим подписчикам, что она удовлетворит их другими книгами. Из объявления же, помещенного в газетах о выходе сборника „Луч“, видно, что этот сборник есть то именно издание, кое редакция „Русского слова“ дает бесплатно своим подписчикам взамен приостановленного журнала».

³⁸ ЦГИАЛ, ф. 777, оп. 2, ед. хр. 53, 1866 г., Дело об учено-литературном сборнике «Луч», л. 4 об.

2. Сборник „Луч“ составлен исключительно из статей, принадлежащих редактору и постоянным сотрудникам „Русского слова“, и подписка на оный принимается в главной конторе „Русского слова“.

3. Направление и характер сборника совершенно тождественны с направлением и характером приостановленного журнала „Русское слово“, так что в статье „Популяризаторы отрицательных доктрин“ автор прямо говорит, что она служит пояснением другой статьи, помещенной в „Русском слове“.

Усматривая таким образом, что изданием сборника „Луч“ редакция „Русского слова“ желает продлить непрерывный выход приостановленного журнала и обойти таким образом распоряжение г. министра внутренних дел, комитет полагал возможным применить к этому сборнику, с разрешения высшей административной власти, меру приостановления выпуска оного в свет. . .

Председатель А. Петров»³⁹

Результатом этой записки было ни больше ни меньше, как серьезное изменение существующего цензурного законодательства, которое, как оказалось, не давало оснований для судебного преследования «Луча», хотя всем было ясно, что это лишь приостановленное «Русское слово», только под другой обложкой. Вот почему министр внутренних дел был вынужден войти в правительство со следующим предложением:

«О дополнении ст. 23 отд. II высочайше утвержденного, 6-го апреля 1865 г., мнения Государственного Совета.

1. Редакция и сотрудникам газет и журналов, троекратно предостереженных и затем подвергнутых временной приостановке, воспрещается издавать для подписчиков тех повременных изданий, а равно выдавать этим подписчикам бесплатно или по особой публикации во все время приостановления какие-либо отдельные сочинения, переводы или сборники.

2. Виновные в нарушении сего запрещения подвергаются взысканию до 500 рублей, независимо от последствий ответственности, коей они могут подлежать по уложению о наказаниях, изд. 1866 г.»⁴⁰

Предложение министра внутренних дел было принято Государственным Советом. А тем временем подписчики «Русского слова» получили беспрепятственно первый том «Луча».

В июне 1866 года, уже после окончательного запрещения «Русского слова», в типографии журнала было отпечатано 3500 экземпляров второго тома сборника «Луч». Редакция закрытого журнала по-прежнему стремилась доставить сборник «Луч» читателю, чтобы таким образом продолжить «Русское слово».

Результатом этого было судебное дело, возбужденное цензурой против издателя «Луча» (таковым был сотрудник запрещенного «Русского слова» П. Н. Ткачев). Основанием для судебного преследования «Луча» явилось то обстоятельство, что «сборник „Луч“, очевидно, имел назначение служить продолжением приостановленного по распоряжению правительства журнала, издателем сборника был один из сотрудников приостановленного журнала — П. Ткачев. . .

Между тем до отпечатания 2 т. сборника „Луч“ последовало высочайшее повеление, обнародованное в № 110 „Северной почты“ от 3 июля, о совершенном прекращении журнала „Русское слово“ вследствие доказанного с давнего времени вредности направления его. В таком положении дела выпуск в свет 2 т. сборника „Луч“, который хотя разнится от прекращенного журнала названием, объемом книжек и именем издателя, но совершенно однороден с ним по составу сотрудников, по своему содержанию и назначается редакцией прекращенного журнала взамен оного для подписчиков, был бы равносильен дозволению продолжать прекращенный журнал, в действительности прямым уклонением от исполнения последовавшего высочайшего повеления.

На основании сих соображений и, как ниже пояснено будет, самого содержания 2 т. сборника „Луч“ комитет признал необходимым принять меры к задержанию книги и ее судебному преследованию. . .»⁴¹

Но органы юстиции не решались начинать преследование, не будучи уверенными в успехе дела. Трудность заключалась в том, что второй том «Луча» был отпечатан до того, как Государственный Совет принял предложенную Валуевым поправку к «закону 6 апреля». Между учреждениями Министерства внутренних дел и Министерства юстиции завязалась по этому поводу деятельная бюрократическая переписка, которая продолжалась около 6 лет.

С.-Петербургский цензурный комитет, Главное управление по делам печати и Министерство внутренних дел настаивали на запрещении и уничтожении всей книги в силу «сходства и тождества направления сборника „Луч“ с прекращенным по высочайшему повелению „Русским словом“». Органы же юстиции, ссылаясь на невозможность подвести под статью закона этот противозаконный акт, отказывались возбуждать дело на таких основаниях и советовали прекратить его, договорившись с издателем

³⁹ Там же, л. 6—6об.

⁴⁰ Там же, ф. 776, оп. 3, д. 338 («О литературном сборнике „Луч“»), лл. 13—18.

⁴¹ Там же, лл. 31—32.

об изъятии ряда мест из статьи «Психологические этюды». Но цензурные органы вновь и вновь бомбардировали органы юстиции отношениями и развернутыми докладными записками с требованием возбуждения дела о запрещении и уничтожении всего издания, а не отдельных его мест.

В апреле 1868 года новый министр внутренних дел в письме министру юстиции, посвященном сборнику «Луч», был вынужден пойти на некоторые уступки:

«Хотя, после доводов и фактов, приведенных СПб. цензурным комитетом в его сообщениях прокурорскому надзору, не может быть никакого сомнения в том, что сборник „Луч“ есть замаскированное продолжение „Русского слова“, тем не менее обстоятельство это, само по себе важное, не может служить, по моему мнению, достаточным основанием для судебного преследования издателя означенного сборника, так как употребленный им обход административной меры, которой подвергнуто было „Русское слово“, не был прежде предусмотрен законом, — писал оп. . . — Но я полагаю, что сказанное обстоятельство необходимо поставить в виду суда для того, чтобы он мог вернее оценить направление тех мест или статей этой книги, которые подлежат судебному преследованию по своему содержанию. . .

Переходя к самому содержанию рассматриваемой книги, я не встречаю препятствия к тому, чтобы, согласно заключению прокурора судебной палаты, из числа помещенных в сей книге статей, судебному преследованию была подвергнута статья „Психологические этюды“. Но при этом не могу не обратить внимания Вашего сиятельства на то, что статья эта, независимо от мест, которые и по признанию прокурора судебной палаты составляют прямое нарушение уголовных законов, вся проникнута крайними материалистическими идеями и под именем теософических теорий нападает, в сущности, на истины и верования христианской религии. . .

Мин. вн. дел. ген.-ад. Тимашев». ⁴²

По предложению Тимашева дело было передано, наконец, в суд. 13 августа 1871 года заседание С.-Петербургской судебной палаты, слушавшей дело издателя «Луча» Ткачева за помещение в сборнике статьи «Психологические этюды», постановило: «Не подвергая подсудимого Ткачева никакому взысканию, исключить из помянутой статьи сборника „Луч“ . . . 3 места». ⁴³

Решение суда не удовлетворило Министерство внутренних дел и было им опротестовано. Однако необходимость в повторном рассмотрении его к этому времени уже отпала. Чтобы не попадать в столь затруднительное положение с юстицией, когда надо что-то доказывать и аргументировать, правительство внесло в 1872 году еще одну «незначительную» поправку к «закону 6 апреля»: «Если распространение освобожденной от предварительной цензуры книги или номера повременного издания, выходящего без цензуры реже одного раза в неделю, министром вн. дел признано будет особенно вредным, то он может, сделав распоряжение о предварительном задержании такого произведения, представить вопрос о воскрешении выпуска оного в свет на окончательное разрешение Комитета министров».

26 октября 1874 года, т. е. почти 8 лет спустя после того, как тираж «Луча» был отпечатан, на основании изменений в «законе 6 апреля» Комитет министров постановил: выпуск в свет данного издания «воспрепятствовать», само издание — уничтожить. Однако уничтожать практически было уже нечего. Арестованное издание еще в 1870 году пришло в совершенно негодный вид. По свидетельству старшего инспектора типографий, которому было поручено проверить, живо ли это издание, сборник «Луч» хранился в «наполовину развалившемся. . . чулане, задняя стена с большими просветами; крыша над чуланом, когда-то покрытая толем, образовала сквозной пролом, так что дождик и снег имели значительный доступ». Тюки с изданием были «наполовину развалившиеся вследствие гнилости». ⁴⁴

Так закончилась эта попытка редакции «Русского слова» спасти издание, продолжить журнал.

Итак, цензура победила? Ей удалось лишить трибуны коллектив публицистов, сплотившийся вокруг «Русского слова»?

5

Уже в середине июля 1866 года, полтора месяца спустя после закрытия «Русского слова», когда цензурные осложнения со вторым томом «Луча» только-только начинались, Г. Благодетель и П. Ткачев поместили в газете «С.-Петербургские ведомости» (№ 195) следующее объявление:

«Подписчикам „Русского слова“. На основании заявлений, сделанных через газету в начале и в конце прошлого марта, обещано было удовлетворить подписчиков „Русского слова“ взамен приостановленных книжек, *два* тома учено-литературного сборника „Луч“. Согласно этому обстоятельству, 1-й том „Луча“ был выдан

⁴² Там же, лл. 41—45.

⁴³ «С.-Петербургские ведомости», 1871, № 222, 14 августа.

⁴⁴ ЦГИАЛ, ф. 776, ош. 3, д. 338, л. 69.

25 марта. Теперь же, получая неоднократные жалобы на невыдачу второго тома „Луча“ (который, согласно печатному заявлению, должен был выйти в половине мая, мы, нижеподписавшиеся, считаем долгом объявить, что второй том „Луча“ по непредвиденным обстоятельствам не может быть выдан впредь до устранения этих непредвиденных обстоятельств. . .

Что же касается до удовлетворения подписчиков „Русского слова“ за последние шесть книжек, то, по соглашению с редакцией нового журнала „Дело“, подписчики получат в этом году шесть книжек этого журнала.

Г. Благосветлов
П. Ткачев

Таков один из удивительнейших эпизодов в истории русской журналистики: в условиях жесточайшей реакции и террора после караозовского выстрела, потеряв «Русское слово», потерпев поражение с книжной лавкой и изданием сборника «Луч», Благосветлов находит возможность возродить «Русское слово» под новой обложкой, под новым названием — правда, в условиях пристрастной предварительной цензуры. И это — не счастливая случайность, как думают некоторые исследователи, но трезвый, строгий и последовательный план действия, изобретательная и упорная борьба.

Исследователь журнала «Дело» Б. И. Есин так представляет себе историю возникновения нового издания Благосветлова. После окончательного закрытия «Русского слова», пишет он, единственным выходом для Благосветлова «было соглашение с каким-либо уже существующим журналом», — и Благосветлов «вступил в соглашение с Шульгиным, который за десять дней до закрытия „Русского слова“ получил разрешение на издание журнала „Дело“, но еще не успел реализовать свои права».⁴⁵

Б. И. Есин искренне верит в то, что Шульгин всерьез хотел издавать журнал, сам по себе подал прошение об издании его, чтобы по разрешении «реализовать свои права».

Но кто такой Шульгин? И действительно ли Благосветлову просто повезло и он перекупил право на издание у другого лица, намеревавшегося вначале издавать журнал, а потом отказавшегося от этой мысли?

Б. П. Козьмин так характеризовал его: «Официальный редактор-издатель „Дела“ Н. И. Шульгин фактически не имел влияния на дела журнала. Шульгин когда-то был артиллерийским офицером и принимал участие в защите Севастополя. С 1860 г. он посвятил себя литературной деятельности. Как писатель он был совершенно бездарен. Всегда нуждающийся в деньгах, он жил на подачи Благосветлова и не пропускал ни одного знакомого, чтобы не попросить у него займа. В „Деле“ он иногда вел общественную хронику и поместил несколько статей по экономическим вопросам».⁴⁶

Похоже ли на то, что Шульгин самостоятельно думал издавать и редактировать журнал? Он не имел для этого ни денег, ни возможностей, ни потребности. Не был ли он попросту подставным лицом Благосветлова (как Н. Благовещенский в «Русском слове», П. Ткачев в «Луче», Ю. Луканин в попытке создания книжного магазина)?

Предположение это не может не возникнуть, когда следишь за теми настойчивыми поисками печатной трибуны, которые предпринимал Благосветлов, когда увидел, что «Русское слово» обречено. Предположение превращается в уверенность, когда сопоставляешь реальные факты и обстоятельства возникновения «Дела».

Новый план сохранения печатной трибуны содержится в письме Благосветлова Шелгунову от января 1866 года, которое он послал ему в Тотьму сразу после второго предостережения журналу: «Вот что надо делать: выбрать другое заглавие, для такого же журнала, как и „Русск. Сл.“, и продолжать его издание при тех же сотрудниках и подписчиках».⁴⁷

А вот и реализация плана: 16 февраля 1866 года журналу «Русское слово» было объявлено третье предостережение с приостановлением его на пять месяцев; 17 февраля, т. е. на следующий день, в Главное управление по делам печати направляется прошение штабс-капитана Шульгина об «издании нового учено-литературного журнала» под названием «Дело».⁴⁸

И в выборе названия («Дело» — название, казалось бы, совершенно нейтральное и вместе с тем наполненное очень многозначительным для шестидесятников смыслом), и в подчеркнuto «учено-литературном» направлении его, и в подставной фигуре издателя, чья репутация для цензуры и Третьего отделения была незапятнана, ощущается точный расчет Благосветлова. Этот расчет оправдал себя: в мае 1866 года, за десять дней до окончательного закрытия «Русского слова», издание «Дела» было разрешено. Вот чем объясняется тот непонятный на первый взгляд оптимизм, с которым Благосветлов пишет Шелгунову о будущем в письме от 7 июня 1866 года, на сле-

⁴⁵ Б. И. Есин. Демократический журнал «Дело». Изд. МГУ, 1959, стр. 3—4.

⁴⁶ Б. Козьмин. Г. Е. Благосветлов и «Русское слово». «Современник», 1922, № 1, стр. 244.

⁴⁷ Л. П. Шелгунова. Из далекого прошлого, стр. 185.

⁴⁸ ЦГИАЛ, ф. 776, оп. 3, ед. хр. 89, ч. 1, л. 14. См. также: Б. И. Есин. Демократический журнал «Дело», стр. 4.

дующий день после выхода из Петропавловской крепости, куда он вместе с Зайцевым был заточен после каракозовского выстрела: «Николай Васильевич, вчера меня выпустили из крепости на свободу. . . „Русское слово“ запрещено безусловно: это Вы, конечно, уже знаете из газет. . . Через неделю извещу Вас подробо, как устроится наше общее положение. Работать надо, потому что жить надо, а жить и работать почти не дают возможности. Но человек изобретателен, когда его очень прижимают, а потому я и думаю, что „Русское слово“ воскреснет в другой форме».⁴⁹

И действительно, в первую же неделю после выхода Благодетлова из крепости состоялось официальное соглашение Благодетлова с Шульгиным об издании «Дела» как продолжения «Русского слова», «при тех же сотрудниках и подписчиках». План, изложенный Благодетловым в письме Шелгунову от 30 января 1866 года, с помощью Шульгина был проведен в жизнь. В Центральном государственном архиве Октябрьской революции хранится конфиденциальное письмо руководителю Третьего отделения некоего М. Попова, хорошо знавшего Благодетлова, в котором содержится прямое свидетельство тому: «Вы, конечно, помните, многоуважаемый Федор Федорович, что во время муравьевского погрома были запрещены журналы „Современник“ и „Русское слово“. Редактор последнего, Григорий Евлампьевич Благодетлов. . ., чтобы обойти разные затруднения, начал издавать журнал под другим названием, „Дело“, и выставил редактором другого писателя, Шульгина.

Кроме того, „Дело“ печатается с дозволения цензуры.

Эти два обстоятельства поставляют г. Благодетлова в новое затруднение, и он уже просил председателя Комитета по делам печати г. Похвистнева дозволить ему быть главным издателем и печатать журнал без цензуры. Г. Похвистнев соглашается на это, но сказал, что будет сделано сношение с III отделением и что от Вашего ответа зависит жизнь или смерть „Дела“.

Г. Благодетлов, предполагая сам явиться к Вам, просит меня быть перед Вами ходатаем. Мне тем приятнее это сделать, что г. Благодетлов писатель высококонтанливый и не так страшен в политическом отношении, как изображают черта, он уже сед и осторожен. . .

Убедительно прошу Вас, не лишите г. Благодетлова своего ласкового приема, благосклонно выслушайте его просьбу и сделайте все, что будет от Вас зависеть, в его пользу. . . 5 января 1870 г.»⁵⁰

Итак, письмо современника прямо свидетельствует, что Шульгин — подставное лицо Благодетлова. М. Попов даже и не пытается скрыть этот, к тому времени, повидимому, уже общеизвестный факт от министра внутренних дел. Считая «Дело» возобновленным «Русским словом», Третье отделение с самого начала стремилось задуть журнал цензурным путем. «Дело» было оставлено под предварительной цензурой, которая буквально не давала ему жить.

Предприятие Благодетлова, который снова обманул цензуру и Третье отделение и выпускал журнал, не имея на этот раз не только редакторских, но и издательских прав, было попросту опасным. Пока мог, он усиленно скрывал, что вообще имеет хоть какое-либо отношение к журналу. 14 ноября 1866 года, вскоре после выхода первой книжки «Дела», Благодетлов писал Якоби: «По выходе первой книжки „Дела“ на журнал посыпались со всех сторон доносы, именные и безымянные. Министр народного просвещения гр. Толстой, такой идюот, каких даже у нас мало, донес по начальству, что „Дело“ то же „Русское слово“, только под другой оберткой, что Благодетлов участвует в нем. Этого было достаточно для того, чтобы дать повод задуть журнал безобразнейшим образом. Началось следствие, стали перебирать рукописи, меня хотели выслать из города и дали цензуре особенное предписание давить журнал. Началась попытка: из 40 набранных листов пропускают какие-то обрывки па 6 листах, все прочее запрещают. Редактор Шульгин жалуется министру, — министр усиливает строгости. Шульгин просит выпустить его из-под цензуры — не позволяют. Шульгин хочет жаловаться царю, — к царю не допускают. А между тем „Дело“ стоит, сотрудники стоят; каждый день несутся денежные убытки. . . В таком положении я находился до нынешнего дня. Только сегодня я получил некоторую уверенность, что журнал пойдет и что облегчат его ход. Поэтому и могу ответить вам на вопрос: что и как писать?»

Пока давящая сила правительства не ослабнет, пишите серьезные статьи по естественным наукам. Но только не касайтесь религии. Пока это строго запретный плод. . . При первой возможности „Дело“ выйдет из-под цензуры, но теперь не выпускают».⁵¹

Столь драматически начинал Благодетлов свое новое журнальное предприятие. И тем не менее он так искусно обходил все ловушки, так изворотливо пользовался всеми хитросплетениями законодательства, что не давал законного повода закрыть журнал. А такие поползновения возникали постоянно. Вот, например, что писало Третье отделение о «Деле» в январе 1867 года. В записке отмечалось, что сотрудники «Современника» и «Русского слова» после закрытия этих журналов «стали прискивать способы, не отступая от своих убеждений, продолжать литературное дело». В частности,

⁴⁹ ЦГАОР, III отд., 17 эксп., ед. хр. 100, ч. 43, 1866 г., л. 18.

⁵⁰ Там же, 1 эксп., ед. хр. 97, ч. II, лл. 124—125.

⁵¹ ЦГАОР, III отд., секретн. архив, ф. 109, оп. 1, д. 2045, 1866 г., л. 1.

указывалось на «Женский вестник» Мессирошей как журнал, давший приют Слепцову, Благосветленскому, Шеллеру и другим. Поскольку «средства к изданию этого журнала крайне ограничены и в настоящее время их у Мессирошей нет», поэтому журнал этот, по мнению Третьего отделения, вот-вот прекратится сам-собою и «нет никакой надобности... запрещать это издание».

«Совсем другое дело журнал, издаваемый Благосветловым под именем Шульгина, выдаваемый подписчикам взамен „Русского слова“. Материальные средства у Благосветлова невелики, но кредит значителен, и он, имея типографию, может вести журнал долго, даже при неудовлетворительной подписке. Человек этот — сильной воли и твердого характера. Как ни жмет и не теснит его Главное управление по делам печати, он все-таки держится твердо и не отступает от предвзятых им целей и стремлений».

Мне кажется, так как в близком будущем грозит „Делу“ запрещение, что было бы гуманнее прекратить существование этого журнала ныне же и тем лишить партию, вступившую в борьбу с правительственными воззрениями, возможности распространять свое учение, уже признанное вредным, в особенности для быстро увлекающегося юношества».⁵²

И тем не менее журнал продолжал выходить, пропагандируя, хотя и в очень стесненных цензурных рамках, те самые «предвзятые цели и стремления», которые признаны столь «вредными, в особенности для быстро увлекающегося юношества». Благосветлов руководил журналом «Дело» до самой смерти своей.

В. В И Л Ъ Ч И Н С К И Й

ИЗ ИСТОРИИ ЖУРНАЛА «ДЕЛО»

(НЕИЗВЕСТНЫЕ ПИСЬМА Н. В. ШЕЛГУНОВА)

Публикуемые ниже материалы извлечены из следственного дела К. М. Станюковича, частично уже освещенного в печати.¹ В бумагах Станюковича, захваченных вскоре после его ареста, находились 15 писем Н. В. Шелгунова (за период с ноября 1880 года по июль 1883 года). Эти письма подверглись тщательному изучению со стороны ведшего следствие жандармского подполковника Жолкевича, который в присутствии товарища прокурора Санкт-Петербургской судебной палаты М. М. Котляревского и двух понятых составил 7 июля 1884 года специальный протокол, в котором содержится характеристика писем и подробные выписки из них.² Следственные материалы дают отчетливое представление о содержании анализируемых писем, подлинники которых, к сожалению, пока не обнаружены.

Письма Н. В. Шелгунова к К. М. Станюковичу весьма существенны, они проливают свет на историю журнала «Дело» в последний период его существования; раскрывают планы новой редакции журнала и ее отношение к Г. Е. Благосветлову, личность и взгляды которого, как известно, привлекают в последнее время внимание литературоведов.³

Первое из вошедших в протокол следствия писем Шелгунова помечено 8 ноября 1880 года с припиской от 12 ноября; оно, видимо, было адресовано в Кларан, где Станюкович тогда отдыхал с семьей, и содержало известие о кончине редактора-издателя «Дела» Благосветлова (умер 7 ноября), а также просьбу поторопиться с высылкой для журнала статей. В этом письме Шелгунов, между прочим, высказывает пожелание, чтобы эмигранты-народники (упоминает, в частности, Москвина, т. е. барона А. Л. Эльснитца, его статью «Открытые» вопросы науки) в своих статьях чаще касались вопросов современности и не гнушались боевой публицистикой. «Что же касается „первобытной культуры“, — читаем в выписке из этого письма, — то я ее еще не читал и даже боюсь приступить: ведь нам нужно больше живое, современное, публицистическое» (л. 99).⁴

Во втором письме, от 16 ноября 1880 года, Шелгунов, по словам Жолкевича, «высказывает свои ожидания по поводу дальнейшего издательства журнала под фир-

⁵² Там же, д. 2044, 1866 г., л. 2.

¹ См.: «Русская литература», 1963, № 3, стр. 138—144.

² ЦГАОР, ф. 93, оп. 1, ед. хр. 7, л. 104 (99)—124; в дальнейшем ссылки на это дело приводятся в тексте.

³ См.: «Русская литература», 1960, № 3, 1963, № 2 и статью Ф. Кузнецова в настоящем помере журнала.

⁴ Серия статей А. Москвина «Открытые вопросы науки» (о месмеризме, животном магнетизме, сомнамбулизме и пр.) публиковалась в 8, 10, 12 №№ журнала «Дело» за 1880 год; статья «Первобытная культура» в журнале не печаталась; возможно, что название было изменено на «Научные известия» («Дело» 1881, № 5).

мой Благосветловой». Далее приводится соответствующая выдержка из письма: «В ноябрьской книжке Благосветлов уже не принимал никакого участия, и единственная перемена (после смерти бывшего издателя, — В. В.) будет только в большей строгости при выборе статей. Уже в нынешнем году мы старались поднять тон, и в выборе иностранных романов нам это немужко удалось. Ноябрьской и декабрьской книжками нам нужно убедить цензуру и подписчиков, что „Дело“ — орган, что оно живет своею внутренней жизнью и не зависит от лица» (л. 99). В конце письма, обращаясь к Станюковичу с просьбой помочь журналу «в его бедах», Шелгунов, между прочим, просит его: «Как бы получить от Штейна побольше Спартака».⁵

Третье письмо имеет дату 30 января 1881 года; в это время в редакцию журнала входили Н. Ф. Бажин, К. М. Станюкович и Н. В. Шелгунов, последний вскоре был утвержден официальным редактором «Дела» и заключил с вдовой Благосветлова договор на аренду издания.⁶ Обращаясь к Станюковичу как к заинтересованному в ведении журнала лицу, Шелгунов предлагал писателю некоторые темы для его очердных «Картинок общественной жизни».

Следующее письмо, помеченное 2 февраля, судя по содержанию, написано в том же 1881 году. По характеристике Жолкевича, оно имеет пометы «карандашом и пером, по-видимому, самого Станюковича»,⁷ и начинается словами: «Многоуважаемый Константин Михайлович, вчерашний день был для меня „днем итогов“, выслушиванием самых разносторонних мнений о „Деле“, и точно сама судьба наталкивала меня на людей, желающих их выслушивать». «В Петербурге у нас подписчиков прибавилось, — говорилось далее. — Я слышал мнения между представителей целой группы молодежи: Русанов, Кольцов, Гальфранк,⁸ меж писателей, на которых мне указали. Следовательно, во втором отделе мы можем считать себя обеленными. Впрочем, во всем этом я был убежден и раньше» (л. 100). Отмечая, что в провинции, где читаются в основном беллетристические произведения, подписка на журнал упала, Шелгунов высказывает замечания по поводу «второго» отдела журнала, читателями которого, как и «серьезных статей», являются, по его мнению, петербуржцы. «Слабые стороны этого отдела, — пишет Шелгунов, — вы знаете лучше меня. . . отдел этот идет сам собою, что выберут заграничные переводчики. На эту тему я писал вам в прошедшем году. Наши заграничные политические мыслители — люди неоспоримо честные и благородные, но бесталанные, скучные и отвыкшие от России, убили бы скукой всю провинцию. Ведь, в сущности, эти честные, но мертвые люди занимаются умственным онанизмом, а душа их не с нами» (л. 100).⁹

Два следующие письма, от 10 марта (без указания года) и от 26 апреля 1881 года (установленного Жолкевичем), видимо, не имели существенного значения для следствия и охарактеризованы кратко. Речь в них идет о текущих редакционных делах, цензуре, сетованиях Шелгунова на малые порции поступающего из-за границы перевода «Спартака».

Зато особое внимание жандармов привлекло следующее, седьмое по счету, письмо «без помет числа и года на большом листе почтовой бумаги, без обычного обращения и подписи, по-видимому, не оконченное, писано несомненной (подчеркнуто в деле, — В. В.) рукой Шелгунова». Прежде чем обратиться к рассмотрению этого документа, представляющего и для нас значительный интерес, необходимо пояснение.

Как показал Шелгунов, «он арендовал журнал „Дело“ по договору, заключенному со вдовой Благосветлова, согласно которому условие это разрушалось, если число подписчиков не будет достигать 4¹/₂ тысяч, что и случилось, так что в марте 1882 г. заведывание журналом перешло к Станюковичу».¹⁰ Новый арендатор «Дела» вскоре обратился к членам редколлегии и наиболее активным сотрудникам с просьбой поделиться своими соображениями, как дальше вести журнал с целью повышения его роли и авторитета в общественной жизни России. Письмо Шелгунова, о котором идет речь, является ответом на обращение Станюковича. В нем намечались перспективы развития «Дела» и давалась конспективная оценка недавнего прошлого журнала. Много места здесь также уделено взглядам на ведение «Дела» Л. Тихомирова, с которыми Шелгунова познакомил Станюкович. Следственные выписки из этого письма наиболее подробны. Приводим их полностью.

⁵ Н. Штейн — один из псевдонимов С. М. Степняка-Кравчинского, который при посредничестве Станюковича переводил для «Дела» роман Джованьоли «Спартак».

⁶ Подробное см. об этом в нашей монографии «Константин Михайлович Станюкович. Жизнь и творчество» (Изд. АН СССР, М.—Л., 1963, стр. 199—202).

⁷ Вероятно, эти пометы относятся к нижеприводимой оценке Шелгуновым сотрудничавших в «Деле» эмигрантов, которым сам Станюкович симпатизировал и оказывал постоянную протекцию. Данная характеристика подчеркнута также следователями.

⁸ Н. С. Русанов активно сотрудничал в «Деле» в 80-х годах, помещая статьи на экономические темы; Кольцов — псевдоним Л. Тихомирова (об его участии в журнале см. ниже); Ж. Гальфранк поместил в журнале серию статей об общественной жизни за рубежом «Заметки и воспоминания. 1848—1871 гг.» («Дело», 1881, №№ 8—12).

⁹ Мнение Шелгунова о заграничных корреспондентах «Дела» в негативном виде отражено также в его программе дальнейшего ведения журнала, приводимой ниже.

¹⁰ ЦГИАЛ, ф. 1405, оп. 85, № 10922, л. 29.

«Ив <ан> Григорьевич» (т. е. Л. Тихомиров, — В. В.) поднимает старый вопрос о задачах „Дела“ как публицистического органа. Очевидно, что „Дело“ не удовлетворяет. Но сущность вопроса вот в чем: не удовлетворяет ли направление „Дела“ или же направление его не находит достаточных выразителей в тех самых силах, которые в „Деле“ сгруппировались?

Когда умер Благовестов, какой-то подписчик, являясь в контору, заметил, что теперь у „Дела“ будет другое направление. Под „направлением“ подписчик, очевидно, понимал зависимость журнала от дирижирующего лица. Подписчик не ошибся, что направление изменится, но он ошибся в объяснении причин.

Если „Дело“ есть политический орган, то ясно, что редакция не больше как двери гостеприимства. И после смерти Благовестова мы открыли двери действительно гораздо шире, и в „Дело“ влилась новая струя. Благовестову ставят в заслугу, что он был политически честный человек. Эта заслуга еще не большая, особенно у нас. Б-в был буржуа по французскому образцу, и честность его была только буржуазно-политическая. До социальных интересов ему не было дела. Если бы у нас была активная политическая жизнь — сотрудники „Дела“ непременно бы разбежались. Теперь же за политическую честность Благовестова могли держаться такие противоположные сотрудники, как Шашков и Ткачев, хотя особенно в последнее время Благовестова коробил „мужик“ и социальные (социологические) статьи, которые противоречили его глубоко индивидуалистическому строю понятий и всей жизни. Понятно, что со смертью Б-ва „Дело“ должно было преобразиться и из „кустарного“ продукта, какой изображает собой и „Неделя“, в которой Гайдебуров такой же личник и индивидуалист, превратиться в политически-социальный орган.¹¹

Первым в отворенные двери вошел Ив <ан> Григорьевич, и новая струя сейчас же пометилась им в рецензиях и в „Неразрешенных вопросах“.¹² Ряд подобных статей был необходим, ибо без „итогов“ нельзя было определить, что говорить и делать вперед.

Ив <ан> Григорьевич остановился на первой статье, и „итог“ оказался неподведенным. Таким образом, план слить „Дело“ с русской жизнью, дать ему нерв живой действительности не осуществился — и затем работа пошла вразброд и как бы утратилась руководящая ниточка.

Но ниточка существовала, и во внешнем разброде чувствовалось очень определенное стремление: вместо благовестовской беспочвенной для нас политики дать определенной программой идею того систематического разработанного социализма, на котором с 70-х годов воспиталась передовая русская мысль. В этом смысле первые два пункта программы И <вана> Григорьевича: 1) историческая и социологическая неизбежность обобществления всех функций народной жизни или усиление значения государства и 2) новая организация государства, так, чтобы оно было способно выполнить свою новую роль, — есть именно та программа (Маркс?), которая и являлась

¹¹ По поводу данного абзаца письма, привлечшего внимание Жолкевича, Шелгунов на допросе 9 июля 1884 года дал следующее объяснение: «Желая поставить журнал „Дело“ на степень органа точной и определенной умственной физиономии, чем, как мне казалось, в последнее время он у Благовестова не был, и в этом смысле я и назвал его „кустарным производством“, — я имел в виду сообщить ему точность в разрешении общественно-экономических вопросов и обращал большое внимание на сотрудников, которые могли бы разрабатывать общественно-экономические вопросы. Таким и явился Анненский, давший, но не окончивший ряд блестящих по популярному изложению экономических статей. Вот почему мною и написано, что „Дело“ должно быть журналом социально-политическим» (л. 121).

¹² «Неразрешенные вопросы» (статья первая). Напечатана в № 1 журнала «Дело» за 1881 год под псевдонимом «М. К-в». На допросе 10 июля Шелгунов привел полную библиографию статей Л. Тихомирова в «Деле», печатавшихся под различными псевдонимами. «По предъявлении мне подлинных книжек журнала „Дело“ за 1880 и последующие года, включительно по майской книжке вынешнего года, — свидетельствовал Шелгунов, — я указываю на следующие статьи, принадлежащие Ивану Григорьевичу Каратаеву-Кольцову-Тихомирову. За 1880 год мелких библиографических статей указать не могу, ибо их не припомню. Крупных же статей Кольцова в этом году не было. В 1881 году были напечатаны следующие статьи Кольцова: книжка 1 — „Неразрешенные вопросы“, книжка 3 — „Воинская повинность в Малоархангельском уезде“, в 5 — „К вопросу об экономике и политике“, в 8 — „Наши виды на урожай“, в №№ 2, 4, 8, 9 и 11 — статьи под рубрикой „Жизнь и печать“ (литературная хроника), в № 10 „Жизнь и печать“ принадлежит не Кольцову. Под статьей стоят М. Ан., но автора не помню. Статья эта была случайная. 1882 г. книжка 4-я — „В защиту интеллигенции“. №№ 8, 9, 10 — „С низовьев Дона“, № 11, 12 — „Общественная жизнь в Природе“, еще в № 12 — „Современное положение публицистики“. 1883 № 3 — „Штатные политической мысли“, № 5 — „Ренан об евреях“, № 7 — „Московская беллетристика“. В 1884 г. III — „И. С. Тургенев“» (л. 124). Последнюю из названных статей не следует смешивать со статьей того же названия в 9-м номере «Дела» за 1883 год, представляющую собой редакционный некролог Тургенева, написанный Станюковичем.

внутренней не всегда точно выраженной связью, соединявшей новый, послеблагосветловский, состав сотрудников (Ив. Гр., Анненский, Шефтель, Русанов, Абрамов) и менее сознательный Протопопов).¹³

Слабая сторона заключалась не в идейности, а в том, что оставался не ясно выраженный 3-й пункт программы И. Г.: „невозможность организации нового государства без постоянного воздействия на него народной совести, сознания и воли“. Я бы поправил этот пункт так: „невозможность организации нового государства без постоянного воздействия на общественное сознание, совесть и волю“.¹⁴

И вот где действительно ахиллесова пята „Дела“. В теории и идее мы все согласны, но работаем враспыленную, не образуя ядра и вне живого материала.

Чем и как мы воспитывали общественное сознание? Мы воспитывали его по „книжечкам“, да и то исключительно французским. Нам, например, присылают статьи о французских углекопах по французским фактам и приглашают составить заключение об углекопах русских. Русанов едет за границу, чтобы дать нам компиляцию по книжкам, которые он мог бы найти и в Петербурге. В этом смысле легонькая сказка какого-нибудь Личкова,¹⁵ составленная по живым русским фактам, уже, конечно, ценнее какой-нибудь статьи о парижской проституции. А между тем русская жизнь такой неисчерпаемый колодезь, что хоть тысячу человек поставь к нему — для всех найдется дело. У нас же нет ни одного „исследователя“. Придет случайная статья Щербина¹⁶ о казаках — мы рады; не придет — в редакционном портфеле всегда найдется какая-нибудь статья о Франции. Как бы ни была неопределенна „Русская мысль“ — но в ней есть живая струя; у нас же чувствуется „книжечка“.

У „Осточестенных“ записок было очень точное направление — „мужик“. Мужик Успенского совсем не похож на мужика Златовратского, но читатель этого не замечал — и мужик сделал свое дело: явилась народная политика, мужицкий царь, преследование интеллигенции и, наконец, „мужик“ стал бить интеллигента.

Направление „Дела“ может быть настолько же определено и сконцентрировано. Современный острый момент есть борьба за интеллигенцию, и в той же интел-

¹³ Н. Ф. Анненский, М. И. Шефтель, Н. С. Русанов, Я. В. Абрамов, М. А. Протопопов, В. О. Португалов (упоминается ниже) — активные сотрудники журнала «Дело» в 1881—1883 годах.

¹⁴ Под «программой Ив. Гр.» Шелгунов подразумевает соображения Тихомирова о дальнейшем ведении журнала, сообщенные им Станюковичу. На допросе 12 июля 1884 года писатель показал в этой связи: «Объясняя относительно упомянутой Шелгуновым программы следующее. В 1882 и 1883 гг. я в разное время обращался ко многим сотрудникам, и в том числе к Эльзниццу, Мечникову и Кольцову, с просьбой высказать свое мнение о журнале и статьях, и вот в ответ на такие письма и было, между прочим, получено письмо и от Кольцова, в котором он высказывало свой взгляд на необходимость касаться в журнале того или иного вопроса. Также же письма были и от Мечникова и от других сотрудников» (л. 124).

А вот что показал по этому поводу Шелгунов: «Письмо мое без подписи, в котором речь идет о программе Ив. Гр., написано мною Станюковичу в июне, одним словом, в половине лета 1883 года в Царском селе. Письмо это есть мой ответ на те замечания по поводу направления и содержания журнала „Дело“, которые Кольцов сделал в письме к К. М. Станюковичу. Не совсем согласный с некоторыми общими выводами Кольцова, я написал на них часть возражения, а частью положил свой взгляд на программу нашего журнала, на сотрудников и на задачи и роль самой редакции. Когда и откуда писано это письмо Кольцова к К. М. Станюковичу — не знаю. Станюкович мне об этом не говорил, а передал только письмо Кольцова, которое я удержал, чтобы сделать на него свой ответ Станюковичу. Это было летом 1883 года. Чем было вызвано письмо Кольцова к К. М. Станюковичу, я не знаю, но предполагаю, что его лично-журнальными симпатиями, ибо Кольцов, сколько я понимал по статьям и письмам, одарен талантом литературно-публицистическим очень почтенного размера. Это настоящий журналист, которого очень интересовали все вопросы литературы и журналистики и который переносил к стати интерес на „Дело“, в котором там работал» (там же, л. 119).

Публицистическое дарование Тихомирова высоко оценивал также Станюкович (см. об этом: «Русская литература», 1963, № 3, стр. 139), что не помешало ему, однако, решительно осудить Тихомирова, когда тот из обличителя самодержавия превратился в отъявленного реакционера и соглашателя. «Слыхала, вероятно, — писал Станюкович жене 19 марта 1889 года, — что Тихомиров уже сотрудничает в „Московских ведомостях“. Вообще ренегатство нынче в людях. И среди литераторов заметны беспринципность, легкость перекоचेвок в подлые органы, беззастенчивость» (ГПБ, Архив К. М. Станюковича, Письма к жене, 1889 г., л. 28).

¹⁵ Л. С. Личков — писатель-статистик и публицист. Возможно, что Шелгунов подразумевает статью «Первые опыты по исследованию поземельной общины» («Дело», 1881, № 1), в которой Личков критически рассматривает взгляды на общину кабинетных теоретиков, оторванных от крестьянского быта.

¹⁶ Ф. Щербина — популярный журналист 70—80-х годов, напечатанный в «Деле» несколько статей на общественно-экономические темы.

лигенции лежит наша коренная точка опоры, зиждущаяся на роли и значении интеллигенции как передовой умственной силы, единственно обладающей государственным и общественным творчеством. Только эта сила знает и видит все и только она дает всему направление, ибо она есть сознающая сила, и в этой роли — ее государственная функция: она же создаст и новое государство, разрушая сначала критикой власть гетманов.

Тема эта бесконечная как для оригинального, так и для комплятивного творчества. Напр<имер>, какую роль сыграла интеллигенция в рус<ской> истории хотя бы от Владимира до наших дней? Какие идеи разрабатывались передовой русской мыслью в расколе, в религиозном рационализме (ба<птисты?>, стригольники, молок<ане>, духоборцы, новейшие секты, явившиеся после освобождения)? Где и как развивалась экономическая жизнь — ее течения и стремления? Как бытовое движение вырабатывалось в сознание и в чем оно выражалось во время московского единовластительства, затем в петербургском императорстве и в его более сложных просветительских задачах и как, наконец, это сознание выросло в освобождение крестьян, а в настоящее время предъявляет уже более широкие требования и воздействует на призыв новых сил, ибо с прежним организмом общественной власти развитие государства невозможно. Как неизбежным следствием этого явилось ослабление идеи монархизма и теперешний момент борьбы из-за него, аналогичный с борьбой христианства с язычеством, тоже напрягавшим свои последние силы, чтобы удержать под собою дрогнувшую почву. Статьи второстепенные для этого же I отдела и разные компиляции по соприкосновенным отдельным вопросам — историческим, экономическим и чисто литературным (история литературного выражения идеи: кстати о книге Веселовского «Влияние западных идей» у нас не говорится ни слова)¹⁷ — составляют тоже неисчерпаемый колодезь.

В „Совр<еменном> обзор<ении>“ критический отдел — передовые стат<ьи> и библиография — должен быть более расширен, и в нем должны концентрироваться тоже идеи преимущественно на отрицательной почве. Критический отдел — это таран, и он должен быть хорошо организован, так, чтобы в нем чувствовалась хорошо дисциплинированная армия, а не партизаны и застрельщики. как это теперь у нас.

Я знаю, что все это редакции известно, и в таком случае очевидно, что „Дело“ страдает недостатком организации. В „Рус<ском> вестн<ике>“, в „Вестн<ике> Евр<опы>“ чувствуется цельность, которой у нас и в теперешних „О<тчественных> зап<исках>“ нет. У нас слишком все республикантно и даже анархично. Но нужно, чтобы каждый знал точно свое место и для каждого места был свой человек.

Но для I отдела у нас совсем нет исследователей, нет этнографов, историков, нет работника по истории литературы. В критическом отделе и в особенности в библиографии тоже нет осевших сил. Даже рубрики журнала не установились в три года окончательно. Мне думается, что подвести итоги того, что сделалось в эти три года,¹⁸ очень важно, тем более, что опыт дает нам теперь достаточные указания. Очевидно, что нужно дополнить состав сотрудников и выработать программу общей руководящей идеи и затем сообщить ее сотрудникам. И всей редакции придется сделать более определенное разделение. В три года мы уже настолько притерпелись, что такое разделение облегчит только труд и в то же <время> сделает его тщательнее, не нарушая редакционной солидарности» (лл. 99—104).

Замыслы новой редакции по обновлению журнала и перспективы его дальнейшего развития отражены и в других письмах Шелгунова, охарактеризованных в этом же протоколе следствия. Так, в письме от 28 января 1882 года¹⁹ говорится: «... требования наши большие, а в кармане гроши. При таком условии „Дело“ должно падать, но убежден, что оно поднимется. С подписчиками совершается новая комбинация; но она же совершается и в сотрудниках. Мы резко по всем отделам отрубили от старого, а новое еще не сформировалось и не установилось. От Ивана Григорьевича приходится отказываться, а взамен его публициста нет. В принципе, как писал мне И. Г.,²⁰ он согласен работать у нас» (л. 95). «Далее указывая, каких именно сотрудников надо привлечь, — комментирует это письмо Жолкевич, — Шелгунов говорит Станюковичу: „Вы обладаете у нас талантом привлечения сотрудников“».

¹⁷ Подразумевается книжка Алексея Веселовского «Западное влияние в новой русской литературе», вышедшая в свет в 1882 году.

¹⁸ Подразумеваются годы, прошедшие после смерти Благосветлова, когда (с начала 1881 года) редакция «Дела» состояла из Н. В. Шелгунова, К. М. Станюковича и Н. Ф. Бажина.

¹⁹ Год написания установлен следователями.

²⁰ По поводу этой заинтересовавшей следствие фразы Шелгунов дал следующее объяснение на допросе 10 июля 1884 года: «С лицом, известным под именем Ив. Григ. Кольцова, я виделся в 1880 или 1881 году, когда он бывал в редакции журнала „Дело“ и иногда заходил ко мне на квартиру. Я же у него никогда не бывал и за границей с ним не виделся. Не помню, видел ли я его в 1882 г. Переписка у меня с ним была в 1881 году, когда он уезжал в Москву, откуда он мне и писал. Об одном из этих писем, вероятно, и упоминается в письме моем к Станюковичу от 28 января 1882 г.» (л. 123).

В письме от 24 мая 1882 года, сожалея, что при заключении контракта на издание «Дела» с Благосветловой Станюкович допустил по отношению к Шелгунову много грубого и несправедливого и даже угрожал ему судом,²¹ автор пишет: «... ничего этого не было нужно. Вы знаете мой взгляд на редакцию. Это не есть что-либо личное. Редакция только двери гостеприимства. При Благосветлове двери были закрыты плотно, и „Дело“ превратилось в затхлый погреб. Теперь двери открылись, и неизбежно должны были явиться иные комбинации и отношения и в ролях новых лиц. Если бы все теперешние сотрудники, и мы в том числе, собрались бы все вместе — само собою распределились бы наши места. Новое всегда не могло не выносить старого. А сколько потрачено сил и сколько сделано ненужных царапин ради защиты старого».

Когда самим фактом смерти Б-ва распахнулись двери, первым гостем явился Ив. Григ. За Ив. Григ. или при его содействии вошли Анненский, Онгирский; Ив. Гр. вступил в сношение с Приклонским, он же предлагал обойти Протопопова, у которого я и был.²² Все это делалось само собою, в силу естественной и неударной логики, в силу идеи, для которой есть закон, и в силу традиций „Дела“. . . Новое „Дело“ есть дело будущего. Все это случилось и должно было случиться только потому, что „Дело“ стало новым. Установится оно не скоро, и я даже боюсь, не слишком ли мы резко переходим из тона в тон». Далее, говоря о подписчиках журнала, Шелгунов, как следует из выписки, сообщает: «Новый читатель — выше (прежний читатель „Дела“ — попы и отставные чиновники) — и он будет нашим. Но нам пужно вести политику тоньше. . . все наши усилия должны быть направлены на то, чтобы создать себе авторитет, положение, а его, во 1) не создать ни в год, ни в два, ни даже в три; а, во 2) оно дается только солидарностью мысли, устойчивостью, определенностью и руководящим знанием» (л. 103).

Отмечая, что в отличие от благосветловского, новое «Дело» «не игнорируется читателем», Шелгунов указывает в этом письме, что, «например, киевские представители науки сочувствуют „Делу“ ради Туриста — писателя нового „Дела“, выяснившего отношения „Дела“ к Малороссии».²³ Шелгунов считает необходимым поддержать это сочувствие и, в частности, советует Станюковичу завязать связи с «Зарей»²⁴ в целях пропаганды «Дела» на Украине.

В письме от 14 (26) января 1883 года, написанном в Выборге, Шелгунов, отмечая «пресноватость» «Дела», добавляет: «Между тем ужасный человек Ив <ан> Григорьевич и такой же ужасный человек Мих <аил> Алек <сеевич> никак не лезут в ог-

²¹ Об обстоятельствах ведения «Дела» после смерти Благосветлова и сложных взаимоотношениях между новыми редакторами см. в нашей монографии о Станюковиче (стр. 199—202).

²² По поводу этой фразы, давшей повод следствию обвинить редакцию «Дела» в привлечении Тихомирова к руководству журналом, Шелгунов заявил на допросе 9 июля 1884 года: «Встречающиеся в предъявленных мне моих письмах выражения, что журнал „Дело“ должен после смерти Благосветлова изменить направление, превратиться в политический, социальный орган, что мы открыли двери шире и в „Дело“ влилась новая струя, что первым гостем явился Иван Григорьевич, за ним при его содействии вошли Анненский, Онгирский, Ив. Григорьевич вступил в сношение с Приклонским, он же предлагал „обойти“ Протопопова, — все эти выражения не обозначают и не указывают на непосредственное участие Кольцова в редактировании журнала, а только его указание на те полезные и более выдающиеся журнальные силы, которых у нас вообще немного и которые Кольцов рекомендовал привлечь к журналу. Из числа этих сил мне известно, что Анненский находился в Казанской губ <ернии> под надзором полиции. Прочие сотрудники, упоминаемые в моем письме: Шефтель, Русанов, Абрамов, сколько мне известно, к политическим делам не привлекались» (л. 121).

Характеристика роли в «Деле» Тихомирова представляется объективной и подтверждается показаниями Станюковича. Однако жандармского подполковника Жолкевича показания эти не убедили. 12 июля 1884 года он сделал следующее заключение: «... имеющимися при дознании письмами Шелгунова к Станюковичу и отобранными в редакции „Дела“ конторскими. . . книгами вполне установлено не только непосредственное участие Кольцова в делах редакции, но и преобладающее влияние его на направление журнала „Дело“ после смерти Благосветлова, когда редакцией начали заводить Шелгунов и Станюкович» (л. 127).

²³ По поводу данной фразы Жолкевич также потребовал специального объяснения от Шелгунова, который на допросе 10 июля 1884 года показал: «Упоминание в одном из моих писем о сочувствии киевских представителей науки „Делу“ ради Туриста относится к статье Драгоманова, писавшего в „Деле“ в 1881 или в 1882 г. под псевдонимом „Туриста“, — „Литературно-общественные партии в Галиции“» (л. 124).

²⁴ Политическая и литературная газета «Заря» издавалась в 1880—1886 годах в Кисево П. А. Андреевским.

любви. Ив. Гр. прислал ст <атью> в „О <течественные> з <аписки>“, а нам не шлет. Экая право беда!» (л. 107).²⁵

Остальные письма Шелгунова, зарегистрированные в протоколе следствия под №№ 10 (от 25 июня 1882 года из Боярки), 11 (без даты; видимо, написано в 1884 году), 12 (от 4(14) января 1883 года, из Выборга) и 13 (от 13 (25) января 1883 года, из Выборга), как и названные выше письма от 10 марта и 26 апреля 1881 года охарактеризованы следствием более кратко, поскольку они имеют частное значение. В одном из них автор поздравляет Станюковича с рождением сына, в других речь идет о текущих редакционных делах и т. п.

В письме от 25 июня 1882 года привлекает внимание высокая оценка Шелгуновым последнего за этот год, июньского, номера «Дела», напомнившего старому журналисту «молодое и свежее „Русское слово“» (л. 105).

Приведенные выше письма представляют интерес для истории демократической журналистики 80-х годов. Содержащиеся в них сведения расширяют наше представление о борьбе новой редакции «Дела» за превращение журнала в орган национальной общественной мысли.

Станюкович не был полностью согласен с Шелгуновым, взгляды которого отражают субъективно-идеалистические представления об интеллигенции, связанные с преувеличением роли личности в истории, однако в необходимости «поднять» журнал не было сомнений. Арест Станюковича, а за ним и Шелгунова приостановил начавшийся процесс обновления журнала, который вскоре превратился в бесцветный альманах, просуществовавший до конца 1888 года.

А. НИНОВ

БУНИН В «ЗНАНИИ»

С деятельностью издательства «Знание» связана целая эпоха в развитии русской демократической литературы, сплотившей в пору революционного подъема девяностых годов свои лучшие силы вокруг Горького.

Выступая в Ленинграде на расширенной сессии руководящего совета Европейского сообщества писателей, Константин Федин говорил: «В литературной жизни огромной страны главная роль в эти полтора десятилетия перед мировой войной четырнадцатого года принадлежала реализму. Горький объединял вокруг издательства и сборников „Знание“ сильный коллектив русских прозаиков — среди них были Бунин, Куприн. Опорой всего направления оставалась демократическая аудитория интеллигенции и передового городского пролетариата. Реалисты составляли ряды органического противника символизма как в области эстетики, так и политически».¹

Последовательный демократизм в политике, верность художественному реализму, общедоступность изданий — вот краеугольные принципы, которые завоевали «Знанию» огромную популярность среди читателей.

Уже 27 января 1902 года Пятницкий заметил в одном из писем к Горькому: «Знаете, Алексей Максимович, Вы теперь крупный издатель: Ваши 5 томов, драма, Андреев, Скиталец, Бунин — это уже целое дело. Амфитеатров называет „Знание“ группой Горького. Прекрасно. Нужно сделать, чтоб с этой группой стоило считаться. Когда в нее войдут Толстой и Чехов, ее состав будет довольно сносный».²

Литературная программа, материальные условия, созданные «Знанием», в короткий срок привлекли к издательству выдающиеся молодые силы русской литературы: Андреева, Куприна, Вересаева, Серафимовича, Гарина-Михайловского, Найденова, Бунина.

История участия Бунина в «Знании» — одна из интереснейших и наименее освещенных страниц в эволюции того направления предоктябрьской литературы, с которым мы и сегодня связываем самые живые и устойчивые традиции. Прочный союз Бунина с горьковским «Знанием» сложился отнюдь не сразу. Он таил в себе достаточно острые противоречия, которые не могли не проявляться во взаимоотно-

²⁵ По этому поводу Шелгунову пришлось давать на допросе 10 июля 1884 года следующее объяснение Жолкевичу: «... выражение мое в письме моем от 14/26 января 1883 г., что Ив. Григ. и Михаил Алексеевич не „лезут в оглобли“, относится к Протопопову и Кольцову-Тихомирову и относится к их литературной характеристике. О том, что Кольцов прислал статью в „Отеч. записки“, я слышал, не помню от кого; как называлась статья, была ли напечатана и за какого подписью, не знаю, да и вообще не знаю, насколько этот слух мог быть достоверен» (л. 125).

¹ Константин Федин. Судьба романа. «Правда», 1963, № 218, 6 августа.

² Архив А. М. Горького. КГ-П-63-1-9.

шениях писателей, столь несхожих по своим индивидуальным художественным исканиям, политическим взглядам и общественному темпераменту. И если этот союз выдержал трудные испытания, которые оказались роковыми для таких писателей-знанцевцев, как Андреев, Куприн, Вересаев, Чirikов, Скиталец, то на это были свои веские исторические причины.

Материалы переписки Горького, изданные за последние годы, а также неопубликованные документы, хранящиеся в архивах, позволяют проследить основные мотивы и обстоятельства, которые привели Бунина в «Знание» и сделали его одним из самых деятельных участников горьковской писательской группы.

1

В середине октября 1901 года по приглашению Горького Бунин и Андреев посетили его в Нижнем Новгороде. По этому случаю Горький заметил в письме к Пятницкому: «... я едва сижу за столом от усталости. Ибо — был Бунин Иван, был Андреев Леонид, Алексеевский Аркадий, и я два дня не видел себя».³ Среди множества тем, затронутых в разговоре, важное место заняли литературно-издательские планы. Горький только что стал пайщиком газеты «Нижегородской листок» и был увлечен проектом превращения ее в боевой общественный и литературный орган.

В этом же письме Горький сообщил о желании Бунина напечатать свою новую книгу рассказов в «Знании». «С точки зрения литературной — он художник, и не малый, — несравненно выше Евгения Николаева, — хотя у Евг[ения] есть лицо, а у Бунина — туман на этом месте. Я — за издание Бунина „Знанием“» (т. IV, стр. 42).

Заручившись предварительной поддержкой Горького, Бунин повторил свое предложение Пятницкому. 17 октября 1901 года Бунин писал: «На днях я виделся в Нижнем с Горьким и толковал с ним относительно издания моих рассказов в „Знании“. Горький, со своей стороны, очень стоял за это, о чем он, вероятно, уже пишет Вам в письме, которое передаст Вам А. И. Ланин. Теперь, по совету Горького же, пишу Вам, предлагаю Вам взять у меня первый том моих рассказов. Вы, вероятно, знаете, что О. Н. Попова издала пять лет тому назад небольшую книжку моих рассказов „На край света“. Книга эта сперва пошла очень хорошо, благодаря хорошим отзывам, но не знаю, как дело шло дальше, хотя, если даже оно пошло и хуже, то причины этому были, — напр[имер] хотя бы та, что после „На край света“ я совершенно замолчал и почти не появлялся в печати в течение около 3-х лет. Теперь, как Вы знаете, я печатаю много, особенно стихов, а с будущего года буду много печатать и беллетристики. Думаю поэтому, что пора мне выпустить и кое-что отдельным изданием».⁴

В первый том рассказов, предложенный «Знанию», Бунин предполагал включить наряду с новыми вещами, опубликованными в журналах, также семь или шесть «лучших и значительно исправленных рассказов из кн[иги] „На край света“».⁵ Поскольку этот старый сборник к моменту переговоров с Горьким и Пятницким еще не разошелся полностью, требовалось формальное согласие О. Н. Поповой на выпуск нового издания. Надеясь так или иначе преодолеть это затруднение, Бунин писал Пятницкому: «Очень прошу Вас подумать о моем предложении, ибо мне хочется иметь дело именно со „Знанием“. Чрезвычайно буду благодарен, если Вы мне тотчас же ответите, что думаете лично Вы о моем предложении, согласны ли Вы на него пока хоть в принципе».⁶

25 октября 1901 года Пятницкий ответил Бунину: «Рад Вашему предложению. Вас как художника ставлю высоко. Поддам свой голос за издание. Горький уже высказался в том же смысле. Наши два голоса имеют значение; все же я должен написать еще нескольким товарищам, чтобы составилось необходимое большинство».

Тем временем просил бы выслать отски и сообщить условия. Одна сторона смущает меня: разошлось ли издание О. Н. Поповой. Просил бы Вас уладить дело с нею. Прежде всего нужно запросить: сколько осталось — и не будет ли возражений против перепечатки в данный момент. Надеюсь, Вы сумеете прийти к соглашению. Поставьте на вид, что новое издание даст толчок первой книге. У Вересаева с появлением „Защиток врача“ значительно усилился спрос на первые издания: „Конец Андрея Ивановича“ и др[угие]».⁷

О своем решении Пятницкий сразу же сообщил Горькому, так как уже в коротком письме, написанном не позднее 8 ноября 1901 года, Горький, в свою очередь,

³ А. М. Горький. Письма к К. П. Пятницкому. «Архив А. М. Горького». т. IV, 1954, стр. 41. В дальнейшем ссылки на издание «Архив А. М. Горького» приводятся в тексте.

⁴ Архив А. М. Горького. Переписка «Знания». 11-1/2.

⁵ Там же.

⁶ Там же.

⁷ ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 1, ед. хр. 281.

извещал Бунина: «Я очень, очень рад, что Бунин будет издан „Знанием“. С нетерпением жду конца переговоров с Поповой. Писать некогда.

8-го буду [в] Москве».⁸

Когда соглашение Бунина с руководителями «Знания», казалось, было уже вполне достигнуто, Горький испытал острые сомнения по поводу принципиальной стороны намечавшегося союза. О своих колебаниях он откровенно написал Пятницкому из Крыма. Не исключено, что проблема издания Бунина в «Знании» обсуждалась Горьким и Пятницким еще во время поездки в Крым, когда Пятницкий сопровождал Горького от Москвы до Ялты. Во всяком случае, в первом же большом письме Пятницкому из Олениза Горький как бы продолжил прерванный спор и добавил к прежним своим аргументам новые. «Да, вот что: мне стало известно, — писал Горький, — что Бунин снова явится в компании „Скорпионов“, коя затевает еще альманах. Скажу по совести — это меня отнюдь не радует. Я все думаю — следует ли „Знанию“ ставить свою марку на произведениях индифферентных людей? Хорошо пахнут „Антоновские яблоки“ — да! но — они пахнут отнюдь не демократично, — не правда ли?»

К этому соображению примешивается еще и следующее: когда я напишу „К ней“, — Бунин и еще многие другие люди будут очень недовольны мною, хотя я имен их и не упомяну. Возможно даже, что они будут возражать мне, — ибо я намерен наступить им, — голубчикам, на хвостики.

Ловко ли заключать союз, — путем издания рассказов, — а потом — в зубы? Ах, Бунин! И хочется, и колется, и эстетика болит, и логика не велит!

Скажите ваше решающее слово, друг мой добрый и умный! Против „Гайаваты“ ничего не имею, но рассказы — смущают» (т. IV, стр. 53).

Прилив новых сомнений, испытанных Горьким, не был неожиданным или случайным. За колебаниями в оценках, за разноречием между «эстетикой» и «логикой» в горьковском взгляде на Бунина стояли расхождения идеологического, мировоззренческого порядка.

К началу 900-х годов Горький уже твердо выбрал свой путь как художник революционного пролетариата. Бунин оставался на распутье, не связывая себя сколько-нибудь прочно ни с одним из существовавших литературных лагерей. Он считал возможным одновременно поддерживать литературные отношения и с издательством символистов «Скорпион» и с демократическим «Знанием». Горькому такая позиция казалась непоследовательной. Политическая «индифферентность», равнодушие к реальной борьбе общественных течений, стремление к чисто эстетическому созерцанию действительности — все это глубоко претило Горькому и вызывало его на резкую полемику.

Связь Бунина с группой «Скорпион» была достаточно хорошо известна. С середины 90-х годов Бунин поддерживал близкие отношения с В. Я. Брюсовым, игравшим в этой группе главную роль. В издательстве «Скорпион» Бунин выпустил сборник стихотворений «Листопад», а затем принял участие в альманахе «Северные цветы на 1901 год». В число авторов первой книги Бунина даже вошел Чехов, который очень жалел потом о своем нечаянном сотрудничестве в этом альманахе.⁹

Когда Горький в конце ноября 1901 года сообщил Пятницкому, что Бунин «снова явится в компании „Скорпионов“, коя затевает еще альманах», он, вероятно, имел в виду предстоящий выход «Северных цветов на 1902 год», как раз в это время анонсированный в печати. Однако ни Бунин, ни Чехов на этот раз не приняли участия в альманахе. Обстоятельства серьезной размолвки Бунина с Брюсовым осенью 1901 года¹⁰ остались для Горького неизвестными. В письме к Пятницкому 6—7 января 1902 года Горький повторил свой вопрос: «Как мы решили насчет Бунина? Издается?» (т. IV, стр. 63).

Во встречном письме от 5 января Пятницкий отвечал: «Спрашиваете о Буине. Вернувшись из Ялты, я написал о нем товарищам. Скоро оба Протопопова ответили,

⁸ Переписка А. М. Горького и И. А. Бунина. В кн.: Горьковские чтения. 1958—1959. Изд. АН СССР, М., 1961, стр. 19 (в дальнейшем ссылки на этот выпуск «Горьковских чтений» приводятся в тексте). В публикации «Горьковских чтений» письмо ошибочно датировано: «март, до 8-го, 1901» — по времени приезда Горького из Петербурга в Москву 9 марта 1901 года. Между тем речь в письме идет совсем о другом приезде Горького в Москву — 8 ноября 1901 года — по пути из Нижнего Новгорода в Крым. О переговорах с О. Н. Поповой Бунин писал Пятницкому 28 октября 1901 года: «От души благодарю Вас за любезное письмо и рад, что дело мое со „Знанием“ налаживается. Из „На край света“ я возьму почти всего-навсего 1/3 книги, так что, думаю, что О. Н. Попова ничего не будет иметь против меня. Это дело во всяком случае улажу. На днях надеюсь быть в Петербурге, и поговорю с ней» (Архив А. М. Горького. Переписка «Знания». 11—1/3).

⁹ См.: А. П. Чехов, Полное собрание сочинений и писем, т. XIX, Гослитиздат, М., 1950, стр. 74.

¹⁰ См.: Валерий Брюсов. Дневники 1891—1910. М., 1927, стр. 106.

что на издание согласны. Затем пришло Ваше письмо с сомнениями. Я их понимаю. Но отступать было поздно. Слово было дано.

Я думаю, — продолжал Пятницкий, — жалеть об этом издании Вы не будете. Рассказы хороши. Что же касается отсутствия общественных настроений, этот упрек приложим и к Андрееву.

Книжка стихов Бунина издается Корзинкиным: от „Скорпипопа“ он решил отойти.¹¹

После письма Пятницкого последние сомнения Горького по поводу издания рассказов Бунина в «Знании» отпали. «Очень рад, что Бунин отошел от „Скорпиона“» (т. IV, стр. 681), — отвечал он Пятницкому в очередном письме.

Соглашение Бунина со «Знанием», поддержанное в принципе обоими руководителями издательства, перешло в стадию практического сотрудничества.

2

Весной 1902 года «Знание» выпустило первый том «Рассказов» Бунина. Книга была набрана и издана за очень короткий срок. В канун нового года, когда рукопись находилась еще в производстве, Бунин писал Пятницкому: «Крепко жму руку за добрые пожелания успеха. Посылаю Вам корректуру, — поправок совсем почти нет, — а кроме того, еще один рассказ „Фантазер“. Его нужно поставить 19-м №, а 20-м будут „Сосны“. „На край света“, насчет которого я сомневался, ставить или нет, — решительно прошу поставить. Относительно „Золотого дна“ вопрос остается открытым: был большой рассказ, я стал его сокращать, изменять, испортил — ибо не умею спешить — и колеблюсь: верно, оставлю его в покое: будет 20 рассказов — и довольно. Ведь все же книжка выйдет по величине приличная».¹²

«Золотое дно» Бунин так и не включил в первый том, а к двадцати набранным рассказам прибавил два новых: «Тишину» и «Надежду». В таком составе первый том вышел в свет и был быстро распродан.

Вслед за книгой рассказов Бунин решил передать «Знанию» право на второе издание своего перевода «Песни о Гайавате» Г. Лонгфелло, впервые напечатанного «Орловским вестником» в 1896 году. Иллюстрированное издание «Песни о Гайавате» было выпущено в 1899 году московским издательством «Книжное дело». Владельцу этого издательства Бунин продал в 1901 году и второе издание книги, однако после успешных переговоров со «Знанием» его намерения изменились. 1 января 1902 года он уже сообщил Пятницкому: «Я виделся с прежним владельцем „Книжного дела“ — Байковым (издатель «Гайаваты»), возвратил ему взятые мною деньги под 2-е изд[ание], получил от него обратно условие на это издан[ие] и купил у него все оставшиеся экз[емпляры] первого издания. Следовательно, теперь я полный хозяин „Гайаваты“, и Вы можете — когда Вам угодно — приступить к печатанию 2-го изд[ания] — и роскош[ного] и дешевого».¹³

Наиболее сложным с точки зрения издательской политики «Знания» оставался вопрос о выпуске оригинальных бунинских стихотворений, вызывавших определенные сомнения у Горького. Бунин не мог не знать об этом и поначалу не возлагал особых надежд на «Знание». Еще в октябре 1901 года, обсуждая состав готовящейся книги рассказов, он вскользь задал Пятницкому вопрос относительно сборника своих стихов: «Есть у меня в настоящее время второй томик стихотворений, который хочу выпустить в начале будущего года или в декабре, но Вам это, конечно, не интересно?»¹⁴ Пятницкий не поддержал косвенного предложения, содержавшегося в письме.

Весной 1902 года во время встреч с Горьким в Крыму Бунин обсуждал проблему издания своих стихотворений «Знанием» и через несколько месяцев напомнил ему об этом: «Дорогой Алексей Максимович! Весною Вы предлагали мне скупить у „Скорпиона“ „Листопад“ и издать в „Знании“. Очень мне улыбается эта мысль, и Вы оказали бы мне большую услугу, если бы помогли мне в этом деле. Пишу об этом и Константину Петровичу, говорю то же самое и Вам» (стр. 22).

В письме к Пятницкому Бунин повторил и подробно развил мысль о новой книге своих стихов: «Алексей Максимович нынешнею весною два раза заводил со мною разговор о том, чтобы я издал в „Знании“ свои стихотворения. Я очень рад этому, ибо, если бы „Знание“ издало их, то оно оказало бы мне большую услугу. Дела мои с изданиями стихов обстоили до сих пор нелегко. „Листопад“ издал „Скорпион“ (два года тому назад), имеющий печальную репутацию и не имеющий ни конторы, ни серьезных связей с книжными магазинами, ни охоты распространять своих книг. Все книги, как со смехом сказал мне сам Поляков, ведущий Скорпионьи дела, лежат у него в „спальне“. Даже в редакции для отзывов я должен был послать книгу сам. Что же касается „Новых стихотворений“, то они изданы в количестве всего 500 экз.,

¹¹ Архив А. М. Горького. КГ-П-63-1-1.

¹² Там же. Переписка «Знания». 11-1/5.

¹³ Там же, 11-1/6.

¹⁴ Там же, 11-1/3.

которые и находятся в „Труде“ как моя собственность. Думаю, что к тому времени, когда выпустили бы мою книгу (составленную из избранных стихотворений этих двух книг и некоторых новых) Вы, — т. е. к концу осени, — „Нов[ые] стихотворения“ пройдут, а „Листопад“, что осталось у „Скорпиона“, я куплю. Очень прошу Вас, Константин Петрович, подумать об этом издании и поговорить с Вашими товарищами. Репутация моя как поэта очень недурная, рецензии, к[ото]рые были о „Листопаде“, чрезвычайно хвалебные. . . Называют „Листопад“ и мн[огие] др[угие] стих[отворения] „классическими“, много раз говорили, что многие мои вещи должны войти в хрестоматии, и все-таки дела мои с изданиями стихов до сих пор были никуда не годным! Не для хвастовства говорю это, Константин Петрович. Ваше издание произвело бы совсем другое впечатление, в особенности если принять во внимание, что Вы выпустили мои „Рассказы“ и выпустили „Гайавату“. Несколько моих книг, выпущенных почти одновременно одной фирмой, будут сильно помогать друг другу и давать автору физиономию». ¹⁵

О новом предложении Бунина Пятницкий сразу же написал Горькому, от которого на этот раз последовал очень сдержанный ответ. «Я не помню, чтобы „предлагал“, — писал Горький, — и не думаю, чтобы мог „предложить“ истекшей весной, даже более — я твердо уверен, что со стороны И[вана] А[лексеевича] речь о предложении моем — суть поэтическая вольность. . . Впрочем — это дела не меняет, и я готов взять на себя издание стихов. Стихи — хорошие, вроде конфет от Флея или Абрикосова. Я говорю серьезно.

В данном случае „Знание“ представляет Бунина, как новеллиста, поэта и переводчика. Публика его читает, и есть такие болваны, которые говорят, что он — выше Андреева и Скитальца.

Ваше мнение по поводу издания каково? По всей вероятности, будет очень трудно мотивировать отказ издать третью книгу, раз две уже изданы (т. IV, стр. 92).

При всех колебаниях Горький все же поддержал предложение Бунина об издании новой книги его стихов, хотя и на этот раз он оставил за Пятницким свободу окончательного решения. Соглашаясь взять на себя издание книги, Горький сознавал, что это известная уступка, своего рода издательский компромисс со стороны «Знания», но компромисс целесообразный и оправданный.

Второй том Бунина, выпущенный в 1903 году, объединил стихотворения, входившие в сборники «Листопад» (1901) и «Новые стихотворения» (1902). По существу, это было комбинированное переиздание прежних книг с добавлением небольшого количества новых стихов, не вошедших в отдельные сборники.

После выхода первого тома «Рассказов» Бунин не выпускал новых прозаических сборников в течение семи лет, вплоть до 1909 года, когда «Знание» издало пятый том его сочинений, включавший рассказы и очерки 1903—1907 годов. Зато в это же время Бунин становится самым видным поэтом «Знания». Одна за другой выходят книги его оригинальных стихов и переводов.

С начала 900-х годов в тесном сотрудничестве со «Знанием» широко развернулась переводческая деятельность Бунина.

Переводы из мировой классики и современных иностранных авторов составляли значительную часть печатной продукции «Знания». По обширности своей культурно-просветительской программы горьковское издательство не уступало самым крупным книжным фирмам. Осуществляя свои планы, «Знание» выпустило капитальные издания трагедий Эсхила, Софокла и Эврипида в переводе Д. Мережковского, полное собрание сочинений Шелли в переводе К. Бальмонта, собрание стихотворений Леопарди в переводе И. Тхоржевского, прозаический перевод двух частей «Фауста» Гете в переводе П. И. Вейнберга и некоторые другие памятники мировой поэзии. Работы Бунина-переводчика заняли видное место в этом ряду.

Начало, как уже говорилось, было положено новым изданием «Песни о Гайавате» Лонгфелло. Предыдущие издания книги, вышедшие в 1898 и 1899 году, вызвали самые одобрительные отзывы критики.

Новое издание «Песни о Гайавате», выпущенное «Знанием» в 1903 году, было образцовым во всех отношениях. Этим изданием Бунин завершил свой семилетний труд над переводом Лонгфелло. Мастерство бунинского перевода получило всеобщее признание. Полиграфическое оформление книги также отвечало требованиям самого высокого вкуса. Кроме портрета Лонгфелло, роскошно иллюстрированное издание «Песни о Гайавате» включало около 400 рисунков американского художника Ремингтона, великолепно передававших национальный колорит произведения. «Лонгфелло — прелесть!» (т. IV, стр. 118), — писал Горький Пятницкому, получив в феврале 1903 года очередную партию выпущенных «Знанием» книг.

Сборник стихотворений Бунина «Листопад» и его перевод «Песни о Гайавате» в том же 1903 году были отмечены Пушкинской премией.

В замыслах Бунина-переводчика центральное место после Лонгфелло занял Байрон. Как явствует из переписки, Горький был посвящен во все детали работы Бунина над Байроном и проявлял к ней живейший интерес.

¹⁵ Там же, 11-1/25.

Еще в декабре 1902 года во время приезда Горького в Москву Федор Шалапин прочел на собрании «Среды» новый бунинский перевод «Манфреда». 16 декабря 1902 года Горький по этому поводу писал Пятницкому: «Бунин задержал „Манфреда“, которого Фед[ор] Иван[ович] читал первый раз хорошо, а второй — изумительно».

Ну, что же? Простим Бунину» (т. IV, стр. 106).

Сам Бунин, не вполне удовлетворенный своим переводом, решил после чтения заново переработать всю поэму. Перед отъездом в Одессу, 15 декабря 1902 года, он обратился к Пятницкому с просьбой об отсрочке. «Нездоровится чрезвычайно, — жаловался Бунин, — ни сна, ни аппетита. На днях уезжаю на юг. Очень прошу простить и за „Манфреда“. Переделываю коренным образом, — перевел очень боязливо. Зато теперь выходит очень хорошо. Сегодня виделся с Алексеем Максимовичем и послал у него отсрочки до последних чисел декабря. Он вполне соглашается. Что скажете Вы? Ведь если бы я теперь представил — все равно вот-вот праздники. Если представлю к 1-му января — когда может выйти? Вещь небольшая, корректуры не будет. Очень прошу Вас ответить немедленно — мне очень совестно и тяжело».¹⁶

К лету 1903 года Бунин завершил работу над новой редакцией «Манфреда» и принялся за перевод «Каина», так как уже 5 мая он просил у Пятницкого разрешения напечатать отрывки из обеих вещей в ближайших номерах какого-либо журнала. В этом же письме Бунин сообщил о своих летних планах: «Сижу, как видите, в деревне — и сижу прочно. В начале июля съезжу к Алек[сею] М[аксимовичу]. Будете ли Вы у него и, если будете, то когда? Хочу прочитать А[лексею] М[аксимовичу] „Каина“».¹⁷

Работа над переводами из Байрона чрезвычайно увлекла Бунина. После выпуска «Манфреда» Горький задумал издать в «Знании» полное собрание сочинений Байрона в новых переводах по типу уже предпринятого издания сочинений Шелли. Детали этого грандиозного замысла несколько раз во всех подробностях обсуждались Горьким и Буниным при встречах. После беседы с Буниным Горький сообщил Пятницкому: «Говорил с ним о переводе Байрона — это ему улыбается, особенно „Дон-Жуан“. В январе, кончив „Каина“, он будет в Питере» (т. IV, стр. 145).

По поводу возникшего плана Бунин написал Пятницкому 11 января 1904 года из Ниццы. «Перед отъездом, — сообщал Бунин, — я, — как Вы тоже, вероятно, знаете, — виделся с Алексеем Максимовичем, который снова очень просил меня взять на себя труд дать „Знанию“ всего или почти всего Байрона в переводах. Для начала мы озабочивались на „Дон-Жуане“ в прозаическом переводе, причем Алексей Максим[ович] просил меня начать работать и сказал, что „Знание“ будет мне давать ежесемесные авансы, чтобы я мог работать спокойно, и что Вы уже имели с ним разговор по этому поводу. Все это мне улыбается, но как быть с „Каином“? Очень прошу Вас написать мне о нем: я был бы бесконечно рад отложить его печатание еще — до осени; когда он полегит, я, мне кажется, смогу отнестись к нему спокойно и переделать все, что мне не нравится, и докончить все недооконченное твердой рукой. Если Вы согласны на это — пожалуйста, напишите мне поскорее. Тогда я тотчас же примусь за „Дон-Жуана“ и непременно сделаю его к концу сентября или даже к сентябрю — в этом даю слово».¹⁸

Пятницкий не возражал против издания всего Байрона «Знанием», но задержка «Каина» нарушала его текущие планы, и он настаивал на необходимости выполнения прежних обязательств.

Сдержанное отношение Пятницкого, очевидно, сыграло свою роль. От перевода «Дон-Жуана» Бунин в конце концов отказался, а выпуск всего Байрона «Знанием» так и не был осуществлен. Реализация этого плана требовала слишком много времени и надолго оторвала бы Бунина от собственных замыслов, к чему он тоже не был особенно склонен.

Первые тома сочинений Бунина и книги его переводов, выпущенные «Знанием», создали автору репутацию одного из наиболее талантливых и разносторонних по дарованию участников горьковской группы. Особенно упрочили эту репутацию знаменитые сборники «Знания», к регулярному выпуску которых издательство приступило в 1904 году.

3

Первые наброски программы литературных сборников «Знания» были обсуждены на одном из собраний «Среды» во время приезда Горького в Москву в декабре 1902 года. В письме к Телешову из Ялты 9 марта 1903 года Горький развил и конкретизировал свой план. «Продолжая наш московский разговор о сборнике, — писал он, — сообщаю: Ан[тон] Пав[лович] даст рассказ для этого сборника, если выбор будет достаточно литературен».

¹⁶ Там же, 11-1/17.

¹⁷ Там же, 11-1/21.

¹⁸ Там же, 11-1/33.

Мое мнение таково: не нужно гнаться за объемом и строго выбрать участников» (т. VII, стр. 44).

Круг участников первых сборников Горький ограничивал основными авторами «Знания» — теми, кто уже выпустил или готовил к изданию свои книги. Бунин был в их числе. По всей вероятности, Бунин принимал непосредственное участие и в декабрьском «московском разговоре», когда родилась самая мысль о выпуске литературных сборников «Знания». Во всяком случае, он активно включился в их подготовку.

Отвечая на дружеское письмо Телешова, Бунин писал ему 30 июля 1903 года: «Спасибо, дорогой Митрич. Только я сейчас налаhdился работать. Напоминаю тебе, что пора и тебе садиться за рассказ для сборника „Знания“. В августе надо непременно представить. Горький просит напомнить. Крепко жму твою руку, кланяюсь Е[лене] А[ндреевне]».¹⁹

На запрос самого Бунина о готовящемся сборнике Горький ответил 17 августа: «Сборник — будет, теперь это несомненно. Есть рассказы: Андреева, Юшкевича, Гусева, пишет Чириков, Вересаев, напишу я. Если имеете что — посылайте Кон[стантину] Петр[овичу]» (стр. 25).

Желая выяснить реальное положение дел, Бунин сразу же по следам этого письма обратился к Пятницкому: «Когда думаете выпустить сборник беллетристов „Знания“, о котором толковал Алек[сей] Макс[имович]. Он на днях писал мне, чтобы я что-нибудь послал Вам для этого сборника. Когда нужно присылать и что у Вас уже есть? Даю стихи и рассказ».²⁰

Для завершения редакционной работы над сборником Горький решил выехать в Петербург, о чем он из Нижнего Новгорода за месяц известил Пятницкого. 20 ноября Горький был уже в Петербурге. Сюда же Бунин написал ему письмо о новой вынужденной задержке своего рассказа. «Дорогой и уважаемый друг, пожалуйста, простите — опять не посылаю рассказа! — сообщал Бунин. — Посылаю пока стихотворение, которое пусть и идет после Леоплда. Что же касается рассказа, то мне хотелось бы прислать не тот, который я Вам читал в Ялте, а другой — новый, который все никак не кончу» (стр. 25).

В конце 1903 года Бунин работал над рассказом «В хлебах» и двумя небольшими очерками «Золотое дно» и «Сны», один из которых он читал весной в Ялте Горькому. Для сборника Бунин, очевидно, готовил рассказ «В хлебах», но работа над ним продвигалась с большими трудностями. 6 декабря он писал Пятницкому: «Посылаю 7 стихотворений для сборника. Рассказ вышел самое позднее — 10-го. Извините, пожалуйста, что задерживаю. Будет он меньше листа. Крепко жму Вашу руку и шлю поклон А[лексею] М[аксимовичу], если он еще не уехал».²¹

Однако еще через пять дней Бунину стало ясно, что закончить рассказ вовремя ему не удастся. 11 декабря он отправил в Петербург новое письмо: «Снова простите, Константин Петрович и Алексей Максимович, — шлю Вам рассказ, но не тот, который обещал. Он меня измучил, ибо думаю, его надо написать в пять раз больше. Поэтому посылаю два очерка, связанных одним заглавием и одним настроением, — один из них тот, который я читал Вам, Алексей Максимович. Боюсь только цензуры. Если нужно что-нибудь вычеркнуть для цензуры — сделайте это, пожалуйста. Мне так горячо хочется, чтобы это прошло!».²²

Рассказ «В хлебах» («Далекое») Бунин напечатал в мартовской книжке журнала «Правда» за 1904 год, а в сборник он предложил «Золотое дно» и «Сны», объединенные общим заглавием «Чернозем». 11 декабря, когда Бунин совсем уже хотел отправить рассказы в «Знание», он получил известие о приезде Горького. По пути в Нижний Новгород Горький остановился на несколько дней в Москве, и Бунин специально задержал свои рассказы, чтобы прочесть их Горькому. «Шлю сегодня. Алексею Максимовичу читал — ему очень понравилось».²³ — сообщал Бунин Пятницкому 12 декабря 1903 года. О том же писал Горький: «Рассказики Бунина читал, и очень они мне нравятся, особенно второй» (т. IV, стр. 144).

В первом сборнике «Знания», который открывался рассказом Л. Андреева «Жизнь Василия Фивейского», Бунин был представлен п прозой («Чернозем»), и стихами («Диза», «Перед бурей», «Сумерки», «Дома», «Кольцо», «В евпаторийских степях», «Над Окой»). Сборник включал также лирико-философский этюд Вересаева «Перед завесой», «Деревенскую драму» Гарина, поэму Горького «Человек», рассказы Гусева, Серафимовича и Телешова. С выходом второго сборника, составленного из произведений Чехова, Куприна, Скитальца, Чирикова и Юшкевича, авторский коллектив сборников «Знания» заявил о себе в полный голос.

Сборники «Знания», появившиеся в канун революции 1905 года, были восприняты как средоточие основных сил демократического лагеря русской литературы.

¹⁹ Рукописный отдел ИМЛИ, Н. Д. Телешов, ф. 1, № 1721.

²⁰ Архив А. М. Горького. Переписка «Знания». 11-1/24.

²¹ Там же, 11-1/29.

²² Там же, 11-1/30.

²³ Там же, 11-1/31.

Памяти Чехова был посвящен третий, специально составленный сборник, в подготовке которого приняли участие самые крупные писатели «Знания». «Мы думаем издать книгу памяти Анто́на Павловича, пока это еще секрет, — писал Горький Е. П. Пешковой. — В этой книге напишут только я, Куприн, Бунин и Андреев» (т. V, стр. 120).

Излагая свой план Бунину, Горький подчеркнул, что «будет вполне достаточно и очень хорошо, если в этой книге примут участие только четверо — Куприн, Вы, Андреев и я.

Каждый из нас напишет что-нибудь личное о Чехове — разговор с ним, первое знакомство, воспоминание о каком-нибудь дне, совместно прожитом и, кроме того, — даст рассказ» (стр. 29).

Близкие отношения Бунина с Чеховым были хорошо известны в литературных кругах, и Горькому особенно хотелось видеть Бунина в числе авторов сборника.

Бунин более чем кто-либо другой из знаниевцев был дружен с Чеховым, глубоко знал его как человека и тонко, по-художнически, понимал созданное им. «У меня ни с кем из писателей не было таких отношений, как с Чеховым, — вспоминал на старости лет Бунин. — За все время ни малейшей неприязни. Он был неизменно со мной сдержанно нежен, приветлив, заботился как старший, — я почти на одиннадцать лет моложе его, — но в то же время никогда не давал чувствовать свое превосходство и всегда любил мое общество. . .»²⁴

Самый ранний вариант очерка о Чехове был написан Буниным еще при жизни Анто́на Павловича. Эти первые наброски личных впечатлений о нем Бунин прочел 24 октября 1904 года в Обществе любителей российской словесности. Они-то и послужили основой воспоминаний «Памяти Чехова», которые Бунин согласился прислать для третьего сборника «Знания». Переработка старых набросков потребовала немалых усилий.

Находившийся вечно в разъездах, Бунин задержал свой очерк до середины ноября. 14 ноября проездом из Киева в Одессу он написал Горькому письмо, а на следующий день из Одессы выслал свои воспоминания Пятницкому. В сопроводительном письме Бунин писал: «Многоуважаемый Константин Петрович, посылаю рукопись „Памяти Чехова“. Прочитать корректуру мне необходимо, поэтому пожалуйста, непременно пришлите мне ее. . . Напишите мне, пожалуйста, порядок распределения рукописей в сборнике».²⁵

Как ни хотелось Горькому открыть сборник воспоминаниями Бунина, из-за задержки рукописи это сделать не удалось. Первым в сборнике было напечатано стихотворение Скитальца, далее шли мемуарный очерк Куприна и новая пьеса Горького «Дачники».

Получив рукопись бунинских воспоминаний о Чехове, Горький сразу же отозвался прочувствованным письмом: «Хорошо Вы написали об Ан[тоне] Пав[ловиче] — нежно, как женщина, и мужественно, как друг. Захотелось сказать Вам это точас же, как прочитал. А теперь — читает Куприн, он сидит рядом со мной, хвалит Вас и радуется, что его воспоминания совпадают с Вашими.

Завтра Вашу рукопись отдадим в типографию, она идет точас же вслед за „Красным смехом“ Андреева.

Крепко жму Вашу руку, дорогой друг!» (стр. 35).

И Куприн, и Бунин решительно отвергли в своих мемуарах ходячую легенду о безразличии Чехова к общественным проблемам, оба они писали, как близко к сердцу принимал Чехов все, что совершалось на его глазах. Верный себе, Куприн создал колоритный бытовой очерк жизни Чехова в его ялтинском доме, он запечатлел писателя в его повседневном окружении, в разговорах, за рабочим столом. Очерк Бунина сосредоточен больше на внутреннем, психологическом облике Чехова, на особенностях его натуры и писательского таланта, как они проявились во всей совокупности его творчества. Не случайно впоследствии, вновь и вновь возвращаясь к портрету Чехова, Бунин без сожаления жертвовал некоторыми бытовыми деталями своих ранних воспоминаний, но зато прибавлял к ним все новые психологические подробности и штрихи, углублявшие общую писательскую характеристику Чехова.²⁶

²⁴ И. А. Б у н и н. О Чехове. Незаконченная рукопись. Изд. им. Чехова, Нью-Йорк, 1955, стр. 69.

²⁵ Рукописный отдел ИРЛИ, И. А. Бунин, ф. 1, оп. 2, № 133.

²⁶ В 1906 году Общество любителей российской словесности издало сборник «Памяти А. П. Чехова», в котором были перепечатаны воспоминания Бунина и Куприна из третьего сборника «Знания», отрывки воспоминаний М. Горького о Чехове, напечатанные в «Нижегородском сборнике» (1905), а также статьи и воспоминания Ю. Айхенвальда, М. Чехова, В. Ладыженского и А. Федорова. Незадолго до смерти, во время работы над рукописью о Чехове, Бунину попался в руки этот сборник, и он, по свидетельству В. Н. Муромцевой-Буниной, прочитав раннюю редакцию своих воспоминаний, написал на книге: «Написано стгоряча, плохо и кое-где совсем не-

Совместная подготовка сборника, посвященного памяти Чехова, острое чувство утраты, пережитое всеми, еще больше сблизили наиболее талантливых писателей «Знания» — Горького, Андреева, Бунина и Куприна. С их деятельностью были связаны самые крупные успехи и самое широкое признание, завоеванное «Знанием» среди массы читателей.

После смерти Чехова Горький писал Бунину: «Милый мой друг — нам, четверым, надо чаще встречаться друг с другом, право, надо! Давайте устроим осенью съезд в Москве?» (стр. 30).

Организовать московский съезд «четверых» осенью 1904 года так и не удалось. А с 9 января 1905 года начались события первой русской революции, круто изменившие все планы и предположения.

4

12 января 1905 года Горький был заключен в одиночную камеру Трубецкого бастиона Петропавловской крепости, арестованный «по обвинению в государственном преступлении». Но и оттуда он продолжал следить за работой издательства «Знание», регулярно получая от Пятницкого информацию о всех делах и необходимые книги. 1 февраля, согласно расписке «в сдаче и принятии вещей от арестованного Пешкова», Горький получил в крепости сочинения Н. Г. Гарина-Михайловского, «Рассказы и песни» Скитальца, «Стихотворения» И. Бунина и три сборника товарищества «Знание».²⁷

Подъем революционной борьбы, последовательно сметавшей полицейские и цензурные кордоны, поднял на новую ступень всю издательскую деятельность «Знания». Спрос на знаиенские издания вырос чрезвычайно.

4 февраля 1905 года, когда Горький еще находился в крепости, Бунин просил Пятницкого: «Будьте добры сообщить, когда выйдут следующие сборники „Знания“ и могу ли я попасть в какой-либо из них. Очень хотелось бы знать и предполагаемое содержание их»²⁸

В ответном письме, которое Пятницкий смог написать только через месяц, он сообщил Бунину: «Вы спрашиваете о сборниках. На этих днях выпускаю три новых: IV, V-й и т[ак] наз[ываемый] Нижегородский. Вышлю Вам немедленно. Печатаю шестой.

В него выдут: большая повесть Куприна и последний рассказ Ал[ексея] Максимила. Это — во всяком случае. Есть еще другие рассказы. Но останется ли для них место, — это зависит от Куприна: раньше он говорил, что даст повесть в 10 листов, а теперь обещает чуть не 20. Конец повести еще не получен.

Ваши стихи и рассказы хотелось бы получить во всяком случае. Ведь материал поступает постоянно. Недели через три, вероятно, определится состав следующего, седьмого, сборника».²⁹

В марте 1905 года четвертый и пятый сборники «Знания» вышли в свет. В одном из них были опубликованы рассказы Горького «Тюрьма», в другом — «Рассказ Филиппа Васильевича». Оба сборника разошлись огромными тиражами.

В письме от 14 марта 1905 года Бунин с тревогой запрашивал Пятницкого: «Буду очень благодарен, если известите меня о настоящем положении здоровья А[лексея] М[аксимова] и о том, где он».³⁰ Выпущенный под залог в 10 000 рублей, которые Пятницкий внес в казну из средств «Знания», Горький выехал из Петербурга на Рижское взморье, а затем в Крым. Здесь, в Ялте, состоялась первая после январских событий встреча Горького с Буниным. 7—8 апреля 1905 года Горький писал Пятницкому: «Приехал сюда Бунин. Сейчас сидел у меня некий полковник и ругал правительство за то, что оно в междоусобных битвах на улицах с рабочими деморализует армию. Очень интересно говорил. И — доказательно» (т. IV, стр. 182).

Беседы и встречи с Горьким в Ялте вовлекли Бунина в обсуждение самых насущных вопросов дня: об отношении к политике правительства, к продолжающейся войне, к борьбе политических партий, к литературной программе «Знания» в новых условиях и т. д. и т. п. В письме А. М. Федорову из Ялты 25 апреля 1905 года Бунин, в частности, сообщил: «Вижу с Горьким теперь каждый день и проводим время очень приятно. Я за эти дни заразил его стихоманией, предварительно убив его „Сапсаном“!»³¹

Среди всех знаиенцев Бунин долго оставался фигурой наиболее инертной в политическом отношении. Однако к 1905 году общественный «индифферентизм» Бунина

верно, благодаря Марье Павловне, давшей мне, по мещанской стыдливости, это неверное. И. Б.» (В. Н. Муромцева-Бунина. Жизнь Бунина. 1870—1906. Париж, 1958, стр. 156).

²⁷ См.: Летопись жизни и творчества А. М. Горького. Вып. I. 1868—1907. Изд. АН СССР, М., 1958, стр. 513.

²⁸ Архив А. М. Горького. Переписка «Знания». 11-1/48.

²⁹ Там же. Копировальные книги К. П. Пятницкого.

³⁰ Там же. Переписка «Знания». 11-1/49.

³¹ «Русская литература», 1963, № 2, стр. 182.

был серьезно поколеблен всем ходом русской истории. Оказавшись в сфере непосредственного идейного воздействия Горького, Бунин так или иначе должен был определить свое отношение к происходящему. Как писатель он занял место на фланге прогрессивно-демократических литературных сил, и сама логика этой позиции заставляла его перешагивать нейтральную черту событий.

Во время революции 1905—1907 годов Бунин принял деятельное участие в литературных начинаниях, откровенно оппозиционному существующему режиму. Главным инициатором этих начинаний по большей части был Горький. Уже к лету 1905 года возможности легальной печати в России заметно расширились. До фактической свободы печати было еще далеко, но старый цензурный пресс уже был надломлен.

С развитием и углублением политического кризиса в России Горький сделал все возможное, чтобы приблизить деятельность «Знания» к задачам революционной пропаганды и народного просвещения. С этой целью летом 1905 года в издательстве была организована «Дешевая библиотека» «Знания».

Преобладающее место в «Дешевой библиотеке» занимала художественная проза и брошюры по общественно-политическим вопросам, в том числе переводы важнейших трудов Маркса, Энгельса, Бебеля, Меринга, Лафарга и других теоретиков и популяризаторов марксизма. В беллетристическом отделе планировались к изданию наиболее популярные произведения Горького, Серафимовича, Андреева, Куприна, Скитальца, Гусева-Оренбургского, Телешова, Чирикова, Юшкевича.

Поэзия в «Дешевой библиотеке» была представлена более скупо, лишь отдельными, избранными образцами. Первым выпуском, открывшим в 1905 году беллетристическую серию, вышла книжка стихотворений М. Горького. Она включала всенародно известные «Песню о Соколе» и «Песню о Буревестнике», а также «Легенду о Марко». Вслед за ней должны были выйти небольшие сборники других поэтов-знаменцев, в частности Бунина.

«Пришлите мне стихи Бунина, я попытаюсь набрать из них книжечку» (т. IV, стр. 184), — писал Горький Пятницкому в начале июля 1905 года. Бунин переслал Горькому необходимые материалы и предоставил ему полную свободу выбора при составлении сборника. «Изменяйте, дополняйте, сокращайте, — я вполне полагаюсь на Вас» (стр. 38), — писал он.

Коллебаясь относительно пригодности некоторых своих стихотворений для широкой публики, Бунин не желал в то же время жертвовать интересами поэзии. «... Ведь и то нужно принять в расчет, — доказывал он Горькому, — что эти новые издания „Знания“ должны до известной степени влиять на эту самую публику и с эстетической стороны. Не полезно ли было бы, если бы Вы снабдили первый выпуск серии народных изданий предисловием, в котором, между прочим, было бы отмечено и это? А то критика привыкла к тенденциозности и может сильно обляять некоторые из брошюр, — конечно и мою» (стр. 38).

В числе поэтических книжек для «Дешевой библиотеки» готовились также сборники Скитальца, Бальмонта, Черемнова, и у Бунина были основания тревожиться в первую очередь за судьбу своей книжки.

В ответном письме Горький предложил сделать некоторые изменения в составе сборника, с чем Бунин, в основном, согласился. «Дорогой друг! — писал Горький. — Если Вы ничего не имеете против — я исключил из выбранных Вами стихов: „Кольцо“ и „Дѣба“. Первое — не понято будет, боюсь, второе — скучным покажется» (стр. 24).

В стихотворении «Кольцо» отразились давние украинские впечатления Бунина, подробности его летней поездки по Днепру. Здесь все заключено в рамку узко личного, элегического воспоминания о счастливой, безвозвратно прошедшей молодости, поре «безумных», «сладких грез». Во втором стихотворении — «Дѣба» — варьируется столь же элегический мотив запустения родного гнезда. Мотивы и настроение обоих стихотворений показались Горькому не слишком уместными для массового народного издания, и он предложил заменить их другими. «Вместо этих, — писал он Бунину, — я хотел бы ввести в книжку — из отмеченных Вами стихотворений следующие:

„Последняя гроза“,

„На распутья“,

„Под парусом“,

„С кургана“,

„Рассвет“ — что Вы на это скажете? Хотелось бы, чтоб Вы сами разместили стихи в книжке» (стр. 24).³²

Кроме стихотворения «Под парусом», в книжку Бунина вошли все отмеченные Горьким стихи. Открывают сборник два стихотворения на библейские темы: «День

³² В выпуске «Горьковские чтения. 1958—1959» это письмо ошибочно датировано началом августа 1903 года. В письме Горького, однако, речь идет не о томе «Стихотворений» Бунина (изд. 1903 года), как считает комментатор письма Ф. М. Иоффе (стр. 100—101), а о готовящемся сборнике: Ив. Б у н и н. Стихотворения. «Дешевая библиотека» товарищества «Знание», СПб., 1906. Являясь ответом на письмо Бунина от 21 июля 1905 года, настоящее письмо Горького было написано не раньше конца июля — начала августа 1905 года.

гнева» (Из «Апокалипсиса», гл. VI) и «Самсон». В обоих стихотворениях сквозь архаику сюжета прорывается живое ощущение свершающейся социальной катастрофы, когда

... до оснований
 Потрясся мир, и солнце стало мрачно,
 Как вретиче, и лик луны — как кровь;
 И звезды устремились вниз, как в бурю
 Незрелый плод смоковницы, и небо
 Свилось, как свиток хартии, и горы,
 Колеблясь, с места двинулись...

Для читателей, уже переживших трагедию Кровавого воскресенья и бурные события 1905 года, эти строки, напоминая о возмездии судного дня, не могли звучать нейтрально. Они были вызваны отзвуками происходящего и, в свою очередь, порождали вполне современные ассоциации.

Книжка «Стихотворений» Бунина, пополнившая в 1906 году «Дешевую библиотеку» «Знания», была окончательно сформирована при ближайшем и непосредственном участии Горького. Она служила тем же общественно-воспитательным целям, что и вся знаиеская серия популярных изданий для народа.

В марте 1906 года Бунин сообщил Пятницкому о своих ближайших издательских планах, которые он собирался реализовать в «Знании». «К осени надеюсь предложить Вам книгу рассказов и кн[игу] стихотв[орений], — писал он, — надеюсь, кроме того, работать и в сборниках. . . Думаю, наконец, что к осени понадобится 4-е изд[ание] моих рассказов. 2-й том тоже почти разошелся. . . Если можно, пожалуйста, исполните мою просьбу и будьте добры переслать прилагаемое письмо А[лексею] М[аксимовичу]». ³³

Весну и лето 1906 года Бунин оставался у родных в деревне Измалково и скоро попал в очень трудное положение. Крестьянские волнения докатились и до глухой бунинской усадьбы. «. . . Деньги очень нужны: нас сожгли, — сообщил 29 мая 1906 года Бунин Пятницкому. — Сгорел каретный сарай, людские избы, скотный двор, несколько лошадей, коров и т. д. Пришлите хоть 150, хоть 100 р.» ³⁴

Из задуманных книг Бунин подготовил к осени только «Стихотворения 1903—1906 г.»., составившие третий том его сочинений. К концу 1906 года этот том был выпущен «Знанием» в свет. По содержанию он заметно отличался от сборника «Листопад» (1901), изданного «Скорпионом» и составившего основу второго знаиеского тома «Стихотворений». В «Листопаде» Бунин почти не выходил за рамки живописно-зеркальной поэзии. Катастрофичность реальной исторической жизни, дисгармония повседневных человеческих отношений, отзвуки современной общественной борьбы — все это либо вовсе не находило отклика в лирике Бунина, либо звучало в ней крайне ослабленно и приглушенно.

В стихотворениях Бунина 1903—1906 годов закономерно пробиваются новые образы и мотивы. Между поэтом и временем установилась более тесная и непосредственная связь.

Поэтическая одушевление, вызванное размахом революции 1905 года и захватившее таких разных поэтов-современников, как Брюсов и Блок, Бальмонт и Скиталец, по-своему коснулось и Бунина. Оно нашло выход не в прямой политической лирике, к которой Бунин никогда не был по-настоящему склонен, а в героических образах, почерпнутых из древней истории, библии, мифологических восточных сюжетов. В грандиозных потрясениях, испытанных человечеством, в крушении и смене целых цивилизаций Бунин искал прообразы и соответствия тому, что одновременно и привлекало и страшило его в современной эпохе. Как ни далек был Бунин от практики революционного действия, в своих стихах он отдает явное предпочтение философии борьбы и бесстрашия, отвергает ложную мудрость смирения, рабской покорности и страха.

Герой — как вихрь, срывающий палатки,
 Герой врагу безумный дал отпор,
 Но сам погиб — сгорел в неравной схватке,
 Как искрометный метеор.

А трус — живет. Он тоже месть лелеет,
 Он точит меткий дротик, но тайком.
 О, да, он — мудр! Но сердце в нем чуть тлеет,
 Как огонек под кизяком.

(«Мудрым»)

Многие стихотворения Бунина, вошедшие в третий том его сочинений, предварительно были напечатаны в литературных сборниках «Знания». Именно здесь, в составе этих сборников, отчетливее всего выступает общественная направленность его творчества тех лет. Самому Бунину было отнюдь не безразлично, в каком окружении

³³ Архив А. М. Горького. Переписка «Знания». 11-1/53.

³⁴ Там же, 11-1/54.

появлялись его стихи и проза. Он внимательно следил за тем, чтобы его произведения не выбывались из дружного концерта наиболее сильных голосов «Знания». 14 марта 1905 года Бунин писал Пятницкому: «Посылаю Вам *четыре* стихотвор[ения] для *шестого* сборника —; очень прошу Вас поставить их именно в шестой (в тот, где Куприн и А[лексей] М[аксимович], хотя в самый конец».³⁵

Согласно желанию Бунина его стихи появились в шестом сборнике «Знания» между «Поединком» Куприна и рассказом Горького «Букоемов, Карп Иванович».

В следующем письме от 12 мая 1905 года Бунин сообщает: «. . . я дал слово А[лексей] М[аксимовичу] прислать стихов и расск[аз] для 7 сборн[ика]. Очень прошу Вас написать мне, когда Вы думаете его выпустить и что в нем будет».³⁶ Подготовив за лето обещанные материалы, Бунин известил Пятницкого: «Многоуважаемый Константин Петрович, посылаю Вам для седьмого сборника 7 стихотворений — „Восток“. Алексей Максимович просит их поставить рядом с „Детьми Солнца“. Если же это уже поздно сделать — ставьте куда хотите, хоть в конец. Для 8-го сборника материал у меня тоже готов. На днях пришлю».³⁷

В седьмом сборнике «Знания» вместе с пьесой Горького «Дети Солнца» был напечатан цикл стихотворений Бунина о Востоке: «Тайна», «Темджид», «Черный камень», «За измену», «Мираж», «Джинь», «Гробница Сафии».

Горький не менее, чем Бунин, ценил его соседство по сборникам. Скоро установился своего рода традиция, по которой почти каждая крупная вещь Горького в сборниках «Знания» сопровождалась бунинскими стихами.

В сентябре 1905 года Горький писал Пятницкому: «Посылаю 9 стихотворений Бунина для 8-го сборника. Хорошие стихи» (т. IV, стр. 185).

Когда выяснилось, что восьмой сборник выйдет без участия Горького, Бунин также отодвинул печатание своего раздела. Зато в следующем, девятом, сборнике непосредственно за пьесой Горького «Варвары» была помещена большая подборка стихотворений Бунина, и в их числе «Жизнь», «Хризантемы», «Песня» («Я — простая девка на баштане. . .»), «Эхил», «Каменная баба», «Айя-София», «Атлант», «Одиночество» и др. Формируя сборники, Пятницкий всячески поддерживал установившуюся традицию. Однажды Бунин упрекнул Пятницкого в задержке стихотворений, переданных ему для печати. Тогда директор-распорядитель «Знания» напомнил Бунину о его собственных пожеланиях. «Да Вы и сами не сказали бы мне „спасибо“, — писал Пятницкий, — если бы я поместил Вас вместе с автором, никому не известным. Вы забыли о своих словах. Вы настаивали, чтобы Ваши стихи шли вместе с последней крупной вещью Горького — его пьесой. Так и сделано. Пьеса Горького идет с XIV сборником. Рядом с нею — 5 доставленных Вами стихотворений, в том числе „Дж[ордано] Бруно“ и „Годива“. Лучшего места не найти. Ваши интересы вполне обеспечены. Поэтому считаю Ваш упрек несправедливым».³⁸

В четырнадцатом сборнике рядом с «Врагами» Горького соседствовали стихотворения Бунина «Пугач», «Утро», «Джордано Бруно» и перевод поэмы Теннисона «Годива».

Как ни далеки были мировоззренческие истоки общественно-литературной позиции Горького и Бунина, как ни различно их отношение к современности и понимание ее, самый факт их тесного сотрудничества в сборниках говорит о многом. Он доказывает, что союз столь разных художников, как Горький, Андреев, Бунин, Куприн, Вересаев, Серафимович, имел в годы первой революции глубокие основания.

Широта задач, общность ближайших целей, которые были характерны для массового общественного движения в первой русской революции, глубина недовольства, охватившего самые разные социальные слои, — все это создавало благоприятную почву для концентрации лучших писательских сил вокруг «Знания». Литературные сборники «Знания» осуществили этот союз на практике.

«Горьковские сборники имели громадное значение, — писал Серафимович. — Они стали выходить, когда революционные настроения закипали все больше и больше. Сборники „Знание“ помогали подыматься этим настроениям».³⁹

Время подготовки и подъема революции 1905 года было одновременно и временем наибольшего успеха литературных сборников «Знания». С отливом революции «Знание» вступило в полосу серьезных издательских трудностей. Острые разногласия между его участниками привели в конце концов к глубокому кризису и расколу основного знаниевского ядра.

5

После декабрьского вооруженного восстания 1905 года и отъезда Горького за границу для «Знания» наступили тяжелые времена. Уже 20 декабря 1905 года в помещении петербургской конторы был произведен первый обыск. С этого времени жесто-

³⁵ Там же, 11-1/49.

³⁶ Там же, 11-1/50.

³⁷ Там же, 11-1/52.

³⁸ ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 1, ед. хр. 186.

³⁹ А. С е р а ф и м о в и ч, Собрание сочинений, т. X, Гослитиздат, М., 1948, стр. 423.

кие репрессии не прекращались. Конфискации, цензурные запрещения, штрафы и т. п. резко нарушали и тормозили всю работу издательства. «Ваши сообщения о делах „Знания“ не удивляют меня, — писал Горький Пятницкому из Америки, — можно удивляться, как оно держится?» (т. IV, стр. 204).

Действительно, в 1906—1907 годах «Знание» выпустило двенадцать литературных сборников: почти вдвое больше, чем за предшествующие два года. Тираж сборников несколько снизился, но продолжал держаться на уровне 30 000 — цифре огромной по тому времени. «Знание» по-прежнему широко издавало беллетристику и общественно-политическую литературу, сохраняя свое влияние на книжном рынке.

Однако при всем размахе деятельности издательства в работе «Знания» обозначились явные черты кризиса. Начавшаяся идеологическая реакция захватила творчество таких видных знаниевцев, как Андреев, Куприн, Скиталец, Чириков, Юшкевич, Айзман и др. Поражение революции вызвало у них растерянность и уныние.

В 1907 году издательство «Шиповник» во главе с Э. И. Гржебиным и С. Ю. Коппельманом приступило к изданию литературно-художественных альманахов, которые сразу же были восприняты как основной конкурент «Знания».

В первых же трех книгах «Шиповника» были опубликованы произведения Л. Андреева («Жизнь человека» и «Тьма»), А. Серафимовича («У обрыва», «Пески»), А. Куприна («Бред», «Изумруд»), И. Бунина («У истока дней», «Астма»), т. е. самых видных сотрудников «Знания».

Рядом с ними печаталась проза Ф. Сологуба, Б. Зайцева, В. Муйжеля, стихотворения В. Брюсова, А. Влока, Г. Чулкова, С. Городецкого и других авторов, по своему направлению так или иначе чуждых «Знанию», не раз активно выступавших против его литературной программы. В альманахах «Шиповника», таким образом, возник новый литературный блок, новый контекст имен и произведений, отражавший резкий сдвиг вправо основного знаниевского ядра.

Довольно мягкую характеристику этого промежуточного и аморфного блока дал Андрей Белый в своем реферате «Символизм и современное русское искусство»: «Полуимпрессионизм, полуреализм, полужестотство, полутенденциозность характеризуют правый фланг писателей, сгруппировавшихся вокруг „Шиповника“. Самым левым этого крыла, конечно, является Л. Андреев. Левый фланг образуют откровенные и часто талантливые писатели, даже типичные символисты. Все же идейным „сredo“ этой левой группы является мистический анархизм».⁴⁰

В рамках «Знания», где решающий голос по-прежнему оставался за Горьким, этот блок ни при каких обстоятельствах не мог бы осуществиться. Когда весной 1907 года Л. Андреев принял на себя обязанности редактора сборников «Знания» и попытался изменить их направление в том духе, в каком повел затем дело «Шиповник», Горький решительно воспротивился этому.

Растущее несогласие у Горького вызывала также литературная политика Пятницкого, искавшего выход из кризиса на пути компромиссных решений. Горький резко критиковал пьесу Юшкевича «Голод», драматическую фантазию Чирикова «Легенда старого замка» и некоторые другие произведения, напечатанные в сборниках. По поводу драмы Чирикова Горький написал автору с Капри огорченное письмо, в котором ясно выразил свое отношение к наступающей литературной реакции и идейному разброду внутри «Знания». «У меня странное впечатление вызывает современная литература, — писал Горький — только Бунин верен себе, все же остальные пришли в какой-то дикий раж и, видимо, не отдают себе отчета в делах своих. Чувствуется что-то чужое — злое, вредное, искажающее людей влияние, и порою кажется, что оно сознательно враждебно всем вам — тебе, Серафимовичу, Юшкевичу и т. д.

И когда видишь эту хитрую, трусливую работу большого животного, которому ничего, кроме покоя, не надо, — становится непонятна роль той группы писателей, которая в трудное время дружно будила мысль демократической массы, а ныне спокойно смотрит, как эту мысль отравляют, да и сама не ясно видит задачи момента, как мне кажется» (т. VII, стр. 59).

Очень точно определив причины своего расхождения со многими из старых сотрудников «Знания», Горький выделил из их числа Бунина, как писателя, оставшегося «верным себе». Бунин действительно не изменил сколько-нибудь резко своей литературной позиции, хотя именно в 1906—1907 годах он довольно широко печатался вне «Знания». Так, вместе с Телешовым он принял участие в символистском журнале «Перевал» и сборниках Г. Чулкова «Факель», где опубликовал несколько стихотворений («Полюс», «Северная береза», «Зеленый стяг»).

В 1907 году Бунин напечатал рассказ «Счастье» в сборнике «Корабли», составленном из стихов и прозы Ф. Сологуба, Вяч. Иванова, В. Брюсова, Н. Петровской, Б. Зайцева, А. Влока, А. Белого, И. Новикова, В. Ходасевича и др. Завязав отношения с издательством «Шиповник», Бунин выпустил при его посредстве отдельным изданием свой перевод мистерии Байрона «Каин», а также принял участие в первых книгах нового литературно-художественного альманаха, где поместил стихотворения и рассказы.

⁴⁰ «Весы», 1908, № 10, стр. 44.

Довольно сдержанно относясь к специфическим программным заявлениям тех или иных соперничающих литературных групп и издательских объединений, Бунин и в поэзии и в прозе продолжал занимать свою, несколько обособленную от всех художественную позицию. Ориентируясь преимущественно на «Знание», он испытывал серьезное беспокойство в связи с затяжными перебоями в его работе. 18 июня 1907 года Бунин писал Телешову из деревни: «Погода ужасная, — залили дожди, — газеты еще хуже дождей. Остается одно утешение — „Знание“, которое не отвечает и мне — вот уже четвертый месяц. Написал Андрееву: ты, мол, редактор, — будет этому конец или нет. Тоже не отвечает — уже более полмесяца. Советую и тебе написать ему».⁴¹ 7 июля в письме к тому же Телешову он повторил свои сетования: «Андрееву писал на „Знание“, но он — ни звука. Пятницкий — тоже. Собираюсь в первых числах августа в П[е]т[ер]б[ург]».⁴²

8 августа, не застав в Петербурге Пятницкого, Бунин послал ему встревоженное письмо по поводу дальнейших перспектив своего сотрудничества в «Знании». «Многоуважаемый Константин Петрович, — писал Бунин, — может быть, позволите считать свободными два стих[отворения], посланных мною на Капри в марте? Будьте добры, кроме того, поставить меня в известность, будете ли Вы выпускать 2-м изданием мой 2-й том («Стихотворения») — год тому назад от него осталось несколько сот экземпляров — или же я могу отдать его другой фирме, которая выпустит 2-е изд[ание], конечно, тогда, когда будет исчерпано все первое. Думаю, печатать нынешней осенью и 4-й том — рассказы и стихи (страниц около 300). Берете ли Вы его? И, если — да, могу ли вести дело с Семеном Павловичем или Леонидом Николаевичем? Ведь посылать для проформы книгу на Капри, переписывать — очень и очень затруднительно. Боюсь, что протянется осень, и я останусь на боках. Очень прошу Вас ответить мне на эти вопросы по возможности немедленно. В конце августа, начале сентября еду через Москву в П[е]т[ер]б[ург]. Благоволите писать на брата Юлия (Москва, Старокопшенский, «Вестник воспитания») — заказным. — Мой поклон А[лексей] М[аксимовичу] и М[ари] Ф[едоровне]».⁴³

Осенью 1907 года в момент ухода основных авторов из «Знания» Бунин также был близок к разрыву с издательством Горького и Пятницкого. Его крайне беспокоила неопределенность создавшегося положения, раздражали длительные задержки ответов, организационные и материальные неполадки, тормозившие некогда слаженную работу «Знания». В отличие от Андреева и других писателей, покинувших «Знание» прежде всего по соображениям литературной политики, Бунин остался в стороне от идейных разногласий, расколовших Горького и его товарищей. Но и перед ним встал выбор. Прежде чем сделать решительный шаг, Бунин выдвинул перед Пятницким новые условия, при которых его отношения со «Знанием» могли сохраниться впредь. В письме от 12 октября 1907 года Бунин заявил:

«Многоуважаемый Константин Петрович, жду Вас со дня на день с августа, приезжаю в П[е]т[ер]б[ург] уже 2-ой раз, нуждаюсь в деньгах — и отклоняю выгодные предложения, пропускаю сезон в этих тщетных ожиданиях. Вчера из слов С[емена] П[авловича] понял, что Вы опять можете задержаться в Берлине, и решил написать Вам и просить телеграммой ответить мне, ибо теперь дорог каждый день и ждать более уже невозможно.

Дело в том, повторяю, что мне нужны деньги — теперь особенно, ибо я жеился — и что „Шиповник“ предлагает мне продать ему мой том IV и запреть том V (который будет готов к осени или даже к весне [19]08 г. и составит исключительно из рассказов), т. VI (еще несуществующий) и т. II (Ваше издание — первая кн[ига] стихов) для 2-го изд. (от Вашего осталось всего к 1-му Сентября — 600 экз.). — Том IV „Шип[овник]“ оплачивает мне сполна тотчас же, т. V и VI — помесью (рублей по 200—300 в месяц), начиная с октября с. г., II т. тоже сполна, как только я дам его. Это довольно обеспечивает меня, но мне неловко было перейти к другому издателю, не предупредив Вас. Прошу Вас ответить мне, хотите ли Вы, чтобы я остался у Вас и можете ли Вы дать мне то, что предлагает „Шиповник“?»

Для IV тома Бунин предложил новые стихи и перевод драматической поэмы Байрона «Каин», выпущенной отдельным изданием в «Шиповнике». Бунин подчеркнул, что интерес к „Каину“ сильно повысился благодаря многим газетным заметкам и толкам о постановке „Каина“ в моем переводе в Московск[ом] Художеств[енном] театре. Синод против этой постановки, ибо Авель, Ева и Адам — святые, но Станиславский, работающий над „Каином“ уже полгода, все же надеется поставить, заменив имена: вместо Адам — отец и т. д. Кроме того, по условию моему с „Шиповник[ом]“, права „Шиповника“ на „Каина“ кончатся 1-го ноября сего года.

Бунин сообщил также Пятницкому, что V том прозы «почти готов, не говоря уже о том, что я нашпал уже листов 5 путешествия своего по Сирии, Палестине и Египту («Храм Солнца» — путешествие в Баальбек), имею почти готовый перевод „Земли и Неба“ Байрона (в случае неудачи «Каина» — Художеств[енный] театр хочет поставить

⁴¹ Рукописный отдел ИМЛИ, Н. Д. Телешов, ф. 1, № 1721.

⁴² Там же.

⁴³ Архив А. М. Горького. Переписка «Знания». 11-1/63.

«Землю и Небо») и, может быть, кончу „Золотую легенду“ — мистерию Лонгфелло, приспособив ее к сцене: теперь время мистерий».⁴⁴

Своим письмом при всей ультимативности его содержания и тона Бунин оставлял за Пятницким как директором-распорядителем «Знания» последнее и решающее слово. В условиях продолжавшегося распада знанийского ядра уход Бунина явился бы сильнейшим ударом для издательства. Интересы «Знания» требовали от его руководителей согласованных и решительных действий. Однако как раз в этот момент былое согласие между Горьким и Пятницким резко нарушилось.

Разногласия с Пятницким касались очень широкого круга вопросов. Речь шла об определении общей литературной позиции «Знания» в новых условиях, составе авторов, которые могли бы укрепить эти позиции, перестройке сборников, активизации борьбы с литературным распадом. По всем этим вопросам Пятницкий занимал примирительную или компромиссную позицию.

«Людей, кои идут на святое поле битвы, чтобы наблеть на нем, — таких людей надо бить, — писал Горький Пятницкому. — И я мог бы организовать отпор им по всей линии, для этого есть силы, есть желание, а главное, — это необходимо. И мне кажется, что „Знание“, у которого уже есть традиция, должно бы выступить на бой со всей этой шайкой дряни — вроде Ивановых-Разумников, Мережковских, Струве, Сологубов, Кузьминых и т. д. Именно — „Знание“.

А ваше отношение, как я чувствую, отрицательно к этой задаче, столь важной и крупной, столь своевременной» (т. IV, стр. 242).

У Горького возникают планы организации нового книгоиздательства и возможного разрыва со «Знанием». После срочного приезда Пятницкого на Капри расхождение по текущим вопросам удалось временно сгладить, но задуманные перемены в «Знании» так и не были осуществлены. Старые силы были глубоко деморализованы, новые по-настоящему не удалось собрать и объединить.

6

Материальные требования Бунина, выдвинутые им в критический для «Знания» момент, были приняты. От перехода в «Шиповник» Бунин отказался. При всех колебаниях он предпочел остаться в «Знании», с которым его крепко связывали и определенная общественная репутация, и плодотворный опыт пятилетнего сотрудничества.

Чувствуя растущее отчуждение между собой и Андреевым, Куприным, Чириковым, Скитальцем и другими бывшими товарищами по «Знанию», Горький в каприйские годы особенно тесно сближается с Буниным, искренно радуется стремительному росту его таланта, все выше оценивает его работу — прозаика и поэта.

Оставшись в «Знании», Бунин сразу же приступил к подготовке намеченных к изданию книг и продолжил литературное сотрудничество в сборниках.

В марте 1908 года он уже читал корректурные листы четвертого тома своих сочинений, составленного из стихотворений 1907 года, переводов поэмы Теннисона «Годива», «Золотой легенды» Лонгфелло и мистерии Байрона «Каин», изданной до этого отдельной книгой в «Шиповнике».⁴⁵ С выпуском четвертого тома Бунин осуществил свое давнее желание собрать вместе избранные переводы, сделанные им после завершения работы над «Песней о Гайавате» Лонгфелло.

К осени 1908 года, по договоренности с Пятницким, «Знание» должно было выпустить вторым изданием стихотворения второго тома Бунина и приступить к выпуску нового, пятого тома его рассказов.

Осень этого года Бунин провел у себя в деревне. Отсюда 20 ноября он выслал в «Знание» рукопись второго тома для повторного издания, а еще раньше отправил материалы пятого тома рассказов. 6 декабря он уже с нетерпением запрашивал С. П. Боголюбова: «Что же от Вас ни слуху, ни духу? Что же корректура, без которой обойтись нельзя? На всех парах кончаю рассказ для Вашего очередного сборника. 10-го надеюсь быть в Москве. Убедительно прошу Вас немедленно написать в Москву (Столовый, д. Муромцева), как дела с печатанием моих книг и где Конст[антин] Петрович?»⁴⁶

В начале 1909 года новое издание второго тома «Стихотворений» и пятый том «Рассказов» Бунина вышли в свет. Это были последние тома его сочинений, изданные «Знанием».

В сборниках «Знания» Бунин долго оставался самым постоянным после Горького автором. В двадцатом и двадцать первом сборниках за 1908 год вместе с окончанием повести Горького «Мать» увидели свет бунинские «рассказы в стихах» («С обезьянкой», «Трон Соломона») и небольшой цикл стихотворений «Русь». По поводу этого цикла Бунин писал С. П. Боголюбову 20 марта 1908 года: «Вы мне дали, когда я был в прошлый раз в П[е]т[ер]б[урге], корректуру стихов моих в 21-м сборнике — „Русь“. Я прочитал, приписал на оставшейся чистой странице пятое стихотворение „Кружево“

⁴⁴ Там же, 11-1/64.

⁴⁵ Там же, 10-24/23.

⁴⁶ Там же, 10-24/31.

и отправил по почте Константину Петровичу. Взял ли он это стих[отворение] или нет, — идет ли оно в 21-м сборнике?»⁴⁷

Добавленное стихотворение Бунина было принято, как и четыре сонета, посланные им в сентябре 1908 года для очередного двадцать четвертого сборника.

В двадцать пятом сборнике за 1908 год Бунин успел напечатать еще три сонета («Караван», «Иерихон», «Бедуин»), объединенные в цикле «Иудея». После этого в издании сборников начались все более длительные паузы.

Раскол среди писателей «Знания», резкие трения между Горьким и Пятницким немедленно отразились на текущей деятельности издательства. Уже в мае 1908 года Горький признался, что все последнее время он находился в состоянии хронического бешенства, постоянного и неукротимого раздражения. «Причины моей болезни — многообразны, — писал Горький Пятницкому, — в их числе и ваше странное молчание, и характер последних сборников. Я осыпан упреками за „Мать“, — за то, что она так растягута, за то, что сборники скучны, за то, что „Знание“ не дает отпора клике бесноватых, совершающих свои пляски в литературе» (т. IV, стр. 249).

Сборники прежнего типа, продолжавшие выходить по инерции, все меньше удовлетворяли Горького. Перестроить их по-новому, включив постоянные отделы критики и публицистики, не удавалось.

К концу 1908 года старые резервы и запасы «Знания» в основном были исчерпаны, необходимый издательский «задел» истощился до крайности, и все дела фирмы покапались круто вниз. Разногласия Горького с Пятницким в этот тяжелый момент поставили «Знание» на грань катастрофы.

С начала 1909 года Пятницкий фактически устранился от ведения текущих дел, вся организационно-издательская деятельность «Знания» замерла и остановилась на много месяцев. В апреле 1909 года Горький предложил И. П. Ладыжникову найти покупателя на свою часть в «Знании» и на все свои книги. Тогда же он писал: «. . . со „Знанием“ у меня прекратились отношения, на письма мои — не отвечают, на телеграммы — тоже» (т. VII, стр. 192). Новые произведения Горького подолгу не печатались. Повесть «Лето» лежала без движения. «Где в России будет печататься эта вещь и когда — не знаю, ибо со „Знанием“ я, вероятно, окончательно разорву» (т. VII, стр. 192), — писал Горький. В этих условиях даже те авторы, которые желали бы сохранить свои постоянные отношения со «Знанием», вынуждены были искать новых издателей и восстанавливать обычные журнальные связи.

Вернувшись в мае 1909 года с Капри в Россию, Бунин застал «Знание» в глубоком параличе. В августе 1909 года он писал Горькому: «Посовестился я попросить у Вас прочитать Вашу новую повесть — теперь очень жалею. Когда она появится? И как дела с книгоиздательством? О Пятницком Вы ни слова, — верно, и не был? И негу-то ни слуху, ни духу о „Знании“! А какое колесо-то было заведено!» (стр. 42).

15 сентября 1909 года Бунин вновь запросил Горького о состоянии издательских дел: «Не понимаю, кто ведет теперь сборники, как обстоит дело с ними, когда что предполагается выпустить. Напишите, пожалуйста» (стр. 43).

Осенью 1909 года после приезда Пятницкого на Капри между ним и Горьким состоялось временное примирение. Решено было выпустить еще несколько сборников. Дальнейшая же судьба «Знания» оставалась неясной, ибо принципиального согласия его руководителям так и не удалось достичь.

Узнав о подготовке очередного сборника, Бунин немедленно отправил в «Знание» имевшиеся у него материалы. 22 сентября 1909 года он сообщил С. П. Боголюбову: «Посылаю одновременно на Капри и Вам 8 стих[отворений] и рассказ (около 23 т[ысяч] букв) для сборника, где идет „Лето“».⁴⁸

Выпущенный к концу года двадцать седьмой сборник «Знания» включал повесть Горького «Лето», повесть Ф. Крюкова «Зыбь», рассказ И. Касаткина «В уезде». Бунин был представлен рассказом «Беден бес» («Птицы небесные») и стихотворением «Сенокос». Все произведения сборника с разных сторон рисовали положение современной деревни — нищей, дикой, ограбленной, не разрешившей ни одного из тех противоречий, которые уже привели Россию в 1905 году к революции.

Из восьми стихотворений, посланных Буниным в «Знание», в двадцать седьмом сборнике появилось только одно. Остальные стихотворения редакция распределила между двадцать девятым и тридцатым сборниками за 1910 год.

Тяжело переживая упадок «Знания», Бунин силою обстоятельств был вынужден искать новые возможности для издания своих книг. Шестой том сочинений, составленный из стихотворений 1907—1908 годов и рассказов, Бунин впервые за много лет отдал не «Знанию», а петербургскому издательству «Общественная польза». Этот том, которым завершается «знаньевский» период творчества Бунина, вышел в свет в 1910 году. В феврале того же года, закончив первую часть повести «Деревня», Бунин передал ее в журнал «Современный мир», а не в сборники «Знания». По этому поводу он писал Горькому: «За маленькую измену „Знанию“ не сердитесь. И повесть я отдал „Совр[еменному] миру“, и VI т[ом] (состоящий из стихов и рассказов) продал „Общ[е-»

⁴⁷ Там же, 10-24/24.

⁴⁸ Там же, 10-24/45.

ственной] пользе“ потому только, что К[онстантин] П[етрович] не отвечает мне по полугоду» (стр. 45).

Формально со «Знанием» Бунин не порывал, и судьба издательства по-прежнему волновала его. Из писем Бунина к Горькому не исчезают настоячивые вопросы: «И как дела? Если что определится, — напишите, пожалуйста, очень меня все-таки огорчает судьба «Знания». Да и Вам нужен покой, хороший рабочий покой. Дай бог его Вам, желаю Вам всех благ с истинно братским чувством!» (стр. 48).

После опубликования «Деревни» и избрания Бунина в академики его литературная слава достигла зенита. Крупные дельцы-книгоиздатели начали охотиться за исключительным правом издания его сочинений, надеясь нажить на этом солидные барыши. Владелец книгоиздательства «Просвещение» Н. С. Цейтлин предложил Бунину условия, очень заманчивые на первый взгляд, но грозившие ему такой же кабалой, в какой некогда оказался Чехов у А. Ф. Маркса.

Как стало известно Бунину, Цейтлин начал переговоры также и со «Знанием», желая захватить дела издательства в свои руки. В конце ноября — начале декабря 1910 года предпринимчивый хозяин «Просвещения» посетил Капри, где встретился с Горьким и Пятницким. Пользуясь тяжелым материальным положением «Знания», он предложил перевести все работы в свои типографии, все книги «Знания» — в свой склад, организовать сбыт готовых книг на условиях, крайне выгодных для «Просвещения». Эти условия означали фактическое поглощение «Знания», при котором оно лишалось всякой самостоятельности. Предложение Цейтлина Горький отверг как неприемлемое, согласившись вести разговор с «Просвещением» только о сбыте залежавшихся книг с высокой коммерческой уступкой.

Тем временем Бунин, после многих сомнений и колебаний, решил принять предложенные ему условия. 20 ноября 1910 года он писал Пятницкому: «Многоуважаемый Константин Петрович, горячо, убедительно прошу Вас немедленно ответить мне, за какую цену Вы можете продать мне все экз[емпляры] моих сочинений (если считать на круг — их у Вас тысячи по 2 каждого тома). Я бы их выкупил для «Просвещения», которое дает мне довольно приличную сумму за право издавать меня в течение 10 лет. Сумма эта обеспечила бы и успокоила меня, дала бы возможность работать как следует — и поэтому еще раз прошу Вас помочь мне в этом и простить мне измену „Знанию“, на которую толкает меня нужда».⁴⁹

24 ноября Бунин отправил это письмо на Капри, одновременно протелеграфировав Горькому и Пятницкому о своем желании выкупить у «Знания» свои книги. Пятницкий ответил с Капри в тот же день:

«Многоуважаемый Иван Алексеевич! Сейчас получил Вашу телеграмму: „Хочу выкупить все свои книги. Какая цена?..“

Итак, Вы уходите, — вероятно в „Просвещение“.

Искренно жалею об этом, но не упрекаю.

О Вашей телеграмме немедленно переговорил с Алексеем Максимовичем.

Вы сами понимаете: Ваш уход для нас — не выигрыш. Тем не менее, мешать Вам, настаивать на своем формальном праве задержать новое издание — мы не намерены.

Если „Просвещение“ заинтересовано в том, чтобы выпустить новое издание поскорее, мы согласны на выкуп. Нужно только устроить так, чтобы „Знанию“ не пришлось платить за удобства „Просвещения“.

У нас установлена высшая норма уступки, которая допускалась лишь при очень крупных покупках. Это — 30%. По этой норме и может состояться выкуп.

Телеграмма с этим ответом уже послана Вам по адресу „Знания“.

Жму Вашу руку. Поклон Вере Николаевне.

Ваш К. Пятницкий».⁵⁰

При сложившихся обстоятельствах «Знание» уже не могло удержать Бунина. Но и «Просвещение», покупая у него авторские права на десять лет вперед, отнюдь не гарантировало его конечные материальные интересы. Познакомившись с Цейтлиным лично, Горький еще раз убедился в далеко идущей корыстности его расчетов и откровенно написал об этом Бунину: «Издав 200 тысяч Ваших книг, они, все равно, будут держать Вас в руках столько времени, пока Вы не сдадитесь окончательно. Иван Алексеевич — не ходите к ним, перетерпите года два-три, дайте еще две-три повести, и тот же Цейтлин заплатит Вам тогда втрое больше, чем предлагает теперь. Имейте в виду: Вы товар более выгодный в ближайшем будущем, чем Андреев теперь, да, да!.. Убедительно советую Вам — подержитесь, не продавайте» (стр. 54).

Мнение Горького сильно поколебало Бунина в его решении. За многие годы сотрудничества он привык доверяться практическому опыту Горького и его советам в литературных делах. Бунин и сам прекрасно понимал, что ни в одном издательстве он не получит той свободы действий и независимости, которые сохранялись за ним

⁴⁹ Там же, 11-1/80.

⁵⁰ Там же. Копировальные книги К. П. Пятницкого.

в «Знании». Получив вести о том, что «Знание», вопреки всем трудностям, не ликвидирует своих дел и что есть некоторые признаки оживления его работы, Бунин решил не сковывать себя золотыми цепями долгосрочных обязательств и соглашений.

17 декабря 1910 года он писал Горькому: «Переговоры с Цетлиным я прервал, от переговоров с „Шиповниками“, приезжавшими на днях в Москву торговаться со мною, уклонился. Бесконечно был бы рад расцвету „Знания“ — бесконечно!» (стр. 56).

Надеждам на новый расцвет «Знания» не суждено было сбыться, но более или менее нормальное функционирование издательства возобновилось. В марте 1911 года к редактированию сборников «Знания» был привлечен В. С. Миролюбов, опытный литератор, возглавлявший широко популярный в свое время «Журнал для всех».

В 1910—1911 годах в сборниках «Знания» появились «Жизнь Матвея Кожемякина» Горького, его пьесы «Чудаки» и «Васса Железнова», произведения Ив. Шмелева, С. Гусева-Оренбургского, Е. Милицыной, А. Черемнова и других писателей.

Бунин в эти годы в «Знании» не печатался, хотя по-прежнему оставался в нем своим человеком. Вернувшись из многомесячного плавания по южным морям и странам, он в мае 1911 года с упреком напомнил о себе С. П. Боголюбову: «Совсем Вы меня забыли, многоуважаемый Семен Павлович! И грешно, и несправедливо! — Давным-давно перестали посылать мне сборники. Сделайте милость — пришлите несколько новых».⁵¹

Возобновив переписку со «Знаньем», Бунин в августе 1911 года писал Горькому: «Получил несколько писем от Миролюбова, — он теперь в „Знании“ работает? — сообщает, что хотите Вы „Знание“ живой водой sprysнуть. Дай бог, дай бог! Я обещал рассказ для сборника, — когда только думаете выпускать его? И где Константин Петрович?» (стр. 62).

Осень и зиму 1911 года Бунин снова провел на Капри в тесном общении с Горьким. Все обстоятельства гибели «Знания» он пережил лично. Отвечая Телешову на его письмо, Бунин сообщал: «Привет твой Горькому передам. Бываем у него раза 3 в неделю, а то все сидим за работой».

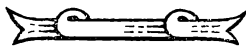
Пятничный, конечно, тут, а „Знание“ — между нами говоря — совсем гибнет: nelaды у него с Горьким».⁵²

Свое обещание дать для очередного сборника рассказ Бунин выполнил. В тридцать восьмом сборнике «Знания» за 1912 год рядом со сказкой Горького был напечатан один из лучших рассказов Бунина «Захар Воробьев». Это был последний эпизод его десятилетнего сотрудничества в «Знании». В том же 1912 году прекратились все отношения между «Знанием» и Горьким.

Из всей когорты лучших писателей «Знания» только Горький и Бунин прошли весь путь вместе и до конца.

Именно на знаниевскую эпоху падает полоса наиболее тесных и плодотворных отношений Горького и Бунина. Отсюда начинаются лучшие времена их писательской дружбы. «Вы истинно один из тех очень немногих, о которых думает душа моя, когда я пишу, и поддержкой которых она так дорожит» (стр. 77), — писал Бунин Горькому после испытанного временем десятилетнего сотрудничества по «Знанию».

Можно с уверенностью сказать, что вне «Знания», вне активного и непосредственного воздействия горьковских идей и взглядов дореволюционное творчество Бунина не достигло бы той социальной значимости, той силы и глубины реализма, которые выдвинули автора «Деревни» в число наиболее крупных русских писателей предоктябрьской эпохи. Точно так же без Бунина, без его регулярного сотрудничества лагерь прогрессивных писательских сил, собранных Горьким вокруг «Знания», лишился бы одной из наиболее ярких своих фигур, а вместе с тем и доли той популярности, которую приобрело «Знание» в годы своего расцвета.



⁵¹ Там же. Переписка «Знания». 10-24/50.

⁵² Рукописный отдел ИМЛИ, Н. Д. Телешов, ф. 1, № 1721. Письмо от 8 декабря (25 ноября) 1911 года.

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

ПЯТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЪЕЗД СЛАВИСТОВ

(СООБЩЕНИЯ УЧАСТНИКОВ СЪЕЗДА)

1

Пятый Международный съезд славистов, состоявшийся 17—23 сентября 1963 года в Софии, является важным событием в области славяноведения, в истории международного научного и культурного сотрудничества.

Руководитель советской делегации академик В. В. Виноградов, характеризуя работу съезда, отмечал: «По широте и разнообразию проблематики, по количеству докладов и сообщений (свыше 400), по численности и составу прибывших на него делегаций (гостей было свыше 1000 чел.) этот съезд превосходит прошлые международные съезды» («Работническо дело», София, 1963, 25 сентября).

Обширная и разнообразная тематика потребовала сложной организационной структуры съезда. Между тремя пленарными заседаниями (в начале и в конце съезда и одно, посвященное 1100-летию дела славянских просветителей Кирилла и Мефодия) работа проходила в пяти секциях: языковедение, литературоведение, литературно-лингвистические проблемы, народное творчество, историко-филологические проблемы.

В свою очередь, секции делились на подсекции. По литературоведению их было четыре: общие темы, славянские литературы до конца XVII века, славянские литературы в XVIII—XIX веках, современные славянские литературы.

По литературоведению было заслушано и обсуждено около 200 докладов и сообщений. Тематика докладов охватывала такие вопросы, как общие закономерности развития славянских литератур и особенности их проявления в отдельных литературах, взаимодействие славянских литератур и их связи с литературой других стран, творческие течения и творчество отдельных писателей и др. Много внимания было уделено историко-литературным и теоретическим проблемам реализма, формам его конкретно-исторического, национального и индивидуального выражения, его соотношениям с другими творческими методами и направлениями.

В литературоведческих докладах преобладал материал из русской литературы, и многие представители различных стран выступали на русском языке.

Все страны славянского мира объединены ныне великим делом строительства социалистических форм жизни, и естественно, что в программе славистического съезда достойное место нашли вопросы социалистического реализма, трактовавшиеся в широких исторических связях с художественными традициями прошлого и явлениями современной жизни.

Примечательно, что на пленарном заседании, открывавшем съезд, после вступительных и приветственных речей первым был заслушан доклад академика Тодора Павлова «Некоторые проблемы метода социалистического реализма в славянских и других литературах». Главная мысль доклада заключалась в характеристике социалистического реализма как исторически закономерной стадии в развитии мирового искусства и как наиболее объективного метода художественного познания действительности. Именно потому, подчеркивал докладчик, что искусство социалистического реализма правдиво, объективно верно отражает мир по законам красоты, оно является могучим средством общественного прогресса и воспитания человека.

Мое участие в заседаниях съезда было связано преимущественно с подсекцией современных славянских литератур. Поскольку я имел возможность наблюдать работу этой подсекции на протяжении всего съезда, могу сказать, что она оставила весьма положительное впечатление. Работа подсекции протекала активно, привлекала многочисленную аудиторию. Этому способствовало также авторитетное участие в заседаниях академика Тодора Павлова и писателя-академика Людмила Стоянова.

По современным славянским литературам было заслушано около 50 докладов и сообщений, по пять и более докладов сделано представителями Болгарии, Чехословакии, ГДР, Польши, Югославии. Из общего количества докладов не менее половины посвящено различным аспектам творческого метода социалистического реализма, его истории и теории.

Можно отметить некоторые особенности тематики, предложенной по славянским литературам XX века отдельными национальными делегациями. Так, например, наши польские коллеги отдали предпочтение темам, не затрагивающим непосредственно вопросов социалистического реализма. Скромное место заняли эти вопросы в выступлениях литературоведов Югославии. Что же касается докладов представителей Болгарии, ГДР, Чехословакии, то главное внимание в них уделено именно проблемам социалистического реализма. Эти доклады и их обсуждение составили, на мой взгляд, наиболее интересную часть программы подсекции современных славянских литератур.

Доклад проф. П. Зарева (Болгария) «К вопросу о современных творческих исканиях в социалистическом реализме» является плодотворной попыткой трактовать эстетический идеал, рассмотренный аналитически, в его реальном содержании и движении, как ядро художественного метода, как то организующее и движущееся начало, которое, исторически изменяясь в связи с изменением социальной жизни, эволюционируя, обогащаясь, вызывает соответственно изменения в творческих концепциях, в типе художественных обобщений, в художественных формах, во всей системе изобразительных средств. Вызывает сочувствие и широкий исторический подход П. Зарева к теоретическим проблемам литературы социалистического реализма. И в самом деле. Если мы признаем (разумеется, что имеются в виду те, кто это признает) концепцию социалистического реализма самой перспективной и в конечном счете единственно перспективной, то эта концепция может стать научно доказательной только при условии, если она опирается на факты и закономерности длительного исторического развития общества и художественного мышления.

Но признавая доклад П. Зарева весьма ценным по содержанию и исследовательской тенденции, нельзя не заметить, наряду с этими сильными сторонами, и некоторых его слабых, даже уязвимых пунктов. К ним следует отнести прежде тезис о художественной эффективности модернистской стадии в творческом движении некоторых писателей к социалистическому реализму. И, конечно, весьма субъективной является предложенная докладчиком характеристика творчества В. Аксенова и А. Солженицына как нового этапа в развитии социалистического реализма.

В докладе Кр. Генова (Болгария) «Романтика и романтический тип художественного обобщения в пролетарской и социалистическо-реалистической литературе» выдвинута идея о «двухэтапном» развитии социалистического реализма: движение от революционного романтизма к социалистическому реализму. Но хотя такой путь действительно характерен для ряда писателей, все же не следует придавать ему всеобщее значение, к чему склоняется докладчик. Эта «двухэтапность» вовсе не характерна в нашей литературе для таких, например, писателей, как М. Горький, Серафимович, Демьян Бедный.

Важные проблемы были освещены также в докладах проф. С. Русакиева «Роль Октябрьской революции и русской советской литературы в развитии положительного героя в болгарской литературе» и А. Тодорова «Влияние идей социализма на некоторых болгарских писателей».

Примечательной особенностью докладов славистов из ГДР является то, что они были посвящены почти исключительно советской литературе. В них шла речь о романе-эпопее в социалистическом реализме в связи с творчеством А. Толстого (Х. Юнгер) и о проблеме положительного героя в социалистической сатире в связи с комедиями Маяковского «Клоп» и «Баня» (Г. Шауманн); о воспитательной силе советской литературы (В. Бейтц) и о роли И. Бехера в установлении немецко-советских литературных отношений (Л. Вейс); об интерпретации героя русского современного романа в Западной Германии (А. Хирше) и о других вопросах. Как правило, эти доклады отличались идейной принципиальностью, определенностью отправных методологических позиций, прекрасным знанием конкретного материала и последовательностью логического развития суждений.

На заседаниях подсекции современных славянских литератур не было выступлений противников социалистического реализма, и дискуссия протекала в пределах дружеских споров сторонников нашего творческого метода. Горячие споры вызвали вопросы об отношении метода социалистического реализма к другим творческим методам и литературным направлениям (критическому реализму, романтизму, модернизму) и о понимании художественного многообразия искусства социалистического реализма.

И в этом смысле наиболее дискуссионными были некоторые доклады славистов из Чехословакии. В своем роде они были весьма интересны. В них заметно обнаруживается стремление исследователей к теоретической глубине и философскому освещению вопросов социалистического реализма, проявляется большой интерес к проблеме многообразия творческих индивидуальностей, художественных форм и стилей. Таков, например, доклад М. Дрозды, И. Франека, З. Матгаузера «Социалистический реализм как художественный метод советской литературы». И вместе с тем в докладе наблюдается тенденция генетически связывать новаторские художественные особенности литературы социалистического реализма с некоторыми модернистскими течениями XX века. Излишне акцентируя использование, ассимилирование социалистическим реализмом «достижений» нереалистических течений, авторы тем самым умаляют твор-

чество новых форм собственно на почве реализма в его самостоятельном историческом движении и развитии.

Не был, на мой взгляд, верным по своей основной тенденции доклад О. Бартоша «О гротескной сатире в славянских литературах XX столетия». Докладчик предпринял попытку доказать, что гротеск составляет основную специфическую черту сатиры вообще и сатиры современной в особенности. В гротеске прежде всего усматривает докладчик главную силу сатиры в социалистическом реализме и с гротеском связывает перспективы ее развития. Эта особенность доклада нашего чехословацкого коллеги восходит к довольно распространенным и у нас и в зарубежном литературоведении попыткам преувеличить роль условных художественных форм и, в частности, гротеска в реалистическом искусстве. И именно те, кто следует по этому пути, нередко приходят к субъективистскому стиранию границ между реализмом и модернизмом.

Оживленные споры вызвал содержательный доклад проф. М. Новикова (Румыния) «Эстетические проблемы социалистического реализма и современные славянские литературы». Доклад оставляет общее благоприятное впечатление стремлением автора прояснить и развить понимание литературы социалистического реализма как искусства. М. Новиков выступает против еще не до конца изжитого взгляда на искусство как образно-иллюстративное оформление идейного содержания. Но разделяя пафос докладчика в защите эстетической специфики литературы социалистического реализма, вместе с тем приходится признать, что порой это стремление переходит за свои разумные пределы и превращается в спецификаторское увлечение. В частности, это нашло свое выражение в следующем тезисе: «В странах, в которых победил социализм, литературе нет необходимости принимать на себя и задачи других областей идеологической борьбы». В контексте доклада прямой смысл этого тезиса ослаблен, смягчен более тонким предшествующим и последующим движением мысли, но тем больше оснований считать, что приведенная формулировка не является достаточно удачной и вполне соответствующей убеждениям автора, который, как это и вытекает из его доклада, отстаивает марксистское понимание общественной роли искусства.

Можно сказать так: литературе социалистического реализма как виду искусства подвластна вся безграничная сфера интеллектуальной жизни; свою эстетическую специфику она утверждает не сокращением этой сферы до узко эстетических задач, а эстетическим освоением идеологических задач на всем их пространстве.

Совершенно справедливым было замечание проф. М. Новикова о том, что «иногда в высказываниях некоторых критиков как реакция против догматической узости проявляется и тенденция к такому расширению сферы социалистического реализма, при которой, охватывая все, он перестает существовать как таковой».

Хорошо были приняты доклады советских литературоведов, сотрудников Института славяноведения: В. И. Злыднева — «К истории русско-болгарских литературных связей XX века» и Д. Ф. Маркова — «Формирование социалистического реализма в литературах южных и западных славян (к вопросу об общих закономерностях процесса)». В частности, доклад активного исследователя болгарской литературы проф. Д. Ф. Маркова получил высокую оценку в целом ряде выступлений.

К сожалению, от советской делегации были заслушаны в подсекции современных славянских литератур только эти два доклада, разработанные на материалах других славянских литератур. Докладчик же о социалистическом реализме в русской советской литературе наша делегация не выдвинула. И это следует считать нашей серьезной недоработкой. Положение было исправлено активным участием некоторых советских делегатов в дискуссии по проблемам социалистического реализма.

В общем, по моему убеждению, теоретическая и историко-литературная трактовка проблем социалистического реализма на V Международном съезде славистов носила более разносторонний, более живой и творческий характер, нежели на предыдущем IV съезде. Это свидетельствует как о растущем международном признании искусства социалистического реализма, так и о повышении интереса к его научному изучению.

На заключительном пленарном заседании председатель Международного комитета славистов академик Вл. Георгиев подвел краткие итоги шестидневной работы съезда. Значение съезда состоит прежде всего в широкой научной информации о том, что делается ныне на всем фронте международной славистики, в подведении итогов и определении перспектив славистических исследований, а также в дальнейшем укреплении научных контактов между славистами различных стран.

Новая международная встреча славистов показала, что работами советских филологов интересуются наши зарубежные коллеги; в свою очередь и нам есть чему поучиться у них. Растущее взаимопонимание, развитие коллективного начала в исследовании актуальных проблем науки обещает хорошие перспективы. Успешной работе съезда благоприятствовала большая подготовительная научно-организационная работа, осуществленная Международным комитетом славистов, лично его председателем академиком Вл. Георгиевым и нашими болгарскими коллегами, а также то теплое гостеприимство, которое было оказано широкой болгарской общественностью гостям во все дни их пребывания в Болгарии.

Все это, однако, не исключает и некоторых недочетов в работе съезда. К ним следует в первую очередь отнести чрезмерное обилие докладов и в их числе наличие

докладов на мелкие, частные темы, что расплывало внимание участников и не давало возможности надлежащим образом обсудить вопросы наиболее важные.

Принято решение провести следующий VI Международный съезд славистов в 1968 году в Праге. В связи с этим председателем Международного комитета славистов на предстоящее пятилетие, т. е. на период подготовки и проведения очередного съезда, избран академик Б. Гавранек (Чехословакия). В своей речи на заключительном пленарном заседании академик Б. Гавранек высказал пожелание, чтобы на очередном съезде было представлено меньше докладов и было больше уделено внимания крупным методологическим проблемам славяноведческой науки.

А. Б. У. Ш. М. И. И.

2

На всей работе V Международного съезда славистов, как мне представляется, благотворно сказались два обстоятельства.

Первое из них — те очевидные и большие успехи в развитии литературной мысли и филологической науки стран социалистического лагеря, которые являются отражением нового этапа в развитии этих стран, связаны с преодолением культа личности и его пережитков. Большая работа, проделанная КПСС, другими коммунистическими и социалистическими партиями по искоренению догматизма в науке, подняла научную мысль социалистических стран на новую ступень, способствовала широкой и смелой творческой постановке вопросов славянской филологии в докладах советских ученых, ученых Польши, Чехословакии, Венгрии, Румынии, Болгарии, ГДР. Благодаря этому доклады их явились на съезде ведущими, привлекли к себе наибольшее научное и общественное внимание.

Второе политическое обстоятельство, оказавшее огромное благотворное влияние на работу съезда, — это заключение московского договора о запрещении атомных испытаний в атмосфере, космосе и под водой. Московский договор способствовал смягчению напряженности в отношениях между странами, оздоровлению международной обстановки, — и это все время чувствовалось на съезде.

Особенностью Софийского съезда по сравнению с предыдущим IV съездом в Москве было то, что в центре внимания на нем находились вопросы не столько древней, сколько новой и новейшей истории и литературы славянских народов — вплоть до проблем современной социалистической культуры. Именно этим вопросам была посвящена наибольшая часть докладов, прочитанных в литературоведческих секциях.

Естественно, что меня больше всего интересовали доклады на темы новой русской литературы. Доклады эти охватывали очень широкий круг вопросов. Среди прочитанных (а также изданных к съезду) докладов были доклады о творчестве Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Белинского, Герцена, Гончарова, Чернышевского, Писемского, Щедрина, Достоевского, Льва Толстого, Чехова. Некоторые доклады и сообщения были посвящены более второстепенным деятелям русской культуры XIX века — П. А. Вяземскому, Н. М. Языкову, Ап. Григорьеву (последний доклад не был прочитан, но тезисы его опубликованы). Наконец, в ряде докладов были затронуты вопросы общего характера: проблема закономерностей развития русской литературы XIX и XX веков (доклад члена-корр. АН СССР Д. Д. Благого), знакомство с русской литературой и влияние ее в других славянских странах (доклад проф. У. Эджертона; Индиана, США), воздействие русской революционно-демократической мысли и русского романа на общественную мысль, критику и литературу других народов — как славянских, так и неславянских (доклады Н. Е. Крутиковой (СССР), Г. Димова (Болгария), Т. Гане, А. Ковача, Т. Николеску (Румыния) и др.). Таким образом, круг вопросов, поднятых в докладах о литературе XIX века, был очень широк. Они отчетливо свидетельствовали об огромном, незатухающем интересе к русской классической литературе во всем мире.

Во многих докладах, прочитанных на съезде, отразилось несходство идеологических позиций ученых социалистических стран и представителей буржуазной науки, обнаружилось различие их общеполитических и методологических принципов. Поэтому обсуждение некоторых докладов приобрело характер весьма острой и полезной научной дискуссии. Дискуссия эта протекала в спокойной, деловой обстановке, но это не мешало ее большой страстности и принципиальности.

Подобную дискуссию вызвал, например, упомянутый уже доклад руководителя американской делегации проф. У. Эджертона «Проникновение русской литературы XIX века в другие славянские страны». Проф. Эджертон внимательно учел в докладе ряд исследований советских и других ученых славянских стран, изучавших пути распространения и влияние русской литературы XIX века за рубежом, — и это нужно считать весьма положительным фактом. Но в освещении этого материала он привнес долю предвзятости и даже политической тенденциозности. Они проявились в стремлении приуменьшить знакомство с русской литературой в западно- и южнославянских странах до 80-х годов XIX века, в игнорировании роли революционно-демократического движения и его представителей в формировании межславянских культурных и литературных связей, в стремлении противопоставить друг другу пути развития польской и русской литератур, в затуманивании объективных исторических законо-

мерностей, обусловивших мировой резонанс русского художественного слова, и преувеличении значения личного почина М. де Вогюэ в деле пропаганды русской литературы за рубежом. Все эти утверждения докладчика были подвергнуты в прениях обоснованной и принципиальной критике.

Другим примером острой идеологической дискуссии, вспыхнувшей на съезде, может служить обсуждение доклада французского толстоведа Н. Вейсбейна (Лилль) «Два источника мысли Толстого: христианство и социализм». В этом обсуждении, наряду с другими советскими и болгарскими учеными, довелось принять участие и мне. Проф. Н. Вейсбейн (автор исследования о религиозной философии Толстого), игнорируя конкретное социальное содержание религиозного «учения» Толстого, его связь с настроениями крестьянства в пореформенную эпоху, стремился доказать, что главным источником критики общества в произведениях Толстого было христианство. Последнее докладчик рассматривал внеисторически — как нечто неразвивающееся, неподвижное и всегда равное самому себе. Такая метафизическая, внеисторическая трактовка и общественных идеалов Толстого, и христианства вызвала у всех выступавших в прениях единодушный отпор. Характерно, что убедительная критика доклада Н. Вейсбейна побудила и У. Эджертона высказать о нем ряд критических замечаний.

Из трех докладов иностранных ученых, специально посвященных Пушкину, наиболее интересным мне показался доклад У. Викери (США) «Параллелизм в литературном развитии Байрона и Пушкина». Полемизируя с традиционным истолкованием в западноевропейском литературоведении термина «байронизм», У. Викери отметил, что Байрон испытал в ходе своего развития определенную эволюцию. В этой эволюции докладчик выделил три основные этапа: период преодоления влияния классицизма и формирования собственного поэтического стиля, период «восточных» поэм и, наконец, период философских драм и «Дон-Жуана», когда романтическая система Байрона осложняется более глубокими (в том числе — реалистическими) тенденциями. Этот исторический подход к творчеству Байрона позволил докладчику поставить вопрос о закономерном параллелизме общего хода эволюции Байрона и Пушкина, проявившемся при всем национальном и индивидуальном различии между ними (недостаточно акцентированном докладчиком). Второй американский доклад о Пушкине — доклад Д. Т. Шоу «Пушкинский Феофилакт Косичкин: проблема вымышленного лица в журналистике» — носил компилятивный характер и не внес ничего нового в изучение этой темы. В содержательном докладе Г. Рааба (ГДР) была обрисована картина борьбы вокруг восприятия Пушкина в Германии.

Среди докладов, посвященных лермонтовской тематике, следует выделить интересный, хотя местами и спорный доклад В. Велчева (Болгария) «Трагедия гордого искания познания, свободы и творчества. К идейной проблематике поэмы М. Ю. Лермонтова „Демон“».

Большое место на съезде — и это следует всемерно приветствовать — заняли доклады, посвященные русским революционным демократам, в особенности — Белинскому, Герцену и Чернышевскому. Вопросу о воздействии наследия русских и украинских революционных демократов на литературу и критику других славянских народов было посвящено специальное заседание съезда, собравшее около 200 участников. На нем было прочитано четыре доклада: члена-корр. АН УССР Е. П. Кирилюка, Г. М. Фридендера, Т. Гане (Румыния) и Г. Димова (Болгария). Докладчиками и всеми выступавшими в прениях было отмечено огромное общеславянское значение наследия русских революционных демократов и подчеркнута его роль в современной социалистической культуре. Ранним автобиографическим страницам Герцена, опубликованным в академическом издании его сочинений, был посвящен содержательный доклад проф. А. Гранжара (Франция). О новых важных фактах, раскрывающих значение идей Герцена в умственной жизни Германии 50-х годов, и о его первой попытке основать за рубежом в Штутгарте в 1850 году вольную русскую типографию сообщил Г. Цигенгейст (ГДР). С интересом был выслушан также доклад М. Вегнера (ГДР) «Чернышевский и Герман Геттнер», в котором сделана попытка показать ряд сходных черт в развитии Чернышевского и немецкого историка литературы Г. Геттнера, обусловленных близостью задач, стоявших перед демократической мыслью, общностью социально-исторических путей развития России и Германии в период подготовки буржуазно-демократической революции.

Наряду с докладами, посвященными Белинскому, Герцену, Чернышевскому, меня особенно интересовали доклады о творчестве Достоевского. Всего их было прочтано четыре (пятый доклад, опубликованный к съезду, — доклад американского ученого Р. Мэтлоу на малозначительную, по-моему, тему — о влиянии Достоевского на политические романы Д. Конрада на съезде зачитан не был). Из состоявшихся докладов нужно выделить темпераментный доклад акад. Бр. Крефта (Югославия), стремившегося подчеркнуть воздействие на Достоевского идей утопического социализма. Д. Гришин (Австралия) в докладе «Достоевский и славянство» дал сводку суждений Достоевского по славянскому вопросу, изложенных в «Дневнике писателя», без сколько-нибудь глубокой научной интерпретации и анализа этих суждений в свете конкретной исторической обстановки и общественно-политической борьбы в России 70-х годов. Доклад проф. И. М. Мейера (Голландия) был посвящен философской проблематике «Бесов», в особенности — вопросу о соотношении «слова» и «дела»

в понимании Достоевского и его персонажей. Освещая этот вопрос, И. М. Мейер стремился перенести его рассмотрение по преимуществу в плоскость «имманентного», формального анализа, отделяя философскую и эстетическую проблематику «Бесов» от общественно-политической. Этот узкий подход не позволил докладчику дать общей историко-литературной оценки романа, раскрывающей его идейную и художественную противоречивость и его место в эволюции Достоевского. Э. Краг (Норвегия) в докладе «Несколько замечаний по поводу стиля Достоевского» поделился со слушателями накопившимися у него наблюдениями над стилем и языком великого русского романиста и попытался наметить первичную историко-литературную классификацию отмеченных им явлений (влияние гоголевского стиля, пользование фамильярными и народными выражениями, повторы, скрытые цитаты и т. д.).

Как видно из краткой характеристики перечисленных докладов, некоторые из них были посвящены довольно узким и частным вопросам. Это относится в особенности к докладам ряда ученых из буржуазных стран Западной Европы и США. Доклады на такие мелкие и частные темы было бы, пожалуй, целесообразнее изложить в виде статей в периодической печати, а не выносить на международный съезд, так как по самому своему характеру темы их не могли вызвать большого интереса, а сами доклады — послужить поводом для широкого, плодотворного обмена мнений ученых разных стран.

Несмотря на некоторую перегруженность докладами, число которых на будущих съездах, по общему мнению, целесообразно несколько сократить, съезд прошел организованно; в этом — большая заслуга Болгарского комитета славистов. Особенно тронул нас, советских делегатов, теплый и сердечный прием болгарской общественности и всего населения Болгарии — мужчин и женщин, взрослых и детей. Одно из ярких впечатлений съезда — большой, воодушевляющий рост болгарской социалистической науки и культуры, продемонстрированный в многочисленных, острых и интересных докладах и выступлениях болгарских товарищей. Увлекательная поездка по стране, которой завершилось наше пребывание на съезде, позволила нам еще ближе познакомиться с жизнью и трудом болгарского народа — народа, умеющего великолепно сочетать бережное отношение к историческим памятникам, художественным и культурным сокровищам прошлого с живой, энергичной и плодотворной работой для настоящего и будущего.

Г. ФРИДЛЕНДЕР

3

Правильное представление о месте, которое заняла на V съезде славистов русская литература XVIII века, можно составить только в том случае, когда понятие «V съезд» мы примем в расширительном значении, т. е. будем иметь в виду не одни лишь прочитанные на нем доклады, но и всю соответствующую литературу, которая к этому моменту была издана различными национальными комитетами славистов.

К сожалению, ни в «Вопросах для научной анкеты», предложенных Международным комитетом славистов, ни, следовательно, и в сборнике «Славянская филология. Отговоры на научные вопросы», изданном Болгарским комитетом, никаких материалов, интересных для изучения литературы XVIII века, не содержится. Вина за это ложится прежде всего на нас: мы не отнесли своевременно и с должным вниманием к составлению вопросов по своему разделу и не сумели предложить ничего такого, что могло бы заинтересовать Международный комитет и побудить его включить намеченные нами темы в научную анкету. Вывод, который должны мы сделать для себя, состоит в том, что к составлению вопросов для научной анкеты VI съезда советские литературоведы, изучающие литературу XVIII века, должны будут отнестись с подобающей серьезностью.

К съезду было выпущено два специальных сборника по литературе XVIII века, один — изданный Институтом русской литературы (Пушкинский дом) — «Русская литература XVIII века и славянские литературы» под редакцией моей и И. З. Сермана, другой — литературоведами ГДР — «Литературные течения в русской литературе XVIII века» под редакцией докторов Х. Грасхофа и У. Лемана.¹

Появление только двух сборников, посвященных данной теме, неслучайно: русская литература XVIII века изучается специально лишь у нас и в Институте славистики Германской Академии наук. В других странах изучением литературы XVIII века занимаются в основном — как было раньше и у нас — специалисты либо по древнерусской литературе, либо по литературе XIX—XX веков.

За недостатком места я не стану подробно характеризовать названные сборники и ограничусь сообщением основных сведений о них.

В предисловии к сборнику «Русская литература XVIII века и славянские литературы» указывается, что, как можно судить по итоговым материалам IV и предварительным материалам V Международного съезда славистов, одной из самых актуальных проблем славянского литературоведения в настоящее время является изучение

¹ Studien zur Geschichte der russischen Literatur des 18 Jahrhunderts. Redaktion H. Grasshoff, U. Lehmann. Berlin, Akademie-Verlag, 1963, 187 S. (Материалы конференции в Берлине, декабрь 1959 года).

процесса взаимообобщения славянских литератур. Наименее разработаны как раз материалы, относящиеся к XVIII веку. Сборник представляет попытку наметить проблематику изучения этих материалов и вводит в научный оборот ряд новых фактов.

Сборник литературоведов ГДР посвящен проблеме литературных направлений в русской литературе XVIII века и представляет доклады, прочитанные на конференции, состоявшейся в Берлине в декабре 1959 года. Д-р Х. Грасхоф опубликовал здесь статью теоретического характера «Роль литературных направлений в литературной науке». Болгарский академик проф. Эмиль Георгиев выступил со статьей «Воздействие главных направлений русской литературы XVIII века на южнославянские литературы». Бесспорный интерес представляют и остальные статьи сборника.

Кроме этих коллективных изданий, к съезду было опубликовано несколько статей, имеющих отношение к русской литературе XVIII века, в славяноведческих журналах и в специальных сериях докладов.

Литературоведы ГДР и здесь обнаружили большую активность и научную заинтересованность: в органе славистов ГДР «Zeitschrift für Slawistik» в трех из пяти, посвященных съезду, выпусков напечатаны статьи на темы русской литературы XVIII века. Это доклады д-ра Х. Грасхофа «О роли сентиментализма в историческом развитии русской и западноевропейской литературы»² и д-ра У. Лемана «Заметки о признаках русского классицизма»,³ а также статья д-ра П. Гофмана «Проблемы перехода от просветительства к революционной тематике в творчестве А. Н. Радищева».⁴

Первые две статьи были представлены на V съезде в качестве докладов, но состоялся только один — д-ра Х. Грасхофа (о нем см. ниже), так как второй докладчик в Софию не приехал.

Статья д-ра У. Лемана ставит своей задачей показать некоторые характерные черты русского классицизма в их отношении к классицизму западноевропейскому. Первый такой признак автор видит в гражданственно-патриотическом характере русского классицизма; далее, опираясь на суждения Белинского об «идеальном» и «критическом» (сатирическом) направлениях в русской литературе XVIII века, д-р Леман считает, что последнее направление представляет не только более самостоятельную, но и более интересную в культурно-политическом отношении сторону русского классицизма. Наконец, основная — демократическая — тенденция русского классицизма XVIII века, по мнению автора, образует характернейшую особенность этого направления в России.

При большой осведомленности д-ра Лемана в литературе вопроса (он цитирует около 35 источников) огорчительно, что от его внимания ускользнула «Русская литература XVIII века» (М., 1939) Г. А. Гуковского, где перечислены все те же признаки, однако с большей четкостью и научной точностью. Кроме того, нельзя, на наш взгляд, давать суммарное определение «русского классицизма» и тем более «западно-европейского классицизма», не учитывая того, что и в России, и в Западной Европе в литературе шла в XVIII веке (как всегда и везде в классовом обществе) то более, то менее острая классовая борьба и что литературные течения использовались в интересах разных социальных групп, а не являлись прерогативой какой-либо одной. Особенно огорчительно то, что литературоведы ГДР, занимающиеся изучением русской литературы XVIII века, все время оперируют понятием «западно-европейский классицизм» (д-р Леман), «западно-европейская литература» (д-р Грасхоф) и т. д., оставляя без внимания, с одной стороны, национальные особенности немецкой, французской, английской и других литератур XVIII века, а с другой, то, что и немецкий (и всякий другой) классицизм внутренне неоднороден и противоречив и не образует «единого потока».

В связи со сказанным отмечу следующее. В отчете о берлинской конференции 1959 года, посвященной литературным направлениям в русской литературе XVIII века, д-р Леман приводит часть выступления одного из самых замечательных современных литературоведов — специалистов по XVIII веку, немецкого академика Вернера Краусса: «При выяснении таких понятий, как „классика“, „ранний классицизм“ и „классицизм“, необходимо учитывать особенности каждого в отдельности национально-литературного развития и не переносить схематически то, что свойственно одному, на другое».⁵ Жаль, что эти методологически важные предупреждения маститого ученого не были приняты д-ром Леманом во внимание.

Статья д-ра П. Гофмана «Проблемы перехода от просветительства к революционной тематике в творчестве А. Н. Радищева» остро и свежо ставит вопрос, уже отчасти поднимавшийся советскими литературоведами (Г. А. Гуковский, Г. П. Мако-

² H. G r a s s h o f f. Zur Rolle des Sentimentalismus in der historischen Entwicklung der russischen und westeuropäischen Literatur. «Zeitschrift für Slawistik», Jg. VIII, 1963, H. 4, SS. 558—570.

³ U. L e h m a n n. Bemerkungen über die Kennzeichen des russischen Klassizismus. «Zeitschrift für Slawistik», 1963, H. 6, SS. 917—923.

⁴ P. H o f f m a n n. Probleme des Übergangs von der Aufklärung zu revolutionären Thematik im Schaffen A. N. Radiščevs. «Zeitschrift für Slawistik», 1963, H. 3, SS. 424—434.

⁵ «Zeitschrift für Slawistik», B. V, 1960, H. 2, S. 315.

гоненко и др.). Новизна постановки вопроса заключается в том, что д-р Гофман обращает внимание на круг читателей, к которым направлена книга Радищева. По мнению автора, особенности построения «Путешествия из Петербурга в Москву» объясняются тем, что произведение было обращено «к разнородному кругу читателей», преимущественно к представителям либеральной, фрондирующей знати и к просвещенным слоям городских разночинцев. «Если мы примем во внимание, для кого писал Радищев свою книгу, — утверждает д-р Гофман, — тогда концепция произведения и его композиция станут нам понятны. Труд Радищева целиком принадлежит Просвещению, но в то же время с помощью критики просветительской идеологии на материале русской действительности приводит к выводам, выходящим за пределы Просвещения» (стр. 433).

Не останавливаясь на других положениях этой безусловно интересной статьи, замечу, что с некоторыми формулировками главной мысли автора я согласиться не могу. Во-первых, мне кажется, что в вопросе о «воображаемом читателе» Радищева д-р Гофман несколько модернизирует положение вещей. Едва ли могла вставать перед Радищевым, как и вообще перед любым писателем XVIII века, «проблема читателя» в такой социологизированной форме, как это представляется современному исследователю. Во-вторых, никак не могу признать положения автора, что концепция произведения может зависеть от будущей читательской аудитории (другое дело — композиция, язык и т. д.). Наконец, в-третьих, если д-р Гофман уже в заглавии статьи говорит о «переходе от Просвещения к революционной тематике в творчестве Радищева», странным представляется тезис о том, что «труд Радищева целиком принадлежит Просвещению».

В очередном 42-м томе «Revue des Études Slaves» (1963) напечатаны три статьи, относящиеся к нашей тематике: блестящее исследование академика А. Мазона о Пьере-Шарле Левеке, авторе «Истории России» и «Истории разных народов, находящихся в подданстве у русских» (1782),⁶ не менее интересный этюд Л. С. Гордона (Пермь) «Габриэль-Франсуа Куайэ и его труд в России»⁷ и публикация трех писем князя Александра Белосельского, принадлежащая А. Безансону.⁸

Для изучающих русскую литературу XVIII века Левек интересен тем, что был одним из первых европейских ученых, сообщивших широкому кругу читателей более или менее систематические сведения о русской литературе, преимущественно нового периода. К суждениям французского историка прислушивались в России не только в XVIII, но и в начале XIX века: в 1807 году в «Вестнике Европы» была помещена статья «Мнение Левекова о российской словесности» (№ 10, стр. 114—118). К сожалению, в статье академика А. Мазона этой стороне деятельности Левека почти не уделено внимания (стр. 49).⁹

Л. С. Гордон, так много сделавший для изучения «плебейского крыла» во французском Просвещении, в новой статье не только сообщил сведения о труде аббата Куайэ, которого переводил Д. И. Фонвизин, но и установил, что известные статьи в журнале «Смесь» (1769) — «Речь о существе простого народа» и «Письмо настоящего камчедала» — представляют переводы-переработки из произведений того же французского писателя.

В материалах, подготовленных к съезду другими национальными комитетами, заслуживают внимания статьи-доклады проф. Славомира Вольмана «Основные проблемы драмы в славянских литературах XVIII и XIX веков»¹⁰ и проф. Здзислава Либеры «Основные проблемы культуры и литературы польского Просвещения в свете исследований последних лет».¹¹ В обоих докладах содержится много полезных наблюдений над материалами русской литературы XVIII века. Доклад проф. Либеры был прочтен блестяще.

В сборнике «Американские доклады к V Международному съезду славистов» напечатана статья Г. Мак-Лина «Судьбы английской комедии в России XVIII века: „Галатерейная лавка“ Доделая и „Щепетильник“ Лукина».¹² Это — единственная

⁶ André M a z o n. Pierre-Charles Levesque humaniste, historien et moraliste. «Revue des Études Slaves», t. 42, 1963, pasc. 1—4, pp. 7—66.

⁷ L. S. G o r d o n. Gabriel-François Coyer et son oeuvre en Russie. «Revue des Études Slaves», t. 42, 1963, pasc. 1—4, pp. 67—82.

⁸ Alain B e s a n ç o n. Un néo-classique russe: à propos de trois lettres du prince Alexandre Beloselski. «Revue des Études Slaves», t. 42, 1963, pasc. 1—4, pp. 83—95.

⁹ О Левеке как историке русской литературы см. мои статьи: «Изучение русской литературы иностранцами в XVIII веке» («Язык и литература», вып. V (1930), стр. 117—119) и «Изучение русской литературы во Франции» («Литературное наследство», т. 33—34, 1939, стр. 726—727 и 761).

¹⁰ Základní problémy dramatu v slovanských literaturách XVIII a XIX století. «Československé přednášky pro V Mezinárodní sjezd slavistu v Sofii». Praha, 1963, str. 223—232.

¹¹ Główne problemy kultury i literatury polskiego Oświecenia w świetle ostatnich badań. «Z polskich studiów slawistycznych». Seria druga, Warszawa, 1963, str. 57—75.

¹² Hugh M c L e a n. The Adventures of an English Comedy in Eighteenth-Century Russia: Dodsley's Tog Shop and Lukin's Ščepetilnik. «American Contributions to the Fifth International Congress of Slavists. Sofia, 1963». The Hague, 1963, pp. 201—212.

статья, которая, при мизерности содержания («открытие» автора состоит в том, что комедия Доделей представляет переработку комедии английского драматурга XVII века Томаса Рандольфа «Остроязычный коробейник»), неверно информирует о состоянии советского литературоведения. Объявленное в программе съезда сообщение Мак-Лина на тему статьи не состоялось за неприездом автора.

Таким образом, всего докладов по русской литературе XVIII века на съезде состоялось два: мой — «Русская литература XVIII века и другие славянские литературы XVIII—XX веков» и д-ра Х. Грасхофа — «О роли сентиментализма в русской и западноевропейской литературе».

Основной тезис последнего доклада состоит в том, что и классицизм, и сентиментализм, и зарождавшийся реализм в XVIII веке были разными стилевыми формами проявления идеологии Просвещения. Обоснован этот тезис докладчиком достаточно обстоятельно и с привлечением интересных материалов. Несомненно, работа д-ра Грасхофа в дальнейшем будет учитываться специалистами, но хотелось бы против кое-чего возразить. Кроме замечаний, сделанных выше по поводу статьи д-ра У. Лемана и в значительной степени относящихся и к докладу д-ра Грасхофа, я хотел бы прибавить, что постановку темы в данной работе было бы правильно связать с тем, что было сказано по поводу доклада проф. Э. Винтера на IV съезде славистов («Просвещение в истории литературы славянских народов».¹³ А главное — сейчас целесообразно в корне пересмотреть ходячие представления о всяких «измах» XVIII века — «классицизме», «сентиментализме» и т. д.

Несмотря на небольшое количество работ по русской литературе XVIII века, подготовленных к съезду, значение их велико и в дальнейшем будет плодотворно сказываться в наших изучениях. В то же самое время нельзя не пожалеть, что сильная группа польских литературоведов, занимающихся изучением русской литературы XVIII века (проф. В. Якубовский, д-р Р. Лужный, д-р Ф. Селицкий, Паулина Левин и др.), на этот раз ничем не порадовали нас.

П. БЕРКОВ

4

Славянским литературам до XVII века включительно было уделено большое внимание на V Международном съезде славистов. Доклады на эту тему читались не только на соответствующей литературоведческой подсекции, где повестка дня была заполнена до предела, но и на литературно-лингвистической, лингвистической и историко-филологической секции. Ряд докладов, посвященных древнерусским и древнеславянским темам (например, доклад датского слависта Нерретрандеса «Концепция власти у Ивана Грозного»), происходил вне литературоведческой секции, так что делегаты-литературоведы даже не имели возможности принять участие в их обсуждении.

Советскими делегатами был прочитан ряд докладов по истории русской и других славянских литератур до XVII века. Академик Украинской Академии наук Н. К. Гудзий прочел доклад «Традиции литературы Киевской Руси в старинных украинской и белорусской литературах». Идея преемственности в развитии восточнославянских литератур, выраженная в докладе, имеет большое значение в связи с популярными за рубежом националистическими теориями абсолютной обособленности культур отдельных восточнославянских народов. Доклад привлек большое внимание делегатов съезда и вызвал много сочувственных выступлений.

Оживленные прения вызвал доклад члена-корр. АН СССР Д. С. Лихачева «Система литературных жанров древней Руси», в котором был поставлен вопрос о взаимозависимости жанров в определенные эпохи.

Отражение восточноевропейской и, в частности, русской тематики в драме испанского Ренессанса (Лопе де Вега и др.) было рассмотрено в докладе старшего научного сотрудника Института мировой литературы Н. И. Балашева.

Старший научный сотрудник Института мировой литературы А. Н. Робинсон посвятил свой доклад проблемам типологической близости памятников болгарской и русской письменности XVII—XVIII веков, подчеркнув, в частности, роль и место основоположника новой болгарской литературы Паисия Хиляндарского, двухсотлетний юбилей которого недавно был отмечен в Болгарии. Вопросам типологической близости в развитии русской и западнославянских литератур XV—XVI веков был посвящен также доклад и старшего научного сотрудника Института русской литературы (Пушкинский дом) Я. С. Лурье «О судьбах переводной беллетристики в России и у западных славян XV—XVI веков». Выступившие по докладу слависты ГДР и Польши поддержали основные тезисы докладчика, указав на важность исследования специфических особенностей средневековой беллетристики. С интересным докладом о взаимоотношениях русской и польской литератур выступила старший научный

¹³ IV Международный съезд славистов. Материалы дискуссии, т. 1. Проблемы славянского литературоведения, фольклористики и стилистики. М., 1962, стр. 267.

сотрудник Института мировой литературы О. А. Державина («Работа русских переводчиков над сборником „Великое зеркало“»).

Особый характер имел доклад старшего научного сотрудника Института мировой литературы В. Д. Кузьминой. Это был единственный доклад на историографическую тему: о трудах крупнейшего русского слависта академика М. Н. Сперанского. Интерес к такого рода темам был засвидетельствован многочисленными выступлениями советских и иностранных делегатов.

Многие доклады иностранных ученых было посвящено вопросам изучения древнерусской литературы.

Австрийский славист проф. Р. Ягодич в докладе «К источникам древнерусского „Домостроя“» обратил внимание на большие культурные традиции, отразившиеся в этом памятнике русской литературы XVI века, имевшем для своего времени прогрессивное значение. Видный югославский славист проф. Дж. Радойджич выступил с очень интересным докладом о восточных и западных компонентах древней книжности южных славян, отметив, в частности, давние русско-сербские литературные связи. Очень обстоятельный доклад о житии Бориса и Глеба сделал молодой польский исследователь А. Поппе. Югославский славист М. Мулич посвятил свой доклад литературному стилю «плетения словес», подчеркнув, что это явление в сербской литературе возникло под влиянием русской литературы XI—XII веков, в частности знаменитого «Слова о законе и благодати» митрополита Илариона. Югославский академик Дж. Бадалич указал на черты близости между историческими концепциями писателя-хорвата Ю. Крижанича и русского публициста XVIII века Ивана Посошкова. О югославских исследованиях и переводах «Слова о полку Игореве» рассказал М. Бабович. Молодой, но уже известный в Советском Союзе своими тщательными работами славист ГДР Курт Гюнтер сделал очень интересный доклад о новых, обнаруженных им источниках русской драматургии XVIII века. О новых списках древнерусских произведений, найденных в различных библиотеках Западной Европы, сделали сообщения Франц Репп (Австрия), К. Давидсон (Швеция), С. Люнден (Норвегия). Специальной проблеме взаимоотношения лексики «Задонщины» и «Слова о полку Игореве» был посвящен доклад американской славистки Т. Чижевской, работавшей в Институте русской литературы.

Некоторые возражения встретил доклад известного румынского медиевиста П. Панаитеску «Характерные черты славяно-румынской литературы». Отметив ряд интересных факторов русско-румынских культурных связей, докладчик высказал мнение, что русская «Повесть о Дракуле» была первоначально написана в Румынии на среднеболгарском языке и лишь затем переведена на русский язык. В прениях по докладу было указано на отсутствие каких-либо серьезных исторических и лингвистических данных в пользу этой гипотезы. «Повесть о Дракуле» несомненно свидетельствует о связях русской литературы с устным народным творчеством Румынии, но не с письменностью.

Ряд докладов на темы древнерусской литературы, к сожалению, не состоялся. Так, не был прочитан представленный на съезд доклад венгерского исследователя Е. Иглои «Взаимоотношения между древнерусской и древневенгерской литературой», доклад канадского ученого М. Дейн «Идеологическое значение древнерусской агиографии».

Значительный интерес для специалистов по русской литературе представляли и некоторые доклады о литературах западных и южных славян. Среди них в первую очередь следует упомянуть доклад известного болгарского литературоведа и фольклориста П. Динеева «Основные черты староболгарской публицистики IX—XII веков». Широкое понимание публицистики, предложенное докладчиком, во многом было близко к пониманию этого термина в советском литературоведении. Докладчик по-новому взглянул на идеологическое значение древнеболгарской литературы, показав ее идейное богатство и разнообразие поднятых в ней общественных вопросов. Доклад проходил в переполненной аудитории и вызвал ряд выступлений.

Во многом перекликался с работами советских исследователей доклад Др. Павловича (Югославия) «Элементы гуманизма в сербской книжности XV века». Термин «гуманизм» Др. Павлович понимает в широком смысле, отмечая ряд фактов преодоления средневекового религиозного мышления и появления светских мотивов в сербской литературе XV века.

Чешский ученый проф. Й. Грабак сделал доклад о значении латиноязычной книжности для славянской литературы старшей поры. Аналогичным вопросам был посвящен доклад Ф. Загиба (Австрия) «Западнолатинские основы формирования славянской литературы кирилло-мефодиевской эпохи».

Широкий обмен мнениями на съезде будет несомненно способствовать развитию изучения древнерусской и древнеславянских литератур в Советском Союзе и за рубежом. В памяти участников съезда навсегда останется трогательное болгарское гостеприимство, которое мы могли ощутить и в дни съезда в Софии, и во время поездок по древним городам Болгарии с их великолепно охраняемыми памятниками славянской, византийской и турецкой старины.

Д. ЛИХАЧЕВ,
Я. ЛУРЬЕ

На V съезде славистов фольклористика была выделена в самостоятельную секцию. Среди участников съезда, принимавших участие в работе этой секции, были крупные ученые и руководители соответствующих научных коллективов, что определило активность и высокий уровень обсуждения актуальных проблем современной фольклористики.

Было заслушано более тридцати докладов и сообщений, в обсуждении которых приняло участие 50 человек. Наибольшее количество докладов было представлено фольклористами Югославии (10), СССР (7) и Болгарии (4). По два доклада прочитали фольклористы Польши и ФРГ. По одному докладу сделали представители Бельгии, Дании, ГДР, Румынии, США, Франции, Чехословакии. Советские фольклористы приняли также участие в работе некоторых других секций — этнографической и литературно-лингвистической. На последней с докладом «Добавочные гласные в народной песне и их функции» выступил П. Г. Богатырев. На текстологической комиссии был прочитан доклад К. В. Чистовым на тему: «Современные проблемы текстологии русского фольклора».

Проблематика докладов на секции народного творчества была весьма разнообразной. Этим самым реализована соответствующая рекомендация подсекции славянского народно-поэтического творчества IV Международного съезда славистов (Москва, 1958).

Хотя проблемы народного эпического творчества не заняли такого большого места в работе секции, как это было на IV съезде славистов, но и на этот раз внимание собравшихся привлекли доклады, посвященные героическому эпосу славянских народов. Украинские фольклористы представили коллективный доклад «Украинские думы и героический эпос славянских народов» (М. Ф. Рыльский, Г. С. Сухобрус, В. А. Юзвенко, В. О. Захаржевская), прочитанный М. Ф. Рыльским. Цв. Романска посвятила свой доклад вопросу о происхождении, распространении и развитии эпоса о Марке Кралевиче. Доцент Белградского университета В. Недич охарактеризовал творческий облик одного из сказителей — исполнителя сербских эпических песен, записанных Вуком Караджичем («Слепа Живана, певач Вука Караџића»). Научный сотрудник Института этнографии Болгарской Академии наук Хр. Вакарельски прочитал доклад «Демократический характер эпоса южных славян». Профессор Льежского университета Ш. Хиарт поделился интересными результатами сравнительного изучения поэтики и стилистики эпических песен южных славян и французских *chansons de gestes*. В. Харкинс (Нью-Йорк) зачитал доклад «О метрической роли словесных формул в сербско-хорватском и русском народном эпосе». Последний доклад вызвал очень серьезные критические замечания К. В. Чистова, обратившего внимание американского коллеги на неплодотворность формалистической методики в изучении народно-поэтической стилистики. Проблема изучения международных связей в эпическом творчестве был посвящен доклад М. Попа «К вопросу о происхождении и распространении темы мастера Маноле».

Темой небольшой группы докладов были народные исторические песни. В. К. Соколова прочла доклад «О некоторых закономерностях развития историко-песенного фольклора (периода феодализма и капитализма) у славянских народов». Известный датский исследователь К. Стифф сообщил о своих новых изысканиях в этой области в докладе «Ранние русские исторические песни». Признав «мощный расцвет фольклористики» в СССР за последние 10 лет и, в частности, отметив появление серьезных работ, посвященных историческим песням, К. Стифф полемизировал с некоторыми выводами книги В. Н. Путилова «Русский историко-песенный фольклор XIII—XIV веков». Австрийский фольклорист А. Шмаусс сделал сочувственно принятый аудиторией доклад «Болгарские гайдудские песни».

Большой интерес аудитории вызвала проблема изучения славянской народной баллады. Хотя, к сожалению, два доклада на эту тему не состоялись (академика Й. Горака и В. Н. Путилова), но и прочитанные на секции дали повод для острой научной дискуссии. М. Браун (Геттинген) в докладе «О сербско-хорватской народной балладе» поставил некоторые принципиальные вопросы о сущности и границах этого жанра народной поэзии вообще. Большой материал для размышлений дал доклад советского фольклориста П. Лингура (Ужгород) «Народные баллады Закарпатья и их западнославянские связи». Обсуждение этих докладов обнаружило сложность и дискуссионность проблемы. Если принять во внимание вообще обнаружившийся в последнее время интерес к славянской балладе (ей посвящен, в частности, цикл статей в VIII томе «Русского фольклора» — Д. М. Балашова, К. Горалека, И. И. Земцовского, В. Н. Путилова), то становится очевидной актуальность задачи, сформулированной, в частности, в выступлении Н. И. Кравцова по докладу М. Брауна, — сосредоточить усилия на сравнительном изучении баллады разных народов с целью выработки надежных методологических и теоретических критериев определения сущности этого жанра.

Народной прозе были посвящены доклады: Ю. Кжижановского — «Систематика польской сказки» (в котором автор убедительно полемизировал с известным американ-

ским фольклористом С. Томпсоном); М. Бошкович-Стулли — «Региональные, национальные и интернациональные элементы в народной сказке», представляющий принципиальный интерес постановкой важной проблемы (к сожалению, аналогичный доклад, опубликованный к съезду Э. В. Померанцевой, на самой секции не был зачитан); В. Гашпариковой (Братислава) — «К проблематике изучения народной сказки», поднявшей целый комплекс важных теоретических вопросов; К. В. Чистова — «Русские народные социально-утопические легенды XVII—XIX веков». Последний доклад привлек внимание новизной материала и вызвал творческую дискуссию. Болгарская фольклористка Е. Огнянова, отметив ценность доклада, высказала сомнение, существует ли определенный жанр социально-утопических легенд и не лучше ли было бы говорить о социально-утопических элементах в разных фольклорных жанрах.

Народной лирике было уделено сравнительно небольшое внимание. Югославская фольклористка О. Младенович (Белград) сделала доклад «„Коло“ как основная форма хороводных песен у южных славян»; В. Закжевски (Польша) рассказал о собрании силезских народных песен в эпоху романтизма; Е. Хексельштейдер (ГДР) поделился новыми наблюдениями и выводами о распространении русских песен в Германии в период освободительной войны немецкого народа начала XIX века; К. Поллок (ФРГ) прочитал доклад «Об употреблении метафор в лирических народных песнях балканских славян».

Проблема взаимодействия литературы и фольклора заняла на этот раз меньшее место, чем в работе IV Международного съезда славистов. Н. И. Кравцов говорил о роли народного эпоса в развитии сербской литературы. Проф. В. Латкович рассмотрел вопрос о фольклорных источниках произведения Петра Негоша «Lijek jargosti turske». Советские фольклористы А. И. Дей, А. И. Зиллинский, Р. Ф. Кырчев и Н. С. Шумада представили коллективный доклад «Украинский фольклор в славянских литературах» (прочитан А. И. Деем). Единственный доклад на тему о фольклоризме русской литературы был произнесен французским ученым Р. Триомфом («Тема весны в русской литературе»), который стремился на примерах из истории русской поэзии от Пушкина до Маяковского доказать, что образы весны восходят к соответствующим мотивам народной поэзии, в частности обрядового фольклора.

Рабочему фольклору был посвящен только один специальный доклад югославского фольклориста Н.-С. Мартиновича (Цетинье) «Рабочий фольклор Югославии». На принципиальную важность этой проблемы для изучения современного фольклора славянских народов указал Д. Неделькович в докладе «Динамическая структура и возрождение современного фольклора народов Югославии и особая роль и значение рабочего фольклора». К сожалению, отсутствие многих фольклористов из Чехословакии, успешно занимающихся соответствующим материалом, и специалистов по рабочему фольклору из Советского Союза не позволило развернуть дискуссию на столь важную тему. Она заслуживает специального обсуждения на одном из ближайших международных совещаний.

Зато достойное внимание было уделено фольклорным процессам, протекающим в условиях революционных преобразований в исторической жизни славян, в частности отражению в фольклоре национально-освободительной антифашистской борьбы. Особенно заметен был интерес к этой проблеме у фольклористов Югославии. Кроме названного доклада Д. Недельковича, на эту тему выступили К. Пенушлиски (Скопье) («Характер македонских народных песен о народно-освободительной борьбе») и В. Смолей (Любляна) («Некоторые наблюдения над словесными партизанскими песнями»). Опыт сравнительного изучения партизанского фольклора славянских народов с целью установления общих закономерностей его развития содержал доклад В. Е. Гусева «Партизанская народная поэзия у славян в годы второй мировой войны». Общие вопросы изучения современного народного творчества были освещены в докладах Д. Антониевича и М. Радованович (Белград) — «Фольклористы Югославии в решении проблемы современного фольклора народов Югославии» и Т. Чубелича (Загреб) — «Современное состояние югославского народного творчества». Аналогичные доклады сделали болгарские фольклористы Ст. Стойкова (София) — «О современном состоянии юнацкой эпической традиции» и Б. Ангелова (София) — «Современное состояние болгарских народных сказок, преданий и легенд». В дискуссии по этим проблемам приняли участие П. Динев (Болгария), И. Коев (Болгария), В. Помяновска (Польша), П. Вайсилов (Болгария), Т. Живков (Болгария), В. К. Соколова, И. М. Шептунов (СССР) и др. Доклады и их обсуждение со всей очевидностью обнаружили решительный поворот славистической фольклористики социалистических стран к современности и подтвердили существование и развитие фольклора в период социалистических преобразований, продемонстрировали перспективность исследований в этой области и привлекли внимание к еще не решенным вопросам.

На одном из заседаний секции была заслушана информация секретаря многолетней серии «Болгарское народное творчество» (отв. ред. Д. Осиниц) Е. Огняновой о планах и принципах этого издания. По предложению инициативной группы, в которую входили ученые социалистических стран, секция вошла с ходатайством в Между-

народный комитет славистов об образовании специальной постоянно действующей фольклористической комиссии.

В целом работа секции народного творчества свидетельствовала о прогрессивном развитии славистической фольклористики за последние пять лет, отделяющие нас от IV съезда славистов, о расширении научной проблематики, об усилвшемся интересе к сравнительно-историческому изучению фольклора разных славянских народов, о плодотворности применения марксистско-ленинской методологии к изучению фольклора.

В. Г У С Е В

В. БОЧКАРЕВ

ГЕРЦЕН И ЧЕРНЫШЕВСКИЙ *

Личность и деятельность основоположников революционного демократизма в России А. И. Герцена и Н. Г. Чернышевского в течение более ста лет приковывали к себе внимание литературоведов и историков, философов и экономистов, публицистов и мемуаристов. Одни из них восторженно писали как о Герцене, так и о Чернышевском, другие, наоборот, стремились противопоставить одного другому, занижая роль Герцена в истории русского освободительного движения и чрезвычайно высоко ставя все то, что сделано было Чернышевским. Если первые считали их соратниками и единомышленниками, то вторые подчеркивали их разногласия, называя их антиподами. Так было не только в дореволюционной литературе: подобные разногласия имели место также в книгах и статьях, написанных в советское время.

При этом игнорировались совершенно четкие высказывания по этому поводу В. И. Ленина, считавшего Герцена и Чернышевского идейными предшественниками российской социал-демократии. Правда, как известно, у Герцена имели место колебания программного и тактического характера, тогда как Чернышевский в своих взглядах и суждениях был всегда принципиален и последователен.

Только за последние годы академик М. В. Нечкина и профессор Б. П. Козьмин, исходя из этих ленинских положений и опираясь на новый, до сих пор не использованный материал, подошли к оценке Герцена и Чернышевского, особенно в годы первой революционной ситуации, как к соратникам и единомышленникам. Однако по ряду вопросов и у этих исследователей и у их последователей не было полного единства во взглядах на деятельность лондонских эмигрантов — Герцена и Огарева, с одной стороны, и идейных руководителей «Современника» — Чернышевского и Добролюбова, с другой. Это до некоторой степени неблагоприятно сказывалось на том, что в широкой читательской массе до самого последнего времени не было вполне правильного представления о заслугах А. И. Герцена и Н. Г. Чернышевского в процессе складывания и развития революционного демократизма в России.

Остро ощущалась потребность в такой работе, где бы подводились итоги всего того, что было сделано дореволюционными и советскими историками по проблематике, связанной с творчеством Герцена и Чернышевского, с их деятельностью, явившимися громадным вкладом в идеологию самого передового революционно-демократического течения в России конца 1850-х и начала 1860-х годов. Такая работа, строго научная по содержанию, должна была бы быть в то же время популярной по изложению. Только при этом условии широкие читательские круги получили бы возможность в полной мере уяснить значение Герцена и Чернышевского в первую очередь как публицистов и идеологов того направления, которое вошло в историю под именем революционного народничества и своими корнями крепко связано с «демократическим натиском» на дворянское самодержавие исхода 50-х и начала 60-х годов XIX века.

Выпущенная в 1963 году Саратовским книжным издательством работа И. В. Пороха «Герцен и Чернышевский» весьма удачно идет навстречу запросам читательских кругов. Она явилась той строго научной по содержанию и в то же время доступной по литературному оформлению книгой, которая правдиво, с позиций ленинской методологии выявляла заслуги обоих мыслителей, творческий подъем писательской деятельности которых наиболее ярко проявился в годы первого — дворянского — этапа русского освободительного движения, который сменялся другим — разночинским или мелкобуржуазным.

Книга И. Пороха построена на тщательно отобранных фактах творческих биографий Герцена и Чернышевского, позволяющих вскрыть условия формирования

* И. В. Порох. Герцен и Чернышевский. Саратовское книжное издательство, 1963.

их философско-материалистического мировоззрения, революционно-демократической идеологии. Эти факты рассматриваются в органической связи с теми передовыми общественными течениями и разночинскими кружками и группировками, которые складывались в России под влиянием поражения царизма в Крымской войне и растущих с каждым годом повсеместных, хотя и стихийных, крестьянских выступлений. Это хорошо видно уже из заголовков глав, на которые распадается книга. Главы идут в такой последовательности: «Начало пути» (14—48 стр.); «Голос свободы» (49—94 стр.); «Демократический натиск» (95—171 стр.); «Несломленная воля» (172—210 стр.).

Во «Введении» (3—13 стр.) дан краткий, но обстоятельный критический разбор исследовательской литературы о Герцене и Чернышевском дореволюционных и советских историков. В «Заключении» (211—212 стр.) резюмируется затронутая в книге проблематика.

В основу исследования И. В. Пороха положен большой разнообразный материал, во многих случаях архивный, впервые вводимый в научный оборот. В нем особенно чувствуется, как автор тщательно проштудировал работы А. И. Герцена и Н. Г. Чернышевского по самым последним изданиям их полных собраний сочинений. Здесь же привлечены некоторые статьи их соратников — Н. П. Огарева и Н. А. Добролюбова, а также широко использованы письма, дневники и воспоминания как самих Герцена и Чернышевского, так и их современников — друзей и единомышленников.

На многих страницах анализируются высказывания К. Маркса и Ф. Энгельса о значении работ Герцена и Чернышевского, а основным методологическим костяком всей книги являются многочисленные выдержки из статей В. И. Ленина, в которых вскрываются заслуги Герцена и Чернышевского как идеологов революционного демократизма и вождей радикальных кружков и группировок 50—60-х годов XIX века. Все это говорит о том, какую значительную исследовательскую работу провел И. В. Порох над разработкой проблематики книги и какой большой предварительный труд был им проделан прежде, чем книга приобрела то литературное оформление, которое она в настоящее время имеет.

Автору, на наш взгляд, удалось с большой четкостью выяснить взгляды Герцена и Чернышевского на значение поземельной общины в России и на Западе (стр. 109). Очень убедительно доказана несостоятельность трактовки некоторыми исследователями Герцена как либерала (стр. 120—121). Авторские положения о солидарности Герцена и Чернышевского удачно дополняются высказываниями М. М. Антоновича относительно того, что «Нолокол» и «Современник» представляли собой «не два лагеря, а только две части одного лагеря и вовсе не враждебные, а согласные между собою в большинстве принципов и пунктов и разногласные только в некоторых частностях и подробностях» (стр. 145).

Но с некоторыми положениями И. В. Пороха, по нашему мнению, согласиться нельзя. Так, например, нам кажется неверным утверждение автора о том, что, «требуя передачи крестьянам всей надельной земли. Герцен и Огарев выступали в принципе сторонниками ликвидации помещичьего землевладения» (стр. 104).

Так же неправомочно выдвигается тезис в отношении Чернышевского со ссылкой на его роман «Пролог»: «Смысл требований Чернышевского сводился к передаче крестьянам всей земли без всякого выкупа» (стр. 111—112). Здесь следует припомнить, что в период разработки крестьянской реформы Чернышевский на страницах «Современника» ратовал за то, чтобы крестьянам переданы были без выкупа «только те земли и угодья, которыми они пользовались будучи крепостными».

В некоторых случаях суждения автора неточны. Так на 103 стр. говорится об «откровенных крепостниках-помещиках типа князя Гагарина или графа Ростовцева». Как известно, второй, будучи председателем Редакционных комиссий, ни по своему происхождению, ни по своим взглядам «откровенным крепостником» не был. В своих высказываниях Я. И. Ростовцев был ближе к точке зрения Н. А. Милютина. Кроме того, графский титул Ростовцеву дан был уже после его смерти, в связи с окончанием крестьянской реформы. Граф же Панин, ставший во главе Редакционных комиссий после смерти Ростовцева, — тот действительно был «откровенным крепостником». Министр народного просвещения А. В. Головин назван как-то уж по-современному: «министром народного образования» (стр. 171).

Наши замечания автору, надо думать, будут учтены при переиздании книги, что, вероятно, весьма скоро потребует. В общем И. Пороху удалось дать широкому кругу читателей очень содержательную, весьма интересную и доходчиво написанную книгу об А. И. Герцене и Н. Г. Чернышевском. Теперь даже мало подготовленные читатели смогут ясно представить себе, какой большой вклад в разработку программных и тактических вопросов грядущей русской революции внесли эти мыслители и писатели. Книга убеждает нас в том, что автор был вполне прав, когда утверждал в ее заключительных строках: «При наличии некоторых разногласий и временных конфликтов, имевших место между Герценом и Чернышевским, они шли в одном строю, высоко поднимая знамя борьбы против самодержавия и крепостничества».

РИТМ И СМЫСЛ *

Не так давно в Издательстве Академии наук СССР под редакцией проф. Д. Д. Благого вышла книга С. В. Шервинского «Ритм и смысл. К изучению поэтики Пушкина».

В этой работе предлагается качественно новый, оригинальный метод анализа поэтической формы, в основе которого лежит сформулированная автором «теория временных компенсаций».

Мысли Шервинского не стали предметом особого внимания критиков. Небольшую заметку под заголовком «Странная теория» посвятил его работе А. Квятковский («Вопросы литературы», 1962, № 8), целиком зачеркнувший книгу «Ритм и смысл». Мне хочется вернуться к затронутым А. Квятковским проблемам. Было бы очень досадно, если бы высказанное уважаемым ученым мнение стало «истиной в последней инстанции».

Открывая книгу, ожидаешь найти в ней анализ ритмического строя стиха, подобный тому, который продемонстрировал когда-то И. Виноградов, рассматривая «Зимнюю дорогу» Пушкина. Наблюдения И. Виноградова над пеоническими ходами стихотворения дали ему возможность показать, как поэт использовал ритм для «упорядочения тематического движения» в лирике. Ритмическое движение соотносилось с содержанием. В этом аспекте намечались определенные перспективы в изучении стихотворного произведения.

Но как раз в то время (середина тридцатых годов) стихология уже становилась «забытой наукой». В последние годы в этой области науки о литературе наблюдается оживление. Появились фундаментальные «Очерки по теории и истории русского стиха» Л. И. Тимофеева (частичный итог многолетней работы автора) и некоторые другие работы, преимущественно статьи. Труд С. В. Шервинского по необычности подхода к материалу относится к числу самых интересных из них.

Сформулировав в первых главах принципы своего метода, ученый применяет его к лирике Пушкина, к «Скупому рыцарю» и двум сценам из «Бориса Годунова». Тексты анализируются полностью — строка за строкой.

Суть выдвигаемой С. В. Шервинским «теории временных компенсаций» коротко сводится к следующему.

В русском языке ударенный слог всегда протяженнее неударенного. Без особой натяжки можно считать, что по длительности звучания они соотносятся друг с другом как 1,5 к 1. Это не «допущение С. Шервинского», как думает А. Квятковский, а факт, констатированный академиком Л. В. Щербой, Н. С. Усовым и другими лингвистами, но не принимавшийся во внимание стиховедами. Связь ударенности и протяженности становится особенно ощутимой, когда мы имеем дело с выразительной речью (когда ударение становится особенно эмфатическим). Если учесть указанное обстоятельство в отношении стихотворной речи, то следует признать, что в строке, содержащей гипостасы в виде облегченных стоп, должна наблюдаться «убыль во времени» в сравнении с метрически равновеликой строкой, содержащей все схемные ударения. Так, строчка четырехстопного ямба, содержащая два ударения вместо четырех, должна была бы занимать в процессе произнесения меньше времени, чем та, в которой схема метра выдержана. В действительности же такая строка звучит не убыстренно, а замедленно, ибо убыль времени должна компенсироваться. Шервинский обосновывает эту необходимость тем, что «с первобытных форм до нынешних дней *равновеликость* (курсив мой, — А. Ж.) стихов остается эстетической основой стихосложения различных поэтических традиций» (стр. 27). Компенсация происходит за счет равномерного растяжения строки (растяжения неударенных гласных), за счет пауз (находящих для себя место в словоразделах), наконец, за счет увеличения временной протяженности ударенных гласных (т. е., добавим от себя, за счет эмфатичности ударения).

Убыль во времени и компенсация этой убыли в живом организме стиха есть некая формальная данность, а «наличие известной формальной данности» «обязывает... исследователя... искать и в содержании стиха (курсив мой, — А. Ж.) тех или иных смысловых оттенков, которые соответствовали бы этим не случайным, а зависимым от смысла формальным явлениям» (стр. 8). Справедливо полагая, что произведения великого поэта могут служить образцом и являют собой высокое единство содержания и формы, Шервинский рассматривает с этой целью стихи Пушкина, написанные четырехстопным и пятистопным ямбом. «Совершенство стихов Пушкина, — справедливо говорит он, — должно обеспечить возможность принципиального теоретического вывода, относящегося к просодии русского классического стиха» (стр. 34). Собственно, такой вывод уже сделан в начале книги, а весь дальнейший материал ее, материал конкретного анализа, лишь делает его для непредубежденного читателя неопровержимо убедительным.

* С. В. Шервинский. Ритм и смысл. К изучению поэтики Пушкина. Изд. АН СССР, М., 1961.

Излагая рассуждения Шервинского, А. Квятковский приписал ему следующую мысль: «... пушкинский четырехстопный ямб с четырьмя ударными слогами («Порá, порá! Порá трубáт!») нужно принять за эталон долготы этого стиха; если же *ямбическая строка держится на двух акцентах* («Как мимолётное виденье»), то она по времени вдвое короче *четырёхакцентной строки* (курсив мой, — А. Ж.). Ничего подобного, как видно из нашего изложения «теории временной компенсации», у Шервинского нет. Нет в этой теории и «принципов художественного чтения, из которых исследователь исходит при анализе элементов содержания стиха». У Шервинского речь идет о том, что понимание структуры стиха (наличие «формальной данности») позволяет правильней понять содержание стихов и, следовательно, правильней их прочитать. На протяжении всей работы автор и делает это.

Анализирует С. В. Шервинский умно и вдумчиво, раскрывая в своем понимании пушкинского текста и эрудицию ученого, и чуткость поэта, мастера стиха, для которого каждый нюанс в движении стиха — *значаша*. Соображения его по поводу смысла отрывков (автор употребляет слово «смысл», разумея под ним содержание, заключающее начала рациональное, эмоциональное и образное) весьма пространны. Цитировать их здесь не представляется возможным. Поэтому для иллюстрации авторского метода приведем в конспективном изложении аргументацию, относящуюся к истолкованию одной из центральных строф «Анчара».

Но человека человек
Послал к анчару властным взглядом,
И тот послушно в путь потек
И к утру возвратился с ядом.

«Норма» ударений здесь — четыре. Следовательно, первая строка, состоящая из двух пеонов четвертых, требует временной компенсации («не хватает» двух ударений). Стих дан после пяти строф, содержащих описание «древа яда», и предвещает идейное развитие всей вещи. Это переломная строка, в ней зерно главной пушкинской мысли. Внимание читателя должно задержаться на ней, чему способствует ритмический рисунок предшествующих строк. Формальным моментом является и «убыль времени». Компенсация должна произойти за счет паузы:

Но человека √ человек. . .

Пауза, необходимость которой выводится из анализа структуры, есть здесь момент содержания. И это содержание не привнесено извне, а задано поэтом и, значит, должно быть реализовано в чтении.

Во второй строке — четыре ударения («Послал к анчару властным взглядом»). Чистый ямб (таков ход рассуждений Шервинского) как бы предостерегает от повышенной эмфатичности в произнесении, он требует произнесения строгого, без «слезы». «Каждый ударенный слог будет достаточно значительным, чтобы до слушателя дошло все содержание стиха с его „властным взглядом“ угнетателя, а краткость ударений обеспечит ему надлежащую скупость в соответствии с фактичностью содержания» (стр. 52).

В третьей строке — норма. И надо ей подчиниться. Не нужно атонировать «тот» в пользу «послушно» («И тот послушно в путь потек. . .»), ибо это «увело бы нас от скупой строгости в сторону драматизации» (стр. 52).

В четвертой строке необходима компенсация во времени. Если дать ее за счет паузы после «к утру» или перед «с ядом», то одно или другое понятие будет неуместно подчеркнуто. Автор предлагает такой вариант произнесения, при котором вся строка оказывается эмоционально подчеркнутой, т. е. произнесения всех трех слов с одинаковым (минимальным) растяжением ударного слога:

И к утру возвратился с ядом. . .

Рассматривая в этом аспекте пушкинские стихи, С. В. Шервинский убеждает в правомерности такого подхода к выявлению оттенков содержания, ибо, не вдаваясь в рассуждения о природе самой системы стихотворной речи, он исходит из ее особенностей. На протяжении всей книги речь идет о слове произносивом. И это правильно, поскольку наличие ритмической организации и звукового оформления предполагает, что мы, даже не произнося стихи вслух, воспринимаем и ритм и явления эвфонии, причем воспринимаются они в их эстетическом значении. Хорошо сказано об этом у Брюсова: «Измерение стихов не на слух, а иными способами, есть искажение существа стиха» («Основы стиховедения», М., Госиздат, 1924). И удивительно, что А. Квятковский, процитировав тезис исследователя о «самослушании», остановился перед ним в некотором недоумении. Ведь совершенно ясно, что любая схема, отражающая или ритмическое движение, или систему аллитераций, основана на том, что мы слышим и слышал поэт. Автор книги «Ритм и смысл» в своем «слушании» стиха опирается на то, что очевидно, убедительно, а в ряде случаев видит и возможность иных толкований.

К сожалению, рецензент, говоря о теории и практике Шервинского, иронизировал, а не анализировал. Тут речь шла и о «таинственных интересах декламации», которыми якобы руководствовался автор, и об «обработке», которой подверглись тексты, и о «смысловых комментариях, носящих порой комический характер». И все же во второй части рецензии А. Квятковский. . . неожиданно принял исходное положение книги «Ритм и смысл!» «Возвращаясь к „теории компенсации“, нужно сказать, — пишет он, — что она имела бы реальное основание, если бы стих рассматривался иначе. . .» А. Квятковский считает, что в каждом стихе есть «концевые структурные паузы определенной долевой длины; они *восполняют* „пространство“ стиха до уровня контрольного ряда». Приведя две строки из «Домика в Коломне», он восполняет «пространство» двумя паузами в конце строки вместо обычной одной (конец стихового ряда):

В ней/вкус был обра/зованный. О/па /\^/
Чи/тала сочи/ненья Эми/на. /\^/

Такое уравнивание А. Квятковский считает опирающимся на структурное понимание ритма в метрическом стихе. То, что в первой строке — перенос, а во второй — синтаксическая пауза, совпадающая с концом стиха, и что уже одно это обстоятельство наталкивает на мысль о различной «глубине» паузы, им не учитывается. Критик ссылается на свой внутренний слух («мы совершенно отчетливо чувствуем»). Смысл стихов не принимается во внимание вовсе. А ведь здесь ирония: «образованная» Параша читает сочинения не Вольтера, не Руссо, а. . . бульварные романы Эмипа («Непостоянная Фортуна. . .») и проч.). Для меня, например, очевидно, что двойная пауза в конце интонационного периода (после «Эмина») бессмысленна, но очень гужпа перед «Эмина». Тогда несоответствие между «вкусом» и предметом будет комически подчеркнуто. И неужели предлагаемое рецензентом чисто механическое понимание стиха даст читателю больше, чем предлагаемое Шервинским, то, которое названо А. Квятковским «чисто эстрадным» (?!).

Строку «В пустыне чахлой и скупой», исходя из своих принципов, Шервинский интонирует (думается, вслед за Пушкиным) так:

В пустыне √ чахлой и скупой. . .

По А. Квятковскому ее следовало бы прочитать:

В пустыне чахлой и скупой. . . /\^/

решительно отрубив строку от последующих. Никто, конечно, так читать не станет, потому что против этого — содержание стихов. Не обременяя себя поисками, не пытаясь проникнуть в авторский замысел, фиксировать паузы «большей или меньшей длины» (/\^/ или /\^/) в конце строки — значит, если позволено так выразиться, задать смысл авторитетом стиховедения. Но тогда к чему весь этот авторитет?

В отличие от Шервинского А. Квятковский даже не упоминает о конкретном содержании. Между тем знаки пауз, поставленные автором книги «Ритм и смысл» в сотнях пушкинских строк, интонируют их в соответствии с замыслом великого художника, отраженным в структуре, понимаемой исследователем не столь прямолинейно.

Для автора книги «Ритм и смысл» реалистический стих поэта ориентирован на реалистическую манеру чтения, при которой соблюдение эвфонических норм не нивелирует смысл, а наоборот — помогает раскрыть его.

Все сказанное не означает, что в ряде случаев трактовки Шервинского не могут быть ошибочными, ибо речь идет о таких сложных взаимоотношениях содержания и формы, о таких оттенках смысла, что говорить о безусловности всех предлагаемых решений и требовать такой безусловности было бы совершенно неверно. Да автор на это и не претендует, о чем говорит на страницах книги не раз и не два. Конечно, приводимое А. Квятковским рассуждение о строке «И гад морских подводный ход» неудачно, а подсчет мор (или долгот) в другой строке являет пример негужной и неубедительной скрупулезности. Но разве в этом дело?

Если мы доверяем академику Щербе и другим фонетистам, то мы не можем отделаться от проблемы долготы ударенных и неударенных слогов тем, что ударенный слог «чутьочку протяженнее» неударенного (это ли не дилетантизм!). Точно так же нельзя априори уравнивать все стиховые ряды равновеликими паузами в конце строк. Это непродуктивно. И принципиально неверно.

С нашей точки зрения, метод Шервинского, проиллюстрированный на материале пушкинских стихов, может и должен быть применен также и к произведениям других художников слова, может стать подспорьем в стиховедческом анализе (не претендуя на всеобщность!) и в то же время приобрести практическое значение. Для учителя-исполнителя метод Шервинского — это превосходный инструмент, с помощью которого можно проникнуть в святая святых произведения — его интонационную структуру.

Книга наталкивает на размышления о путях дальнейшего исследования и, в частности, о возможностях применения найденного метода к разностопным силлабо-тоническим стихам, а также к стихам тонической системы, например к паузникам. Если принять в качестве исходной мысль о том, что метрически параллельные строки и в катрене паузника также в принципе изохронны, то истолкование их ритмического строя может основываться на некоторых дополнительных соображениях.

Возьмем, к примеру, строфу из тихоновского «Перекопа»:

Дельфины играли вдали,
 Чаек качал простор,
 И длинные серые корабли
 Поворачивали на Босфор.

Еще Ю. Тынянов справедливо указывал на то, что в системе паузника строки «непогрешимых» трехсложных размеров воспринимаются тоже как паузник «с выделенными словами». («Проблема стихотворного языка», Л., 1924). Ритм приведенной строфы теснейшим образом связан со словоразделами, на местах которых — паузы. При этом совершенно ясно, что пауза перед «корабли», являющаяся леймой на месте отсутствующего ударного слога, не «глубже», не протяженнее других. Анализ по методу Шервинского помогает понять — почему.

Если считать, что ударенный слог протяженнее неударенного по крайней мере в полтора раза и условно принять время произнесения слога за единицу, то в первой строфе — 9.5 единиц, во второй — 7,5, в третьей — 11,5, в четвертой — 10. Пауза между словами — тоже временная единица, и одной такой единицы в четвертой строке не хватает.

Вторая, третья и четвертая строки должны уравниваться во времени с первой, задающей норму. Во второй строке требуется компенсировать убыль времени. Компенсация эта может произойти либо (если учесть и фиксировать леймы) в начале строки (где не хватает нормы) и после слова «качал», либо если прочитать строку так:

Чаек \wedge качал \wedge простор. . .

Именно такое произнесение соответствует образу и эмоциональной настроенности стихотворения. Короткие, не отягощенные согласными слова не дают материала для равномерного растяжения строки, для растяжения неударенных гласных. Нет оснований и усиливать эмфатическое ударение на словах («Чаек качал простор. . .»). В таком случае образ был бы неоправданно подчеркнут, «чайки» заняли бы неподобающее им место.

Третья строка длиннее первой. Здесь мы сталкиваемся с явлением, которое, видимо, не имеет столь важного значения в силлаботонике, где колебаний числа слогов в метрически параллельных строках нет и где спондей, например (если речь идет о гипостасах в ямбах), часто сочетается в пределах строки с пиррихием. В стихе

И длинные серые корабли. . .

нужна не компенсация убыли во времени, а, наоборот, убыстрение в произнесении строки, рифмующейся с

Дельфины играли вдали. . .

Вот почему пауза-лейма после «серые» оказывается короче, чем паузы на месте словоразделов в первой строчке.

Убыстрение оправдывается, находит себе обоснование в том, что вся строка не изображает, как в ряду стоящих, действия, а представляет собой как бы образ-клетку художественного целого, оформленную подлежащим с двумя определениями. Связь между словами оказывается весьма тесной. Лейма на месте ударенного слога (после «серые») ощущается только как обычный словораздел.

В последнем стихе строфы, поскольку мы учитываем отсутствие одного ударения, должна компенсироваться небольшая убыль времени. Смысл и звуковой состав строки требуют компенсации за счет растяжения на слове «поворачивали». Обычная пауза, разграничивающая слова-доли, разумеется, остается.

Конечно, такой анализ не лишен субъективной окраски. Но ведь и тогда, когда, следуя традиционным приемам, мы отмечаем, к примеру, проклитику в стихе, наш подход к материалу не лишен субъективности в восприятии.

Если в приведенной строфе расставить знаки пауз в соответствии с метрической схемой и считать, что тчет должен подчиниться им, то строфу придется читать:

Дельфины играли вдали,
 \wedge Чаек качал \wedge простор,
 И длинные серые \wedge корабли
 Поворачивали на Босфор.

Выделение, а значит и подчеркивание слов «корабли» и «простор», сколько бы стиховед ни опирался на наличие лейм, неоправданно. Метод Шервинского дает возможность более гибкого подхода к истолкованию структуры в интересах «прояснения» смысла.

Попробуем с тех же позиций подойти к нескольким строчкам из стихотворения Маяковского для детей:

Для принятия строгих мер —
К Пете милиционер. . .
— Где живешь,
мальчишка гадкий?
— На Собачьевой
площадке. . .

Эти простые по смыслу строчки чтец интерпретирует очень легко. Он подчеркнет в первой строке появление стража порядка строгостью произнесения стиха и несколько увеличит конечную паузу, как бы подготавливая слушателя к дальнейшему. Во второй «нажмет» на слово «милиционер», в четвертой имитирует плачущий детский голос. Все это ясно из самих слов, стоящих здесь, не правда ли?

Но ведь интересно, что анализ по методу Шервинского теоретически обосновывает подобную интерпретацию. В самом деле. Третья строка не требует временной компенсации. Она метрически четкая (только ослабление ударения на слове «где» компенсируется небольшой паузой после «живешь»). В первой строке необходима компенсация (не хватает одного ударения). Во второй — всего два ударенных слога вместо четырех. Можно дать незначительную паузу перед словом «милиционер», а также сочетать его с растяжением («ми-ли-ци-о-нер»). В четвертой требуется компенсация убыли времени, которая может произойти только за счет равномерного растяжения строки:

На Со-ба-чье-вой пло-щад-ке. . .

Плач толстого Пети как бы задан в структуре строки!.. Заполнять «пространство» усилением конечной паузы значило бы решительно игнорировать смысл. . .

Из всего сказанного следует, что зачеркивать книгу «Ритм и смысл» нет смысла. Ничего «странного» в теории Шервинского нет. Просто она несколько необычна для нас, привыкших зачастую к традиционной методологии, достижения которой, кстати сказать, не столь уж велики и существенным недостатком которой всегда был определенный разрыв между установленной структурой и конкретным содержанием.

Установка на выявление гармонии формы и содержания в произведениях высокого совершенства, гармонии во всем — плодотворна.

«Гармонии стиха божественные тайны» разгадываются сейчас не только с помощью законов, имевших хождение при Андрее Белом, но и с помощью методов физических и математических. Диапазон, как видно, велик. Оставим в этом ряду место и для «теории временных компенсаций»!

К. ДАВЛЕТОВ

НОВАЯ КНИГА ТОМСКОГО ФОЛЬКЛОРИСТА*

Вышла в свет книга Н.Ф. Бабушкина «О марксистско-ленинских основах теории народно-поэтического творчества». Для тех, кто занимается народным творчеством, значение и ценность подобного труда вполне очевидны. Действительно, сама постановка такой исследовательской задачи является результатом длительного и сложного развития нашей науки о фольклоре.

В годы, когда внимание советских ученых было направлено в основном на общее социальное осмысление произведений народно-поэтического творчества, на их примерную жанровую систематизацию и восполнение пробелов буржуазной науки, разработка марксистской концепции фольклора как формы искусства в ее целостном виде еще не могла быть осуществлена. Дело ограничивалось большей частью применением тех или иных высказываний классиков марксизма-ленинизма к отдельным конкретным случаям и стремлением усвоить общий дух их отношения к фольклору.

Однако в ходе огромной практической исследовательской работы, проводившейся всем коллективом советских исследователей, постепенно и незаметно возникали новые потребности и новые требования. Иные признается, что необходимо дать более широкое и всестороннее обоснование многим из тех положений, которые казались

* Н. Ф. Бабушкин. О марксистско-ленинских основах теории народно-поэтического творчества. Изд. Томского государственного университета, 1963.

окончательно принятыми. Обсуждение теоретических проблем находится теперь в центре внимания наших специалистов. И именно на этой почве, по нашему мнению, возникли те горячие споры о сравнительном изучении фольклора и его будущих судьбах, которые имели место в недавнем прошлом.

Весьма характерно, что острый интерес к теоретическим изысканиям вызвал сразу целый ряд обзорных и обобщающих работ, посвященных марксистско-ленинскому учению о фольклоре. Подобный путь к теории является, конечно, вполне закономерным, ибо при этом мы получаем представление не только об авторитетных оценках тех или иных сторон фольклора, но — главное — о принципах его теоретического освещения. Помимо монографии Н. Ф. Бабушкина «Устно-поэтическое творчество народов в трудах В. И. Ленина» (Томск, 1958), здесь можно назвать также работы В. Е. Гусева «Марксизм и русская фольклористика конца XIX—начала XX века» (Изд. АН СССР, М.—Л., 1964) и «Проблемы фольклора в истории эстетики» (Изд. АН СССР, М.—Л., 1963).

В книге Н. Ф. Бабушкина, разбираемой в данном случае, ставится уже задача не только историографически рассмотреть высказывания классиков марксизма-ленинизма о фольклоре, но охарактеризовать важнейшие особенности народно-поэтического творчества с точки зрения марксистско-ленинского их понимания. Подобный опыт сам по себе знаменует, очевидно, решительный методологический сдвиг в нашем изучении фольклора, ибо склонность эклектически соединять теоретические положения и методы самых различных школ прошлого у нас до сих пор сказывается довольно сильно. Принципиально важным и справедливым представляется нам в этой связи заявление автора о том, что «нельзя просто „продолжать“, „развивать“, „совершенствовать“ домарксистские концепции фольклора (типа концепций «мифологов», «романтиков», А. Н. Веселовского и др.), ибо они в основе своей неприемлемы для нашей науки» (стр. 16). Если при анализе трудов эклектического склада обычно очень трудно бывает показать, в чем состоит их реальное значение для развития научной мысли, какие вопросы трактуются в них иначе и глубже, чем это делалось раньше, то в работе Н. Ф. Бабушкина мы находим целый ряд положений, которые или вообще не встречались в нашей науке или же не получали в ней сколько-нибудь полного освещения.

Тут в первую очередь нужно назвать вопрос о зависимости фольклора как специфической формы искусства от разделения труда. Этот вопрос составляет основной стержень первой главы книги Н. Ф. Бабушкина. Именно на этом пути нам должна открыться подлинная специфика фольклора.¹ Помимо различий в идейном содержании, фольклор и литература различаются еще и в том отношении, что они представляют собою две совершенно разные формы деятельности. Если подходить к ним с этой точки зрения, то фольклор следует рассматривать как искусство «неспециализированное», тогда как литература является специальным родом деятельности. Здесь мы вскрываем материальную основу их разделения в обществе, основу, так сказать, производственную. Обычно на эту сторону дела обращают мало внимания.

Разделение форм искусства на основе разделения труда рассматривается в книге Н. Ф. Бабушкина в свете основных высказываний Маркса и Энгельса по этому поводу и на широком фоне других проблем развития общественного сознания в ходе развития производства. Определение фольклора как формы искусства, возникающей в условиях недифференцированности человеческого труда и развивающейся в тесной связи с производительной деятельностью масс, позволило автору показать подлинные истоки и содержание того единства народного сознания, которое придает такую силу произведениям народной поэзии. С этих позиций мы заново оцениваем и всю глубину высказываний М. Горького о роли трудовой деятельности народа для его художественного творчества и развития искусства в целом.

Говоря о материальных условиях существования народного творчества, Н. Ф. Бабушкин дает простое и ясное объяснение вызывавшему столько споров синкретизму первобытного искусства и фольклора позднейших эпох. Он, как нам кажется, правильно подчеркивает, что именно в первобытном обществе возникли некоторые важнейшие жанры фольклора (в частности, героического эпоса). Но здесь необходимо отметить и известную непоследовательность автора, когда он упрекает Г. В. Плеханова за то, что тот говорил о «непосредственной зависимости» первобытного искусства «от техники и способа производства» (стр. 64). В данном случае можно было бы, очевидно, ограничиться оговоркой, что зависимость эта постепенно делается все более сложной и диалектической.

Плодотворность защищаемого автором взгляда позволила ему глубже, конкретнее разобраться и в идейном содержании фольклора. Фольклор возникает в общественном сознании, еще не знающем внутренней дифференциации форм, и поэтому отражает весь комплекс народных представлений. Вследствие этого мы в нем находим выражение не только собственно «идеологии» народа, но и его «практического, обыденного сознания», «общественной психологии». На эту тему Н. Ф. Бабушкин при-

¹ См. об этом нашу статью «Про сучасний фольклор і його майбутнє» («Народна творчість та етнографія», 1961, кн. 4, стр. 9—13).

водит целый ряд высказываний классиков марксизма-ленинизма, Г. В. Плеханова. Мы могли бы указать в данном случае на специальную постановку этой проблемы в чисто философском плане у А. Грамши. В своих «Тюремных тетрадах» он подробно разбирает отношения «жизнейского смысла» с оформленными отраслями идеологии.² Конечно, существо «жизнейского смысла», возможно, следует трактовать как наследие в нашей психологии, как принятый и проверенный социальный опыт прошлых эпох, уже потерявший свою «идеологическую» остроту. Но факт тот, что для характеристики фольклора, в котором отражаются не только классовые, но и многочисленные обиходные связи и даже практические навыки, выходящие за собственно художественные рамки, указанное разделение имеет большое методологическое значение. Поставив эту проблему на материале фольклора, Н. Ф. Бабушкин несомненно проявил большое исследовательское чутье и понимание предмета.

Развернутое обоснование всех этих положений дается во второй главе книги, в которой автор рассматривает взаимосвязи народно-поэтического творчества с общественным бытием и общественным сознанием. Говоря о большом художественном и познавательном значении мифологического творчества, о стихийном материализме народного сознания и энциклопедизме народного творчества как источнике знаний о мировоззрении, морали и психологии народа, Н. Ф. Бабушкин подводит нас к мысли, что именно фольклор всегда являлся основой передовой общественной и философской мысли и национального искусства. Положительное значение в борьбе с вульгаризацией вопроса о социальной обусловленности фольклора будет, нам кажется, иметь подробный анализ сложного диалектического отношения фольклора и действительности, который производит автор, справедливо указывая на относительную независимость общественного сознания от экономического развития. Здесь исходный пункт для объяснения неувядающей силы многих поэтических образов, глубокой преемственности народного творчества, особенностей художественного изображения в фольклоре.

При оценке книги Н. Ф. Бабушкина нельзя не отметить, что автор смело ставит целый ряд таких вопросов, при решении которых нельзя рассчитывать на исчерпывающие результаты и которые по сложности своей часто игнорируются. Такой, в частности, является проблема художественного метода в фольклоре, рассматриваемая в заключительной главе книги. По нашему убеждению, то, что сделано автором в этой области, во многом подводит нас к правильному решению вопроса, но окончательно успеху мешает самый уровень наших знаний в области эстетики. Нельзя не согласиться с Н. Ф. Бабушкиным, когда он указывает на «полифонию стилей» в фольклоре, говоря, что в народном творчестве можно открыть элементы реализма и романтизма. Однако ограниченность самого круга наших понятий о художественном методе категориями развитого профессионального искусства приводит Н. Ф. Бабушкина к утверждению, что в фольклоре мы имеем дело с единством реализма и романтизма. Очевидно, что такое определение представляет собою измерение фольклора чуждой для него меркой. Возможно, что в фольклоре мы находим единство черт, характерных для них, но, конечно, в совершенно другом качестве, которое невозможно определить как механическое соединение противоположностей. В данном случае, повторяем, проявляется слабость нашей общей теории фольклора. Однако исследования в этой области не остаются бесполезными, ибо они, если и не дают новых решений, во всяком случае расширяют сферу теоретических поисков.

В печати, в рецензии В. Кнейчера на книгу Н. Ф. Бабушкина «Устно-поэтическое творчество народов в трудах В. И. Ленина» («Народна творчѣстѣ та этнографѣя», 1960, № 2), получая одобрительную оценку попытка автора распространить ленинский принцип партийности литературы на народное творчество, на массовое творчество рабочих. В новой своей работе Н. Ф. Бабушкин снова касается этого вопроса. Однако нам кажется, что автору следовало бы, учитывая специфику предмета, уточнить, что необычайно сильная тенденциозность, присущая народному творчеству во все времена, получила партийную остроту уже в развитии классовом обществе.

Помимо тех замечаний и пожеланий, которые мы высказали выше, укажем на некоторые недостатки, связанные с изложением материала. Здесь было бы несправедливо не отметить, что автор книги, будучи не только фольклористом, но и писателем, и литературоведом, выводит проблемы народного творчества за узко специальные рамки. Привлекает нас широтой и многообразием аргументации, эмоциональностью изложения. Но внутренняя логика его работы, во многом новая и философски сложная, не всегда получает полное и ясное выражение. Достаточно сказать, что и отражение в фольклоре всей суммы народных представлений, и эстетическая долговечность фольклорных образов, и особенности художественного метода фольклора — все эти моменты тесно связаны с материальной основой существования фольклора и обусловлены ею. Однако автор не всегда придает должное значение этому обстоятельству, умаляя тем самым достоинства собственных изысканий и создавая как бы прерыв-

² Антонио Г р а м ш и, Избранные произведения в трех томах, т. 3, Изд. иностранной литературы, М., 1959, стр. 14—34.

ность в развитии нашего понимания предмета. Между тем прозрачность логической структуры исследования является, на наш взгляд, далеко не формальным признаком, но сама по себе имеет значение доказательства.

Встречаются в книге и отдельные стилистические и смысловые промахи. Обращает внимание, например, следующая формулировка: «. . . капитализм не мог в области народного искусства слова подняться на ту высоту, на которую в этой области поднимались предшествующие социально-экономические формации» (стр. 54). Ясно, что речь должна идти не об успехах тех или иных общественно-экономических формаций в области искусства, а об успехах искусства в условиях этих формаций. «Даже такой всемирно известный общественный деятель, борец за мир, как Б. Рассел, — читаем мы в книге, — пишет: „. . . то, что человек говорит, есть общественное, а то, что он думает, личное“ . . .» (стр. 63). Однако противоречие между практической действительностью выдающегося современного философа-идеалиста и его пониманием общественной практики, весьма примечательное само по себе, вряд ли должно вызывать у нас такое удивление.

Говоря о недостатках данной работы, мы должны, очевидно, учитывать, что они в большинстве своем связаны с основным ее достоинством, а именно с тем, что она в известном смысле является первой. В целом работа Н. Ф. Бабушкина несомненно послужит хорошим вкладом в разработку теории фольклора.

А. ПАНЧЕНКО

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ДРЕВНЕСЛАВЯНСКИХ ЛИТЕРАТУР *

Книга известного чешского литературоведа Йозефа Грабака «К методологии изучения древней чешской литературы» в определенном смысле подводит итог его собственным размышлениям в области чешской старинной письменности. Для Й. Грабака характерен углубленный интерес к «белым пятнам» на карте чешской культуры старшей поры (отсюда — его работы о побелогорской эпохе, о народной и «полународной» рукописной и книжной традиции того времени), а также постоянное внимание к общим проблемам средневековых литератур вообще.¹ В рецензируемом исследовании обе эти линии представлены весьма отчетливо. Актуальные задачи чехословацких медиевистов, о которых говорит автор, во многих случаях имеют прямое отношение к специалистам по средневековым славянским литературам вообще, в том числе и по литературе древней Руси.

Й. Грабак сосредоточивает внимание на трех группах вопросов: во-первых, это вопросы, не выходящие за рамки собственно чешской литературы; во-вторых, некоторые проблемы литературоведческой теории и практики, имеющие более общее значение; в-третьих, наконец, публицистические и в то же время строго научные размышления о значении древних литератур для нашей эпохи.

Проблемы, относящиеся исключительно к чешской литературе, я только перечислю. Й. Грабак призывает немедленно начать систематическую разработку некоторых тематических и жанровых групп памятников, а также некоторых периодов в развитии старинной письменности. В центре внимания литературоведов, справедливо заявляет он, должна стоять проблема постепенного сближения литературы с народом, вернее, проблема демократизации литературы — это связано с общими представлениями Й. Грабака об особенностях древней словесной культуры, о чем я буду говорить ниже. Предлагаю изменить расстановку акцентов в конструкции литературного процесса старшей поры, переопределить иерархию произведений, Й. Грабак подчеркивает чисто литературное значение таких до сих пор недооцененных памятников, как рукописные хроники и записки побелогорского периода, публицистика гуситской эпохи, памфлеты реформатов, направленные против католической реставрации, как, наконец, так называемые «книжки народного чтения» и ярмарочные песни XVII—XVIII веков.

Кроме того, по мнению автора, в переоценке нуждается период Ренессанса. Й. Грабак предлагает ослабить «напряжение» между латинскими гуманистами, с одной стороны, и гумакчстами, пишущими по-чешски, с другой. Понятие народности литературы является исходной посылкой и при конкретных размышлениях

* Josef H r a b á k. K me'todologii studia starší české literatury. Praha, Státní pedagogické nakladatelství, 1961.

¹ См., например, книгу: Josef H r a b á k. Studie ze starší české literatury. Praha, 1956.

о побелогорской эпохе. Й. Грабак отрицательно относится к чешской литературоведческой школе «защитников барокко», работавшей в 30-е годы, считая, что репрезентативной в период от Белой Горы и до начала Возрождения была не официальная и официозная литература, а оппозиционная народная письменность и фольклор. Впрочем, упрекая школу «защитников барокко» в односторонности, автор не поддерживает и тех исследователей, которые однозначно интерпретируют барокко как детище контрреформации.

Таковы в основном положения книги, трактующие вопросы собственно чешской литературы. Эти размышления, несомненно, небесполезны также и для славистов широкого профиля (до сих пор, например, в тени остается русская рукописная традиция XVIII века), однако гораздо больший интерес представляют теоретические положения автора.

В первую очередь следует упомянуть о репродукции ленинского положения о двух культурах на словесное творчество старшей поры. Й. Грабак, говоря о социальной ограниченности книжного образования в период раннего средневековья, утверждает, что в эту эпоху письменность служила исключительно господствующему феодальному классу, главным образом через посредство духовного сословия. Лаики довольствовались устным творчеством, хотя обмен между письменностью и фольклором шел, и этот обмен был двусторонним (в Чехии он был сильно затруднен начиная с XI века, когда латынь как язык литургии вытеснила старославянский, понятный всей нации). Клирики пересказывали и толковали народу на понятном ему языке некоторые латинские тексты, особенно жития и проповеди. С другой стороны, народные предания проникали в латинские легенды и хроники (как примеры могут быть указаны «Хроника чехов» Козьмы Пражского и «Повесть временных лет»). Наконец, светские феодалы также пользовались фольклором, хотя феодальный фольклор был в общем ремесленным и количественно ограниченным.

Как кажется, чешский профессор впадает в некоторое упрощенчество и схематизм, конструируя «по вертикали» двуслойную культуру — сверху письменность, снизу фольклор. Нельзя забывать о том, что некоторые произведения, выразившие общегосударственные интересы, имели национальный характер в широком смысле этого слова. Далее: то обстоятельство, что в нашем распоряжении сейчас почти нет оппозиционных произведений ранней славянской письменности, отнюдь не доказывает, что этих произведений не было вообще. По крайней мере для Новгорода (если привлекать русский материал) можно считать установленным, что письменность не составляла исключительной привилегии феодалов и духовенства. Плохая сохранность оппозиционных памятников объясняется теми условиями, в которых на протяжении многих столетий существовала и развивалась рукописная традиция.

Однако хочется отметить, что Й. Грабак безусловно прав, когда он призывает историка древних литератур всегда помнить о том, что исследование письменности — это исследование лишь одного из потоков словесной культуры, что необходим постоянный учет устного народного творчества. Удельный вес первоначально слабого «ручейка» письменности с течением времени увеличивался, и вместе с тем усиливалось классовое и социальное расслоение старинной литературы.

В связи с общими представлениями о соотношении письменности и устного творчества, с тезисом об исключительной социальной ограниченности литературы находятся взгляды Й. Грабака на сущность литературных течений и направлений в древнюю эпоху. Поскольку в это время тенденциозные произведения в основном обращаются в среде приверженцев данной тенденции, часто не попадая в руки ее противников, Й. Грабак полагает, что это обстоятельство не позволяет в полной мере развиться борьбе литературных направлений. Литературным направлением, заявляет автор, следует считать такое движение, в котором есть элементы осознанности, ощущение общественных целей, присущее как авторам, так и читателям. Поэтому интегральным элементом литературного направления наряду с художественным творчеством является критика и публицистика.

Отсутствие критики и публицистики в прямом смысле слова в ранний период существования славянских литератур ведет Й. Грабака к дифференциации терминов «течение» и «направление». Первый из них он толкует как стихийное движение в одном направлении, второй — как осознанное движение с теоретической базой. Признавая известную правомерность этого построения, я все же хочу отметить, что Й. Грабак в данном случае несколько отходит от принципа историзма — принципа, который справедливо и неустанно пропагандируется в его книге. Здесь, как кажется, не учитывается синтетичность древней литературы и ее своеобразная жанровая система. Элементы критики и публицистики в старшую пору органически включались в художественную структуру произведения. Разумеется, при отнесении ряда безымянных или авторских памятников к какому-либо литературному течению или направлению должно соблюдать необходимую меру абстракции — Й. Грабак правильно выступает и против дробления, и против нивелировки литературного процесса. Медиевист имеет дело с огромным периодом, обнимающим несколько столетий. Отрывочная сохранность материала приводит порою к тому, что целая эпоха отождествляется с направлением — до этого уровня, например, иногда производится барокко.

Весьма интересна проблема многоязычия в славянских литературах древнего периода. Если сейчас, как правило, мы классифицируем отдельные литературы по языкам, то для средневековья следует иметь в виду другой критерий: в какой среде, независимо от используемого языка, обращается памятник и к какой среде он адресован. Старославянский язык и латынь в раннефеодальной Чехии, говорит Й. Грабак, обслуживали большую часть тогдашнего читательского слоя; кроме того, они ощущались как «надъязыки», если можно так выразиться, — главным образом потому, что употреблялись в литургии. Следовательно, произведения на этих языках входили в национальную культуру. Эта справедливая концепция может быть применена, по-видимому, и по отношению к истории древнерусской литературы (имею в виду вопрос о роли старославянских текстов и старославянского языка), хотя, к сожалению, в советской науке до сих пор не выработана общепринятая точка зрения по вопросу о роли старославянского языка в нашей древней культуре.

Несколько разделов книги Й. Грабак посвятил современному звучанию и пропаганде старинных славянских литератур. Пожалуй, нет нужды подробно говорить о необходимости изучения древних литератур для понимания литературного процесса. Й. Грабак прав, говоря, что нигилистический подход к художественному творчеству старшей поры характерен для тех литературоведов, которые тяготеют к конкретным, подчас чересчур мелким проблемам нового и новейшего периода. Важно, на мой взгляд, другое.

Отсекая произведения древних литератур от той продукции, которая предлагается современному читателю, молчаливо признавая слово «древняя» синонимом «мертвая», мы вольно или невольно обедняем собственную культуру. Характерным для профиля чешских городов, пишет Й. Грабак, является сосуществование памятников давних эпох — готики, Ренессанса, барокко — и современных ансамблей. Примерно то же должно быть и в сфере литературы. Мы должны сделать древнюю литературу доступной широкому кругу читателей. Разумеется, дело не только в издании,² но и в пропаганде. Если считается, что старинный собор необходимо осматривать с помощью экскурсоводов, если учат «слушать музыку», то безусловно нужно учить «культурно читать». Языковые трудности при изданиях старинных памятников, на которые столь часто ссылаются, вполне преодолимы. Произведения XVI—XVII веков достаточно снабдить небольшим словарем; более ранние тексты, разумеется, нуждаются в переводе.

Й. Грабак справедливо указывает на политическое значение изучения старинной литературы. Современная буржуазная наука охотно оперирует понятиями «интеллектуальное молчание» и «культурное бесплодие» славянских народов. Совершенно очевидно, насколько важна борьба против этих теорий. Известно, например, к каким политическим результатам привела концепция полной зависимости чешской культуры от немецкой: стоит хотя бы вспомнить печально известный «труд» Конрада Биттнера «Немцы и чехи» (K. B i t t n e r. Deutsche und Tschechen. 1936), который широко использовали фашистские идеологи.

В связи с этим стоит упомянуть о задаче воскрешения культурных ценностей старины, сформулированной в рецензируемой книге. Несмотря на наличие группы общепризнанных «представительных» памятников, подобное «воскрешение» — как находки новых текстов, так и переоценка текстов уже известных — может привести к очень важным результатам, так как новые потребности современной культуры могут вызвать повышенный интерес к каким-либо произведениям или темам, которые ранее занимали лишь специалистов.

Таковы в общих чертах проблемы, которые рассматривает Й. Грабак. Его новая книга — свидетельство серьезных успехов чехословацких медиевистов, начинающих разработку центральных теоретических вопросов истории древних литератур.

² В Чехословакии популярные издания произведений древней поры выходят все же чаще, чем у нас. Выпускается специальная серия «Памятники старой чешской литературы» («Památky staré literatury české»), кроме того, старинные тексты печатаются в сериях «Живые произведения прошлого» («Živá díla minulosti»), «Заветы чешского прошлого» («Odkaz minulosti české»). Впрочем, Й. Грабак полагает, что издание древних авторов лучше всего поставлено в Польше: он высоко оценивает новую серию «Библиотеки польских писателей» («Biblioteka Pisarzy Polskich») и работу специальной «древнепольской» редакции Государственного издательского института (Państwowy Instytut Wydawniczy), которая за последние семь лет выпустила все сочинения Кохановского (пятикратно!), произведения Вацлава Потоцкого, Збигнева Морштына, прозу раннего Ренессанса, старопольские драмы, фацеции и многое другое.

КНИГА О СТИЛЕ ФЕДИНА *

Проблема стиля писателя в советской литературе в последнее время привлекает к себе большое внимание. Среди литературоведов и искусствоведов идет дискуссия (например, в журнале «Вопросы литературы») по широкому кругу вопросов, связанных с этой проблемой. Спорят о самом наполнении термина «стиль», о стилевых тенденциях в современной литературе, о том, правомерны ли попытки отдельных литераторов утверждать существование «современного стиля» в искусстве и т. д. С выходом книги В. В. Виноградова «Стилистика, теория поэтической речи, поэтика» (1963) появилась солидная теоретическая база для исследований стиля художественной литературы.

Марксистская критика ставит и освещает проблему стиля на совершенно иных основах, чем буржуазное литературоведение, ограниченное формалистической или в лучшем случае эмпирически-описательной методологией. Стиль произведения или индивидуальный стиль писателя, стиль литературного направления или национальной литературы (в тот или иной период ее развития) рассматриваются как конкретное единство художественных средств, образов и тематики, организуемых мировоззрением художника, определяемых социальной действительностью исторической эпохи. Стилевой аспект изучения литературы позволяет глубоко проникнуть в эстетическую специфику литературы, показать художественную систему, взаимозависимость и взаимосвязь отдельных элементов ее содержания и формы, полнее раскрыть, в частности, богатство критического реализма, художественное многообразие социалистического реализма.

Важное место занимает задача изучения индивидуальных стилей крупнейших писателей.

В рецензируемой книге чешского литературоведа М. Заградки обстоятельно характеризуется стиль Константина Федина, писателя, прошедшего сложный творческий путь, создавшего свой оригинальный стиль прозы, индивидуальное своеобразие которого заключает в себе много характерного для стиля советской прозы вообще.

Из романов К. Федина более подробно разобраны «Города и годы» и два первых романа трилогии, произведения же «среднего» периода (от «Братьев» до «Санатория Арктур») проанализированы довольно кратко (как видно из авторского примечания на 47-й странице, разделы об этих романах ему удалось опубликовать лишь в сокращении). Такое построение книги, впрочем, не случайно: автору важно было дать не исчерпывающую «статическую» характеристику стиля Федина, но эволюцию стиля и в анализе этой эволюции выявить становление художника и вместе с тем типические черты развития советской романистики от 20-х до 50-х годов. Его прежде всего интересовали «начало» и «конец» цепи творчества писателя.

Анализ стиля каждого романа К. Федина идет по следующим основным линиям: идеи и образы, композиция и сюжет, внешняя характеристика героев («особенности портретизации»), искусство психологической характеристики, образ времени.

Как видим, в этой схеме отсутствует оценка стиля в узком смысле слова, что, конечно, наносит известный ущерб полноте охвата стилевых проблем творчества К. Федина.

Что касается разделов «Идеи и образы. . .», то они довольно кратки и дают преимущественно «общее знакомство» с героями романов. Ввиду этого богатство идейно-образных концепций романов К. Федина, а также связь романов с исторической действительностью раскрываются лишь частично и отрывочно. Так, где-то на периферии оказываются такие немаловажные стороны творческой деятельности писателя, как восприятие горьковских традиций (ведь К. Федин, например, продолжил «тему» Горького по разоблачению мира капитализма, буржуазной морали), как жанровая определенность публицистического романа «Похищение Европы» (автор книги, не учитывая этой особенности романа, подходит к нему как к социально-психологическому роману и, естественно, усматривает в нем ряд «недостатков»), как влияние социалистической действительности 30—40-х годов на фединскую концепцию человека в первых двух романах дилогии (замысленных и созданных в 40-е годы) и т. д. Это, разумеется, не значит, что М. Заградка не показывает связи творческого стиля К. Федина с развитием его мировоззрения и эстетических взглядов. Об этой задаче он всегда помнит.

Общий свой взгляд на эволюцию фединского стиля М. Заградка формулирует следующим образом. В первых романах К. Федина «открыто вступает в повествование со своими оценками, широко использует лирические отступления», словом, придерживается «субъективного повествования». В дальнейшем писатель эволюционирует в сторону «объективного повествования», с присущими ему «завуалированной автор-

* Мирослав Заградка. О художественном стиле романов Константина Федина. Гос. пед. изд., Прага, 119 стр.

ской оценкой», оценкой «в скрытой форме», заложенной в самой логике характеров, логике развития действия (стр. 6).

Этот «основной процесс в развитии фединского стиля» определяется эволюцией мировоззрения писателя: субъективная оценка и субъективное повествование преобладали у него тогда, когда в его воззрениях было еще много субъективного («В первых романах Федин, хотя принимает революцию, но постоянно как бы ведет «дискуссию» с некоторыми сторонами действительности. . .» — стр. 6); когда же он стал на позиции марксизма, преодолел абстрактный гуманизм, когда углубился историзм его мышления — тогда создались предпосылки для развития в его творчестве объективной оценки явлений и «объективного повествования».

Этот взгляд на стиль К. Федина, конечно, имеет некоторые основания в произведениях писателя. Вывода автора книги мы не собираемся оспаривать.

Но видеть в этой эволюции «основной процесс» в развитии стиля Федина было бы неправильно.

Почему? Потому, что этот процесс совершенно не «схватывает» специфики именно фединской эволюции. Ведь многие художники проделали такой же путь от прямолинейности и обнаженности своих оценок в раннем творчестве, от художнической «тенденциозности» (основывавшейся зачастую на искреннем желании яснее определить свою позицию) к овладению всем богатством реалистических традиций выражения авторской концепции в самой системе и в самой логике развития художественных образов. Очевидно, что в подобной эволюции нельзя найти индивидуального своеобразия стиля К. Федина.

Вряд ли улавливаются черты индивидуального своеобразия К. Федина и в тех наблюдениях М. Заградки, где констатируется использование писателем распространенных приемов реалистической литературы. Так, говоря о психологической характеристике героев в «Городах и годах», М. Заградка отмечает, что «внешнее проявление отвечает действительно тому, что происходит во внутреннем мире героя» (стр. 31). Обычное дело! Или, например, он пишет о героях трилогии, что «автор не навязывает свою точку зрения читателю, а естественно и убедительно показывает живых людей. Читатель, таким образом, даже этого не сознавая, принимает авторскую оценку, считая ее своей самостоятельной точкой зрения» (стр. 65). А как же иначе? Или: «Писатель заставляет героев и события говорить самих за себя, не выявляя открыто своего мнения о них и максимально скрывая композиционные приемы акцентирования главного в романе» (стр. 75). Это очень распространенная особенность реалистической литературы. Или: «Обобщение о героях, которые можно считать авторскими, мы слышим в трилогии обыкновенно из уст других героев» (стр. 100). Или: «Метафорой Федин иногда достигает не только поэтичности, но и краткости выражения сложных эмоций героев. . . Без метафоры пришлось бы говорить довольно пространно, с метафорой можно было говорить кратко, точно и наглядно» (стр. 101).

Настойчивое подчеркивание автором книги преимуществ и превосходства в фединском творчестве «объективного» стиля над стилем «субъективным», включающим прямые авторские оценки изображаемого, побуждает читателя книги сделать общий вывод об известном несовершенстве творчества писателей, насыщенного прямыми авторскими оценками и вообще отличающегося выдвиганием авторской «субъективности». Таково, например, творчество Леонида Леонова (даже последняя повесть «Evgenia Ivanovna» содержит много «комментариев» автора). Неужели только на этом основании оно должно быть оценено на один пункт ниже? А стиль М. Пришвина, О. Берггольд («Дневные звезды»), В. Кожевникова («Знакомьтесь, Балзуев»)? Правда, М. Заградка предостерегает в одном-двух случаях относительно различий в понятиях «субъективное повествование» и «субъективизм автора», но пафос всей книги, «логика» ее построения ведут читателя к выводу о превосходстве «зрелого» объективного стиля над субъективным.

Перейдем к конкретным суждениям М. Заградки о стиле романа «Города и годы» и трилогии.

Особенно интересны разделы книги, посвященные первому роману К. Федина. Здесь много самостоятельных наблюдений над мастерством писателя как в области композиции, так и в психологическом анализе.

Перестановку глав М. Заградка объясняет прежде всего желанием автора подчеркнуть «общественную линию характеров: наказание следует не за личную измену, а за предательство революции». Это ясно из первых глав (о 1922 и 1919 годах), — и в дальнейшем хронологически последовательном повествовании «на фактах жизни героев» как бы «проверена правильность осуждения и наказания Старцова» (стр. 13—14).

Говоря о средствах характеристики героев «Городов и годов», М. Заградка констатирует: «. . . чем значительнее образ, чем большее место занимает он в замысле автора, тем сложнее структура его изображения, тем большее место отводится формам психологической характеристики, но за счет убавления средств „статичной“ внешней характеристики. И наоборот: чем больше образ включен в картины эпохи, чем меньше он самостоятелен, чем больше персонаж приобретает характер эпизодического лица, тем больше автор пользуется статичной портретизацией и тем больше снижается значение внутренней характеристики» (стр. 25). Тонко прослеживает М. Заградка федин-

ские приемы внутренней характеристики героев, приходя к следующему выводу: «Несобственно-прямая и несобственно-авторская речь наряду с простой авторской психологической характеристикой — это главные звенья изображения основных фединских героев. Решающая роль этих форм внутренней характеристики для раскрытия основных характеров романа и делает из персонажей произведения преимущественно психологические типы» (стр. 35). Под термином «несобственно-авторская речь» М. Заградка понимает авторскую речь с некоторыми элементами речи героя.

Что касается «образа времени» в первом романе К. Федина, то, устанавливая насыщенность характеров духом эпохи, М. Заградка видит своеобразие фединского творчества в том, что характеры и эпоха «сохраняют свою независимость и самостоятельное развитие в ходе романа» (стр. 43).

В разделе о «Городах и годах» есть спорные утверждения. Автор слишком суров в оценке образа Курта Вана («В Курте мы не найдем черт настоящего большевика»; это — «неубедительная и схематическая фигура» и пр.), как-то забывает о том, что лаконизм обрисовки образа не равнозначен схематичности его изображения. Натяжкой звучит суждение М. Заградки о том, что прямая речь в обрисовке Лепендина (в главке «Конец Лепендина») исчезает, заменяясь авторским портретом, именно потому, что герой возвращается в положение пленного, перестает быть действующим лицом, свободно и активно пользующимся своей свободой.

Около половины книги М. Заградки уделено анализу трилогии. Автор удачно полемизирует по ряду вопросов с Б. Брайниной, В. Смирновой, А. Мацкиным и другими критиками, писавшими о трилогии. Подробно проанализирована система образов романа, его структура, его стилевые средства, во многом отличные от средств раннего Федина. Ряд заключений М. Заградки обогащает наши представления о Федине-художнике.

М. Заградка «реабилитирует» образ Пастухова, который принято обычно рассматривать как отрицательный образ. Он пишет: «...Пастухов — не антагонист Извекова, автор верит в его перерождение» (стр. 64). Подмечает М. Заградка параллельность композиции «Первых радостей» и «Необыкновенного лета» (завязки; перекликающиеся ситуации и т. д.), объясняя ее так: «В параллелизме романов Федину удалось подчеркнуть победное шествие революции, рост новой жизни, новые перспективы героев трилогии, преимущества нового над старым, обреченность старого» (стр. 71). Большое значение придает он усилившейся в творчестве К. Федина тенденции «раскрывать действительность через восприятие героев» (стр. 73) — это позволяет полнее и разностороннее показать жизнь как бы с разных точек и углов зрения, «проверить» точку зрения одного героя мнением другого и т. д. М. Заградка обращает внимание на то, что в трилогии «расширился реестр оттенков в выражении взаимоотношений между внешними чертами героя, жестами и их внутренним смыслом» (стр. 88).

Вряд ли, однако, можно согласиться с мыслью М. Заградки, что центральными героями трилогии являются Извеков и Рагозин (стр. 58). А разве к ним не относятся Пастухов и Аночка? Несколько схематично и такое суждение автора книги: «Образ времени создается писателем по двум линиям — через сюжет, через пронизанные временем характеры и через обособленные исторические картины» (стр. 104). В сущности, одно тесно связано с другим — больше, чем в «Городах и годах».

Порою в анализе стиля автор книги несколько педантичен. Так, он пишет: «О смене чувств в душе героини (Лизы Мешковой, — В. К.) говорят также такие черты, как частое смущение, краснота на лице и др.» (стр. 83). Или: «В сцене „книжного“ увлечения героя в утильотделе передана психика Кирилла в форме коротких внутренних монологов, несобственно-прямой речи, прямых авторских зарисовок и косвенного, внешнего показа душевного мира» (стр. 99). Может быть, поэтому стилистический анализ в книге М. Заградки порою кажется излишне дробным, излишне обстоятельным, несколько приглушающим выявление пафоса творчества К. Федина, богатства его идей, связи его произведений с временем.

Книга М. Заградки несомненно привлечет внимание исследователей творчества К. Федина. Им придется считаться с нею в дальнейших изучениях Федина-художника. Книга — интересный вклад в литературу о Федине.

Побудит она также и к размышлениям относительно проблем стиля в советской литературе.



ХРОНИКА

IV ЗОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ЛИТЕРАТУРОВЕДОВ ПОВОЛЖЬЯ

Более шестидесяти ученых, представителей 15 городов Поволжья и примыкающих к нему областей, выступили с докладами на IV зональной конференции, состоявшейся в мае 1963 года в Саратове.

Пленарное заседание открыл заведующий кафедрой советской литературы Саратовского университета П. А. Бугаенко. В докладе «Основные проблемы советской литературы на современном этапе» он проанализировал основные закономерности развития литературы социалистического реализма и стоящие перед нею задачи в свете встреч руководителей партии и правительства с художественной интеллигенцией. На пленарных заседаниях были заслушаны также доклады Е. А. Слободской (Волгоград) «Теоретические проблемы реализма на современном этапе советского литературоведения» и доктора филологических наук В. А. Бочкарева (Куйбышев), познакомившего участников конференции с главой своей докторской диссертации «„Борис Годунов“ Пушкина и русская историческая драматургия первой четверти XIX века».

Работа секции советской литературы началась с доклада Б. В. Видищева (Балашов) «Композиция пьесы М. Горького „Мещане“». Докладчик, в значительной мере дополняя имеющуюся критическую литературу, посвященную анализу «Мещан», убедительно раскрыл значение образа Нила, являющегося тем центральным образом, который обуславливает идейно-композиционное единство и целостность пьесы Горького. М. Л. Сурпин (Ярославль) рассматривает композицию автобиографических повестей Горького «Детство» и «В людях» как проявление идейно-художественного новаторства. На материале писем и критических статей, принадлежащих перу А. М. Горького, И. Т. Изотов (Оренбург) детально выясняет эволюцию взглядов писателя на жанр исторического романа.

Мастерству А. М. Горького в изображении исторических событий в эпопее «Жизнь Клыма Самгина» был посвящен доклад С. М. Лубэ (Оренбург). С докладом «Образ В. И. Ленина в советской литературе» выступила А. Ф. Киреева (Саратов). Ценность произведений Горького, Маяковского, Есенина, Федина, Погодина, Казакевича и др., раскрываю-

щих образ В. И. Ленина, заключается, по мнению докладчика, в их историзме, в присущем им «высоком эстетическом идеале», в теснейшей связи с современностью. Л. М. Фарбер (Горький) в докладе «Образ Щукаря во второй книге „Поднятой целины“» показал глубоко народные истоки шолоховского образа, несущего в себе оптимистическое, жизнеутверждающее начало, что сближает его с образами Кола Брюньона и солдата Швейка. В. Г. Пузырев (Мелекес), рассматривая неизвестные до сих пор материалы, сообщил много интересного о деятельности Пролеткульта на Дальнем Востоке в годы гражданской войны. На эстетической платформе «Перевала» в оценке критики 20-х годов в своем докладе остановился А. В. Артюхин (Саратов). И. М. Машбиц-Веров (Куйбышев) глубоко проанализировал поэму В. В. Маяковского «Человек», знаменовавшую собой приход поэта к признанию неизбежности социалистической революции. На основе детального изучения неизвестных, главным образом юношеских, рукописей Фурманова В. М. Черников (Саратов) проследил путь творческого развития писателя и воздействие на него лучших традиций русской литературы, таких ее представителей, как Белинский, Достоевский, Толстой, Горький. М. Ф. Пьяных (Кострома) на примерах творчества Тихонова, Антокольского, Прокофьева, Твардовского, Голлодного, Симонова, Кедрина, Недогонова и Гудзенко показал эволюцию жанра баллады в советской поэзии военных лет, открывавшего путь ко все более глубокому проникновению в действительность и в конечном счете — к появлению эпоса. Остановившись на целом ряде неисследованных архивных материалов, старых газетах, личной переписке некоторых писателей с жителями Татарии, Р. М. Порман (Казань) сообщил много новых данных о жизни и деятельности писателей, проживавших в годы Отечественной войны в Казани и Чистополе. Эти сведения (о Д. Бедном, Федине, Леонове, Тренине, Асееве, Исаковском, Твардовском, а также о Жане-Ришаре Блоке, Джерманетто и др.) представляют не только биографический интерес, но и проливают свет на творческую историю произведений этих авторов. Г. В. Макаровская (Саратов) в своем докладе «Про-

блема содержания и формы художественного произведения» попыталась обобщить опыт чтения этого раздела лекционного курса по эстетике. Л. Ф. Кириллюк в докладе «Об одном художественном образе современной советской поэзии» проследила различную художественную интерпретацию образа земного шара, земли у поэтов XIX—XX веков, включая поэтов-современников — Шипачева, Светлова, Твардовского, Рождественского и др.

Весьма интенсивно проходила работа секции русской литературы XIX века, на заседаниях которой были заслушаны 23 доклада. Значительное место в программе заняли вопросы теории романтизма и реализма. Процесс перехода от романтизма к реализму в русской литературе 20—30-х годов был прослежен в докладе М. Уманской, осветившей пути преодоления Пушкиным и Лермонтовым романтического субъективизма и индивидуализма (в «Евгении Онегине» и «Герое нашего времени») и использование ими художественных достижений романтизма в раскрытии внутреннего мира человека реалистическими средствами. В докладе Н. Б. Подвицкого (Ульяновск) «Романтизм поэзии А. И. Одоевского» подчеркивалась связь поэзии Одоевского с общим развитием романтизма в 20—30-е годы и в то же время отмечались ее специфические мотивы и образы как революционно-романтической поэзии. Несомненный интерес для постановки проблемы романтизма и реализма в творчестве Лермонтова представлял доклад Е. Е. Соллертинского (Астрахань) «Пейзаж в „Герое нашего времени“ М. Ю. Лермонтова», где автор выяснял вопрос о новаторстве Лермонтова, раскрывшего «внутреннего человека» в Печорине, в характере которого угадываются ростки будущего деятеля, героя-борца. Острую дискуссию вызвал доклад А. Б. Сокотуева (Улан-Удэ) «Проблема личности и общества в литературе критического реализма», попытавшегося проследить качественное своеобразие и эволюцию в решении этой проблемы на разных этапах развития метода критического реализма. Вопрос о соотношении романтического и реалистического начал в творческом методе Ф. И. Тютчева привлек внимание В. Н. Касаткиной (Саратов), выступившей с докладом «Некоторые особенности творческого процесса Ф. И. Тютчева».

В качестве особого цикла в программе конференции были выделены доклады, посвященные наследию писателей — революционных демократов — Белинского, Герцена, Чернышевского, Салтыкова-Щедрина. В докладе «Белинский и Герцен» Т. И. Усакина (Саратов), оперируя широкими философскими сопоставлениями, попыталась определить своеобразие социально-этического и эстетического идеалов Белинского, Герцена и

петрашевцев. В докладе М. И. Рунт (Куйбышев) «Эволюция дворянского героя русской литературы в оценке В. Г. Белинского 40-х годов» прослеживались взгляды великого русского критика на героя русской литературы 20—40-х годов. М. Т. Пинаев (Волгоград) в докладе «К вопросу о художественном методе Чернышевского — автора романа „Что делать?“» полемизировал с теми исследователями, которые односторонне делают акцент на романтике Чернышевского, подменяя ею все своеобразие реалистического метода писателя, характеризующегося смелым вторжением в область политики и науки, гармоническим сочетанием «поэзии мысли» с «поэзией сердца», что позволило ему расширить границы изображения действительности, глубже раскрыть роль социально-экономического фактора в жизни людей и выдвинуть в качестве главного героя не «обыкновенных людей», как полагают некоторые исследователи, а «особенного человека», героя-революционера Рахметова. Доклад М. Л. Нольман (Кострома) «Проблема научного комментария к статье-рецензии Н. Г. Чернышевского „Стихотворения Н. Огарева“», вызвавший оживленный обмен мнениями, строился на основе изучения рукописного отрывка. Докладчик рассмотрел эту статью-рецензию на конкретном реально-историческом фоне литературной жизни 50-х годов и увидел в ней выражение мысли критика «Современника» о появлении новых, свежих талантов, зачинателей послегоголевского периода русской литературы в прозе, поэзии и драматургии (Толстой, Некрасов, «третий» — Островский). К интересным выводам пришла в своем сообщении «Некоторые вопросы изучения романа Н. Г. Чернышевского „Повести в повести“» Н. А. Вердеревская (Елабуга), убедительно доказавшая, что в образе Панкратьева, связанного с журнальной полемикой 1861—1862 годов, Чернышевский показал (через ограниченное и искаженное восприятие типичного либерала) деятеля революционно-демократической журналистики. С докладом «Структура образа рассказчика в „Письмах к тетеньке“ Салтыкова-Щедрина» выступила аспирантка Саратовского университета М. Н. Межевая.

В особую группу могут быть выделены доклады, посвященные анализу проблематики и творческого метода писателей-реалистов XIX века. На широком историко-литературном фоне 50-х годов рассматриваются «Записки охотника» Тургенева Н. М. Беловой (Саратов). Е. А. Лимонова (Балашиха) остановилась на проблематике стихотворений в прозе И. С. Тургенева, явившихся, по мнению докладчика, итогом творческих исканий писателя и в то же время отражением противоречий его мировоззрения в последние годы жизни. В докладе «Берендеево царство в „Снегурочке“ А. Н. Островского» Ж. В. Кулиш (Мелекес) пере-

смаатривает традиционное истолкование пьесы-сказки как патриархальной идиллии, свидетельствующей о славянофильских симпатиях драматурга. В ней докладчик видит выражение мечты драматурга о свободном государстве и свободном народе, несовместимой с порядками, основанными на угнетении и подавлении личности. «О некоторых особенностях реализма „Очерков бурсы“ Помяловского» рассказал в своем сообщении В. П. Барцевич (Саратов). Сила и слабость реализма Достоевского в решении проблемы положительного героя в романе «Идиот» и изучение романа за рубежом были освещены в докладе М. Я. Ермаковой (Горький). И. А. Потапов (Волгоград) свой доклад посвятил анализу композиции романа Л. Н. Толстого «Война и мир», особое внимание уделив соотношению в романе свободного вымысла и строгой исторической достоверности, композиционных принципов камерной семейной хроники и широкого эпического полотна. Б. И. Александров (Горький) в докладе «Типическое содержание характеров „тоскующих“ героев в творчестве А. П. Чехова конца 80-х годов» пересматривает традиционное: представление о принципах типизации у Чехова. На материале произведений второй половины 80-х годов («На пути», «Припадок», «Иванов» и др.) докладчик проследил воплощение в образах «тоскующих» чеховских героев элементов мягкотелости, душевной дряблости, резких крайностей, в которых выразились убожество и бессилие уходящей в прошлое старой, патриархальной России. В докладе аспиранта Саратовского университета В. Б. Смирнова «Лев Толстой и беллетристика „Отчужденных записок“ конца 70-х — начала 80-х годов» прослеживаются идейно-философские связи Толстого с А. Н. Энгельгартом, Н. Н. Златовратским, Глебом Успенским, морально-этические проповеди которого докладчик сближает с сенсимионистским учением о «новом христианстве», в отличие от «этического анархизма» Л. Толстого.

Особое место среди докладов этого цикла занимают сообщения, посвященные проблеме литературных связей и творческих контактов писателей.

Развитию фольклоризма Пушкина в процессе перехода его от романтизма к реализму посвящен доклад Т. М. Акимовой (Саратов) «Народные удалые песни в трактовке А. С. Пушкина». В сообщении о поздней пьесе Л. Андреева «Милые призраки» Ю. В. Бабичева (Оренбург) попыталась проследить идейно-творческие связи Л. Андреева и Ф. М. Достоевского и одновременно исследовать вопрос о поисках Андреевым новой формы «интеллектуальной» драмы, наиболее соответствующей эпохе. Малоизученный вопрос о творческих связях Чехова и Пушкина решается Е. И. Куликовой (Саратов) на материале теоретических высказываний писателей, позволяющих

судить об известной близости их эстетических взглядов и отправных творческих принципов. Общий интерес вызвал «краеведческий» по теме доклад П. С. Бейсова (Ульяновск), посвященный учителям-симбирцам, художественные интересы которых позволяют судить о круге чтения семьи Ульяновых и о той общественной и литературной атмосфере, в которой происходило формирование личности В. И. Ленина.

В секции зарубежной литературы наметились три цикла докладов. Доклады З. Е. Либинзона (Горький) и И. В. Мешковой (Саратов) были посвящены исследованию художественных методов, предшествующих критическому реализму. В докладе «Путь Шиллера к „Дон Карлосу“» З. Е. Либинзон проследил творческое развитие Шиллера от мещанской драмы к жанру «высокой трагедии» (1784—1787 годы). Внимание И. В. Мешковой привлекли литературно-критические статьи В. Гюго 1823—1824 годов.

Изучение своеобразия развития критического реализма в XX веке определило аспект исследования в докладах Н. С. Травушкина (Астрахань), Е. М. Мандела (Саратов), Р. Ф. Усмановой (Казань) и Е. М. Бургафт (Ульяновск). В их докладах было затронуто творчество Гауптмана и Б. Шоу.

Историко-литературные и теоретические вопросы, связанные с проблемами соотношения критического реализма и реализма социалистического, привлекли внимание Н. П. Еланского (Саратов), остановившегося на творчестве Ярослава Гашека, и В. С. Вахрушева (Балашов), в докладе которого «Роман Джека Линдсея „Люди 48-го года“ — произведение социалистического реализма» выясняется своеобразие творческого метода Линдсея и его органическое слияние с общими принципами социалистического реализма.

На секции методики преподавания литературы было прочитано 15 докладов. В их числе доклады профессора Я. А. Ротковича (Куйбышев) «Литературные и методические взгляды Н. К. Крупской», А. А. Тиховодова (Горький) «Об изучении творческого пути Л. Н. Толстого в средней школе», И. Д. Хмарского (Мелекес) «Формирование понятия народности литературы при изучении творчества Н. А. Некрасова» и др.

Внимание присутствовавших привлекли также доклады учителей Саратова, поделившихся опытом своей работы, — В. И. Далечинной, Ю. И. Абросимовой, Л. В. Ивановой и Е. А. Шнейдер.

На заключительном пленарном заседании М. М. Уманская (Саратов) поделилась опытом работы над лекционным курсом истории русской литературы XIX века. Итоги конференции были подведены профессором Я. А. Ротковичем, выступившим с отчетом бюро зонального объединения.

ВСЕСОЮЗНОЕ СОВЕЩАНИЕ ФОЛЬКЛОРИСТОВ ПО ВОПРОСАМ АРХИВОХРАНЕНИЯ

По инициативе Научного совета по фольклористике и Института Литовского языка и литературы АН Лит. ССР с 10 по 12 октября 1963 года в Вильнюсе, в Институте литовского языка и литературы АН Лит. ССР, состоялось совещание фольклористов Литвы, Латвии, Эстонии, Москвы, Ленинграда и других научных центров. На совещании обсуждались вопросы систематизации народного поэтического творчества и организации работы фольклорных хранилищ.

Фольклористы прибалтийских республик по поручению Научного совета по фольклористике при Бюро Отделения языка и литературы АН СССР (бывшей Координационной комиссии по народному творчеству) уже длительное время работали над методическими указаниями по упорядочению фольклорных архивов и систематизации материалов народного поэтического творчества. В результате этого труда была создана «Методическая записка по регистрации и систематизации народного творчества», которая и легла в основу упомянутого обсуждения.

«Методическая записка» состоит из следующих разделов: «Регистрация и инвентаризация поступающего фольклорного материала», «Систематизация народного песенного творчества», «Основные принципы систематизации мелодий народных песен», «Систематизация народных сказок, анекдотов, преданий», «Систематизация мелких жанров фольклора», «Систематизация хореографического фольклора».

Раздел, посвященный регистрации и инвентаризации фольклорных материалов, основывается главным образом на опыте работы фольклорного архива Литературного музея АН Эст. ССР. Основой создания каталогизационной системы народного песенного творчества послужила работа, проведенная в Институте литовского языка и литературы АН Лит. ССР. Литовские фольклористы по определенной системе уже систематизировали около 250 000 записей песен и создали систематический каталог литовского песенного народно-поэтического творчества.

Сообщения на совещании сделали авторы отдельных разделов «Методической записки»: Э. Кокаре, Э. Норман, В. Бараскене, С. Путейкене, О. Амбайнис, А. Анцелане и Г. Суна.

Совещание открыл директор Института литовского языка и литературы АН Лит. ССР акад. К. Корсакас. Отметив особую важность этого первого совещания всесоюзного масштаба по вопросам фольклорного архивохранилища, проводимого в Литве, акад. Корсакас призвал всех присутствующих принять самое активное участие в обсуждении каждого раздела представленной работы.

С сообщением о целях и задачах, стоявших перед создателями «Методических

указаний по регистрации и систематизации устного народного творчества», выступила зав. сектором фольклора Института языка и литературы АН Латв. ССР канд. филолог. наук Э. Кокаре (Рига). В большинстве фольклорных архивов, сказала Э. Кокаре, организация централизованного хранения находится на самой первоначальной стадии. Вследствие отсутствия правильной обработки огромные богатства записей народно-поэтического творчества малодоступны, а иногда и совсем недоступны для исследователей. Обобщая методы регистрации и систематизации, принятые в прибалтийских республиках, прибалтийские фольклористы имели в виду, что ряд положений их описания может быть использован в других архивах страны, где работа этого рода только лишь начинается.

Перед творческим коллективом, работавшим над методической запиской, стояли задачи: обеспечить наглядный учет собранного и вновь поступающего материала, помочь ученым ориентироваться в нем, сделать архивы национального фольклора доступными международной фольклористике. Э. Кокаре подчеркнула особое значение в систематизации фольклорных записей первичной обработки материала: инвентаризации, нумерации, составления необходимых регистров, картотек и каталогов, которые позволили бы разыскать в архиве нужную единицу хранения.

Сообщение о регистрации и хранении поступающего фольклорного материала сделала научный сотрудник Тартуского литературного музея им. Крейцвальда АН Эст. ССР канд. филолог. наук Э. Норман. Она высказала мнение, что поступающий в архив материал должен регистрироваться в «Дневнике прироста», в котором следует отмечать, когда прибыли данные записи фольклора, кто является их собирателем, где и когда материал был собран, объем посылки с фольклорным материалом и содержание посылки по жанрам. Каждая отдельная посылка с фольклорным материалом образует единицу хранения, получает свой шифр и соответствующим образом обрабатывается. На каждого собирателя-корреспондента следует заводить корреспондентскую карточку, которая должна отражать его связь с данным учреждением. Полученные записи фольклора рекомандуются переплетать в тома, для каждого из которых составляется четыре регистра. В «общем регистре», представляющем собою книгу, раскрывается содержание каждого тома. Остальные регистры — это алфавитные картотеки: регистр топографический (место записи материала), регистр собирателей и регистр певцов, музыкантов, сказителей.

В фольклорных архивах следует хранить и фотоматериал. Регистрироваться

он должен, помимо «Дневника прироста», в «Инвентарной книге фототеки» (порядковый номер в книге одновременно является и шифром данной фотографии); здесь же даются сведения о предмете хранения (дата получения, описание фотографии, сведения о фотографе и др.). Фотографии и негативы хранятся отдельно. Экспедиционные фотографии следуют делать в двух экземплярах: один — помещать в фототеку, другой — приклеивать к текстам. Ключом к фототеке должна служить тематическая фотокарточка.

Те же приемы учета и хранения Э. Норман рекомендовала и для магнитофонных лент. Для того чтобы можно было быстро найти требуемое произведение, следует составлять тематическую картотеку звукового архива. На карточках, куда заносится каждое записанное на ленте произведение, отмечается номер ленты по инвентарной книге, порядковый номер записи на ленте и все данные о самом тексте. Звуковые записи систематизируются по жанрам.

В прениях по этим двум сообщениям выступили многие из присутствовавших на заседании.

Г. Г. Шаповалова (Ленинград) внесла ряд замечаний и поправок, касающихся первого раздела «Методических указаний». По ее мнению, нельзя называть единицей хранения всю посылку, так как в ней могут быть самые разнообразные предметы: тетради и листы с записями фольклорных произведений, фотографии, документы, магнитофонные ленты и т. п. Единицей хранения следует называть неделимый предмет (лист бумаги, тетрадь, отрезок микрофильма, магнитофонную ленту) с записью одного или нескольких произведений фольклора (естественно, что единицей хранения может быть и фотография). Нельзя также отождествлять папку и единицу хранения.

В архиве Института русской литературы АН СССР фольклорные материалы составляются 227 коллекций. В каждой из этих коллекций материал сложен в папки, в которых записи группируются либо по жанрам, либо по собирателям, если это экспедиция, либо по времени поступления, если это материалы одного собирателя. В каждой папке своя нумерация единиц хранения, каждая единица хранения внутри папки имеет свое количество листов.

Хранить вместе с записями текста ноты (расшифровки) не целесообразно. Они должны находиться в музыкальном архиве (фонограммархиве) и иметь свою картотеку. Фотоматериалы рекомендуются хранить по форматам (ф-1, ф-2, ф-3) и сосредоточивать по четырем разделам: исполнители, собиратели и исследователи, этнография, иллюстрации. Эти же рубрики найдут отражение и в картотеке. Помимо фотографий, в фольклорном архиве следует сосредоточивать и рисунки карандашом, а иногда и маслом.

В обсуждаемой работе, отметила Г. Г. Шаповалова, не говорится о формах фондирования архива, а это важно. Помимо обычных форм: экспедиции, покупки, дарственные передачи корреспондентов, теперь есть еще один вид фондирования — микрофильмирование, позволяющий на малой площади сосредоточить большое количество материала. Так, в архиве Института русской литературы АН СССР на полутора-двух метрах полок сосредоточены микрофильм-копии русских записей Тартуского, Рижского и многих других периферийных архивов.

Доктор филолог. наук А. М. Астахова (Ленинград) отметила, что в обсуждаемой работе, несмотря на чрезвычайную тщательность составителей, многое оказалось не предусмотренным. Так, например, в проекте методической записки говорится только о записях фольклора, в то время как в фольклорный архив поступают и другие материалы: дневники, письма, статьи и пр. Кроме того, предложенная составителями система обработки материала слишком сложна. В «Дневнике прироста» и в «инвентарной книге» много граф и цифровых обозначений, назначение которых так и осталось непонятным.

А. М. Астахова также высказала мнение, что единицей хранения ни в коем случае не может быть весь одновременно полученный материал и что нумерацию единиц хранения лучше всего вести в пределах каждой папки, а не делать сквозной через всю коллекцию и тем более через весь архив. Описание содержания папок в какой-то мере будет соответствовать «общему регистру» методической записки. Остальные три регистра целесообразнее отнести к картотекам. На основе кратких описей разобранного материала составляется инвентарная книга коллекций.

Доктор филолог. наук В. Я. Пропп (Ленинград) подчеркнул, что в методической записке чувствуется огромный опыт работы архивов прибалтийских республик. Однако, по его мнению, название предложенного проекта является неточным. Систематизируется и хранится не народное творчество, а записи песен, сказок, преданий и пр.

Канд. филолог. наук Э. В. Померанцева (Москва) подчеркнула большое значение труда, начатого работниками прибалтийских республик. К сожалению, только в отдельных архивах могут быть составлены такие методические записки. В большинстве же архивов царит полный хаос. Этим часто пользуются люди, мало причастные к науке. Так, в Керчи неожиданно образовалось «Общество фольклористов», которые собирают и уже собрали большой архив записей фольклорных материалов. А что это за общество? чем оно занимается? как там хранятся материалы? как они используются? — этого никто не знает.

Однако проект методической записки по регистрации и систематизации фольклорных материалов, отметила Э. В. Померанцева, является крайне усложненным. Многие в нем следует упростить, а также включить более подробные сведения об организации самого хранения, оборудовании архивохранилища, фондировании.

Многие из выступавших в прениях высказались против термина «Дневник прироста», предлагая заменить его термин «Книга поступлений».

О принципах систематизации народного песенного творчества сделала сообщение мл. научный сотрудник Института литовского языка и литературы АН Лит.ССР В. Бараускаене (Вильнюс). В основу систематизации, по ее мнению, должен быть положен функционально-тематический принцип. Песни, связанные с обрядами, систематизируются согласно их функциям, другие же — по тематике. Таким образом, весь материал прежде всего делится на обрядовый и необрядовый. Обрядовый фольклор имеет две большие рубрики: песни календарные и семейно-обрядовые. Необрядовый включает в себя песни общие и песни, бытовавшие в различных слоях населения (песни земледельцев, рыбацкие, рабочие, солдатские, эмигрантские, тюремные). Весь этот материал внутри разделов делится на лирический и эпический.

При составлении картотеки текст песни целиком заносится на карточку со всеми данными о самой песне и ее записи, вплоть до мелодии. В картотеке все песни распределяются по сюжетам и темам, причем все варианты каждого сюжета собираются вместе. Варианты сюжета, которых бывает до 200, разделены в картотеке цветными разделителями, сюжеты — белыми разделителями с соответствующими надписями.

Сотрудник Института языка и литературы АН Латв. ССР канд. филолог. наук О. Амбайнис (Рига) сделал сообщение о систематизации повествовательного фольклора: сказок, анекдотов, легенд. По мнению О. Амбайниса, в основу систематизации сказок следует положить указатель Аарне—Томсона, дополнив его еще пятью графами. На карточках следует отмечать, помимо шифра и номера по А—Т, сюжет (содержание), заглавие сказки, паспорт записи, полноту сюжета, если есть — контаминацию, новые мотивы, связь с другими жанрами, наличие модернизации. Основной сюжет подчеркивается на карточке тушью или цветным карандашом. С анекдотами сложнее — они очень разнообразны и слабо представлены в указателе Аарне—Томсона. Кроме того, среди записанных сказок много совершенно новых типов. Поэтому необходима особая система классификации. Докладчик предложил 12 тематических групп, разделенных на подгруппы; если же сюжет учтен в указателе Аарне—Томсона, то следует, кроме

того, давать на карточке его номер по указателю.

Сотрудник Института языка и литературы АН Латв. ССР канд. филолог. наук А. Анцелане (Рига) дополнила сообщение О. Амбайниса, рассказав о классификации преданий по пяти тематическим группам: этнологические предания, географические, мифические, предания о великанах, богатырях и силачах, исторические. Каждая из этих групп, в свою очередь, делится на ряд подгрупп (от 3 до 10). На карточке, так же как и в предыдущих случаях, даются полные паспортные данные записи. Если предание контаминировано, составляются ссылочные карточки.

Принципы систематизации пословиц, поговорок, загадок были изложены научным сотрудником Тартуского литературного музея им. Крейцвальда АН Эст. ССР канд. филолог. наук Э. Норман. Систематизация загадок Э. Норман рекомендовала производить на основе двух принципов: по отгадкам и по темам. В Тартуском литературном музее выделяется семь основных тематических групп загадок: природа и время, человек и его жизнь, быт человека, жизненные поприща, общественные явления и топонимические названия. Основные группы делятся, кроме того, на соответствующие тематические подгруппы. Тематическая классификация применяется и для пословиц, при этом выделяется восемь основных разделов с соответствующими подразделами. Так, например, раздел «природа» имеет следующие подразделы: погода и календарь, оголь и вода, лес и деревья, животные.

Как пословицы, так и загадки расписываются на карточки, из которых составляются тематические и алфавитные картотеки. С поговорками дело обстоит иначе; для них желательно создать алфавитный индекс. Это важно и для сравнительного изучения поговорок других национальностей.

О систематизации народных игр, хороводов и танцев сделал сообщение мл. научный сотрудник Института языка и литературы Латв. ССР Г. Суна (Рига). Он предложил классифицировать хореографический фольклор по двум разделам: 1) хоровод и 2) танец. Чтобы удобнее было находить уже известный танец или хоровод, Г. Суна рекомендовал составить алфавитную картотеку их названий. Вторая картотека должна строиться по принципу одинаковых хореографических структур; при этом все варианты хороводов и танцев окажутся соединенными. Чтобы представить, какие танцы и хороводы бытуют в той или иной области, Г. Суна составил картотеки по четырем областям Латвии, а внутри каждого района танцы и их варианты расположил в алфавитном порядке их названий.

С сообщением «Основные принципы систематизации мелодий народных песен» выступила мл. научный сотрудник Ин-

ститута литовского языка и литературы АН Лит. ССР С. Путейкене (Вильнюс). Основой систематизации и составления каталогов мелодий народных песен, сказала С. Путейкене, является распределение родственных мелодий по определенным группам в соответствии со степенью их развития, внутренней структурой и музыкальной тематикой. Это дает возможность выявить наиболее распространенные варианты мелодий, выяснить пути их исторического развития и установить взаимосвязи в народном музыкальном творчестве. Как показала практика прибалтийских фольклористов, для изучения и публикации песен определенной тематики или жанра целесообразно составлять каталог мелодий по функционально-тематическому принципу. Таким образом создаются группы мелодий, например — обрядовых песен и необрядовых, бытовых песен с соответствующими разделами. Внутри же этих разделов мелодии распределяются по музыкальным критериям. Данная систематизация была проведена на практике: по этой системе создан каталог мелодий литовских народных песен, охватывающий более 30 000 мелодий.

Выступавшие в прениях по этим сообщениям участники совещания высказали ряд существенных соображений.

Доктор филолог. наук проф. Я. Витолинь (Рига) подчеркнул, что музыкальную систематизацию следует строить на мелодийно-тематической основе: весь материал должен быть распределен по жанрово-тематическим группам, внутри которых следует производить группировку по мелодическому принципу. Он отметил также, что литовские музыковеды представили прекрасные образцы картотек, используя новый аппарат для копирования карточек «Эра». Проф. Витолинь предложил созвать специальное совещание музыковедов, как прибалтийских, так и русских, чтобы совместно выработать общую схему систематизации музыкальных напевов.

Композитор и музыковед И. Юзелюнес (Вильнюс) предложил в основу музыкальной систематизации положить опорные тона, углубив этот принцип за счет специфических народных тонов, характерных для данного народа.

Канд. филолог. наук К. Кербелите (Вильнюс) выступила против слишком подробной детализации рубрик в классификации преданий, предложенной О. Амбайнисом.

Доктор филолог. наук А. М. Астахова (Ленинград) отметила, что разработка систематических картотек фольклористами Прибалтики производит благоприятное впечатление. Однако прекрасно разработанная жанрово-систематическая картотека не может удовлетворить всех запросов исследователей. По мнению А. М. Астаховой, основную жанровую картотеку следует дублировать, создавая сразу 5 картотек: по жанрам, ис-

полнителям, собирателям, местностям и зачинам. Так делается в фольклорном архиве Института русской литературы АН СССР. А. М. Астахова предложила также пересмотреть и дополнить функционально-тематическую рубрику.

А. Анист (Тарту) выразил удовлетворение тем, что совещание проходит в хорошей деловой атмосфере. По его мнению, в проекте «Методических указаний» следует учитывать такие жанры, как заговоры и религиозные верования, которые также необходимо систематизировать.

Г. Г. Шаповалова (Ленинград) подчеркнула, что систематизация по жанрово-тематическому принципу и составление соответствующей картотеки делает честь прибалтийским фольклористам. Однако, по ее мнению, вряд ли стоит мельчить рубрики, подменяя этим работу исследователя материала. Г. Г. Шаповалова высказала сомнения в необходимости отдельной картотеки песенных аннотаций. Она предложила также не вводить в картотеку опубликованные варианты песен, а если данный архивный материал опубликован, — делать отсылку к публикациям в основной карточке.

Доктор филолог. наук проф. В. Я. Пропп (Ленинград) дал положительную оценку «Методической записке». Однако, сказал проф. Пропп, она требует еще многих поправок и доработок. Вопросы систематизации и классификации очень сложны. Наиболее хорошей будет та система, которая поможет любому исследователю разобраться в архивном материале. Правильное хранение архивных материалов — дело государственной и политической важности, однако есть собиратели, которые хранят свои архивы дома. Это нередко приводит к их гибели. Так было с интереснейшими материалами по шорскому фольклору этнографа Дыренковой (Институт Севера, Ленинград). Поэтому в проекте методической записки следует оговорить, что фольклорные записи нужно хранить в государственных учреждениях. Далее В. Я. Пропп подчеркнул, что определение идейного содержания материала — не дело архивных работников. В основу систематизации нужно положить жанровый принцип и не бояться слова «жанр».

В. Я. Пропп обратил внимание на связь классификации фольклорного материала с его национальными особенностями. Так, в русском фольклоре есть жанры, отсутствующие в фольклоре прибалтийских республик, а следовательно нужна и своя классификация. Проф. Пропп сделал ряд конкретных замечаний по систематизации народного творчества. Он предложил разделить повествовательный фольклор на прозаический и песенный, а последний — на песни лирические и повествовательные. По его мнению, не следует исключать из классификации духовные стихи и заговоры

хотя идеологически они и не соответствуют нашему времени. В. Я. Пропп высказал ряд соображений по классификации частушек, причитаний, кратких анекдотов и пословиц. В отношении последних он рекомендовал составить указатель-словарь по существительным, со ссылками на варианты. Прозаические жанры, по его мнению, следует классифицировать не по Аарне—Томсону, а по Аарне—Андрееву.

К. Пошкайтис (Вильнюс) предложил классифицировать произведения хореографического искусства по тематике и по функции. Танец во многом связан с текстом, что тоже нужно учитывать. Исследователя и хореографа интересуют группы танцев либо по функции, либо по названию. Это и должно лечь в основу картотеки, а не фигуры — круг, линия или шаг, что в той или иной мере одинаково для всех танцев.

К. Кригас (Вильнюс) отметил неблагоприятное положение с печатными каталогами архивных фольклорных материалов: их нет или очень мало. Поэтому неясна картина наличия фольклорных материалов в архивах СССР. Что касается принципов классификации, то Кригас рекомендовал систематизировать заговоры по системе Токарева, изложенной в его книге, и по функционально-тематическому принципу. По мнению К. Кригаса, большинство ошибок в проекте возникло вследствие плохого изложения материала по-русски, поэтому он считает необходимым просить В. Я. Проппа быть редактором проекта.

В конце работы конференции выступил зав. сектором фольклора Института литовского языка и литературы АН Лит. ССР канд. филолог. наук А. Ионинас (Вильнюс), выразивший большое удовлетворение всем ходом совещания.

От Научного совета по фольклористике при Бюро Отделения языка и литературы АН СССР выступил канд. филолог. наук К. Давлетов (Москва). Он сказал, что хотя в записке и не представлены все жанры, характерные для фольклора других национальностей, в частности русского, записка должна быть напечатана. Разумеется, слишком детально разработанные принципы регистрации и систематизации фольклорного материала не могут быть рекомендованы как обяза-

тельные для архивов, только начинающих свою работу. Этот труд следует издать не как инструкцию, а как методическую записку по регистрации и систематизации произведений народно-поэтического творчества, созданную на базе работы прибалтийских фольклорных архивов.

Акад. К. Корсакас обратил внимание на то, что работа над картотеками, на основе которых была создана обсуждаемая методическая записка, стоила Институту литовского языка и литературы АН Лит. ССР больших средств. Возможно, что для других архивов это окажется не по силам. К этому нужно подойти серьезно и по-государственному. Обсужденную совещанием методическую записку фольклористов прибалтийских республик хотелось бы видеть доработанной и опубликованной.

В заключение выступил председатель Научного совета по фольклористике член-корр. АН СССР В. Г. Базанов. Отдав должное большой работе составителей проекта записки, он отметил, что едва ли в настоящее время целесообразно и посылно стремиться создать универсальное методическое пособие для всех республиканских архивов, в каждом из которых есть своя специфика. Важно продолжить положительный опыт фольклористов Прибалтики, усовершенствовать методику и принципы хранения и систематизации произведений фольклора, считаясь с реальными возможностями архивоведения. Опыт подсказывает, что аналогичные записки, своеобразные путеводители могут быть созданы в Пушкинском доме, Петрозаводске, Тбилиси и других центрах советской фольклористики. В результате коллективных усилий можно выработать какие-то единые правила. Представленная работа — это методическая записка по организации фольклорных архивов именно прибалтийских республик. Так она и должна быть опубликована.

В. Г. Базанов поблагодарил прибалтийских фольклористов за прекрасную организацию совещания и выразил надежду, что В. Я. Пропп согласится быть научным редактором обсужденной работы.

Г. ША П О В А Л О В А,
А. И О Н И Н А С

ПО СТРАНИЦАМ ГАЗЕТ

(май—октябрь 1963 года)

В связи со 135-летием со дня рождения Л. Н. Толстого на страницах газет был опубликован ряд материалов, связанных с его именем.

В «Неделе» (№ 33, 11—17 августа) помещен снимок Л. Н. Толстого с внуками Ильешей и Соней (детьми А. Л. Толстого), сделанный В. Г. Чертковым 18 сентября 1909 года в с. Крекшине. Газета «Советская Хакасия» (Абакан, № 210, 5 сентября) публикует портрет Толстого, выполненный при жизни писателя в 1900 году и отпечатанный С. Б. Хазиным в собственном издательстве в Одессе. Портрет выполнен необычным способом: волосы, борода, блуза «написаны» текстом XIII главы «Крейцеровой сонаты». Обнаружено 7 экземпляров таких портретов (в Саратовском, Калужском, Сумском музеях и четыре — в частных руках).

Многочисленные публикации на страницах газет связаны с именем А. И. Куприна.

Л. Прокопенко публикует в «Литературной России» (№ 36, 6 сентября) забытое интервью А. И. Куприна о Льве Толстом, появившееся более 50 лет назад в «Саратовском листке» (1910, № 17, 22 января). «... За что я ни возьмусь, — говорит Куприн, — уже старик сделал. У него все есть. О наших людях скучно писать; их жизнь надуманная, деланная и так же похожа на настоящую, как цветы из крашеной бумаги похожи на настоящие розы и лилии. Вот бы лошадей, собак, деревья. Это хорошо, это натурально! Но старик уже все здесь сделал. Весну, лес, горы, реки, лошадей, собак — он все описал, и так, что ни я, ни другой ничего уже не можем прибавить. Я пробовал — был в пику его Холстомеру написать своего Изумруда и должен был устыдиться. Бледно, жалко в сравнении с его творением. Разве можно с ним состязаться? Чувствую, что если бы я родился сто лет спустя, пожалуй, тогда я начал бы писать, тогда и на мою долю было бы что-нибудь новое из живой жизни. А теперь старик все забрал. Он ограбил всех нас. На сто лет ограбил...»

Дарственная надпись Куприна на книге, подаренной О. Леонидову, публикуется Э. Ципельзоном в «Литературной России» (№ 34, 23 августа): «Глубокоуважаемому Олегу Леонидову, 25 дек. н. ст. 1918 с искренним желанием, чтобы в „Кремлевском деле“ он оказался Олегом Вещим. А. Куприн». Комментируя эту надпись, Э. Ципельзон раскрыл важную страницу в биографии Куприна — встречу писателя с В. И. Лениным 26 декабря 1918 года и их беседу на тему о газете «Земля», издание которой Куприн хотел организовать для просвещения масс, главным образом — крестьян.

М. Голубев публикует письмо Куприна П. Чернову от 31 декабря 1917 года («Вечерняя Москва», № 198, 23 августа). К письму приложено стихотворение Куприна.

Отрывки из писем Куприна И. А. Арапову, бывшему управляющему усадьбой в Даниловском, читатель может найти на страницах газеты «Пензенская правда» (№ 200, 25 августа). Письма, хранящиеся в народном музее села Даниловского Вологодской области, написаны в 1906—1919 годах и свидетельствуют об увлечении Куприна Северным краем.

Забытый рассказ Куприна «Псы», опубликованный впервые в «Петербургской газете» (1912, № 355, 25 декабря), помещен на страницах «Вечерней Москвы» (№ 199, 24 августа).

В газете «Комсомолец» (Ростов, № 167, 23 августа) Л. Усенко публикует очерк Куприна «Народная память» из цикла «Югославия». В очерке дана яркая зарисовка быта и культуры Югославии, которую писатель посетил летом 1928 года.

Г. Мишкевич помещает на страницах «Литературной России» (№ 34, 23 августа) фотокопию обложки читательской книжки библиотеки А. И. Куприна, его портрет (датированный писателем 1 января 1933 года) и факсимиле письма А. И. Куприна к И. А. Левинсону — преподавателю русского языка в г. Атланта (США). Письмо относится, по видимому, к 1932 году и дает представление о жизни Куприна в эмиграции: «... За эти тяжелые, сумрачные, неудачливые годы мы только тем и занимались, что перебирались с квартиры на квартиру, с квартала в квартал, с округа в округ. Ну, скажу Вам, — и велик же Париж и разнообразен до помрачения ума! Все старались вместо дешевого жилища найти еще более дешевое... В жилет Вам плакать не стану, не уважаю и не люблю этого занятия. К тому же добрый бог дал мне маленький дар скромного юмора. Когда меня спрашивают: как поживаете? Я отвечаю слава богу, плохо...»

Отрывки из неизвестных писем С. Д. Дрожжина публикует И. Пиккнев в «Калининской правде» (№ 204, 30 августа). Письма, хранящиеся в одном из частных собраний, адресованы ближайшему другу Дрожжина — поэту А. А. Коринфскому. Они являются ценным источником для изучения жизни и творчества поэта-самоучки, его общественно-политических и литературных взглядов.

В письме от 8 декабря 1912 года Дрожжин пишет: «Теперь я посылаю тебе 2 экз. моей новой, только что вышедшей из печати книги „Песни старого пахаря“ с твоей статьей о моем первом томе.

Буду рад, если мои последние за 7 лет песни тебе поправятся. Все они пелись от души, как и прежние. Многих не дал, чтобы избежать цензурных скорпионов. . .»

Интересны описания встреч с писателями и деятелями культуры — Горьким, Луначарским, Э. Виртаненом, художником И. Д. Щепакимым и др. Дрожжин пишет: «С 23 по 30 сентября я прожил в Москве, виделся с большим Горьким, который вписал мне в памятную книжку такие строки: „на память старому поэту — с удивлением перед его неиссякаемым творчеством — С. Д. Дрожжину. М. Горький. 28 IX-28. Москва. . .“».

Неизвестное стихотворение Федора Глинки, прочтенное им перед американской дружественной миссией в г. Твери в 1866 году, опубликовано в газетах «Звезда Прииртышья» (Павлодар, № 177, 3 сентября), «Вечерний Свердловск» (№ 211, 6 сентября), «Ленинский путь» (Самарканд, № 178, 7 сентября).

В Центральном государственном историческом архиве СССР обнаружен текст неизвестного рассказа П. В. Засодимского «Джордано Бруно». Рассказ, представленный в цензуру в 1901 году, был запрещен, так как цензоры увидели в нем «борьбу свободной мысли с церковным авторитетом». Текст рассказа опубликован И. Алексеевым на страницах «Недели» (№ 41, 12 октября).

Неизвестное стихотворение Я. П. Полонского, обнаруженное в альбоме

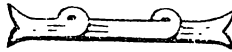
В. М. Лаврова (редактора «Русской мысли»), читатель может найти в газете «Приокская правда» (Рязань, № 133, 7 июня).

Газета «Советское Зауралье» (Курган, № 178, 28 июля) помещает на своих страницах неизвестное письмо Д. Бедного от 18 августа 1925 года коммунарам сельскохозяйственной артели его имени.

Р. Островская публикует 4 письма Н. Островского к М. Родкиной («Комсомольское знамя», Киев, 1963, № 182, 15 сентября), хранящиеся в Московском музее Н. Островского. В письмах от 25 октября 1925 года и 5 февраля 1927 года Н. Островский пишет: «Я борюсь молча. Слышишь. Никто здесь не услышал от меня ни одного слова жалобы и не услышит никогда. . .» «. . . Неиссякаемая вера в жизнь, могучая тяга обратно в строй, к своим, в ряды партии, поддерживает меня. . . нужна воля, воля и еще раз воля».

В газете «Комсомолец Заполярья» (Мурманск, № 120, 6 октября) приводятся еще два письма Н. Островского к М. Родкиной — от 30 декабря 1926 года и 1 декабря 1934 года.

Повесть С. Т. Аксакова «Копытьев» опубликована С. И. Машинским в «Литературной России» (№ 32, 9 августа). Повесть, впервые увидевшая свет в 1863 году (в газете «День»), датирована 1857 годом и свидетельствует о стремлении Аксакова в последние годы жизни выйти в своем творчестве за пределы автобиографического материала.



ПАМЯТИ ИГОРЯ ПЕТРОВИЧА ЕРЕМИНА

Не стало еще одного талантливого ученого и педагога! Игорь Петрович Еремин со студенческих лет ясно определил свой путь: старинная русская и украинская литература привлекла его внимание возможностью изучать еще не тронутые рукой исследователя рукописные материалы, открывать неведомые страницы в истории русской и украинской литературной культуры. Воспитанный в филологической школе академика В. Н. Перетца, деятельный член его семинара, Игорь Петрович именно в этой школе подготовил и кандидатскую диссертацию и основную часть исследования о крупнейшем украинском писателе-публицисте XVI века Иване Вишенском, исследования, ставшего его докторской диссертацией. Блестящий текстолог, Игорь Петрович оставил нам образцовые издания памятников древнерусской ораторской прозы XI—XII веков, украинской публицистики XVII века, силлабической поэзии XVII века. Начиная с кандидатской диссертации, посвященной изучению новгородской легенды о посаднике Щиле, И. П. Еремин во всем цикле работ, завершившемся монографией об Иване Вишенском, показал свой интерес к публицистической теме XI—XVII веков. Овладение марксистско-ленинской методологией помогло ему за религиозной формой литературных памятников этого периода увидеть их гражданскую направленность, обнаружить у передовых писателей демократические тенденции, раскрыть у них мотивы осуждения правящих верхов, услышать голос защитника трудового народа.

Среди работ этого цикла выдающееся место занимает изданное лишь в 1955 году, но уже в 1938 году защищенное как докторская диссертация исследование литературно-публицистической деятельности Ивана Вишенского, крупнейшего украинского писателя конца XVI—начала XVII века. Блестяще опровергнув концепцию, созданную «вождем» буржуазно-либерального лагеря украинской литературы и историографии Кулишом, Игорь Петрович в изучении литературного наследия Ивана Вишенского пошел по стопам Ивана Франко, великого украинского поэта и прозаика, литературоведа революционно-демократического направления, значительно углубив и уточнив характеристику общественного и литературного значения творчества Вишенского. Исследователь показал, что в лице Ивана Вишенского весь феодально-крепостнический строй его эпохи, весь уклад жизни Польско-Литовского государства, в состав которого входила и Украина, нашел своего страстного и беспощадного обличителя. Вместе с тем Игорь Петрович талантливо раскрыл своеобразие литературной формы сочинений Вишенского, стремление писателя к простоте, с помощью которой он раскрывал «существо правды». Ломая традиционные нормы жанров, если они затрудняли изложение, смело соединяя две стилистические системы — страстную и взволнованную патетику и острую сатиру, Вишенский нередко обращался к живому народному языку, когда того требовало само содержание. Характеризуя эти особенности литературной формы сочинений Вишенского, И. П. Еремин справедливо считает его прямым предвестником той реформы украинского литературного языка, которую на рубеже XVIII—XIX веков осуществил И. П. Котляревский и в середине XIX века завершил Т. Г. Шевченко.

На дальнейшем этапе в исследованиях Игоря Петровича все отчетливее становится виден интерес к изучению своеобразия художественного метода древнерусской литературы, ее стиля. Талантливые наблюдения сделал он на материале летописи XII века, и особенно — «Слова о полку Игореве». Хотя и много споров вызвало в свое время определение Игорем Петровичем «жанровой природы» «Слова», однако в основном своем наблюдении он безусловно прав: в стилистике «Слова» сильна струя той «риторики», которая в XII веке успешно развивалась в торжественном ораторстве. Ведущиеся сейчас исследования фразеологии «Слова» указывают, что эта риторика была связана и с высоким стилем библейских исторических книг, и с лирикой гимнографии.

Крупный вклад внес И. П. Еремин в изучение силлабической поэзии XVII века, впервые показав на материале творчества Симеона Полоцкого сущность русского литературного барокко. Определяя значение силлабических стихов и драматургии этого писателя в истории русской поэзии и драмы XVII века, И. П. Еремин пришел к правильному выводу: «Высогу словес», свойственную современной ему книжной прозе,

Симеон Полоцкий утвердил и в поэзии, сделав ее признаком «парнасского» парения в одической поэзии до конца XVIII века. Ему же принадлежит заслуга основания русской драматургии.

Напомню и еще об одной стороне деятельности Игоря Петровича, тесно связанной с его педагогической практикой. Он был активным участником — и как составитель и как редактор — ряда изданий, имевших целью познакомить широкие круги советских читателей с лучшими образцами русской литературы феодального периода. Особо отмечу последнее из таких изданий: книгу «Художественная проза Киевской Руси XI—XIII веков». Здесь Игорю Петровичу принадлежат переводы на современный язык важнейших памятников и среди них — «Слова о полку Игореве» и «Слова о погибели Русской земли». Все переводы выполнены им бережно, с намерением сохранить своеобразный облик древнерусского повествования, передать многообразие оттенков манеры каждого памятника. Переводы не прибегают к ненужному осовремениванию и дают читателям правильное представление о высоте литературной культуры древней Руси.

Эти переводы выросли в процессе подготовки большой задуманной Игорем Петровичем монографии о художественном стиле литературы XI—XII веков. К сожалению, он успел подготовить лишь часть этюдов к этому исследованию. Однако хотя эта работа не завершена, она все же должна быть опубликована как итог многолетних размышлений и наблюдений лучшего в настоящее время знатока литературы этого периода.

Университетские ученики Игоря Петровича сами расскажут о его увлекательных лекциях, в которых он умел показать литературу как искусство на каждой ступени ее истории. В его эмоциональном чтении ярко выступала художественность и старинных текстов, и украинских советских писателей. В своей педагогической деятельности Игорь Петрович всегда был, как и в своих исследованиях, последовательным марксистом-литературоведом, и в развитие советской медиевистики его почти сорокалетний труд внес ценнейший вклад.

Тяжело старшему по возрасту товарищу видеть, что этот труд безвременно оборвался. Пусть же молодые ученики Игоря Петровича поднимут выпавшее из его рук перо и допишут ту главную работу, которой отданы были его мысли в последнем десятилетии, ту работу, в которой он намеревался убедительно показать высоту русской литературной культуры XI—XII веков, воспитавшей создателя «Слова о полку Игореве».

В. А Д Р И А Н О В А - П Е Р Е Т Ц



НОВЫЕ КНИГИ

(сентябрь — ноябрь 1963 года)

- Бурсов Б. И. Л. Н. Толстой. Семинарий. Учпедгиз, Л., 1963, 434 с.
- Виноградов В. В. Сюжет и стиль. Сравнительно-историческое исследование. Изд. АН СССР, М., 1963, 192 с. (Сов. комитет славистов).
- Егоров Б. Ф. Роман 1860-х—начала 1870-х годов о «новых людях». Тарту, 1963, 59 с. (Тартуский унив.).
- История русской литературы конца XIX—начала XX века. Библиографический указатель. Под ред. К. Д. Муратовой. Изд. АН СССР, М.—Л., 1963, 519 с. (Инст. русск. лит-ры).
- Лаврецкий А. Эстетические взгляды русских писателей. Сборник статей. Гослитиздат, М., 1963, 303 с.
- Международные связи русской литературы. Сборник статей. Под ред. М. П. Алексеева. Изд. АН СССР, М.—Л., 1963, 474 с. (Инст. русск. лит-ры).
- Народная устная поэзия Дона. Изд. Ростовского унив., Ростов н/Д, 1963, 433 с.
- Петрушков В. Произведения К. М. Станюковича в периодической печати. (Библиографический справочник). Душанбе, 1963, 106 с. (Таджикский унив.).
- Русская литература XVIII века и славянские литературы. Исследования и материалы. (Под ред. П. Н. Беркова и И. З. Сермана). Изд. АН СССР, М.—Л., 1963, 190 с. (Инст. русск. лит-ры).
- Русские писатели второй половины XIX—начала XX вв. (до 1917 года), ч. 3. Рекоменд. указатель литературы. (Общ. ред. Р. Н. Крендель). М., 1963, 489 с. (Б-ка СССР им. В. И. Ленина, Публ. б-ка им. М. Ф. Салтыкова-Щедрина).
- Русский фольклор. (Материалы и исследования), т. 8. Изд. АН СССР, М.—Л., 1963, 436 с.
- Силаев А. Лиры звон кандалный. Очерки жизни и творчества А. И. Левитова. Книжное изд., Липецк, 1963, 164 с.
- Балабанович Е. Антон Семенович Макаренко. Человек и писатель. Изд. «Московский рабочий», М., 1963, 472 с.
- Бахтин В. Александр Прокофьев. «Советский писатель», М.—Л., 1963, 282 с.
- Богуславская З. Вера Панова. Очерк творчества. Гослитиздат, М., 1963, 207 с.
- Венгров Н. Путь Александра Блока. Изд. АН СССР, М., 1963, 415 с. (Инст. мировой лит-ры).
- Вопросы литературы и эстетики. (Сборник статей). Курск, 1963, XXV, 146 с. (Уч. зап. Курского пед. инст., вып. 15).
- Вопросы художественного мастерства. Докл. Второй научной конференции Сев.-Кавказского зонального объединения кафедр литературы. Ростов н/Д, 1963, 184 с. (Рост. н/Д пед. инст.).
- А. П. Гайдар. (Сборник статей. Отв. ред. В. В. Основин). Арзамас, 1963, 145 с. (Уч. зап. Арзамасского пед. инст., т. V, вып. 2).
- Горбунова Е. Вопросы теории реалистической драмы. О единстве драматического действия и характера. «Советский писатель», М., 1963, 508 с.
- Дементьев В. В. Поэты от земли. Литературно-критические очерки. «Советская Россия», М., 1963, 224 с. (Лит. Россия).
- Залесский В. Героя я ищу. . . Статьи о драматургии и театре. «Советский писатель», М., 1963, 323 с.
- История. Филология. (Сборник статей). Изд. «Советское Зауралье», Курган, 1963, 333 с. (Уч. зап. Шадринского пед. инст., вып. 7).
- Кузнецов М. М. Советский роман. Очерки. Изд. АН СССР, М., 1963, 302 с. (Инст. мировой лит-ры).
- Куприяновский П. В широком потоке. (Статьи о советских писателях). Книжное изд., Иваново, 1963, 136 с.
- Левинский Л. Константин Паустовский. Очерк творчества. «Советский писатель», М., 1963, 407 с.
- Литвин Э. И. Карнаухова. Критико-биографический очерк. Детгиз, Л., 1963, 96 с.
- Литература и новый человек. Изд. АН СССР, М., 1963, 431 с. (Инст. мировой лит-ры).
- О Маяковском. Дни и встречи. (Сборник). Тбилиси, 1963, 240 с.
- Озеров Л. Работа поэта. Книга статей. «Советский писатель», М., 1963, 336 с.
- Очерки истории русской советской драматургии, т. 1. Изд. «Искусство», Л., 1963, 602 с. (Ленингр. гос. инст. театра, музыки и кинематографии).
- Прокушев Ю. Юноста Есенина. Изд. «Московский рабочий», М., 1963, 192 с.
- Яновская Л. М. Почему вы пишете смешно? Об И. Ильфе и Е. Петрове, их жизни и их юморе. Изд. АН СССР, М., 1963, 182 с.